VISIT…

Annotation

В двенадцатом томе Собрания сочинений Достоевского печатается «Дневник писателя» за 1873 г., а также его статьи, очерки и фельетоны, помещенные в газете-журнале «Гражданин» (1873–1874, 1878) и литературном сборнике «Складчина» (1874). В «Приложении» печатаются «Объяснения и показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев», представляющие большой биографический интерес и имеющие некоторую перекличку со статьями «Дневник писателя».

http://rulitera.narod.ru

- Федор Михайлович Достоевский
  - Дневник писателя 1873
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
    - X
    - XI
    - XII
    - XIII
    - XIV
    - XV
    - XVI
  - Статьи, очерки 1873-1878
    - Наши монастыри
    - Заседание общества любителей духовного просвещения 28 марта
    - Пожар в селе измайлове
    - Стена на стену

- История о. Нила
- Две заметки редактора
- Попрошайка
- Маленькие картинки
- Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга

- Приложение
  - (Объяснение ф. М. Достоевского)
  - <Формальный допрос Ф. М. Достоевского>
  - <показания Ф. М. Достоевского>
  - <показания Ф. М. Достоевского из дела о В. Р. Зотове>
  - <показания Ф. М. Достоевского из дела об А. Н. Майкове>
  - <показания Ф. М. Достоевского из дела об А. П. Милюкове>
  - <показания Ф. М. Достоевского из дела о Н. А. Мордвинове>
  - <показания Ф. М. Достоевского из дела о Ромашове, Салтыкове, Бердяеве, Яшвиле, извозчиках: Федоте и Михаиле Яковлевых и Блюм>
  - <показания Ф. М. Достоевского из дела о прикосновенных лицах>
  - <подписка Ф. М. Достоевского в военно-судной комиссии>
  - <мемуарная запись Ф. М. Достоевского в альбом О. А. Милюковой об его аресте>
- Примечания
  -
  - Дневник писателя. 1873
    -
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII

        - IX
        - X
        - XI
        - XII
        - XIII
        - XIV
        - XV
        - XVI
    - Наши монастыри
    - Заседание общества любителей духовного просвещения 28 марта
    - Пожар в селе измайлове
    - Стена на стену
    - История о. Нила
    - Две заметки редактора
    - Попрошайка
    - Маленькие картинки
    - Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга
    - Объяснения и показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16

- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53

- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90

- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127

- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164

- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201

- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222

- comments
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52

- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89

- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126

- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163

- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200

- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237

- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274

- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311

- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348

- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364

Федор Михайлович Достоевский
Собрание сочинений в пятнадцати томах
Том 12. Дневник писателя 1873. Статьи и очерки

Дневник писателя 1873

I
Вступление

Двадцатого декабря я узнал, что уже всё решено и что я редактор «Гражданина»[*]. Это чрезвычайное событие, то есть чрезвычайное для меня (я никого не хочу обижать), произошло, однако, довольно просто. Двадцатого декабря я как раз читал статью «Московских ведомостей» о бракосочетании китайского императора; она оставила во мне сильное впечатление. Это великолепное и, по-видимому, весьма сложное событие произошло тоже удивительно просто: всё оно было предусмотрено и определено еще за тысячу лет, до последней подробности, почти в двухстах томах церемоний[*]. Сравнив громадность китайского события с моим назначением в редакторы, я вдруг почувствовал неблагодарность к отечественным установлениям, несмотря на то что меня так легко утвердили, и подумал, что нам, то есть мне и князю Мещерскому, в Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать «Гражданина». Там всё так ясно… Мы оба предстали бы в назначенный день в тамошнее главное управление по делам печати. Стукнувшись лбами об пол и полизав пол языком, мы бы встали и подняли наши указательные персты перед собою, почтительно склонив головы. Главноуправляющий по делам печати, конечно, сделал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего внимания, как на влетевших мух. Но встал бы третий помощник третьего его секретаря и, держа в руках диплом о моем назначении в редакторы, произнес бы нам внушительным, но ласковым голосом определенное церемониями наставление. Оно было бы так ясно и так понятно, что обоим нам было бы неимоверно приятно слушать. На случай, если б я в Китае был так глуп и чист сердцем, что, приступая к редакторству и сознавая слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх и угрызения совести, — мне бы тотчас же было доказано, что я вдвое глуп, питая такие чувства. Что именно с этого момента мне вовсе не надо ума, если б даже и был; напротив того, несравненно благонадежнее, если его нет вовсе. И уж, без сомнения, это было бы весьма приятно выслушать. Заключив прекрасными словами: «Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и пить чай с новым спокойствием твоей совести», третий помощник

третьего секретаря вручил бы мне красивый диплом, напечатанный на красном атласе золотыми литерами, князь Мещерский дал бы полновесную взятку, и оба мы, возвратясь домой, тотчас же бы издали великолепнейший № «Гражданина», такой, какого здесь никогда не издадим. В Китае мы бы издавали отлично.

Подозреваю, однако, что в Китае князь Мещерский непременно бы со мною схитрил, пригласив меня в редакторы наиболее с тою целью, чтоб я заменял его лицо в главном управлении по делам печати каждый раз, когда бы его приглашали туда получать удары по пятам бамбуковыми дощечками*. Но я перехитрил бы его: я бы тотчас перестал печатать «Бисмарка»*, сам же, напротив, стал отлично писать статьи, — так что к бамбуку призывали бы меня всего лишь через номер. Зато я бы выучился писать.

В Китае я бы отлично писал; здесь это гораздо труднее. Там всё предусмотрено и всё рассчитано на тысячу лет; здесь же всё вверх дном на тысячу лет. Там я даже поневоле писал бы понятно; так что не знаю, кто бы меня стал и читать. Здесь, чтобы заставить себя читать, даже выгоднее писать непонятно. Только в «Московских ведомостях» передовые статьи пишутся в полтора столбца и — к удивлению — понятно; да и то если принадлежат известному перу*. В «Голосе» они пишутся* в восемь, в десять, в двенадцать и даже тринадцать столбцов. Итак, вот сколько надо здесь истратить столбцов, чтобы заставить уважать себя.

У нас говорить с другими — наука, то есть с первого взгляда, пожалуй, так же, как и в Китае; как и там, есть несколько очень упрощенных и чисто научных приемов. Прежде, например, слова «я ничего не понимаю» означали только глупость произносившего их; теперь же приносят великую честь. Стоит лишь произнести с открытым видом и с гордостью: «Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве»* — и вы тотчас же ставите себя на отменную высоту. И это особенно выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете.

Но этот упрощенный прием ничего не доказывает. В сущности, у нас каждый подозревает другого в глупости безо всякой задумчивости и безо всякого обратного вопроса на себя: «Да уж не я ли это глуп в самом деле?» Положение вседовольное, и, однако же, никто не доволен им, а все сердятся. Да и задумчивость в наше время почти невозможна:

дорого стоит. Правда, покупают готовые идеи. Они продаются везде, даже даром; но даром-то еще дороже обходятся, и это уже начинают предчувствовать. В результате никакой выгоды и по-прежнему беспорядок.

Пожалуй, мы тот же Китай, но только без его порядка. Мы едва лишь начинаем то, что в Китае уже оканчивается. Несомненно придем к тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томов церемоний, с тем чтобы уже окончательно выиграть право ни о чем не задумываться, — нам надо прожить по крайней мере еще тысячелетие задумчивости. И что же — никто не хочет ускорить срок, потому что никто не хочет задумываться.

Правда и то: если никто не хочет задумываться, то, казалось бы, тем легче русскому литератору. Да, легче действительно; и горе тому литератору и издателю, который в наше время задумывается. Еще горше тому, кто сам захотел бы учиться и понимать; но еще горше тому, который объявит об этом искренно; а если заявит, что уже капельку понял и желает высказать свою мысль, то немедленно всеми оставляется. Ему остается лишь подыскать какого-нибудь одного подходящего человечка, или даже нанять его, и только с ним одним и разговаривать; может быть, для него одного и журнал издавать. Положение омерзительное, ибо это всё равно, что говорить самому с собой и издавать журнал для собственного удовольствия. Я сильно подозреваю, что «Гражданину» еще долго придется говорить самому с собой* для собственного удовольствия. Взять уж то, что по медицине разговор с собой обозначает предрасположение к помешательству. «Гражданин» должен непременно говорить с гражданами, и вот в том вся беда его!

Итак, вот к какому изданию я приобщил себя. Положение мое в высшей степени неопределенное. Но буду и я говорить сам с собой и для собственного удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло. Об чем говорить? Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься. Если же я найду читателя и, Боже сохрани, оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать и знать с кем и как говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у нас это всего труднее, то есть в литературе. К тому же и оппоненты бывают различные: не со всяким можно начать разговор. Расскажу одну басню, которую слышал на днях. Говорят, что басня древняя, чуть не индийского

происхождения, что весьма утешительно.

Однажды свинья поспорила со львом и вызвала его на дуэль. Воротись домой, одумалась и струсила. Собралось всё стадо, подумали и решили так:

— Видишь, свинья, тут у нас поблизости есть одна яма; поди вываляйся в ней хорошенько и явись так на место. Увидишь.

Свинья так и сделала. Лев пришел, понюхал, поморщился и пошел прочь. Долго еще потом свинья хвалилась, что лев струсил и убежал с поля битвы.

Вот басня. Конечно, львов у нас нет, — не по климату, да и слишком величественно. Но поставьте вместо льва порядочного человека, каким каждый обязан быть, и нравоучение выйдет то же самое.

Кстати, расскажу еще присказку.

Однажды, разговаривая с покойным Герценом, я очень хвалил ему одно его сочинение — «С того берега»[*]. Об этой книге, к величайшему моему удовольствию, с похвалой отнесся в Михаил Петрович Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье[*] о свидании его за границей с Герценом. Эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента.

— И мне особенно нравится, — заметил я между прочим, — что ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что он вас во многих случаях ставит к стене.[*]

— Да ведь в том-то и вся штука, — засмеялся Герцен. — Я вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: «Разговор между господином А. и господином Б.». (Вошла в собрание его сочинений). В этой статье господин А., то есть, разумеется, сам Белинский, выставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплоше. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня:

— Ну что, как ты думаешь?

— Да хорошо-то, хорошо, и видно, что ты очень умен, но только охота тебе была с таким дураком свое время терять.

Белинский бросился на диван, лицом в подушку, и закричал, смеясь, что есть мочи:

— Зарезал! Зарезал![*]

II
Старые люди

Этот анекдот о Белинском напомнил мне теперь мое первое вступление на литературное поприще*, Бог знает сколько лет тому назад; грустное, роковое для меня время. Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил и как он меня тогда встретил. Мне часто припоминаются теперь старые люди, конечно потому, что встречаюсь с новыми. Это была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, gentilhomme russe et citoyen du monde*[1] прежде всего, тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В полтораста лет предыдущей жизни русского барства за весьма малыми исключениями истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделясь от народа, они естественно потеряли и Бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные — индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, — каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года*. Тогда это был самый пленительный идеал народа. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только «логического течения идей» и от сердечной пустоты на родине.* Он отрекся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем.* Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои* и с

удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий писатель*, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великолепный рефлектёр. Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нем развита в высшей степени. Без сомнения, это был человек необыкновенный; но чем бы он ни был — писал ли свои записки, издавал ли журнал с Прудоном*, выходил ли в Париже на баррикады (что так комически описал в своих записках)*; страдал ли, радовался ли, сомневался ли; посылал ли в Россию в шестьдесят третьем году, в угоду полякам, свое воззвание к русским революционерам, а то же время не веря полякам и зная, что они его обманули, зная, что своим воззванием он губит сотни этих несчастных молодых людей; с наивностью ли неслыханною признавался в этом сам в одной из позднейших статей своих*, даже и не подозревая, в каком свете сам себя выставляет таким признанием, — всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был gentilhomme russe et citoyen du monde, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только*, а именно чрез разрыв с родной землей и с ее идеалами. Белинский, напротив, — Белинский был вовсе не gentilhomme, — о нет: (Он Бог знает от кого происходил. Отец его был, кажется, военным лекарем).*

Белинский был по преимуществу не рефлективная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда, во всю его жизнь. Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его* (потом, почти год спустя, мы разошлись — от разнообразных причин*, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного, — именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей.

Интернационалка в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо с знаменательного заявления: «Мы прежде всего общество атеистическое»*, то есть начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что одни разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему — начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма.* Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен). Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усумнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстановляет ее в неслыханном величии*, но на новых и уже адамантовых основаниях.

Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в беспрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге «Vie de Jésus»,[2] что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой*, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем.

— Да знаете ли вы, — взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, — знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и

подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел…

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.

— Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, — каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него всё лицо изменяется, точно заплакать хочет… Да поверьте же, наивный вы человек, — набросился он опять на меня, — поверь те же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну не-е-т! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате). — Ну нет; если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его…

— Ну да, ну да, — вдруг и с удивительною поспешностью согласился Белинский. — Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними.*

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были тогда всё французы: прежде всех Жорж Занд, теперь совершенно забытый Кабет, Пьер Леру и Прудон, тогда еще только начинавший свою деятельность. Этих четырех, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский. Фурье уже далеко не так уважался.* Об них толковалось у него по целым вечерам. Был тоже один немец, перед которым тогда он очень склонялся, — Фейербах*. (Белинский, не могший всю жизнь научиться ни одному иностранному языку*, произносил: Фиербах). О Штраусе* говорилось с благоговением.

При такой теплой вере в свою идею это был, разумеется, самый счастливейший из людей. О, напрасно писали потом, что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству*. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему

эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежнею теплою верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии или примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой m-me Гёгг[*], на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу.

Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была особого рода, — не от сомнений, не от разочарований, о нет, — а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России.[*] Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви[*]. Он сказал мне, что выходил гулять и идет домой.

— Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся[*]). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал мне дорогою:

— А вот как зароют в могилу (он знал, что у него чахотка), тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли.

В последний год его жизни[*] я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил, но я страстно принял всё учение его. Еще год спустя, в Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалиц[*], добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили всё: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем неповинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли всё, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного[*]. Кругом меня были именно те люди, которые, по вере Белинского, *не могли* не сделать своих преступлений, а

стало быть, были правы и только несчастнее, чем другие. Я знал, что весь русский народ называет нас тоже «несчастными» и слышал это название множество раз и из множества уст. Но тут было что-то другое, совсем не то, о чем говорил Белинский, и что слышится, например, теперь в иных приговорах наших присяжных. В этом слове «несчастные», в этом приговоре народа звучала другая мысль. Четыре года каторги была длинная школа; я имел время убедиться… Теперь именно об этом хотелось бы поговорить.

III
Среда

Кажется, одно общее ощущение всех присяжных заседателей в целом мире, а наших в особенности (кроме прочих, разумеется, ощущений), должно быть ощущение власти, или, лучше сказать, самовластия. Ощущение иногда пакостное, то есть в случае, если преобладает над прочими. Но хоть и в незаметном виде, хоть и подавленное целою массою иных благороднейших ощущений, — все-таки оно должно крепиться в каждой заседательской душе, даже при самом высоком сознании своего гражданского долга. Мне думается, что это как-нибудь выходит из самых законов природы, и потому, я помню, ужасно мне было любопытно в одном смысле, когда только что установился у нас новый (правый) суд. Мне в мечтаниях мерещились заседания, где почти сплошь будут заседать, например, крестьяне, вчерашние крепостные. Прокурор, адвокаты будут к ним обращаться, заискивая и заглядывая, а наши мужички будут сидеть и про себя помалчивать: «Вон оно как теперь, захочу, значит, оправдаю, не захочу — в самое Сибирь».

И вот, однако же, замечательно теперь, что они не карают, а сплошь оправдывают. Конечно, это тоже пользование властью, даже почти через край, но в какую-то одну сторону, сантиментальную, что ли, не разберешь, — но общую, чуть не предвзятую у нас повсеместно, точно все сговорились. Общность «направления» не подвержена сомнению. В том и задача, что мания оправдания во что бы ни стало не у одних только крестьян, вчерашних униженных и оскорбленных, а захватила сплошь всех русских присяжных, даже самого высокого подбора, нобльменов и профессоров университета. Уже одна эта общность представляет прелюбопытную тему для размышлений и наводит на многообразные и, пожалуй, странные иногда догадки.

Недавно в одной из наших влиятельнейших газет, в очень скромной и очень благонамеренной статейке, была мельком проведена догадка: уж не наклонны ли наши присяжные, как люди, вдруг и ни с того ни с сего ощутившие в себе столько могущества (точно с неба упало), да еще после такой вековой приниженности и забитости, — не наклонны ли

они подсолить вообще «властям», при всяком удобном случае, так, для игривости или, так сказать, для контраста с прошедшим, прокурору хоть например? Догадка недурная и тоже не лишенная некоторой игривости, но, разумеется, ею нельзя всего объяснить.

«Просто жаль губить чужую судьбу; человеки тоже. Русский народ жалостлив», — разрешают иные, как случалось иногда слышать.

Я, однако же, всегда думал, что в Англии, например, народ тоже жалостлив; и если и нет в нем, так сказать, слабосердости, как в нашем русском народе, то по крайней мере гуманность есть; есть сознание и живо чувство христианского долга к ближнему, и, может быть, доведенные до высокой степени, до твердого и самостоятельного убеждения; даже, может быть, более твердого, чем у нас, взяв во внимание тамошнюю образованность и вековую·самостоятельность. Там ведь не «вдруг с неба» им столько власти свалилось. Да и самый суд-то присяжных они сами себе выдумали, ни у кого не занимали, веками утвердили, из жизни вынесли, не в виде дара получили.*

А между тем там присяжный заседатель понимает, чуть только займет свое место в зале суда, что он не только чувствительный человек с нежным сердцем, но прежде всего гражданин. Он думает даже (верно ли, нет ли), что исполнение долга гражданского даже, пожалуй, и выше частного сердечного подвига. Еще надавно общий гул пошел у них по всему королевству, когда присяжные оправдали одного явного вора. Общее движение страны доказало, что если и там возможны такие же приговоры, как и у нас, то появляются редко, как случаи исключительные и немедленно возмущающие общее мнение. Там присяжный понимает прежде всего, что в руках его знамя всей Англии, что он уже перестает быть частным лицом, а обязан изображать собою мнение страны. Способность быть гражданином — это и есть способность возносить себя до целого мнения страны. О, и там есть «жалостливость» приговора, и там принимается во внимание «заедающая среда» (кажется, любимое теперь учение наше) — но до известного предела, насколько допускает здоровое мнение страны и степень просвещения ее христианскою нравственностию (а степень-то, кажется, довольно высокая). Но зато, и весьма часто, тамошний присяжный, скрепя свое сердце, произносит приговор обвинительный, понимая прежде всего, что обязанность его состоит в том преимущественно, чтобы засвидетельствовать своим приговором перед

всеми согражданами, что в старой Англии, за которую всякий из них отдаст свою кровь, порок по-прежнему называется пороком и злодейство — злодейством и что нравственные основы страны всё те же, крепки, не изменились, стоят, как и прежде стояли.

— Даже хоть и предположить, — слышится мне голос, — что крепкие-то ваши основы (то есть христианские) всё те же и что вправду надо быть прежде всего гражданином, ну и там держать знамя и проч., как вы наговорили, — хоть и предположить пока без спору, подумайте, откуда у нас взяться гражданам-то? Ведь сообразить только, что было вчера! Ведь гражданские-то права (да еще какие!) на него вдруг как с горы скатились. Ведь они придавили его, ведь они пока для него только бремя, бремя!

— Конечно, есть правда в вашем замечании, — отвечаю я голосу, несколько повеся нос, — но ведь опять-таки русский народ…

— Русский народ? Позвольте, — слышится мне другой голос, — вот, говорят, что дары-то с горы скатились и его придавили. Но ведь он не только, может быть, ощущает, что столько власти он получил как дар, но и чувствует, сверх того, что и получил-то их даром, то есть что не стоит он этих даров пока. Заметьте, это вовсе не значит, что и в самом деле он не стоит этих даров и что *не надо* или *рано* было одарять его; совсем даже напротив: это сам народ в своей смиренной совести сознает, что он недостоин даров таких, — и это смиренное, но высокое сознание народное о своей недостойности есть именно залог того, что он-то их и достоин. А покамест, в смирении своем, народ смущен. Кто заглядывал в сокровенные тайники его сердца? Может ли у нас хоть кто-нибудь сказать, что вполне знаком с русским народом? Нет, тут не одна только жалостливость и слабосердость, как изволите вы насмехаться. Тут сама эта власть страшна! Испугала нас эта страшная власть над судьбой человеческою, над судьбой родных братьев, и, пока дорастем до вашего гражданства, мы милуем. Из страха милуем. Мы сидим присяжными и, может быть, думаем: «Сами-то мы лучше ли подсудимого? Мы вот богаты, обеспечены, а случись нам быть в таком же положении, как он, так, может, сделаем еще хуже, чем он, — мы и милуем». Так ведь это еще, может быть, хорошо-с, умиление-то это сердечное. Это, может быть, залог к чему-нибудь такому высшему христианскому в будущем, чего еще и не знает мир до сих пор!

«Это отчасти славянофильский голос», — рассуждаю я про себя.

Мысль действительно утешительная, а догадка о смирении народном перед властью, полученною даром и дарованною пока «недостойному», уж конечно почище догадки о желании «поддразнить прокурора», хотя всё-таки и эта догадка продолжает мне нравиться своим реализмом (конечно, принимая ее более в виде частного случая, как выставлял, впрочем, и сам автор ее), но… но вот что наиболее смущает меня, однако: что это наш народ вдруг стал бояться так своей жалости? «Больно, дескать, очень приговорить человека».* Ну и что ж, и уйдите с болью. Правда выше вашей боли.

В самом деле, ведь если уж мы считаем, что сами иной раз еще хуже преступника, то тем самым признаемся и в том, что наполовину и виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед нами. Ведь если бы мы все были лучше, то и он бы был лучше и не стоял бы теперь перед нами…

— Так вот тут-то и оправдать?

Нет, напротив: именно тут-то и надо сказать правду и зло назвать злом; но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой все теперь так боятся и с которою мы выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием. Если истинна и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшею. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. А так-то бежать от собственной жалости и, чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать — ведь это легко. Ведь этак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем «среда виновата». Дойдем до того, по клубку, что преступление сочтем даже долгом, благородным протестом против «среды». «Так как общество гадко устроено, то в таком обществе нельзя ужиться без протеста и без преступлений». «Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках». Ведь вот что говорит учение о среде в противоположность христианству, которое, вполне признавая давление среды и провозгласивши милосердие к согрешившему, ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается.

Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в

устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет — так убить другого, чтобы достать табаку. Помилуйте: развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их — так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать? Да неужели вы не прислушивались к голосам адвокатов: «Конечно, дескать, нарушен закон, конечно, это преступление, что он убил неразвитого, но, господа присяжные, возьмите во внимание и то…» и т. д. Ведь уже почти раздавались подобные голоса, да и не почти…

— Ну, вы, однако же, — слышится мне чей-то язвительный голос, — вы, кажется, народу новейшую философию среды навязываете, это как же она к нему залетела?

Ведь эти двенадцать присяжных иной раз сплошь из мужиков сидят и каждый из них за смертный грех почитает в пост оскоромиться. Вы бы уже прямо обвиняли их в социальных тенденциях.

«Конечно, конечно, где же им до „среды“, то есть сплошь-то всем, — задумываюсь я, — но ведь идеи, однако же, носятся в воздухе, в идее есть нечто проницающее…»

— Вот на! — хохочет язвительный голос.

— А что, если наш народ особенно наклонен к учению о среде, даже по существу своему, по своим, положим, хоть славянским наклонностям? Что, если именно он-то и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов?

Язвительный голос хохочет еще громче, но как-то выделанно.

Нет, тут с народом пока еще только фортель, а не «философия среды». Тут есть одна ошибка, один обман, и в этом обмане много соблазна.

Обман этот можно разъяснить в таком виде, примером по крайней мере.

Положим, народ называет осужденных «несчастными», подает им гроши и калачи. Что же хочет он этим сказать, вот уже, может быть, в продолжение веков? Христианскую ли правду или правду «среды»?

Именно тут-то и камень преткновения, именно тут-то и скрывается тот рычаг, за который с успехом мог бы ухватиться пропагатор «среды».

Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются, — до тех пор только и может жить сильнейшею живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких сокрытых в русском народе идей — идей русского народа — и принадлежит название преступления несчастием, преступников — несчастными.

Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе провозглашают ее теперь лишь философы и толковники. Народ же наш провозгласил ее еще задолго до своих философов и толковников. Но из этого не следует, чтобы он не мог быть сбит с толку ложным развитием этой идеи толковником, временно, по крайней мере с краю. Окончательный смысл и последнее слово останутся, без сомнения, всегда за ним, но *временно* — может быть иначе.

Короче, этим словом «несчастные» народ как бы говорит «несчастным»: «Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны.* Будь мы на вашем месте — может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступления ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас молимся. А пока берите, „несчастные“, гроши наши; подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей».

Согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о «среде»: «Общество скверно, потому и мы скверны; но мы богаты, мы обеспечены, нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы — сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. Итак, есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе».

Вот в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил.

Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его беспрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба — вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. «Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше». Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастии преступника русский народ.

Представьте же теперь, что если сам преступник, слыша от народа, что он «несчастный», сочтет себя только несчастным, а не преступником. Вот тогда-то и отшатнется от такого лжетолкования народ и назовет его изменою народной правде и вере.

Я бы мог представить и примеры тому, но отложим их пока и скажем так.

Преступник и намеревающийся совершить преступление — это два разные лица, но одной категории. Что же, если приготовляясь к преступлению сознательно, преступник скажет себе: «Нет преступления!» Что, назовет его народ «несчастным»?

Может, и назовет; без сомнения, назовет; народ жалостлив; да и ничего нет несчастнее такого преступника, который даже перестал себя считать за преступника: это животное, это зверь. Что ж в том, что он не понимает, что он животное и заморил в себе совесть? Он только вдвое несчастнее. Вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее. Народ пожалеет и его, но не откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника «несчастным», не переставал его считать за преступника! И не было бы у нас сильнее беды, как если бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: «Нет, не виновен, ибо нет „преступления“!»

Вот наша вера, наша общая вера, хотелось бы мне сказать; вера всех уповающих и ожидающих. Прибавлю еще два слова.

Я был в каторге и видал преступников, «решеных» преступников. Повторяю, это была долгая школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником.[*] С виду это был страшный и жестокий народ.

«Куражились», впрочем, только из глупеньких, новенькие, и над ними смеялись. Большею частью народ был мрачный, задумчивый. Про преступления свои никто не говорил. Никогда не слыхал я никакого ропота. О преступлениях своих даже и нельзя было вслух говорить. Случалось, что раздавалось чье-нибудь слово с вызовом и вывертом, и — «вся каторга», как один человек, осаживала выскочку. Про *это* не принято было говорить. Но, верно говорю, может, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего. Я видал их одиноко задумчивых, я видал их в церкви молящихся перед исповедью; прислушивался к отдельным внезапным словам их, к их восклицаниям; помню их лица, — о, поверьте, никто из них не считал себя правым в душе своей!

Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость. Но все-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу: строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче[*],— легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же. Вы не верите? Над вами же, над судом вашим, над судом всей страны! Вы вливаете в их душу безверие в правду народную, в правду Божию; оставляете его смущенного… Он уходит и думает: «Э, да вот как теперь, нету строгости. Поумнели, знать. Боятся, может. Значит, оно можно и в другой раз так же. Понятно, коли я был в такой нужде — как же было не своровать».

И неужто вы думаете, что, отпуская всех сплошь невиновными или «достойными всякого снисхождения», вы тем даете им шанс исправиться? Станет он вам исправляться! Какая ему беда? «Значит, пожалуй, я и не виновен был вовсе» — вот что он скажет *в конце концов.* Сами же вы натолкнете его на такой вывод. Главное то, что вера в закон и в народную правду расшатывается.

Еще недавно я жил несколько лет сряду за границей. Когда я выехал из России, новый суд только что у нас начинался. С какой жадностью я читал там всё, что касалось русских судов[*], в наших газетах. За границей я тоже с горечью смотрел на наших абсентеистов[*]; на детей их, не знающих родного языка или забывающих его. Мне ясно было, что половина их самою силою вещей обратится под конец в

эмигрантов. Об этом мне всегда было больно думать: столько сил, столько, может быть, лучших людей, а у нас так нуждаются в людях! Но иногда, выходя из, читальной залы, ей-богу, господа, я невольно мирился с абсентеизмом и абсентеистами. Сердце поднималось до боли. Читаешь — там оправдали жену, убившую мужа. Преступление явное, доказанное; она сознается сама: «Нет, не виновна». Там молодой человек разламывает кассу и крадет деньги. «Влюблен, дескать, очень было надо было денег добыть, любовнице угодить». — «Нет, не виновен». И хоть бы все эти случаи оправдывались состраданием, жалостью: то-то и есть, что не понимал я причин оправдания*, путался. Впечатление выносилось смутное и — почти оскорбительное. В эти злые минуты мне представлялась иногда Россия какой-то трясиной, болотом, на котором кто-то затеял построить дворец. Снаружи почва как бы и твердая, гладкая, а между тем это нечто вроде поверхности какого-нибудь горохового киселя, ступите — и так и скользнете вниз, в самую бездну. Я очень упрекал себя за мое малодушие; меня ободряло, что все-таки я издали могу ошибаться, что все-таки я покамест тот же абсентеист, не вижу близко, не слышу ясно…

И вот я давно уже снова на родине.

«Да полно, жалко ли им в самом деле» — ведь вот вопрос! Не смейтесь, что я придаю такую важность ему. «Жалость» по крайней мере хоть что-нибудь и как-нибудь объясняет, хоть из потемок выводит, а без этого последнего объяснения — одно недоумение, точно мрак, в котором живет какой-то сумасшедший.

Мужик забивает жену, увечит ее долгие годы, ругается над нею хуже, чем над собакой. В отчаянии решившись на самоубийство, идет она почти обезумевшая в свой деревенский суд. Там отпускают ее, промямлив ей равнодушно: «Живите согласнее». Да разве это жалость? Это какие-то тупые слова проснувшегося от запоя пьяницы, который едва различает, что вы стоите пред ним, глупо и беспредметно машет на вас рукой, чтобы вы не мешали, у которого еще не ворочается язык, чад и безумие в голове.

История этой женщины, впрочем, известна, слишком недавняя. Ее читали во всех газетах и, может быть, еще помнят. Просто-запросто жена от побоев мужа повесилась; мужа судили и нашли достойным снисхождения.* Но мне долго еще мерещилась вся обстановка, мерещится и теперь.

Я всё воображал себе его фигуру: сказано, что он высокого роста, очень плотного сложения, силен, белокур. Я прибавил бы еще — с жидкими волосами. Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредоточенный; говорит мало и редко, слова роняет как многоценный бисер и сам ценит их прежде всех. Свидетели показали, что характера был жестокого: поймает курицу и повесит ее за ноги, вниз головой, так, для удовольствия: это его развлекало: превосходная характернейшая черта! Он бил жену чем попало несколько лет сряду — веревками, палками. Вынет половицу, просунет в отверстие ее ноги, а половицу притиснет и бьет, и бьет. Я думаю, он и сам не знал, за что ее бьет, так, по тем же, вероятно, мотивам, по которым и курицу вешал. Морил тоже голодом, по три дня не давал ей хлеба. Положит на полку хлеб, ее подзовет и скажет: «Не смей трогать хлеба, это *мой* хлеб», — чрезвычайно характерная тоже черта! Она побиралась с десятилетним ребенком у соседей: дадут хлебца — поедят, не дадут — сидят голодом. Работу с нее спрашивал; всё она исполняла неуклонно, бессловесно, запуганно и стала наконец как помешанная. Я воображаю и ее наружность: должно быть, очень маленькая, исхудавшая, как щепка, женщина. Иногда это бывает, что очень большие и плотные мужчины, с белым, пухлым телом, женятся на очень маленьких, худеньких женщинах (даже наклонны к таким выборам, я заметил), и так странно смотреть на них, когда они стоят или идут вместе. Мне кажется, что если бы она забеременела от него в самое последнее время, то это была бы еще характернейшая и необходимейшая черта, чтобы восполнить обстановку; а то чего-то как будто недостает. Видали ли вы, как мужик сечет жену? Я видал. Он начинает веревкой или ремнем. Мужицкая жизнь лишена эстетических наслаждений — музыки, театров, журналов; естественно, надо чем-нибудь восполнить ее. Связав жену или забив ее ноги в отверствие половицы, наш мужичок начинал, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, то есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему бить? Знаете, господа, люди родятся в разной обстановке: неужели вы не поверите, что эта женщина в другой обстановке могла бы быть какой-нибудь Юлией или Беатриче из Шекспира*, Гретхен из Фауста?* Я ведь не говорю, что была, — и было бы это очень смешно утверждать, — но ведь могло быть в зародыше и у ней нечто очень благородное в душе,

пожалуй, не хуже, чем и в благородном сословии: любящее, даже возвышенное сердце, характер, исполненный оригинальнейшей красоты. Уже одно то, что она столько медлила наложить на себя руки, показывает ее в таком тихом, кротком, терпеливом, любящем свете. И вот эту-то Беатриче или Гретхен секут, секут как кошку! Удары сыплются всё чаще, резче, бесчисленнее; он начинает разгорячаться, входить во вкус. Вот уже он озверел совсем и сам с удовольствием это знает. Животные крики страдалицы хмелят его как вино: «Ноги твои буду мыть, воду эту пить», — кричит Беатриче нечеловеческим голосом, наконец затихает, перестает кричать и только дико как-то кряхтит, дыхание поминутно обрывается, а удары тут-то и чаще, тут-то и садче… Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с трех последних ужасных ударов на ее спине, — баста! Отходит, садится за стол, воздыхает и принимается за квас. Маленькая девочка, дочь их (была же у них дочь!), на печке в углу дрожит, прячется: она слышала, как кричала мать. Он уходит. К рассвету мать очнется, встанет, охая и вскрикивая при каждом движении, идет доить корову, тащится за водой, на работу.

А он ей уходя своим методическим, медленным и важным голосом: «Не смей есть этот хлеб, это *мой* хлеб».

Под конец ему нравилось тоже вешать ее за ноги, как вешал курицу. Повесит, должно быть, а сам отойдет, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг опять возьмет ремень и начнет, и начнет висячую… А девочка всё дрожит, скорчившись на печи, дико заглянет украдкой на повешенную за ноги мать и опять спрячется.

Она удавилась в мае поутру, должно быть, в ясный весенний день. Ее видели накануне избитую, совсем обезумевшую. Ходила она тоже перед смертью в волостной суд, и вот там-то и промямлили ей: «Живите согласнее».

Когда она повесилась и захрипела, девочка закричала ей из угла: «Мама, на что ты давишься?» Потом робко подошла, окликнула висевшую, дико осмотрела ее и несколько раз в утро подходила из угла на нее смотреть, до самых тех пор, пока воротился отец.

И вот он перед судом — важный, пухлый, сосредоточенный; запирается во всем: «Душа в душу жили», — роняет он ценным бисером редкие слова. Присяжные выходят и по «кратком совещании» выносят приговор: «Виновен, но *достоин снисхождения*».

Заметьте, что девочка свидетельствовала против отца. Она рассказала всё и исторгла, говорят, слезы присутствующих. Если бы не «снисхождение» присяжных, то его сослали бы на поселение в Сибирь. Но с «снисхождением» ему только восемь месяцев пробыть в остроге, а там воротится домой и потребует к себе свидетельствовавшую против него за мать девочку. Будет кого опять за ноги вешать.

«Достоин снисхождения!» И ведь этот приговор дан зазнамо. Знали ведь, что ожидает ребенка.* К кому, к чему снисхождение? Чувствуешь себя как в каком-то вихре; захватило вас и вертит, и вертит.

Постойте, расскажу еще анекдот.

Когда-то, еще до новых судов (впрочем, незадолго до них), прочитал я в наших газетах вот какой один фактик: мать таскала на руках ребенка годового или четырнадцати месяцев. В этот возраст идут зубки; дети нездоровы, плачут и очень мучаются. Надоел ребенок матери, может, и дела у ней было много, а тут таскай его на руках и слушай его раздирающий плач. Озлилась она. А впрочем, неужто бить за это такого маленького ребеночка? Ведь так жалко прибить его, и что он смыслит? Ведь он так беспомощен, зависит от последней пылинки… Ведь и не уймешь, коли прибьешь: он зальется своими слезками и вас же обхватит ручками, а то вас же начнет целовать, и плачет, и плачет. Но она не прибила его, а там в комнате кипел самовар. Она поднесла ручку ребенка под самый кран* и отвернула кран. Она выдержала ручку под кипятком секунд десять.

Это факт, я читал. Но вот представьте, что это случилось теперь и эту женщину вызвали в суд. Присяжные удаляются и «по кратком совещании» выносят приговор: «Достойна всякого снисхождения».

Ну, представьте это себе; я по крайней мере матерей приглашаю представить. То-то, должно быть, вертелся бы тут адвокат:

— Господа присяжные, конечно, случай этот нельзя назвать вполне гуманным, но возьмите дело в его целости, представьте среду, обстановку. Эта женщина бедна, одна в доме работница, терпит неприятности. Ей не на что было даже няньку нанять. Естественно, что под такую минуту, когда злоба от заевшей среды входит, так сказать, внутрь, господа, естественно, что она и поднесла ручку под кран самовара… ну и… и…

О, конечно, я понимаю всю полезность и всю высоту адвокатского звания, всеми уважаемого. Но нельзя же не взглянуть иногда с одной

точки, — согласен, легкомысленной, но и невольной: ведь какова же иногда их должность каторжная[*], подумаешь про себя, вертится, изворачивается как уж, лжет против своей совести, против собственного убеждения, против всякой нравственности, против всего человеческого! Нет, подлинно недаром деньги берут.

— Да подите! — восклицает вдруг давешний язвительный голос. — Ведь всё это вздор и одна только ваша фантазия. Никогда не выносили такого приговора присяжные. Никогда не вертелся адвокат. Всё напредставили.

А жена, привешенная вверх ногами как курица, а «это *мой* хлеб, не смей есть его», а девочка, дрожащая на печи, полчаса слушающая крики матери, а «мама, на что ты давишься?» — это разве не то же самое, что и ручка под кипятком? Ведь *почти* то же самое!

«Неразвитость, тупость, пожалейте, среда», — настаивал адвокат мужика. Да ведь их миллионы живут и не все же вешают жен своих за ноги! Ведь все-таки тут должна быть черта… С другой стороны, вот и образованный человек, да сейчас повесит. Полноте вертеться, господа адвокаты, с вашей «средой».

IV
Нечто личное

Меня несколько раз вызывали написать мои литературные воспоминания. Не знаю, напишу ли, да и память слаба. Да и грустно вспоминать; я вообще не люблю вспоминать[*]. Но некоторые эпизоды моего литературного поприща мне поневоле представляются с чрезвычайною отчетливостью, несмотря на слабую память. Вот, например, один анекдот.

Раз весной поутру я зашел к покойному Егору Петровичу Ковалевскому[*]. Ему очень нравился мой роман «Преступление и наказание», появившийся тогда в «Русском вестнике»[*]. Он с жаром хвалил его и передал мне один драгоценный для меня отзыв одного лица, имени которого не могу выставить. Тем временем в комнату вошли один за другим два издателя двух журналов.[*] Один из этих журналов приобрел впоследствии небывалое доселе ни у одного из наших ежемесячных изданий число подписчиков, но тогда только лишь начинался. Другой, напротив, уже оканчивал замечательное и влиятельное на литературу и публику существование свое; но тогда, в то утро, его издатель еще не знал, что издание его уже так близко к своему берегу. Вот с этим-то издателем мы вышли в другую комнату и остались наедине.

Не называя его имени, скажу лишь, что первая встреча моя с ним[*] в жизни была чрезвычайно горячая, из необыкновенных, для меня вечно памятная. Может, помнит и он. Тогда еще он не был издателем. Потом произошли многие недоразумения[*]. По возвращении моем из Сибири мы очень редко встречались, но раз мельком он сказал мне чрезвычайно теплое слово и по одному поводу указал на одни стихи — лучшие, что он написал когда-либо.[*] Прибавлю, что видом и обычаем никто менее его не походил на поэта, да еще из «страдающих». А между тем он один из самых страстных, мрачных и «страдающих» наших поэтов.

— Ну, вот мы вас обругали, — сказал он мне (то есть в его журнале за «Преступление и наказание»).[*]

— Знаю, — сказал я.

— А знаете почему?

— По принципу, должно быть.

— За Чернышевского.

Я остолбенел от удивления:

— NN, который написал критическую статью, — продолжал издатель, — сказал мне так: «Роман его хорош, но так как он в своей повести, два года назад, не постыдился надругаться над несчастным ссыльным и окарикатурить его, то я его роман обругаю».

— Так это всё та же глупая сплетня о «Крокодиле»[*]? — вскричал я, сообразив. — Да неужто и вы верите? Читали вы эту мою повесть сами, «Крокодила»?

— Нет, не читал.

— Да ведь всё это сплетня, самая пошлейшая сплетня, какая только может случиться. Ведь нужно иметь ум и поэтическое чутье Булгарина[*], чтобы в этой безделке, повести для смеху, прочитать между строк такую «гражданскую» аллегорию, да еще на Чернышевского! Если б вы знали, как глупа такая натяжка! Никогда, впрочем, не прощу себе, что два года назад не протестовал против этой подлой клеветы, когда только что ее выпустили!

Этот разговор мой с издателем уже давно угаснувшего теперь журнала происходил лет семь тому назад, и вот я до сих пор еще не протестовал против «клеветы» — то пренебрегал, то «не было времени». Между тем эта низость, мне приписываемая, так и осталась в воспоминаниях иных особ несомненным фактом, имела ход в литературных кружках, проникла и в публику и уже не раз приносила мне неприятности. Пора сказать обо всем этом хоть одно слово, тем более что оно теперь кстати, и хотя голословно, но опровергнуть клевету, впрочем тоже в высшей степени голословную. Долгим молчанием моим и небрежностью я до сих пор как бы подтверждал ее.

С Николаем Гавриловичем Чернышевским я встретился в первый раз в пятьдесят девятом году,[*] в первый же год по возвращении моем из Сибири, не помню где и как. Потом иногда встречались, но очень нечасто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочем, подавали друг другу руку. Герцен мне говорил, что Чернышевский произвел на него неприятное впечатление[*], то есть наружностью, манерою. Мне наружность и манера Чернышевского нравились.

Однажды утром я нашел у дверей моей квартиры, на ручке замка, одну из самых замечательных прокламаций изо всех, которые тогда

появлялись; а появлялось их тогда довольно. Она называлась «К молодому поколению». Ничего нельзя было представить нелепее и глупее. Содержания возмутительного, в самой смешной форме[*], какую только их злодей мог бы им выдумать, чтобы их же зарезать. Мне ужасно стало досадно и было грустно весь день. Всё это было тогда еще внове и до того вблизи, что даже и в этих людей вполне всмотреться было тогда еще трудно. Трудно именно потому, что как-то не верилось, чтобы под всей этой сумятицей скрывался такой пустяк. Я не про движение тогдашнее говорю, в его целом, а говорю только про людей. Что до движения, то это было тяжелое, болезненное, но роковое своею историческою последовательностию явление, которое будет иметь свою серьезную страницу в петербургском периоде нашей истории. Да и страница эта, кажется, еще далеко не дописана.

И вот мне, давно уже душой и сердцем не согласному ни с этими людьми, ни со смыслом их движения, — мне вдруг тогда стало досадно и почти как бы стыдно за их неумелость: «Зачем у них это так глупо и неумело выходит?» И какое мне было до этого дело? Но я жалел не о неудаче их. Собственно разбрасывателей прокламаций я не знал ни единого, не знаю и до сих пор; но тем-то и грустно было, что явление это представлялось мне не единичным, не глупенькою проделкой таких-то вот именно лиц, до которых нет дела. Тут подавлял один факт: уровень образования, развития и хоть какого-нибудь понимания действительности, подавлял ужасно. Несмотря на то что я уже три года жил в Петербурге и присматривался к иным явлениям, — эта прокламация в то утро как бы ошеломила меня, явилась для меня совсем как бы новым неожиданными откровением: никогда до этого дня не предполагал я такого ничтожества! Пугала именно степень этого ничтожества. Пред вечером мне вдруг вздумалось отправиться к Чернышевскому. Никогда до тех пор ни разу я не бывал у него и не думал бывать, равно как и он у меня.

Я вспоминаю, что это было часов в пять пополудни.

Я застал Николая Гавриловича совсем одного, даже из прислуги никого дома не было, и он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвычайно радушно и привел к себе в кабинет.[*]

— Николай Гаврилович, что это такое? — вынул я прокламацию.

Он взял ее как совсем незнакомую ему вещь и прочел. Было всего строк десять.

— Ну, что же? — спросил он с легкой улыбкой.

— Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их и прекратить эту мерзость?

Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал:

— Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?

— Именно не предполагал, — отвечал я, — и даже считаю ненужным вас в том уверять. Но во всяком случае их надо остановить во что бы ни стало. Ваше слово для них веско, и, уж конечно, они боятся вашего мнения.

— Я никого из них не знаю.

— Уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них.*

— Может, и не произведет действия. Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны.

— И однако, всем и всему вредят.

Тут позвонил другой гость, не помню кто. Я уехал. Долгом считаю заметить, что с Чернышевским я говорил искренно и вполне верил, как верю и теперь, что он не был «солидарен» с этими разбрасывателями. Мне показалось, что Николаю Гавриловичу не неприятно было мое посещение; через несколько дней он подтвердил это, заехав ко мне сам*. Он просидел у меня с час, и, признаюсь, я редко встречал более мягкого и радушного человека, так что тогда же подивился некоторым отзывам о его характере, будто бы жестком и необщительном. Мне стало ясно, что он хочет со мною познакомиться, и, помню, мне было это приятно. Потом я был у него еще раз, и он у меня тоже. Вскоре по некоторым моим обстоятельствам я переселился в Москву* и прожил в ней месяцев девять. Начавшееся знакомство, таким образом, прекратилось. Засим произошел арест Чернышевского и его ссылка*. Никогда ничего не мог я узнать о его деле; не знаю и до сих пор.

Года полтора спустя мне вздумалось написать одну фантастическую сказку, вроде подражания повести Гоголя «Нос»*. Никогда еще не пробовал я писать в фантастическом роде. Это была чисто литературная шалость, единственно для смеху. Представилось, действительно, несколько комических положений, которые мне захотелось развить. Хоть и не стоит того, но расскажу сюжет, чтобы

понятно было, что потом из него вывели. Тогда в Петербурге в Пассаже какой-то немец показывал за деньги крокодила. Один петербургский чиновник, пред поездкой за границу, отправляется с своей молодой женой и с неотлучным другом своим в Пассаж, и между прочим все заходят посмотреть крокодила. Чиновник этот — среднего круга, но из тех, которые имеют некоторое независимое состояние, еще молодой, но заеденный самолюбием; прежде всего дурак, как и незабвенный майор Ковалев, потерявший свой нос. Но комически уверен в своих великих достоинствах; полуобразован, но считает себя чуть не за гения, почитается в своем департаменте за человека пустейшего и постоянно обижен всеобщим к нему невниманием. Как бы в отместку за это муштрует и тиранизирует своего бесхарактерного друга, величаясь над ним своим умом. Друг ненавидит его, но переносит всё потому, что втайне ему нравится его жена. В Пассаже, пока эта дамочка, молоденькая и хорошенькая, чисто петербургского типа, глупенькая кокетка среднего круга, засмотрелась на показывавшихся вместе с крокодилом обезьян, гениальный супруг ее как-то раздразнил доселе сонного и лежавшего как колода крокодила: тот вдруг разевает пасть и проглатывает его всего целиком, без остатку. Вскоре оказывается, что великий человек не потерпел от того ни малейшего повреждения; напротив, по свойственному ему упрямству объявил из крокодила, что ему очень хорошо в нем сидеть. Друг и жена удаляются хлопотать по начальству о его освобождении. Для этого представлялось совершенно необходимым убить крокодила, взрезать его и освободить великого человека; но притом, конечно, следовало вознаградить за крокодила немца-хозяина и его неразлучную муттер. Немец сначала в негодовании и отчаянии из боязни, что его крокодил, проглотивший «ганц чиновник», может умереть; но скоро догадывается, что проглоченный член петербургской администрации и оставшийся притом в живых может доставить ему впредь чрезвычайный сбор во всей Европе. Он требует за крокодила огромную сумму и, сверх того, чин русского полковника. С другой стороны, начальство приходит в немалое затруднение, что слишком уж новый по министерству случай и что подобных примеров до сих пор не бывало. «Если бы нам хоть какой-нибудь подобный примерчик прежде, то можно бы действовать, а то затруднительно». Подозревает тоже, что чиновник залез в крокодила вследствие каких-нибудь запрещенных, либеральных тенденций.

Супруга между тем стала находить, что положение ее «вроде как бы вдовы» не лишено интереса. Проглоченный супруг ее между тем объявляет своему другу окончательно, что ему несравненно лучше оставаться в крокодиле, чем на службе, ибо теперь он уже поневоле обратит на себя внимание, чего никогда прежде не мог добиться. Он настаивает, чтобы жена его завела вечера и чтобы на эти вечера его приносили вместе с крокодилом в ящике. Он уверен, что на вечера эти бросится весь Петербург и все государственные сановники — смотреть новый феномен. Тут-то он и намерен выиграть: «Буду изрекать правду и учить; государственному мужу подам совет, пред министром выкажу способности», — говорит он, считая себя как бы уже не от мира сего и уже вправе давать советы и изрекать приговоры. На осторожный, но ядовитый вопрос друга: «А ну как если он неожиданным каким-нибудь процессом, которого, впрочем, следует ожидать, переварится во что-нибудь такое, чего не ожидает», — великий человек отвечает, что уже думал об этом; но с негодованием будет сопротивляться этому весьма возможному по законам природы явлению. Супруга, однако же, не соглашается давать вечера с такою целью, хотя ей и нравится мысль о них: «Как же это моего мужа будут приносить ко мне в ящике?» — говорит она. К тому же и положение как бы вдовы ей всё более и более нравится. Она входит во вкус; в ней берут участие. К ней ездит начальник *ее* мужа и играет с ней в свои козыри… Вот первая часть этого шутовского рассказа — он недокончен. Когда-нибудь непременно докончу*, хоть я уже и забыл о нем и теперь должен был перечитать, чтобы припомнить.

Вот что, однако же, сделали из этой маленькой вещицы. Едва только рассказ появился в журнале «Эпоха» (в 1865 г.), как вдруг «Голос» в фельетоне сделал странную заметку.* Не помню буквально, да и слишком далеко справляться, но смысл был вроде того: «Напрасно, дескать, автор „Крокодила“ вступает на такой путь, это не принесет ему ни чести, ни ожидаемой выгоды» и проч. и проч. Затем несколько самых туманных и неприязненных колкостей. Я прочел мельком, ничего не понял, видел только, что много яду, но не знал за что. Этот туманный фельетонный отзыв сам по себе, разумеется, не мог повредить мне; из читателей всё равно никто бы его не понял, так же как и я; но вдруг неделю спустя Н. Н. С<трахов> сказал мне: «Знаете, что там думают? Там уверены, что ваш „Крокодил“ — аллегория, история ссылки

Чернышевского, и что вы хотели выставить и осмеять Чернышевского» Я хоть и удивился, но не очень обеспокоился, мало ли каких не бывает догадок? Мнение это показалось мне слишком единичным и натянутым, чтоб оно возымело ход, и я почел совершенно ненужным протестовать. Никогда не прощу себе этого, ибо мнение укрепилось и возымело ход Calomniez, il en restera toujours quelque chose.*[3]

Я, впрочем, убежден и теперь, что тут вовсе и не было клеветы, — да и за что, для чего? Я почти ни с кем в литературе не поссорился, по крайней мере очень не ссорился. Теперь, в эту минуту, я всего во второй раз, в двадцать семь лет моей литературной деятельности, говорю о себе лично. Просто тут была тупость, угрюмая, мнительная тупость, засевшая в какую-нибудь голову «с направлением». Я убежден, что эта многодумная голова совершенно уверена до сих пор, что не ошиблась и что я непременно глумился над несчастным Чернышевским. Убежден даже, что никакими объяснениями и извинениями не изменю взгляда ее в свою пользу даже и теперь. Но ведь зато она и многодумная голова. (Я, разумеется, не об Андрее Александровиче говорю*, в качестве редактора и издателя своей газеты, он тут, как и всегда, в стороне).

В чем же аллегория? Ну конечно — крокодил изображает собою Сибирь, самонадеянный и легкомысленный чиновник Чернышевского. Он попал в крокодила и всё еще питает надежду поучать весь мир. Бесхарактерный друг его, которого он деспотирует, это все здешние друзья Чернышевского. Хорошенькая, но глупенькая жена чиновника, радующаяся своему положению «как бы вдовы», это. Но тут уже так грязно, что я не хочу мараться и продолжать разъяснение аллегории. (А между тем ведь она укрепилась, и именно, может быть, последний-то намек и укрепился; я имею несомненные доказательства).

Значит, предположили, что я, сам бывший ссыльный и каторжный, обрадовался ссылке другого «несчастного», мало того написал на этот случай радостный пашквиль. Но где же тому доказательства; в аллегории? Но принесите мне что хотите. «Записки сумасшедшего», оду «Бог», — «Юрия Милославского», стихи Фета* — что хотите — и я берусь вам вывести тотчас же из первых десяти строк, вами указанных, что тут именно аллегория о франко-прусской войне* или пашквиль на актера Горбунова*, одним словом, на кого угодно, на кого прикажете. Вспомните, как в старину, в самом конце сороковых годов, например, цензора рассматривали рукописи и транспаранты: не было строчки, не

было точки, в которых бы не подозревалось чего-нибудь, какой-нибудь аллегории. Пусть лучше представят хоть что-нибудь из всей моей жизни для доказательства, что я похож на злого, бессердечного пашквилянта и что от меня можно ожидать таких аллегорий.

Именно поспешность и торопливость подобных бездоказательных выводов и свидетельствует, напротив, о некоторой низменности духа самих обвинителей, о грубости и негуманности взгляда их. Тут даже самое простодушие догадки не извинительно; что ж? Можно быть и простодушно низменным, и только.

Может быть, я ненавидел Чернышевского лично? Чтобы предупредить это обвинение, я нарочно рассказал выше о нашем кратком и радушном знакомстве. Скажут — этого мало и что я питал затаенную ненависть. Но пусть же выставят и предлоги к этой ненависти, если имеют что выставить. Их не было. С другой стороны, я убежден, что сам Чернышевский подтвердит темность моего рассказа о нашей встрече, если когда-нибудь прочтет его. И дай Бог, чтобы он получил возможность это сделать. Я так же тепло и горячо желаю того, как искренно сожалел и сожалею о его несчастии.

Но ненависть из-за убеждений, быть может?

Почему же? Чернышевский никогда не обижал меня своими убеждениями. Можно очень уважать человека, расходясь с ним в мнениях радикально. Тут, впрочем, я могу говорить не совсем голословно и имею даже маленькое доказательство. В одном из самых последних №№ прекратившегося в то время журнала «Эпоха» (чуть ли не в самом последнем) была помещена большая критическая статья о «знаменитом» романе Чернышевского «Что делать?» Эта статья замечательная и принадлежит известному перу.[*] И что же? В ней именно отдается всё должное уму и таланту Чернышевского. Собственно об романе его было даже очень горячо сказано. В замечательном же уме его никто и никогда не сомневался. Сказано было только в статье нашей об особенностях и уклонениях этого ума, но уже самая серьезность статьи свидетельствовала и о надлежащем уважении нашего критика к достоинствам разбираемого им автора. Теперь согласитесь: если бы была во мне ненависть из-за убеждений, я бы, конечно, не допустил в журнале статьи, в которой говорилось о Чернышевском с надлежащим уважением; на самом деле ведь я был редактором «Эпохи», а не кто другой.

Может быть, я, печатая ядовитую аллегорию, надеялся выиграть где-нибудь en haut lieu?[4] Но когда и кто может сказать про меня, что я заигрывал или выигрывал в этом смысле в каком-нибудь lieu, то есть продавал свое перо. Я думаю даже, что сам автор догадки не имел такой мысли, несмотря на всё свое простодушие. Да и не укрепилась бы она ни за что в литературном мире, если бы только в этом состояло обвинение.

Что же касается до возможности обвинения в пашквильной аллегории насчет иных каких-нибудь домашних обстоятельств Николая Гавриловича, то опять-таки повторю, что не хочу даже и прикасаться с этой точки к моему «оправданию», чтобы не вымараться…

Мне очень досадно, что на этот раз я заговорил о себе. Вот что значит писать литературные воспоминания, никогда не напишу их. Весьма сожалею, что несомненно надоел читателю; но я пишу дневник, дневник отчасти личных моих впечатлений, а как раз недавно я вынес одно «литературное» впечатление, косвенно вдруг напомнившее мне и этот забытый анекдот о забытом моем «Крокодиле».

На днях один из самых уважаемых мною людей, мнением которого я высоко дорожу, сказал мне:

— Я только что прочел статью вашу о «Среде» и о приговорах наших присяжных («Гражданин», № 2) Я с вами совершенно согласен, но статья ваша может произвести неприятное недоумение. Подумают, что вы за отмену суда присяжных и за новое вмешательство административной опеки.

Я был горестно изумлен. Это был голос человека в высшей степени беспристрастного и стоящего вне всяких литературных партий и «аллегорий».

— Неужели так можно истолковать мою статью! После этого ни об чем нельзя говорить. Экономическое и нравственное состояние народа по освобождении от крепостного ига — ужасно. Несомненные и в высшей степени тревожные факты о том свидетельствуют поминутно. Падение нравственности, дешевка, жиды-кабатчики, воровство и дневной разбой — всё это несомненные факты, и всё растет, растет. Ну что ж? Если кто-нибудь, тревожась духом и сердцем, возьмет перо и напишет, — что же, неужели закричат, что он крепостник и стоит за обратное закрепощение крестьян?

— Во всяком случае надо желать, чтобы народ имел полную

свободу сам выйти из грустного своего положения, безо всякой опеки и поворотов назад.

— Да непременно же так, и это именно моя мысль! И если бы даже от упадка народного (сами же они, оглядываясь иногда на себя, говорят теперь по местам: «Ослабели, ослабели!»), — если бы даже, говорю я, произошло какое-нибудь уже настоящее, несомненное несчастие народное, какое-нибудь огромное падение, большая беда — то и тут народ спасет себя сам, себя и нас, как уже неоднократно бывало с ним, о чем свидетельствует вся его история. Вот моя мысль. Именно — довольно вмешательств!. Но как, однако же, могут быть поняты и перетолкованы слова. Пожалуй и еще натолкнешься на аллегорию!

V
Влас

Помните ли Вы Власа? Он что-то мне вспоминается.

В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой,
На груди икона медная:
Просит он на божий храм.

У этого Власа, как известно, прежде «Бога не было»,

…побоями
В гроб жену свою вогнал
Промышляющих разбоями,
Конокрадов укрывал.

Даже и конокрадов — пугает нас поэт, впадая в тон набожной старушки. Ух ведь какие грехи! Ну и грянул же гром. Заболел Влас и видел видение, после которого поклялся пойти по миру и собирать на храм. Видел он ад-с, ни мало ни меньше:

Видел света преставление,
Видел грешников в аду:
Мучат бесы их проворные,
Жалит ведьма-егоза.
Ефиопы — видом черные
И как углие глаза
Те на длинный шест нанизаны
Те горячий лижут пол.

Одним словом, невообразимые ужасы, так даже, что страшно читать. «Но всего не описать», — продолжает поэт,

Богомолки, бабы умные,
Могут лучше рассказать.

О поэт! (к несчастию, истинный поэт наш) если бы вы не подходили к народу с вашими восторгами, про которые

— Богомолки, бабы умные,
Могут лучше рассказать, —

то не оскорбили бы и нас выводом, что вот из-за таких-то в конце концов бабьих пустяков

Вырастают храмы божии
По лицу земли родной.

Но хоть и по «глупости» своей ходит с котомкою Влас, но серьезность его страдания вы все-таки поняли; всё же вас поразила величавая фигура его. (Да ведь и поэт же вы; не могло быть иначе).

Сила вся души великая
В дело Божие ушла,—

великолепно говорите вы. Хочу, впрочем, верить, что вы вставили вашу насмешку невольно, страха ради либерального, ибо эта страшная, пугающая даже, сила смирения Власова, эта потребность самоспасения, эта страстная жажда страдания поразила и вас, общечеловека и русского gentilhomme'a*, и величавый образ народный вырвал восторг и уважение и из вашей высоколиберальной души!

Роздал Влас свое имение
Сам остался бос и гол

И сбирать на построение
Храма Божьего пошел
С той поры мужик скитается
Вот уж скоро *тридцать* лет,
Подаянием питается —
Строго держит свой обет
Полон скорбью неутешною
Смуглолиц, высок и прям[*],

(Чудо как хорошо!)

Ходит он стопой неспешною
По селеньям, городам.
Ходит с образом и с книгою,
Сам с собой все говорит
И железною веригою
Тихо на ходу звенит

Чудо, чудо как хорошо! Даже так хорошо, что точно и не вы писали; точно это не вы, а другой кто заместо вас кривлялся потом «на Волге», в великолепных тоже стихах, про бурлацкие песни.[*] А впрочем не кривлялись вы и «на Волге», разве только немножко: вы и на Волге любили общечеловека в бурлаке и действительно страдали по нем, то есть не по бурлаке собственно, а, так сказать, по общебурлаке. Видите ли-с, любить общечеловека значит наверно уж презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека. Я нарочно подчеркнул неизмеримо прекрасные стихи в этом шутовском (вето целом, уж извините меня) стихотворении вашем.

Я потому припомнил этого стихотворного Власа, что слышал на днях один удивительно фантастический рассказ про другого Власа, даже про двух, но уже совершенно особенных, даже неслыханных доселе Власов. Происшествие это истинное и уже по одной своей необыкновенности замечательное.

На Руси, по монастырям, есть, говорят, и теперь иные схимники, монахи — исповедники и советодатели. Хорошо или дурно это, нужно

ли монахов или не нужно их — про это в данную минуту не хочу рассуждать и не для того взял перо. Но так как мы живем в данной действительности, то ведь нельзя же выпихнуть из рассказа хотя бы даже и монаха, если на нем зиждется рассказ. Эти монахи-советодатели бывают иногда будто бы великого образования и ума. Так, по крайней мере, повествуют о них; я ничего не знаю. Говорят, что встречаются некоторые с удивительным будто бы даром проникновения в душу человеческую и умения совладать с нею. Несколько таких лиц известны, говорят, всей России, то есть, в сущности, тем, кому надо. Живет этот старец, положим, в Херсонской губернии, а к нему едут или даже идут пешком из Петербурга, из Архангельска, с Кавказа и из Сибири. Идут, разумеется, с раздавленною отчаянием душою, которая уже и не ждет себе исцеления, или с таким страшным бременем на сердце, что грешник уже и не говорит о нем своему священнику-духовнику, — не от страха или недоверия, а просто в совершенном отчаянии за спасение свое. А прослышит вдруг про какого-нибудь такого монаха-советодателя и пойдет к нему.

«И вот, — говорил один из таких старцев однажды в дружеской беседе наедине с одним слушателем, — выслушиваю я людей двадцать лет, и верите ли, уж сколько, казалось бы, в двадцать лет знакомства моего с самыми потаенными и сложными болезнями души человеческой; но и через двадцать лет приходишь иногда в содрогание и в негодование, слушая иные тайны. Теряешь небходимое спокойствие духа для подания утешения и сам вынужден себя же укреплять в смирении и безмятежности…»

И тут-то он и рассказал ту удивительную повесть из народного быта, о которой я выше упомянул.

«Вижу, вползает ко мне раз мужик на коленьях. Я еще из окна видел, как он полз по земле. Первым словом ко мне:

— Нет мне спасения; проклят! И что бы ты ни сказал — всё одно проклят!

Я его кое-как успокоил; вижу, за страданием приполз человек; издалека.

— Собрались мы в деревне несколько парней, — начал он говорить, — и стали промежду себя спорить: „Кто кого дерзостнее сделает?“ Я по гордости вызвался перед всеми. Другой парень отвел меня и говорит мне с глазу на глаз:

— Это никак невозможно тебе, чтобы ты сделал, как говоришь. Хвастаешь.

Я ему стал клятву давать.

— Нет, стой, поклянись, говорит, своим спасением на том свете, что всё сделаешь, как я тебе укажу.

Поклялся.

— Теперь скоро пост, говорит, стань говеть. Когда пойдешь к причастию — причастие прими, но не проглоти.* Отойдешь вынь рукой и сохрани. А там я тебе укажу.

Так я и сделал. Прямо из церкви повел меня в огород. Взял жердь, воткнул в землю и говорит: положи! Я положил на жердь.

— Теперь, говорит, принеси ружье.

Я принес

— Заряди.

Зарядил.

— Подыми и выстрели.

Я поднял руку и наметился. И вот только бы выстрелить, вдруг предо мною как есть крест, а на нем Распятый. Тут я и упал с ружьем в бесчувствии».

Происходило это еще за несколько лет до прихода к старцу. Кто был этот Влас, откуда и как его имя — старец, разумеется, не открыл, равно как и покаяние, которое наложил на него. Должно быть, обременил душу страшным трудом, даже не по силам человеческим, рассуждая, что чем больше, тем тут и лучше: «Сам за страданием приполз» Не правда ли, что происшествие даже весьма характерное с одной стороны, на многое намекающее, так что, пожалуй, и стоит двух-трех минут особенного разбора. Я всё того мнения, что ведь последнее слово скажут они же, вот эти самые разные «Власы», кающиеся и некающиеся; они скажут и укажут нам новую дорогу и новый исход из всех, казалось бы, безысходных затруднений наших. Не Петербург же разрешит окончательно судьбу русскую. А потому всякая, даже малейшая, *новая* черта об этих теперь уже «новых людях» может быть достойна внимания нашего.

Во-первых, мне именно удивительно — удивительно всего более — самое начало дела, то есть возможность такого спора и состязаний в русской деревне: «Кто кого дерзостнее сделает?» Ужасно на многое

намекающий факт, а для меня почти совсем даже и неожиданный; а я видывал-таки довольно народу, да еще самого характерного. Замечу тоже, что кажущаяся исключительность факта тем самым, однако, и свидетельствует о его достоверности: когда лгут, то изобретают что-нибудь гораздо более обыкновенное и к обыденному подходящее, чтобы все поверили.

Затем замечательна собственно медицинская часть факта. Галлюсинация есть преимущественно явление болезненное и болезнь эта весьма редкая. Возможность внезапной галлюсинации, хотя и у крайне возбужденного, но всё же совершенно здорового человека, — может быть, случай еще неслыханный. Но это дело медицинское, а я в нем мало знаю.

Другое дело психологическая часть факта. Тут являются перед нами два народные типа, в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего забвение всякой мерки во всем (и, заметьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся как бы каким-то наваждением). Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее как ошалелому вниз головой. Это потребность отрицания в человеке, иногда самом неотрицающем и благоговеющем, отрицания всего, самой главной святыни средца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. Особенно поражает та торопливость, стремительность, с которою русский человек спешит иногда заявить себя, в иные характерные минуты своей или народной жизни, заявить себя в хорошем или в поганом. Иногда тут просто нет удержу. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть — тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать всё, отречься от всего, от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, — стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно

как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва — порыва отрицания и саморазрушения. То есть то бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия; тогда как в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе.

Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид; он воздыхает и относит славу свою к милости Господа. Страданием своим русский народ как бы наслаждается. Что в целом народе, то и в отдельных типах, говоря, впрочем, лишь вообще. Вглядитесь, например, в многочисленные типы русского безобразника. Тут не один лишь разгул через край, иногда удивляющий дерзостью своих пределов и мерзостью падения души человеческой. Безобразник этот прежде всего сам страдалец. Наивно-торжественного довольства собою в русском человеке совсем даже нет, даже в глупом. Возьмите русского пьяницу и, например, хоть немецкого пьяницу: русский пакостнее немецкого, но пьяный немец несомненно глупее и смешнее русского. Немцы — народ по преимуществу самодовольный и гордый собою. В пьяном же немце эти основные черты народные вырастают в размерах выпитого пива. Пьяный немец несомненно счастливый человек и никогда не плачет; он поет самохвальные песни и гордится собою. Приходит домой пьяный как стелька, но гордый собою. Русский пьяница любит пить с горя и плакать. Если же куражится, то не торжествует, а лишь буянит. Всегда вспомнит какую-нибудь обиду и упрекает обидчика, тут ли он, нет ли. Он дерзостно, пожалуй, доказывает, что он чуть ли не генерал, горько ругается, если ему не верят, и, чтобы уверить, в конце концов всегда зовет «караул». Но ведь потому он так и безобразен, потому и зовет

«караул», что в тайниках пьяной души своей наверно сам убежден, что он вовсе не «генерал», а только гадкий пьяница и опакостился ниже всякой скотины. Что в микроскопическом примере, то и в крупном. Самый крупный безобразник, самый даже красивый своею дерзостью и изящными пороками, так что ему даже подражают глупцы, все-таки слышит каким-то чутьем, в тайниках безобразной души своей, что в конце концов он лишь негодяй и только. Он недоволен собою; в сердце его нарастает попрек, и он мстит за него окружающим; беснуется и мечется на всех, и тут-то вот и доходит до краю, борясь с накопляющимся ежеминутно в сердце страданием своим, а вместе с тем и как бы упиваясь им с наслаждением. Если он способен восстать из своего унижения, то мстит себе за прошлое падение ужасно, даже больнее, чем вымещал на других в чаду безобразия свои тайные муки, от собственного недовольства собою.

Кто натолкнул обоих парней на спор о том: «Кто сделает дерзостнее?» — и какими причинами сложилась возможность подобного состязания — осталось неизвестным, но несомненно, что оба страдали — один принимая вызов, другой предлагая его. Конечно, тут было что-нибудь предварительно: или затаенная ненависть между ними, или ненависть с детства, и даже неизвестная им самим и вдруг проявившаяся в минуту спора и вызова. Последнее вероятнее; и вероятно, они были друзьями до сей минуты и жили в согласии, которое становилось, чем далее, тем невыносимее; но в момент вызова напряжение взаимной ненависти и зависти жертвы к своему Мефистофелю уже было необыкновенное.

— Не побоюсь ничего, сделаю всё, что укажешь; погибай душа, а осрамлю тебя!

— Хвастаешь, убежишь, как мышь в подполье, насмеюсь над тобой, погибай душа!

Можно было выбрать для состязания что-нибудь очень дерзкое и другого рода — разбой, убийство, открытое буйство против могущественного человека. Ведь поклялся же парень, что на всё пойдет, и искуситель его знал, что на этот раз серьезно говорено, впрямь пойдет.

Нет. Самые страшные «дерзости» кажутся искусителю слишком обыкновенными. Он придумывает неслыханную дерзость, небывалую и немыслимую, и в ее выборе выразилось целое мировоззрение народное.

Немыслимую? А между тем одно уже то, что он именно

остановился на ней, показывает, что он уже, может быть, и мыслил о ней. Может быть, давно уже, с детства, эта мечта заползала в душу его, потрясала ее ужасом, а вместе с тем и мучительным наслаждением. Что придумал он всё давно уже, и ружье и огород, и держал только в страшной тайне — в этом почти нет сомнения. Придумал, разумеется, не для того, чтобы исполнить, да и не посмел бы, может быть, один никогда. Просто нравилось ему это видение, проницало его душу изредка, манило его, а он робко подавался и отступал, холодея от ужаса. Один момент такой неслыханной дерзости, а там хоть всё пропадай! И, уж конечно, он веровал, что за это ему вечная гибель; но — «был же и я на таком верху!..»

Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать. Можно очень много знать бессознательно. Но, не правда ли, любопытная душа, и, главное, из этого быта. В этом всё ведь и дело. Хорошо бы тоже узнать, как он считал себя: виновнее или нет своей жертвы? Судя по кажущемуся его развитию, надо полагать, что считал виновнее или по крайней мере равным по вине; так что, вызывая жертву на «дерзость», вызывал и себя.

Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно так, но Христа он знает и носит его в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего. Повторяю: можно очень много знать бессознательно.

И вот надругаться над такой святыней народною, разорвать тем со всею землей, разрушить себя самого во веки веков для одной лишь минуты торжества отрицаньем и гордостью — ничего не мог выдумать русский Мефистофель дерзостнее! Возможность такого напряжения страсти, возможность таких мрачных и сложных ощущений в душе простолюдина поражает! И заметьте, всё это возросло почти до сознательной идеи.

Жертва, однако же, не сдается, не смиряется, не пугается. По

крайней мере, делает вид, что не пугается. Парень принимает вызов. Проходят дни, и он стоит на своем. Наступает уже не мечта, а самое дело: он ходит в церковь, слышит ежедневно слова Христовы и не отступает. Бывают страшные убийцы, не смущающиеся даже при виде убитой ими жертвы. Один из таких убийц, явный и уличенный на месте, не сознавался до конца и продолжал лгать перед следователем. Когда же тот встал и велел его отвести в острог, то он с умиленным видом попросил как милости проститься с лежавшею тут же убитою (его бывшею любовницею, которую он убил из ревности). Он нагнулся, поцеловал ее с умилением, заплакал и, не вставая с колен, еще раз повторил над нею, простирая руку, что он не виновен. Я только хочу заметить, до какой зверской степени может доходить в человеке бесчувственность.

Но здесь была совсем не бесчувственность. Сверх того, было еще нечто совсем особенное — мистический ужас, самая огромная сила над душой человеческой. Он несомненно был, судя по крайней мере по развязке дела. Но сильная душа парня с этим ужасом еще могла вступить в борьбу; он доказал это. Сила ли это, впрочем, или в последней степени малодушие? Вероятно, и то и другое вместе, в соприкосновении противуположностей. Тем не менее этот мистический ужас не только не порвал, но еще продлил борьбу, и, наверно, он-то и способствовал привести ее к окончанию именно тем, что удалял от сердца грешника всякое чувство умиления, и чем сильнее подавлял его, тем невозможнее оно становилось. Ощущение ужаса есть чувство жесткое, сушит и каменит сердце для всякого умиления и высокого чувства. Вот почему преступник выдержал и момент перед чашей, хотя, может быть, и цепенея от страху до изнеможения. Я думаю тоже, что взаимная ненависть между жертвой и ее мучителем упала в эти дни совершенно. Порывами искушаемый мог с болезненною злостью ненавидеть себя, окружающих, молящихся в церкви, но всего менее своего Мефистофеля. Оба они чувствовали, что взаимно друг в друге нуждаются, чтобы сообща кончить дело. Каждый, наверно, считал себя бессильным его кончить один. Для чего же они продолжали его, для чего же приняли столько муки? Они и не могли, впрочем, разорвать союз. Если бы их контракт был нарушен, то тотчас же возгорелась бы взаимная ненависть в десять раз сильнее прежнего и, наверно, произошло бы убийство: мученик убил бы своего мучителя.

Пусть и это. Даже и это бы ничего перед вынесенным жертвою ужасом. То-то и есть, что тут должно было быть непременно на дне души и у того и у другого некоторое адское наслаждение собственной гибелью, захватывающая дыхание потребность нагнуться над пропастью и заглянуть в нее, потрясающее восхищение перед собственной дерзостью. Почти невозможно, чтобы дело было доведено до конца без этих возбуждающих и страстных ощущений. Не простые же были это баловники, мальчишки тупые и глупые, — начиная с состязания о «дерзости» и кончая отчаянием перед старцем.

Заметьте еще, что искуситель не открыл своей жертве всей тайны: она еще не знала, выходя из церкви, что должна будет сделать с святыней, до самого того момента, как он велел принести ружье. Столько дней такой мистической неизвестности опять свидетельствуют об ужасном упорстве грешника. С другой стороны, и деревенский Мефистофель выказывает себя большим психологом.

Но, может быть, придя в огород, оба они уже не помнили себя? Парень помнил, однако, как заряжал ружье и наводил. Может быть, действовал лишь машинально, хотя и в полной памяти, как действительно бывает иногда в состоянии ужаса? Не думаю·если бы он обратился в одну лишь машину, продолжающую действовать по одной лишь инерции, то, наверно, не имел бы потом видения, просто упал бы без чувств, когда бы истощил весь запас инерции, — и не *до, а* уж после выстрела. Нет, вероятнее всего, что сознание сохранялось всё время в чрезвычайной ясности, несмотря на смертельный ужас, всё нараставший с каждым мгновением прогрессивно. И уже потому, что жертва выдержала такое давление ужаса, нараставшего прогрессивно, повторю опять, она была несомненно одарена огромною душевною силой.

Обратим внимание на то, что заряжание ружья есть операция, во всяком случае требующая некоторого внимания. Самое труднейшее и невыносимое дело в подобную минуту, по-моему, есть способность оторваться от своего ужаса, от подавляющей собою идеи. Обыкновенно до последней степени пораженные ужасом уже не могут оторваться от его созерцания, от предмета или идеи, их поразивших: они стоят перед ними как вкопанные и своему ужасу смотрят прямо в глаза как очарованные. Но парень зарядил ружье внимательно, он это помнил; он помнил, как потом стал наводить, помнил всё до последнего момента. Могло быть и то, что процесс заряжания ружья был ему облегчением,

исходом страждущей души его, и он рад был сосредоточить себя хотя бы одно только мгновение на каком-нибудь исходном внешнем предмете. Так бывает на гильотине с теми, которым рубят голову. Дюбарри кричала палачу: «Encore un moment, monsieur le bourreau, encore un moment!»*[5] В двадцать раз она бы выстрадала больше в эту даровую минуту, если б ей ее подарили, а все-таки кричала и молила о ней. Но если предположить, что заряжание ружья было для нашего грешника вроде как у Дюбарри «encore un moment», то, уж конечно, он бы не мог после такого момента опять обратиться к своему ужасу, от которого раз оторвался, и продолжать дело, наводить и стрелять. Тут просто бы онемели руки и перестали бы слушаться, ружье бы вывалилось из них само собою, несмотря даже на сохранившиеся сознание и волю.

И вот в самый последний момент — вся ложь, вся низость поступка, всё малодушие, принимаемое за силу, весь срам падения — всё это вырвалось вдруг в одно мгновение из его сердца и стало перед ним в грозном обличении. Неимоверное видение предстало ему… всё кончилось.

Суд прогремел из его сердца, конечно. Почему прогремел не сознательно, не внезапным прояснением ума и совести, почему проявился в образе, как бы совершенно внешним, независимым от его духа фактом? В этом огромная психологическая задача и дело Господа. Для него, для преступника, без сомнения было делом Господним. Влас пошел по миру и потребовал страдания.

Ну а другой-то Влас, оставшийся, искуситель? Легенда не говорит, что он пополз за покаянием, не упоминает о нем ничего. Может пополз и он, а может, и остался в деревне и живет себе до сих пор, опять пьет и зубоскалит по праздникам: ведь не он же видел видение. Так ли, впрочем? Очень бы желательно узнать и его историю, для сведения, для этюда.

Вот почему еще желательно бы: что, если это и впрямь настоящий нигилист деревенский, доморощенный отрицатель и мыслитель, не верующий, с высокомерною насмешкой выбравший предмет состязания, не страдавший, не трепетавший вместе с своею жертвою, как предположили мы в нашем этюде, а с холодным любопытством следивший за ее трепетаниями и корчами, из одной лишь потребности чужого страдания, человеческого унижения, — черт знает, может быть,

из ученого наблюдения?

Если уж есть и такие черты даже и в народном характере (а в настоящее время всё возможно предположить), да еще в нашей деревне, то это уже новое откровение, несколько даже и неожиданное. Что-то не слыхано было прежде о подобных чертах. Искуситель у г-на Островского в прекрасной комедии «Не так живи как хочется» вышел даже очень плоховат.* Жаль, что тут нельзя узнать ничего достоверного.

Конечно, интерес рассказанной истории, — если только в ней есть интерес, — лишь в том, что она истинная. Но заглядывать в душу современного Власа иногда дело не лишнее. Современный Влас быстро изменяется. Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены, может, захочет кутнуть, махнуть через край. Говорят, уж закутил. Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие. Соображают иные, серьезные, но несколько торопливые люди, и соображают по фактам, что если продолжится такой «кутеж» еще хоть только на десять лет, то и представить нельзя последствий, хотя бы только с экономической точки зрения Но вспомним «Власа» и успокоимся, в последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним *с* неимоверною силою обличения. Очнется Влас и возьмется за дело божие. Во всяком случае спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять-таки — свет и спасение воссияют снизу (в совершенно, может быть, неожиданном виде для наших либералов, и в этом будет много комического). Есть даже намеки на эту неожиданность, наклевываются и теперь даже факты… Впрочем, об этом можно и после поговорить. Во всяком случае наша несостоятельность как «птенцов гнезда Петрова» в настоящий момент несомненна*. Да ведь девятнадцатым февралем и закончился по-настоящему петровский период русской истории*, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность.

VI
Бобок

На этот раз помещаю «Записки одного лица». Это не я, это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия.

Записки одного лица

Семен Ардальонович третьего дня мне как раз:

— Да будешь ли ты, Иван Иваныч, когда-нибудь трезв, скажи на милость?

Странное требование. Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: «Все-таки ты, говорит, литератор» Я дался, он и выставил. Читаю: «Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо»

Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати? В печати надо всё благородное; идеалов надо, а тут…

Скажи по крайней мере косвенно, на то тебе слог. Нет, он косвенно уже не хочет. Ныне юмор и хороший слог исчезают и ругательства заместо остроты принимаются. Я не обижаюсь: не бог знает какой литератор, чтобы с ума сойти. Написал повесть — не напечатали. Написал фельетон — отказали Этих фельетонов я много по разным редакциям носил, везде отказывали «Соли, говорят у вас нет»

— Какой же тебе соли, — спрашиваю с насмешкою, — аттической? *

Даже и не понимает. Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам: «Редкость! Красненький, дескать, чай, с собственных плантаций…» За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. «Искусство нравиться дамам» по заказу книгопродавца составил. Вот этаких книжек я штук шесть в моей жизни пустил. Вольтеровы бонмо* хочу собрать, да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер!

Последние зубы друг другу повыбили! Ну вот и вся моя литературная деятельность. Разве что безмездно письма по редакциям рассылаю, за моею полною подписью. Всё увещания и советы даю, критикую и путь указую. В одну редакцию на прошлой неделе сороковое письмо за два года послал; четыре рубля на одни почтовые марки истратил. Характер у меня скверен, вот что.

Думаю, что живописец списал меня не литературы ради, а ради двух моих симметрических бородавок на лбу: феномен, дескать. Идеи-то нет, так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удались мои бородавки, — живые! Это они реализмом зовут.

А насчет помешательства, так у нас прошлого года многих в сумасшедшие записали. И каким слогом: «При таком, дескать, самобытном таланте… и вот что под самый конец оказалось… впрочем, давно уже надо было предвидеть…»* Это еще довольно хитро; так что с точки частого искусства даже и похвалить можно. Ну а те вдруг еще умней воротились. То-то, свести-то с ума у нас сведут, а умней-то еще никого не сделали.

Всех умней, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком назовет, — способность ныне неслыханная! Прежде, по крайности, дурак хоть раз в год знал про себя, что он дурак, ну а теперь ни-ни. И до того замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно сделали.

Припоминается мне испанская острота*, когда французы, два с половиною века назад, выстроили у себя первый сумасшедший дом: «Они заперли всех своих дураков в особенный дом, чтобы уверить, что сами они люди умные». Оно и впрямь: тем, что другого запрешь в сумасшедший, своего ума не докажешь. «К. с ума сошел, значит, теперь мы умные». Нет, еще не значит.

Впрочем, черт… и что я с своим умом развозился: брюзжу, брюзжу. Даже служанке надоел. Вчера заходил

приятель: «У тебя, говорит, слог меняется, рубленый. Рубишь, рубишь — и вводное предложение, потом к вводному еще вводное, потом в скобках еще что-нибудь вставишь, а потом опять зарубишь, зарубишь…»

Приятель прав. Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как будто кто подле: «Бобок,

бобок, бобок!»

Какой такой бобок? Надо развлечься.

Ходил развлекаться, попал на похороны. Дальний родственник. Коллежский, однако, советник[*]. Вдова, пять дочерей, все девицы. Ведь это только по башмакам, так во что обойдется! Покойник добывал, ну а теперь — пенсионишка. Подожмут хвосты. Меня принимали всегда нерадушно. Да и не пошел бы я и теперь, если бы не экстренный такой случай. Провожал до кладбища в числе других; сторонятся от меня и гордятся. Вицмундир мой действительно плоховат. Лет двадцать пять, я думаю, не бывал на кладбище; вот еще местечко!

Во-первых, дух. Мертвецов пятнадцать наехало. Покровы разных цен; даже было два катафалка: одному генералу и одной какой-то барыне. Много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости. Причту нельзя пожаловаться: доходы. Но дух, дух. Не желал бы быть здешним духовным лицом.

В лица мертвецов заглядывал с осторожностью, не надеясь на мою впечатлительность. Есть выражения мягкие, есть и неприятные. Вообще улыбки не хороши, а у иных даже очень. Не люблю; снятся.

За обедней вышел из церкви на воздух; день был сероват, но сух. Тоже и холодно; ну да ведь и октябрь же. Походил по могилкам. Разные разряды. Третий разряд в тридцать рублей: и прилично и не так дорого. Первые два в церкви и под папертью; ну, это кусается. В третьем разряде за этот раз хоронили человек шесть, в том числе генерала и барыню.

Заглянул в могилки — ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зеленая и… ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком. Вышел, пока служба, побродить за врата. Тут сейчас богадельня, а немного подальше и ресторан. И так себе, недурной ресторанчик: и закусить, и всё. Набилось много и из провожатых. Много заметил веселости и одушевления искреннего. Закусил и выпил.

Затем участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле. Отчего это мертвецы в гробу делаются так тяжелы? Говорят, по какой-то инерции, что тело будто бы как-то уже не управляется самим… или какой-то вздор в этом роде; противоречит механике и здравому смыслу[*]. Не люблю, когда при одном лишь общем образовании суются у нас разрешать специальности; а у нас это сплошь.

Штатские лица любят судить о предметах военных и даже фельдмаршальских, а люди с инженерным образованием судят больше о философии и политической экономии.

На литию не поехал.* Я горд, и если меня принимают только по экстренной необходимости, то чего же таскаться по их обедам, хотя бы и похоронным? Не понимаю только, зачем остался на кладбище; сел на памятник и соответственно задумался.

Начал с московской выставки*, а кончил об удивлении, говоря вообще как о теме. Об «удивлении» я вот что вывел:

«Всему удивляться, конечно, глупо, а ничему не удивляться гораздо красивее* и почему-то признано за хороший тон. Но вряд ли так в сущности. По-моему, ничему не удивляться гораздо глупее, чем всему удивляться. Да и кроме того: ничему не удивляться почти то же, что ничего и не уважать. Да глупый человек и не может уважать».

— Да я прежде всего желаю уважать. Я *жажду* уважать, — сказал мне как-то раз на днях один мой знакомый.

Жаждет он уважать! И боже, подумал я, что бы с тобой было, если б ты это дерзнул теперь напечатать!

Тут-то я и забылся. Не люблю читать надгробных надписей; вечно то же. На плите подле меня лежал недоеденный бутерброд: глупо и не к месту. Скинул его на землю, так как это не хлеб, а лишь бутерброд. Впрочем, на землю хлеб крошить, кажется, не грешно; это на пол грешно.* Справиться в календаре Суворина.*

Надо полагать, что я долго сидел, даже слишком; то есть даже прилег на длинном камне в виде мраморного гроба. И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил сначала внимания и отнесся с презрением. Но, однако, разговор продолжался. Слышу — звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; и при всем том внятные и очень близкие. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться.

— Ваше превосходительство, это просто никак невозможно-с. Вы объявили в червях, я вистую, и вдруг у вас семь в бубнах. Надо было условиться заранее насчет бубен-с.

— Что же, значит, играть наизусть? Где же привлекательность?

— Нельзя, ваше превосходительство, без гарантии никак нельзя. Надо непременно с болваном, и чтоб была одна темная сдача.

— Ну, болвана здесь не достанешь.

Какие заносчивые, однако, слова! И странно и неожиданно. Один такой веский и солидный голос, другой как бы мягко услащенный; не поверил бы, если б не слышал сам. На литии я, кажется, не был. И, однако, как же это здесь в преферанс, и какой такой генерал? Что раздавалось из-под могил, в том не было и сомнения. Я нагнулся и прочел надпись на памятнике:

«Здесь покоится тело генерал-майора Первоедова… таких-то и таких орденов кавалера». Гм. «Скончался в августе сего года… пятидесяти семи… Покойся, милый прах, до радостного утра![*]»

Гм, черт, в самом деле генерал! На другой могилке, откуда шел льстивый голос, еще не было памятника; была только плитка; должно быть, из новичков. По голосу надворный советник[*].

— Ох-хо-хо-хо! — послышался совсем уже новый голос, саженях в пяти от генеральского места и уже совсем из-под свежей могилки, — голос мужской и простонародный, но расслабленный на благоговейно-умиленный манер.

— Ох-хо-хо-хо!

— Ах, опять он икает! — раздался вдруг брезгливый и высокомерный голос раздраженной дамы, как бы высшего света. — Наказание мне подле этого лавочника!

— Ничего я не икал, да и пищи не принимал, а одно лишь это мое естество. И все-то вы, барыня, от ваших здешних капризов никак не можете успокоиться.

— Так зачем вы сюда легли?

— Положили меня, положили супруга и малые детки, а не сам я возлег. Смерти таинство! И не лег бы я подле вас ни за что, ни за какое злато; а лежу по собственному капиталу, судя по цене-с. Ибо это мы всегда можем, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести.

— Накопил; людей обсчитывал?

— Чем вас обсчитаешь-то, коли с января почитай никакой вашей уплаты к нам не было. Счетец на вас в лавке имеется.

— Ну уж это глупо; здесь, по-моему, долги разыскивать очень глупо! Ступайте наверх. Спрашивайте у племянницы; она наследница.

— Да уж где теперь спрашивать и куда пойдешь. Оба достигли предела и пред судом божиим во гресех равны.

— Во гресех! — презрительно передразнила покойница. — И не смейте совсем со мной говорить!

— Ох-хо-хо-хо!

— Однако лавочник-то барыни слушается, ваше превосходительство.

— Почему же бы ему не слушаться?

— Ну да известно, ваше превосходительство, так как здесь новый порядок.

— Какой же это новый порядок?

— Да ведь мы, так сказать, умерли, ваше превосходительство.

— Ах, да! Ну всё же порядок…

Ну, одолжили; нечего сказать, утешили! Если уж здесь до того дошло, то чего же спрашивать в верхнем-то этаже? Какие, однако же, штуки! Продолжал, однако, выслушивать, хотя и с чрезмерным негодованием.

— Нет, я бы пожил! Нет… я, знаете… я бы пожил! — раздался вдруг чей-то новый голос, где-то в промежутке между генералом и раздражительной барыней.

— Слышите, ваше превосходительство, наш опять зато же. По три дня молчит-молчит, и вдруг: «Я бы пожил, нет, я бы пожил!» И с таким, знаете, аппетитом, хи-хи!

— И с легкомыслием.

— Пронимает его, ваше превосходительство, и, знаете, засыпает, совсем уже засыпает, с апреля ведь здесь, и вдруг: «Я бы пожил!»

— Скучновато, однако, — заметил его превосходительство.

— Скучновато, ваше превосходительство, разве Авдотью Игнатьевну опять пораздразнить, хи-хи?

— Нет уж, прошу уволить. Терпеть не могу этой задорной криксы[*].

— А я, напротив, вас обоих терпеть не могу, — брезгливо откликнулась крикса. — Оба вы самые прескучные и ничего не умеете рассказать идеального. Я про вас, ваше превосходительство, — не чваньтесь, пожалуйста, — одну историйку знаю, как вас из-под одной супружеской кровати поутру лакей щеткой вымел.

— Скверная женщина! — сквозь зубы проворчал генерал.

— Матушка, Авдотья Игнатьевна, — возопил вдруг опять лавочник, — барынька ты моя, скажи ты мне, зла не помня, что ж я по мытарствам это хожу, али что иное деется?..

— Ах, он опять за то же, так я и предчувствовала, потому слышу

дух от него, дух, а это он ворочается!

— Не ворочаюсь я, матушка, и нет от меня никакого такого особого духу, потому еще в полном нашем теле как есть сохранил себя, а вот вы, барынька, так уж тронулись, — потому дух действительно нестерпимый, даже и поздешнему месту. Из вежливости только молчу.

— Ах, скверный обидчик! От самого так и разит, а он на меня.

— Ох-хо-хо-хо! Хоша бы сороковинки* наши скорее пристигли: слезные гласы их над собою услышу, супруги вопль и детей тихий плач!..

— Ну, вот об чем плачет: нажрутся кутьи* и уедут. Ах, хоть бы кто проснулся!

— Авдотья Игнатьевна, — заговорил льстивый чиновник. — Подождите капельку, новенькие заговорят.

— А молодые люди есть между ними?

— И молодые есть, Авдотья Игнатьевна. Юноши даже есть.

— Ах, как бы кстати!

— А что, не начинали еще? — осведомился его превосходительство.

— Даже и третьёводнишние еще не очнулись, ваше превосходительство, сами изволите знать, иной раз по неделе молчат. Хорошо, что их вчера, третьего дня и сегодня как-то разом вдруг навезли. А то ведь кругом сажен на десять почти все у нас прошлогодние.

— Да, интересно.

— Вот, ваше превосходительство, сегодня действительного тайного советника* Тарасевича схоронили. Я по голосам узнал. Племянник его мне знаком, давеча гроб опускал.

— Гм, где же он тут?

— Да шагах в пяти от вас, ваше превосходительство, влево. Почти в самых ваших ногах-с… Вот бы вам, ваше превосходительство, познакомиться.

— Гм, нет уж… мне что же первому.

— Да он сам начнет, ваше превосходительство. Он будет даже польщен, поручите мне, ваше превосходительство, и я…

— Ах, ах… ах, что же это со мной? — закряхтел вдруг чей-то испуганный новенький голосок.

— Новенький, ваше превосходительство, новенький, слава богу, и

как ведь скоро! Другой раз по неделе молчат.

— Ах, кажется, молодой человек! — взвизгнула Авдотья Игнатьевна.

— Я… я… я от осложнения, и так внезапно! — залепетал опять юноша. — Мне Шульц еще накануне: у вас, говорит, осложнение, а я вдруг к утру и помер. Ах! Ах!

— Ну, нечего делать, молодой человек, — милостиво и очевидно радуясь новичку заметил генерал, — надо утешиться! Милости просим в нашу, так сказать, долину Иосафатову[*]. Люди мы добрые, узнаете и оцените. Генерал-майор Василий Васильев Первоедов, к вашим услугам.

— Ах, нет! нет, нет, это я никак! Я у Шульца; у меня, знаете, осложнение вышло, сначала грудь захватило и кашель, а потом простудился: грудь и грипп… и вот вдруг совсем неожиданно… главное, совсем неожиданно.

— Вы говорите, сначала грудь, — мягко ввязался чиновник, как бы желая ободрить новичка.

— Да, грудь и мокрота, а потом вдруг нет мокроты и грудь, и дышать не могу… и знаете…

— Знаю, знаю. Но если грудь, вам бы скорее к Эку, а не к Шульцу.

— А я, знаете, всё собирался к Боткину… и вдруг…

— Ну, Боткин кусается, — заметил генерал.

— Ах, нет, он совсем не кусается; я слышал, он такой внимательный и всё предскажет вперед.

— Его превосходительство заметил насчет цены, — поправил чиновник.

— Ах, что вы, всего три целковых, и он так осматривает, и рецепт… и я непременно хотел, потому что мне говорили… Что же, господа, как же мне, к Эку или к Боткину?[*]

— Что? Куда? — приятно хохоча, заколыхался труп генерала. Чиновник вторил ему фистулой.

— Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю! — восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. — Вот если б этакого подле положили!

Нет, этого уж я не могу допустить! и это современный мертвец! Однако послушать еще и не спешить заключениями. Этот сопляк новичок — я его давеча в гробу помню — выражение перепуганного

цыпленка, наипротивнейшее в мире! Однако что далее.

Но далее началась такая катавасия, что я всего и не удержал в памяти, ибо очень многие разом проснулись: проснулся чиновник, из статских советников[*], и начал с генералом тотчас же и немедленно о проекте новой подкомиссии в министерстве — дел и о вероятном, сопряженном с подкомиссией, перемещении должностных лиц, чем весьма и весьма развлек генерала. Признаюсь, я и сам узнал много нового, так что подивился путям, которыми можно иногда узнавать в сей столице административные новости. Затем полупроснулся один инженер, но долго еще бормотал совершенный вздор, так что наши и не приставали к нему, а оставили до времени вылежаться. Наконец, обнаружила признаки могильного воодушевления схороненная поутру под катафалком знатная барыня. Лебезятников (ибо льстивый и ненавидимый мною надворный советник, помещавшийся подле генерала Первоедова, по имени оказался Лебезятниковым) очень суетился и удивлялся, что так скоро на этот раз все просыпаются. Признаюсь, удивился и я; впрочем, некоторые из проснувшихся были схоронены еще третьего дня, как, например, одна молоденькая очень девица, лет шестнадцати, но все хихикавшая… мерзко и плотоядно хихикавшая.

— Ваше превосходительство, тайный советник Тарасевич просыпаются! — возвестил вдруг Лебезятников с чрезвычайною торопливостью.

— А? что? — брезгливо и сюсюкающим голосом прошамкал вдруг очнувшийся тайный советник. В звуках голоса было нечто капризно-повелительное. Я с любопытством прислушался, ибо в последние дни нечто слышал о сем Тарасевиче — соблазнительное и тревожное в высшей степени.

— Это я-с, ваше превосходительство, покамест всего только я-с.

— Чего просите и что вам угодно?

— Единственно осведомиться о здоровье вашего превосходительства; с непривычки здесь каждый с первого разу чувствует себя как бы в тесноте-с… Генерал Первоедов желал бы иметь честь знакомства с вашим превосходительством и надеются…

— Не слыхал.

— Помилуйте, ваше превосходительство, генерал Первоедов,

Василий Васильевич…

— Вы генерал Первоедов?

— Нет-с, ваше превосходительство, я всего только надворный советник Лебезятников-с к вашим услугам, а генерал Первоедов…

— Вздор! И прошу вас оставить меня в покое.

— Оставьте, — с достоинством остановил наконец сам генерал Первоедов гнусную торопливость могильного своего клиента.

— Не проснулись еще, ваше превосходительство, надо иметь в виду-с; это они с непривычки-с: проснутся и тогда примут иначе-с…

— Оставьте, — повторил генерал.

— Василий Васильевич! Эй вы, ваше превосходительство! — вдруг громко и азартно прокричал подле самой Авдотьи Игнатьевны один совсем новый голос — голос барский и дерзкий, с утомленным по моде выговором и с нахальною его скандировкою, — я вас всех уже два часа наблюдаю; я ведь три дня лежу; вы помните меня, Василий Васильевич? Клиневич, у Волоконских встречались, куда вас, не знаю почему, тоже пускали.

— Как, граф Петр Петрович… да неужели же вы… и в таких молодых годах… Как сожалею!

— Да я и сам сожалею, но только мне все равно, и я хочу отвсюду извлечь всё возможное. И не граф, а барон, всего только барон. Мы какие-то шелудивые баронишки, из лакеев, да и не знаю почему, наплевать. Я только негодяй псевдовысшего света и считаюсь «милым полисоном[*]». Отец мой какой-то генералишка, а мать была когда-то принята en haut lieu.[6] Я с Зифелем-жидом на пятьдесят тысяч прошлого года фальшивых бумажек провел, да на него и донес, а деньги все с собой Юлька Charpentier de Lusignan увезла в Бордо. И, представьте, я уже совсем был помолвлен — Щевалевская, трех месяцев до шестнадцати недоставало, еще в институте, за ней тысяч девяносто дают. Авдотья Игнатьевна, помните, как вы меня, лет пятнадцать назад, когда я еще был четырнадцатилетним пажом[*], развратили?

— Ах, это ты негодяй, ну хоть тебя бог послал, а то здесь…

— Вы напрасно вашего соседа негоцианта заподозрили в дурном запахе… Я только молчал да смеялся. Ведь это от меня; меня так в заколоченном гробе и хоронили.

— Ах, какой мерзкий! Только я все-таки рада; вы не поверите,

Клиневич, не поверите, какое здесь отсутствие жизни и остроумия.

— Ну да, ну да, и я намерен завести здесь нечто оригинальное. Ваше превосходительство, — я не вас, Первоедов, — ваше превосходительство, другой, господин Тарасевич, тайный советник! Откликнитесь! Клиневич, который вас к m-lle Фюри постом возил, слышите?

— Я вас слышу, Клиневич, и очень рад, и поверь-те…

— Ни на грош не верю, и наплевать. Я вас, милый старец, просто расцеловать хочу, да, слава богу, не могу. Знаете вы, господа, что этот grand-père[7] сочинил? Он третьего дня аль четвертого помер и, можете себе представить, целых четыреста тысяч казенного недочету оставил? Сумма на вдов и сирот, и он один почему-то хозяйничал, так что его под конец лет восемь не ревизовали. Воображаю, какие там у всех теперь длинные лица и чем они его поминают? Не правда ли, сладострастная мысль! Я весь последний год удивлялся, как у такого семидесятилетнего старикашки, подагрика и хирагрика, уцелело еще столько сил на разврат, и — и вот теперь и разгадка! Эти вдовы и сироты — да одна уже мысль о них должна была раскалять его!.. Я про это давно уже знал, один только я и знал, мне Charpentier передала, и как я узнал, тут-то я на него, на святой*, и налег по-приятельски: «Подавай двадцать пять тысяч, не то завтра обревизуют»; так, представьте, у него только тринадцать тысяч тогда нашлось, так что он, кажется, теперь очень кстати помер. Grand-père, grand-père, слышите:·

— Cher Клиневич, я совершенно с вами согласен и напрасно вы… пускались в такие подробности. В жизни столько страданий, истязаний и так мало возмездия… я пожелал наконец успокоиться и, сколько вижу, надеюсь извлечь и отсюда всё…

— Бьюсь об заклад, что он уже пронюхал. Катишь Берестову!

— Какую?.. Какую Катишь? — плотоядно задрожал голос старца.

— А-а, какую Катишь? А вот здесь, налево, в пяти шагах от меня, от вас в десяти. Она уж здесь пятый день, и если б вы знали, grand-père, что это за мерзавочка… хорошего дома, воспитанна и — монстр, монстр до последней степени! Я там ее никому не показывал, один я изнал… Катишь, откликнись!

— Хи-хи-хи! — откликнулся надтреснутый звук девичьего голоска, но в нем послышалось нечто вроде укола иголки. — Хи-хи-хи!

— И блон-ди-ночка? — обрывисто в три звука пролепетал grand-

père.

— Хи-хи-хи!

— Мне… мне давно уже, — залепетал, задыхаясь, старец, — нравилась мечта о блондиночке… лет пятнадцати… и именно при такой обстановке…

— Ах, чудовище! — воскликнула Авдотья Игнатьевна.

— Довольно! — порешил Клиневич, — я вижу, что материал превосходный. Мы здесь немедленно устроимся к лучшему. Главное, чтобы весело провести остальное время; но какое время? Эй, вы, чиновник какой-то, Лебезятников, что ли, я слышал, что вас так звали!

— Лебезятников, надворный советник, Семен Евсеич, к вашим услугам и очень-очень-очень рад.

— Наплевать, что вы рады, а только вы, кажется, здесь всё знаете. Скажите, по-первых (я еще со вчерашнего дня удивляюсь), каким это образом мы здесь говорим? Ведь мы умерли, а между тем говорим; как будто и движемся, а между тем и не говорим и не движемся? Что за фокусы?

— Это, если б вы пожелали, барон, мог бы вам лучше меня Платон Николаевич объяснить.

— Какой такой Платон Николаевич? Не мямлите, к делу.

— Платон Николаевич, наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил, но вот три месяца и совсем засыпает, так что уже здесь его невозможно теперь раскачать. Раз в неделю бормочет по нескольку слов, не идущих к делу.

— К делу, к делу!..

— Он объясняет всё это самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это — не умею вам выразить — продолжается жизнь как бы по инерции. Всё сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три… иногда даже полгода… Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он всё еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок», — но и в нем, значит, жизнь всё еще теплится незаметною искрой…

— Довольно глупо. Ну а как же вот я не имею обоняния, а слышу вонь?

— Это… хе-хе… Ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная — хе-хе! Вонь будто бы души, чтобы в два-три этих месяца успеть спохватиться… и что это, так сказать, последнее милосердие… Только мне кажется, барон, всё это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении…

— Довольно, и далее, я уверен, всё вздор. Главное, два или три месяца жизни и в конце концов — бобок. Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!

— Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! — послышались многие голоса, и, странно, послышались даже совсем новые голоса, значит, тем временем вновь проснувшихся. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие совсем уже очнувшийся инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.

— Ах, как я хочу ничего не стыдиться! — с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.

— Слышите, уж коли Авдотья Игнатьевна хочет ничего не стыдиться…

— Нет-нет-нет, Клиневич, я стыдилась, я все-таки там стыдилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться!

— Я понимаю, Клиневич, — пробасил инженер, — что вы предлагаете устроить здешнюю, так сказать, жизнь на новых и уже разумных началах.

— Ну, это мне наплевать! На этот счет подождем Кудеярова, вчера принесли. Проснется и вам всё объяснит. Это такое лицо, такое великанское лицо! Завтра, кажется, притащат еще одного естественника, одного офицера наверно и, если не ошибаюсь, дня через три-четыре одного фельетониста, и, кажется, вместе с редактором. Впрочем, черт с ними, но только нас соберется своя кучка и у нас всё само собою устроится. Но пока я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя

расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Всё это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!

— Обнажимся, обнажимся! — закричали во все голоса.

— Я ужасно, ужасно хочу обнажиться! — взвизгнула Авдотья Игнатьевна.

— Ах… ах… Ах, я вижу, что здесь будет весело, я нехочу к Эку!

— Нет, я бы пожил, нет, знаете, я бы пожил!

— Хи-хи-хи! — хихикала Катишь.

— Главное, что никто не может нам запретить, и хоть Первоедов, я вижу, и сердится, а рукой он меня все-таки не достанет. Grand-père, вы согласны?

— Я совершенно, совершенно согласен и с величайшим моим удовольствием, но с тем, что Катишь начнет первая свою би-о-графию.

— Протестую! протестую изо всех сил, — с твердостию произнес генерал Первоедов.

— Ваше превосходительство! — в торопливом волнении и понизив голос лепетал и убеждал негодяй Лебезятников, — ваше превосходительство, ведь это нам даже выгоднее, если мы согласимся. Тут, знаете, эта девочка… и наконец, все эти разные штучки..

— Положим, девочка, но…

— Выгоднее, ваше превосходительство, ей-богу бы выгоднее! Ну хоть для примерчика, ну хоть попробуем…

— Даже и в могиле не дадут успокоиться!

— Во-первых, генерал, вы в могиле в преферанс играете, а во-вторых, нам на вас на-пле-вать, — проскандировал Клиневич.

— Милостивый государь, прошу, однако, не забываться.

— Что? Да ведь вы меня не достанете, а я вас могу отсюда дразнить, как Юлькину болонку. И, во-первых, господа, какой он здесь генерал? Это там он был генерал, а здесь пшик!

— Нет, не пшик… я и здесь…

— Здесь вы сгниете в гробу, и от вас останется шесть, медных пуговиц.

— Браво, Клиневич, ха-ха-ха! — заревели голоса.

— Я служил государю моему… я имею шпагу…

— Шпагой вашей мышей колоть, и к тому же вы ее никогда не вынимали.

— Все равно-с, я составлял часть целого.

— Мало ли какие есть части целого.

— Браво, Клиневич, браво, ха-ха-ха!

— Я не понимаю, что такое шпага, — провозгласил инженер.

— Мы от пруссаков убежим, как мыши, растреплют в пух! — прокричал отдаленный и неизвестный мне голос, но буквально захлебывавшийся от восторга.

— Шпага, сударь, есть честь! — крикнул было генерал, но только я его и слышал. Поднялся долгий и неистовый рев, бунт и гам, и лишь слышались нетерпеливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатьевны.

— Да поскорей же, поскорей! Ах, когда же мы начнем ничего не стыдиться!

— Ох-хо-хо! воистину душа по мытарствам ходит! — раздался было голос простолюдина, и…

И тут я вдруг чихнул. Произошло внезапно и ненамеренно, но эффект вышел поразительный: всё смолкло, точно на кладбище, исчезло, как сон. Настала истинно могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились, решились же ничего не стыдиться! Я прождал минут с пять и — ни слова, ни звука. Нельзя тоже предположить, чтобы испугались доноса в полицию; ибо что может тут сделать полиция? Заключаю невольно, что все-таки у них должна быть какая-то тайна, неизвестная смертному и которую они тщательно скрывают от всякого смертного.

«Ну, подумал, миленькие, я еще вас навещу» — и с сим словом оставил кладбище.

Нет, этого я не могу допустить; нет, воистину нет! Бобок меня не смущает (вот он, бобок-то, и оказался!).

Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и — даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и… А главное, главное, в таком месте! Нет, этого я не могу допустить…

Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть что надо послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. Авось наткнусь и на утешительное.

А к тем напременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдотцы. Тьфу! Но пойду, непременно пойду, дело совести!

Снесу в «Гражданин»; там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает.

VII
«Смятенный вид»

Я кое-что прочел из текущей литературы и чувствую, что «Гражданин» обязан упомянуть о ней на своих страницах. Но — какой я критик? Я действительно хотел было писать критическую статью, но, кажется, я могу сказать кое-что лишь «по поводу» Всего я прочел: «Запечатленного ангела» г-на Лескова*, поэму Некрасова и статью г-на Щедрина*. Прочел я тоже статьи г-д Скабичевского и Н. М. в «Отечественных записках». Обе эти статьи в некотором смысле были для меня как бы новым откровением, когда-нибудь непременно надо поговорить о них.* А теперь начну с начала, то есть в том порядке, как читал, именно с «Запечатленного ангела».

Это рассказ г-на Лескова в «Русском вестнике». Известно, что сочинение это многим понравилось здесь в Петербурге и что очень многие его прочли.* Действительно, оно того стоит: и характерно и занимательно. Это повесть, рассказанная одним бывшим раскольником на станции в рождественскую ночь, о том, как все они, раскольники, человек сто пятьдесят, целою артелью перешли в православие вследствие чуда. Эта артель работников строила мост в одном большом русском городе и года три жила в отдельных бараках на берегу реки. Была у них своя часовня, а в ней множество древних образов, освященных еще до времен патриарха Никона*. Очень занимательно рассказано, как одному господину, не совершенно маловажному чиновнику, захотелось сорвать с артели взятку, тысяч в пятнадцать. Наехав вдруг в часовню со властью, он потребовал по ста рублей с иконы выкупа. Дать не могли. Тогда он арестовал образа. В них просверлили дырья, нанизали их на железные спицы, как бублики, и унесли куда-то в подвал. Но тут была икона ангела, древняя и особо уважаемая, считаемая артелью за чудотворную. Чтобы поразить, отмстить и оскорбить, чиновник, раздраженный упорством неплатящих раскольников, взял сургуч и в виду всего собрания накапал его на лик образа и приложил казенную печать. Местный архиерей*, увидав запечатленный лик святыни, изрек: «Смятенный вид» — и распорядился поставить поруганную икону в соборе на окно. Г-н Лесков уверяет, что

слова архиерея и распоряжение отнести поруганную икону в собор, а не в подвал, будто бы очень понравились раскольникам.

Затем началась запутанная и занимательная история о том, как был выкраден этот «Ангел» из собора. С раскольниками связался англичанин, барин и, кажется, подрядчик по строящемуся мосту, полюбил их и, так как с ним они были откровенны, то взялся им помогать. Особенно выдаются в рассказе беседы раскольников с англичанином об иконной живописи. Это место серьезно хорошо, лучшее во всем рассказе. Всё кончается тем, что за всенощной икону наконец выкрали из собора, ангела распечатлели, подменили иконою новою, еще не освященною, которую взялась «запечатлеть», наподобие первой, жена англичанина. И вот в критическую минуту случилось чудо от новой запечатленной иконы видели свет (правда, видел один только человек), а икона, когда ее принесли, оказалась незапечатленною, то есть без сургуча на лике. Это так поразило принесшего ее раскольника, что он тут же отправился в собор к архиерею и во всем ему покаялся, причем владыко простил и изрек: «Это тебе должно быть внушительно теперь, где вера действеннее: вы, говорит, плутовством с своего ангела печать свели, а наш сам с себя ее снял и тебя сюда привел».*

Чудо так поразило раскольников, что они всею артелью, сто пятьдесят или около человек, перешли в православие.

Но тут автор не удержался и кончил повесть довольно неловко. (К этим неловкостям г-н Лесков способен, вспомним только конец диакона Ахиллы в его «Соборянах»*). Он, кажется, испугался, что его обвинят в наклонности к предрассудкам, и поспешил разъяснить чудо. Сам же рассказчик, то есть мужичок, бывший раскольник, «весело» у него сознается, что на другой день после их обращения в православие доискались, почему распечатлелся ангел. Англичанка не осмелилась закапать лик хотя и не освященной иконы, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края оклада. В дороге бумажка, конечно, соскользнула, и ангел распечатлелся. Таким образом, отчасти и непонятно, почему раскольники остались в православии, несмотря на разъяснение чуда? Конечно, от умиления и от ласки простившего их архиерея? Но взяв в соображение твердость и чистоту их прежних верований, взяв в соображение посрамление их святыни и надругание над святынею их собственных чувств, взяв в соображение, наконец, вообще характер нашего раскола, вряд ли можно объяснить обращение раскольников

одним умилением, — да и к чему, к кому? В благодарность за одно только *прощение* архиерея? Ведь понимали же они — даже лучше других, — что именно на самом деле должна бы означать власть архиерея в церкви, а потому и не могли бы умилиться чувством к той церкви, где архиерей после такого неслыханного, всенародно-бесстыдного и самоуправного святотатства, которое позволил себе взяточник-чиновник, касающегося как раскольников, так равно и *всех православных,* ограничивается лишь тем, что говорит с воздыханием: «Смятенный вид!» — и не в силах остановить да же второстепенного чиновника от таких зверских и ругательных для религии действий.

И вообще в этом смысле повесть г-на Лескова оставила во мне впечатление болезненное и некоторое недоверие к правде описанного. Она, конечно, отлично рассказана и заслуживает многих похвал, но вопрос: неужели это всё правда? Неужели это всё у нас могло произойти? То-то и есть, что рассказ, говорят, основан на действительном факте[*]. Вообразим только такой случай: положим, где-нибудь теперь, в какой-нибудь православной церкви, находится древняя чудотворная икона, повсеместно чтимая всем православием. Представим, что какая-нибудь артель раскольников, целым скопом, выкрадывает эту икону из собора, собственно чтобы иметь эту древнюю святыню у себя, в своей моленной. Все это, конечно, могло бы случиться. Представим, что лет через десять какой-нибудь чиновник находит эту икону, торгуется с раскольниками, чтобы добыть знатную взятку, они такой суммы дать не в силах, и вот он берет сургуч и капает его на лик святыни с приложением казенной печати. Неужели оттого только, что икона побыла некоторое время в руках раскольников, она потеряла свою святыню? Ведь и икона «Ангела», о которой рассказывает г-н Лесков, была древле освященною православною иконою, чтимою до раскола всем православием? И неужели при сем местный архиерей не мог и не имел бы права поднять хоть палец в защиту святыни, а лишь с воздыханием проговорил: «Смятенный вид». Мои *тревожные* вопросы могут показаться нашим образованным людям мелкими и предрассудочными; но я того убеждения, что оскорбление народного чувства во всем, что для него есть святого, есть страшное насилие и чрезвычайная бесчеловечность. Неужели раскольникам не пришла в голову мысль: «Что же, как бы сей православный владыко защитил церковь, если бы обидчиком было еще

более важное лицо?» Могли ли они с почтением отнестись к той церкви, в которой высшая духовная власть, как описано в повести, так мало имеет власти? Ибо чем же объяснить поступок архиерея, как не малою властью его? Неужели равнодушием и леностью и неслыханным предположением, что он, забыв обязанность своего сана, обратился в чиновника от правительства? Ведь если уж такая нелепость зайдет в головы духовных чад его, то уж это всего хуже: православные дети его постепенно потеряют всякую энергию в деле веры, умиление и преданность к церкви, а раскол будет смотреть на православную церковь с презрением. Ведь значит же что-нибудь пастырь? Ведь понимают же это раскольники?

Итак, вот какие мысли приходят в голову после чтения прекрасного рассказа г-на Лескова; так что мы, повторяем, наклонны считать этот рассказ, в некоторых подробностях, почти неправдоподобным. Между тем в одном из недавних №№ «Голоса» прочел я следующее известие:

> «Один из деревенских священников Орловской губернии пишет в газету „Современность“: „Занимаясь обучением детей своих прихожан грамоте почти с самого уничтожения крепостного права, я оставил эту обязанность только тогда, когда наше д-ское земство приняло на себя вознаграждение и пожелало иметь свободных от других занятий наставников. Но в начале нынешнего 1872 — 73 учебного года оказался недостаток народных учителей в нашем уезде. Я, не желая закрытия училища в своем селе, решился изъявить свое желание занять должность наставника и обратился в училищный совет с прошением об утверждении меня в этой должности. Совет ответил мне, что “я тогда буду утвержден в должности наставника, когда на то изъявит свое согласие общество». Общество пожелало и составило о том приговор. Обращаюсь в волостное правление для засвидетельствования приговора, как требовал того училищный совет. Волостное правление, имея во главе невежественного писаря М. С. и во всем послушного ему старшину, не восхотело засвидетельствовать приговора, ссылаясь на то, что мне учить некогда, но в душе руководясь другими побуждениями. Я обращаюсь к мировому посреднику. Посредник П. высказал

мне в глаза следующие достопримечательные слова: *«Правительство вообще не расположено к тому, чтобы народное образование было в руках духовенства»*. «Почему бы так?» — спрашиваю я. «Потому, — отвечает посредник, — что *духовенство праводит суеверие»*».*

Как вам нравится, господа, это сообщение? Ведь оно, конечно в косвенном смысле, почти восстановляет правдоподобность рассказа г-на Лескова, в которой мы так усумнились и упорно продолжаем сомневаться. Тут важно не то, что случился такой посредник: что за нужда, что какой-нибудь глупец скажет с ветру глупое слово? И какое нам дело до его убеждений? Тут важно то, что это так откровенно и со властью высказано; с такою сознательною властью, с такою небеспокоющеюся бесцеремонностью. Он высказывает свое премудрое убеждение уже прямо и не обинуясь, *в глаза* и, кроме того, имеет дерзость навязывать такие убеждения правительству и говорить *от лица* правительства.

Ну, осмелился бы это сказать не то что какой-то посредник, а в десять раз высшее его по власти лицо какому-нибудь хоть, например, остзейскому пастору?* Господи, какой бы этот пастор затеял крик и какой бы в самом деле поднялся крик! У нас священник смиренно обличает дерзкого путем гласности. Но приходит мысль: если бы это лицо было повыше посредника (что ведь очень может быть, потому что у нас всё может случиться), то ведь, может быть, пастырь добрый и не стал бы совсем обличать его, зная, что из этого выйдет один лишь «смятенный вид» и ничего более. Да и нельзя же требовать от него энергии первых веков христианства, хотя бы и желалось того. Мы вообще наклонны обвинять наше духовенство в равнодушии к святому делу; но как же и быть ему при иных обстоятельствах? А между тем помощь духовенства народу никогда еще не была так настоятельно необходима. Мы переживаем самую смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, может быть, из всей истории русского народа.

Очень странное явление случилось недавно в одном углу России — немецкое протестантство в среде православия, новая секта штундистов.* «Гражданин» о ней сообщал своевременно.* Явление почти уродливое,

но в нем как бы слышится нечто пророческое.

В Херсонской губернии какой-то пастор Бонекетберг пожалел от доброго сердца тамошний русский народ, видя его непросвещенным и духовно оставленным, и стал проповедовать ему христианскую веру, но держась православия и сам уговаривая его от православия не отступать. Но случилось иначе: проповедь имела полный успех, но новые христиане тотчас же начали тем, что отстали от православия, поставили себе это первым и непременным условием, отвернулись от обрядов, икон, стали собираться по-лютерански и петь псалмы по книжке; иные выучились даже немецкому языку. Секта распространяется с фанатическою быстротой, переходит в другие уезды и губернии. Сектанты изменили образ жизни, не пьянствуют. Они так, например, рассуждают:

— У них (то есть у немецких, лютеранских штундистов), — у них потому хорошо и потому они так честно и благообразно живут, что нет постов…

Логика мизерная, но какой-то есть смысл, как хотите, особенно если смотреть на пост как на один лишь обряд. А откудова бедный человек мог бы узнать спасительную, глубокую цель поста? Да он и всю свою прежнюю веру знал как один лишь обряд.

Значит, против обряда и протестовал.

Это, положим, понятно. Но почему он так вдруг схватился протестовать? Где причина, его подвигнувшая?

Причина, может быть, очень общая — та, что воссияла ему свет новой жизни с 19 февраля. Он мог споткнуться и упасть с первых шагов на новом пути; но очнуться надо было непременно, а очнувшись, он вдруг увидал, как он «жалок и беден, и слеп, и нищ, и наг»[*]. Главное, правды захотелось, правды во что бы ни стало, даже жертвуя всем, что было до сих пор ему свято. Потому что никаким развратом, никаким давлением и никаким унижением не истребишь, не замертвишь и не искоренишь в сердце народа нашего жажду правды, ибо эта жажда ему дороже всего. Он может страшно упасть; но в момент самого полного своего безобразия он всегда будет помнить, то он всего только безобразник и более ничего; но что есть где-то высшая правда и что эта правда выше всего.

Вот явление. Явление это, может быть, пока единичное, с краю, но вряд ли случайное. Оно может затихнуть и зачерстветь в самом начале и

опять-таки преобразиться в какую-нибудь обрядность, подобно большинству русских сект, особенно если их не трогать. Но, как хотите, в явлении этом, повторяю, может все-таки заключаться как бы нечто пророческое. В настоящее время, когда всё будущное так загадочно, позволительно иногда даже верить в пророчества.

Ну что, если нечто подобное развернется уже по всей Руси? Не это самое, не штундисты (тем более что, говорят, уже приняты надлежащие меры), а только нечто подобное? Что, если весь народ вдруг скажет себе, дойдя до краев своего безобразия и разглядев свою нищету: «Не хочу безобразия, не хочу пить вина, а хочу правды и страха божьего, а главное правды, правды прежде всего».

Что возжаждет он правды — в том, конечно, явление отрадное. А между тем вместо правды может выйти чрезвычайная ложь, как и у штундистов.

Ну какой в самом деле наш народ протестант и какой он немец? И к чему ему учиться по-немецки, чтобы петь псалмы? И не заключается ли всё, всё, чего ищет он, в православии? Не в нем ли одном и правда и спасение народа русского, а в будущих веках и для всего человечества? Не в православии ли одном сохранился божественный лик Христа во всей чистоте? И может быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и состоит лишь в том, чтоб сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время, явить этот образ миру, потерявшему пути свои!

Да, но покамест это всё сбудется, пастор-то вот встал пораньше, с первыми птицами, да и пришел к народу, чтобы сказать ему правду — православную правду, он был очень совестлив; Но народ пошел за ним, а не за православием, не из благодарности только, а за то, что от него первую правду увидел. Ну и вышло, что «у него потому хорошо, что постов нет». Заключение очень понятное, коли замешалась личность.

Ну а кстати что же наши священники? Что об них то слышно?

А наши священники тоже, говорят, просыпаются. Духовное наше сословие, говорят, давно уже начало обнаруживать признаки жизни. С умилением читаем мы назидания владык по церквам своим о проповедничестве и благообразном житии. Наши пастыри, по всем известиям, решительно принимаются за сочинение проповедей и готовятся произнести их.

Поспеют ли только вовремя? Поспеют ли проснуться с первыми

птицами? Пастор все-таки птица иная, залетная, да и гарантирован иначе. Ну да и служба совсем другая, начальство и проч. Так-то так, да ведь не чиновник же в самом деле и наш священник! И не проповедник ли он единой великой Истины, имеющей обновить весь мир?

Пастор поспел раньше него, это всё правда; но что же и делать, однако, было священнику в случае, например, хоть штундистов? Мы вот всё наклонны обвинять наших священников, а вникнем, однако неужели ограничиться лишь доносом начальству? О, конечно, нет, добрых пастырей у нас много, может быть, более даже чем можем надеяться или сами того заслуживаем. Но все-таки, что же он стал бы тут проповедовать? (приходит мне иногда в голову как светскому человеку, с делом незнакомому). О преимуществе православия перед лютеранством? Но ведь мужики люди темные ничего не поймут и, пожалуй, не убедятся. Доброе поведение и добрые нравы, говоря вообще и не слишком пускаясь в подробности? Но какие же тут «добрые нравы», когда народ пьян с утра до вечера. Воздержание от вина в таком случае, чтобы истребить зло в самом корне? Без сомнения так, хотя тоже не слишком пускаясь в подробности, ибо… ибо все-таки надо иметь в соображении величие России как великой державы, которое так дорого стоит.[*] Ну а ведь уж это в некотором роде почти то же, что и «смятенный вид-с». Остается, стало быть, проповедовать, чтобы народ пил *немножко только поменьше.*

Ну а пастору какое дело до величия России как вели кой европейской державы? И не боится он никакого «смятенного вида», и служба у него совсем другая. А потому дело и осталось за ним.

VIII
Полписьма «одного лица»

Ниже я помещаю письмо, или, лучше сказать, полписьма «одного лица», в редакцию «Гражданина», всё письмо напечатать было никак невозможно. Это всё то же «лицо», вот тот самый, который уже отличился раз в «Гражданине» насчет «могилок»[*]. Признаюсь, печатаю, единственно чтобы от него отвязаться. Редакция буквально задавлена его статьями. Во-первых, это «лицо» решительно выступает моим защитником против литературных «врагов» моих[*]. Он написал уже за меня и в пользу мою три «антикритики», две «заметки», три «случайные заметки», одно «по поводу» и, наконец, «наставление как вести себя»[*]. В этом последнем полемическом сочинении своем он под видом наставления «врагам» моим нападает уже на меня самого и нападает в таком даже тоне, что я ничего подобного по энергии и ярости не встречал даже и у «врагов» моих. Он хочет, чтобы я это всё напечатал! Я решительно заявил ему, что, во-первых, «врагов моих» никаких не имею и что всё это только так и призраки; во-вторых, что и время уже прошло, ибо весь этот гам журналистов, раздавшийся с появления первого № «Гражданина» сего 1873 года с такою неслыханною литературною яростью, беспардонностью и простодушием приемов атаки, теперь, недели две, даже три тому назад, вдруг и неизвестно почему прекратился, точно так же как неизвестно почему и начался[*]. Наконец, что если бы я и вздумал кому отвечать, то сумел бы это сделать сам, без его помощи.

Он рассердился и, поссорясь со мною, вышел. Я даже был рад тому. Это человек болезненный… Он в напечатанной у нас еще прежде статье уже сообщил отчасти некоторые черты из своей биографии: человек огорченный и ежедневно себя «огорчающий». Но, главное, меня пугает эта непомерная сила «гражданской энергии» сего сотрудника[*]. Представьте, он с первых слов заявил мне, что не требует ни малейшего гонорария, а пишет единственно из «гражданского долга». Даже признался мне с гордою, но вредящею себе откровенностью, что писал вовсе не для того, чтобы защищать меня, а единственно чтобы провести при сем случае свои мысли, так как их ни в

одной редакции не принимают. Он просто-запросто питал сладкую надежду отмежевать себе, хоть задаром, постоянный уголок в нашем журнале, чтобы иметь возможность постоянно излагать свои мысли. Какие же это мысли? Пишет он обо всем, отзывается на всё с горечью, с яростью, с ядом и со «слезой умиления». «Девяносто процентов на яд и один процент на слезу умиления!» — объявляет он сам в одной своей рукописи. Начнется новый журнал или новая газета, и он уже немедленно тут: поучает и дает наставления. Это совершенная правда, что в одну газету он отослал до сорока писем с наставлениями, то есть как издавать, как вести себя, об чем писать и на что обращать внимание. В нашей редакции накопилось его писем, в два с половиною месяца, до двадцати осьми штук. Пишет он всегда за своею полною подписью, так что его везде уже знают, и мало того, что тратит последние копейки на франкировку, но еще в письма же вкладывает свежие марки, предполагая, что добьется-таки своего и затеет гражданскую переписку с редакциями. Всего более удивляет меня, что я никак не мог, даже из двадцати восьми его писем, открыть, какого он направления и чего, собственно, так добивается?[*] Это какой-то сумбур… Рядом с грубостью приемов, с цинизмом красного носа и «огорченного запаха» исступленного слога и разорванных сапогов мелькает какая-то скрытая жажда нежности, чего-то идеального, вера в красоту, Sehnsucht[8] по чему-то утраченному[*], и всё это выходит как-то до крайности в нем отвратительно. И вообще он мне надоел. Правда, он грубит открыто и денег за это не требует, стало быть, отчасти лицо благородное; но бог с ним и с его благородством! Не далее как три дня после нашей ссоры он явился опять, с «последнею уже попыткой», и принес вот это «Письмо „одного лица“» Нечего делать, я взял и должен теперь напечатать.

Первую половину письма решительно нельзя напечатать. Это одни только личности и ругательства чуть не всем петербургским и московским изданиям, выходящие изо всякой мерки. Ни одно из упрекаемых им изданий не возвышалось до такого цинизма в ругательствах. И главное, сам-то он их ругает единственно за цинизм и за дурной тон их полемики. Я просто отрезал ножницами всю первую часть письма и возвратил ему. Заключительную же часть печатаю лишь потому, что тут, так сказать, тема общая: это некое увещание какому-то воображаемому фельетонисту, — увещание даже пригодное для фельетонистов всех веков и народов, до того оно общее. Слог

возвышенный, причем сила слога равняется лишь наивности изложенных мыслей. Обращаясь с увещанием к фельетонисту, он говорит ему *ты,* как в одах старого времени. Он ни за что не хотел, чтобы я начал с точки, и настоял на том, чтобы печатание полуписьма его началось с полуфразы, именно так, как отрезалось ножницами: пусть, дескать, увидят, как меня исказили! Он же отстоял и заглавие: я хотел все-таки написать «Письмо „одного лица“», он непременно потребовал, чтобы озаглавлено было «Полписьма „одного лица“».

Итак, вот эти полписьма:

Полписьма «одного лица»

..и неужели в слове «свинья» заключается столь магический и заманчивый смысл, что ты тотчас же и несомненно принимаешь его на свой счет? Я давно уже стал замечать, что в русской литературе это словцо постоянно имеет некоторый особенный и даже как бы мистический смысл. Даже дедушка Крылов, понимая это, употреблял с особою любовью «свинью» в своих апологах. Читающий литератор, даже в уединении и про себя, встретившись с словом сим, немедленно вздрагивает и тотчас же начинает задумываться: «Не я ли это? Не про меня ли написано?» Согласен, что словцо энергическое, но зачем же подразумевать непременно себя и даже себя одного? Есть и другие кроме тебя. Уж не имеешь ли тайных причин к сему? Ибо чем иначе могу объяснить твою мнительность?*[9]

Второе, что замечу тебе, о друг мой фельетонист, это то, что ты невоздержан в планировке своих фельетонов. Ты напихиваешь в столбцы свои столько генералов, акционеров, князей, в тебе и в острых словах твоих имеющих нужду, что поневоле заключаю, читая, что за обилием многих не имеешь ни одного. Здесь ты присутствуешь на значительном заседании совета и изрекаешь бонмо, свысока и небрежно, но тем бросаешь луч света, и совет немедленно и торопливо переменяется к лучшему. Там в глаза осмеял одного богатого князя, за что он немедленно зовет тебя на обед, но ты проходишь мимо и гордо, но либерально от обеда отказываешься. Там заезжему милорду, в интимном разговоре в салоне, в шутку открываешь всю тайную подкладку России: он в страхе и в восхищении тут же телеграфирует в

Лондон и на другой же день министерство Виктории[*] падает. Там, на Невском, на прогулке от двух до четырех ты разрешаешь государственную, задачу трем отставным, но бегущим за тобою министрам; встречаешь проигравшегося гвардейского ротмистра и бросаешь ему двести рублей взаймы; с ним едешь к Фифине для благородного (будто бы?) негодования… Одним словом, ты тут, ты там, ты везде; ты рассыпан в обществе, тебя рвут нарасхват; глотаешь трюфели, ешь конфекты, разъезжаешь на извозчиках, в дружбе с половыми у Палкина[*] — словом, без тебя ничего. Столь высокая обстановка твоя является, наконец, подозрительною. Тихий читатель провинции сочтет тебя, может быть, и вправду за обойденного наградой или по крайней мере за отставного министра, желающего вновь путем свободной, но оппозиционной печати возвратить свою должность. Но опытный житель обеих столиц знает иное: ибо знает он, что ты не более как нанятой борзописец у антрепренера-издателя; ты нанят и обязан его защищать.[*] Он же (но никто другой) натравливает тебя на кого ему вздумается.

Итак, весь этот гнев и азарт в тебе, весь этот лай твой — всё это лишь наемное и натравленное чужою рукой. И добро бы ты сам за себя стоял! Напротив, чему всего более удивляюсь в тебе — это тому, что ты, наконец, горячишься действительно, принимаешь к сердцу как будто в самом деле свое, ругаешься с фельетонистом-соперником как бы из-за какой-то любимой идеи, из-за дорогого тебе убеждения. Между тем знаешь сам, что своих идей не имеешь, а убеждений и подавно. Или, может быть, вследствие многолетней горячки и упоения смрадным успехом своим ты возмечтал наконец, что у тебя есть идея, что и ты способен иметь убеждение? Если так, то как же рассчитываешь после сего на мое уважение?

Некогда ты был честным и благообразным юношей… О, вспомни у Пушкина, если не ошибаюсь, с персидского: почтенный старец говорит рвущемуся сразиться юноше:

Я боюсь, среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда.[*]

Увы, ты всё это и давно уже навсегда утратил! Смотри сам, как ты споришь с фельетонным врагом твоим, и пойми, до чего вы наконец доругались! Ибо вовсе вы уже не так подлы, как друг друга рисуете. Вспомни, что в детском возрасте дети дерутся наиболее потому, что не научились еще разумно излагать свои мысли. Ты же, седое дитя, за неимением мыслей бранишься всеми словами разом, — худой прием! Именно за неимением убеждений и настоящей учености ты стараешься более вникнуть в частную жизнь своего соперника; с жадностью узнаешь проступки его, искажаешь их и предаешь их благодетельной гласности.* Не жалеешь жены и детей его. Предполагая друг друга умершими, пишете каждый и обоюдно один другому, в виде пашквиля, по надгробному слову. Скажи же, кто поверит тебе, наконец? Читая фельетон твой, обрызганный слюной и чернилами, я невольно наклонен подумать, что ты не прав, что в фельетоне твоем особый и секретный смысл, что вы, верно, где-нибудь подрались на даче и не можете позабыть сего. Невольно заключаю в пользу твоего соперника, и эффект твой манкирован. А к тому ли стремился ты?

И какая детская неумелость в тебе? Обругав соперника, ты заключаешь свой фельетон словами: «Вижу вас, господин NN, как вы, прочитав эти строки, бегаете вне себя по комнате, рвете ваши волосы, кричите на вбежавшую в испуге жену свою, гоните прочь детей и, скрежеща зубами, колотите в стену кулаком от бессильного бешенства…*»

Друг мой, простодушный, но исступленный страдалец своего фиктивного, напускного в пользу антрепренера бешенства, о друг мой, фельетонист! Скажи: прочитав в твоем фельетоне подобные строки будто бы о твоем сопернике, неужели я не догадаюсь, что это ты, ты сам, а не соперник твой, бегаешь по своей комнате, рвешь свои волосы, бьешь вбежавшего в испуге лакея, если он есть у тебя и с 19 февраля еще не утратил первобытной невинности; с визгом и скрежетом кидаешься ты на стену и отбиваешь в кровь кулаки свои! Ибо кто поверит, что можно послать такие строки сопернику, не отбив в кровь своих собственных кулаков предварительно? Таким образом, сам выдаешь себя.

Очнись же и приобрети стыд. Приобретя стыд, приобретешь и уменье писать фельетоны — вот выгода.

Представлю тебе аллегорию. Ты вдруг публикуешь в афишке, что

на будущей неделе в четверг или в пятницу (словом, представь себе день, в который пишешь свои фельетоны) в театре Берга[*] или в особо устроенном для того помещении будешь показывать себя нагишом и даже в совершенной подробности. Верю, что найдутся любители; такие зрелища особенно привлекают современное общество. Верю, что съедутся и даже во множестве, но для того ли, чтобы уважать тебя? А если так, то в чем же твое торжество?

Теперь рассуди, если можешь: не то ли самое изображают твои фельетоны? Не выходишь, ли каждую неделю, в такой-то имено день, нагишом и со всеми подробностями перед публику?[*] И для чего, для кого ты стараешься?

Тут смешнее всего, что вся публика знает весь секрет войны вашей, знает и знать не хочет, проходит мимо вас равнодушно; вы же рветесь из себя и думаете, что все берут в вас участие. Человек простодушный! Публике слишком известно, что антрепренер столичной газеты, когда по примеру его основалась другая газета, в испуге сказал себе, схватясь за карман: «Эта новооснованная негодница может лишить меня двух или двух с половиною тысяч подписчиков. Найму же кудлашку и натравлю на соперницу». Кудлашка — ведь это ты!

Антрепренер тобою доволен; он гладит свои бакенбарды и после завтрака с улыбкою думает: «Как я, однако же, натравил его!»

Помнишь ли ты Антропку в Тургеневе? Сия вещь любимого писателя публики поистине гениальная.[*] Антропка есть провинциальный мальчишка, или, вернее, брат другого провинциального мальчишки, и уже Антропки (а первый, положим, Нефед), скрывшегося из избы в темную летнюю ночь по поводу сделанной шалости. Строгий отец послал старшего мальчика привести нашалившего братишку домой. И вот над обрывом оврага раздаются раздирательные вопли:

— Антропка! Антропка!

Долго не откликается виноватый шалун, но наконец «как бы с того света» раздается дрожащий и робкий голосенок его с другой стороны оврага:

— Чиво-о?

— А тебя тятенька выси-ичь хочи-ит! — с злобною и торопливою радостью подхватывает старший братишка.

Голос «с того света», разумеется, затихает. Но вот с надрывом и с

бессильным, самоскребущим озлоблением всё еще слышатся в темную ночь бесконечные, но бессильные вопли:

— Антропка-а! Антропка-а-а!

Сей гениальный возглас к Антропке и — что главное — бессильный, но злобный надрыв его может повториться не только среди провинциальных мальчишек, но и между взрослыми, дошедшими до почтенных седин, членами современного, но взволнованного реформами общества. И не напоминает ли тебе хотя бы что-либо сих Антропок в столице? Ибо между сими двумя антрепренерами столичных изданий не замечаешь ли нечто антропочное? Ты и соперник твой — не высланы ли вы оба своими хозяевами для отыскания Антропок? Антропки — не те ли это из предполагаемых вами новых подписчиков, которые могли бы поверить вашей невинности? Вы знаете оба, что вся ваша ярость, весь надрыв и старания ваши останутся втуне, что не отзовется Антропка, что не отобьете вы друг у друга ни одного подписчика, что у каждого будет довольно и без того; но вы уже так въелись в игру сию и так нраится вам этот скребущий сердца ваши до крови фельетонный бессильный надрыв, что вы уже не можете удержаться! И вот еженедельно и в известные дни среди темной ночи, объявшей нашу литературу, с надрывом и с яростью раздается: «Антропка-а! Антропка-а!» И мы это слушаем.

Позволю себе и еще аллегорию.

Представь, что тебя пригласили в порядочное общество; ибо предполагаю, что ездишь и ты в порядочные круги общества. Ты прибыл на званую вечеринку к статскому даже советнику в день его именин. Гости уже заранее предуведомлены хозяином о твоем остроумии. Ты входишь с приличием, одет хорошо, расшаркиваешься с хозяйкою и говоришь ей любезности. С удовольствием ощущаешь, что на тебя смотрят, и готовишься отличиться. И вдруг, о ужас! замечаешь в углу залы литературного твоего соперника, прибывшего раньше тебя и которого даже и знакомым в сем месте не предполагал до последней минуты. Ты изменился в лице; но хозяин, отнеся сие к минутному твоему нездоровью; спешит, по наивности, познакомить себя с литературным врагом твоим. Вы мычите и тотчас же повертываетесь друг к другу спинами. Хозяин в смущении, но ободряется, полагая, что это лишь новый литературный прием, неизвестный ему за делами службы. Между тем спешат картами, и хозяйка приглашает тебя в

ералаш с свойственною ей любезностию. Чтоб избавиться от соперника, ты берешь карту с радостию; новый ужас: оказывается, что вы за одним столом. Отказаться уже нельзя, ибо причиною тому обе развязные и любезные светские дамы, ваши партнерки. Обе садятся спеша, а кругом них несколько родственниц и знакомых, и все жаждут слушать двух литераторов, все смотрят на ваши рты, все ловят ваше первое слово, не спуская с вас глаз своих. Соперник твой обращается к даме с спокойствием и говорит ей: «Кажется, сдача за вами, сударыня». Все улыбаются, все переглядываются, остроумное слово получает успех, и сердце твое сжимается завистью. Но следует сдача. Открываешь свои карты: тройки, двойки, шестерки и самая старшая — валет. Ты скрежещешь зубами*, а соперник твой улыбается. К нему пришли карты, и он с гордостью объявляет коронку. Взор твой тускнеет. Схватываешь бронзовый веский фамильный подсвечник, которым гордится хозяин, хранящийся весь год у хозяйки в шкафу и выставляемый на вид лишь единственно во дни ангелов, — схватываешь и стремительно пускаешь его в лоб своему сопернику. Крик и недоумение! Все вскакивают, но вы уже бросились и с пеной ярости вцепились друг другу в волосы.[10] Ибо, судя по твоему нетерпению в литературе и неумению сдержать себя, имею право заключить и о нетерпении твоем в частных обществах. Партнерка твоя, молодая дама, ожидавшая от тебя столько остроумия, с криком спасается под крыло своего супруга, значительного инженер-подполковника. Тот, указывая на вас обоих, крутящихся за волосы, говорит ей: «Я предварял тебя, миленькая, чего можно ожидать от современной беллетристики!» Но вас уже стащили вон с лестницы и выпихнули на улицу. Именинник хозяин, чувствуя вину свою перед созванным обществом, просит у всех извинения, рекомендуя забыть о русской литературе и продолжать ералаш. Ты же лишил себя светского вечера, приятных, хотя и невинных минут с петербургскою дамой и ужина. Но вам обоим не до того: вы схватываете по легковому извозчику и несетесь по зловонным петербургским улицам каждый в квартиру свою, чтобы тотчас же сесть за фельетон. Ты погоняешь извозчика, мимоходом завидуя его невинности, но уже обдумываешь статью свою. Ты прилетел, схватываешь перо свое и рассказываешь точь-в-точь и в малейшей подробности всё, что случилось с тобой у советника!

Ты обличаешь именинника, ты обличаешь жену его, угощение их, восстаешь против обычая именин, против инженер-подполковника, против дамы, своей партнерки, и наконец-то добираешься до соперника. О, тут уже всё до последней подробности, по известной нынешней общей манере вашей выставлять подноготную. Ты рассказываешь, как он бил тебя и как ты его бил, обещаешь, что будешь бить, и как он обещался бить. Ты хочешь приложить к статье своей пачку вырванных у него волос. Но вот уже утро… Ты бегаешь по комнате и ждешь редакционного часа. Являешься к редактору, и вдруг тот с спокойным видом объявляет тебе, что он еще накануне примирился с антрепренером-соперником, прекратившим издание и сдавшим ему подписчиков, сам же запил с ним мир у Дюссота бутылкой шампанского*. Затем благодарит тебя за услуги и объявляет, что ты ему больше не нужен. Скажи, каково положение твое!

Всего более не люблю я последних дней масленицы, когда черный народ допивается до последней степени своего безобразия. Отупелые рожи пьяниц, в рваных халатах и сюртучишках, толпятся у кабаков. Вот двое остановились на улице: один уверяет, что он генерал, а другой ему «Врешь!» Тот бесится и ругается, а этот «Вр-решь!» Тот еще пуще, а этот всё то же: «Вр-решь!» — и так далее до двухсот даже раз! Оба именно находят красоту в бессильном и в бесконечном повторении одного и того же слова, так сказать погрязая в услаждении бессилием своего унижения

Читая фельетоны твои, невольно воображаю себе слишком уже долго продолжающуюся в литературе нашей какую-то бесконечную, пьяную, бестолковую масленицу. Ибо не то же ли и у вас, как и у этих двух остановившихся у перекрестка бестолковых пьяных халатников? Не уверяет ли твой соперник в каждом фельетоне своем, что он генерал; и не отвечаешь ли ты ему, как халатник на перекрестке: «Вр-решь!» И всё это такое бесконечное число раз, без малейшего даже предчувствия, как всё это, наконец, надоело.* Воображаю вас именно как на масленице, обезумевших и упившихся, в последний (прощеный!) день; воображаю, как вы валяетесь каждый перед окнами своей редакции и, копошась в грязном столичном буром снегу, кричите изо всей мочи друг на друга сиплыми голосами:

— Караул! кар-раул! кар-раул!

Но молчу и поспешаю мимо…

Молчаливый наблюдатель.

NB «Молчаливый наблюдатель» — это псевдоним «одного лица»; я забыл о том предуведомить.

IX
По поводу выставки

Я заходил на выставку. На венскую всемирную выставку отправляется довольно много картин наших русских художников. Это уже не в первый раз, и русских современных художников начинают знать в Европе.* Но все-таки приходит на мысль: возможно ли там понять наших художников и с какой точки зрения их там будут ценить? По-моему, переведите комедию г-на Островского — ну, «Свои люди, сочтемся», или даже любую, и переведите по возможности лучше, на немецкий или французский язык, и поставьте где-нибудь на европейской сцене, — и я, право, не знаю, что выйдет*. Что-нибудь, конечно, поймут и, кто знает, может быть, даже найдут некоторое удовольствие, но по крайней мере три четверти комедии останутся совершенно недоступны еропейскому пониманию. Я помню, в моей молодости, как ужасно заинтересовало меня известие, что г-н Виардо (муж знаменитой певицы, певшей у нас тогда в итальянской опере), француз, не знающий ничего по-русски, переводит нашего Гоголя под руководством г-на Тургенева*. У Виардо, конечно, была художественно-критическая способность и, сверх того, чуткость в понимании поэзии чужих национальностей, что он и доказал превосходным своим переводом «Дон-Кихота» на французский язык*. Господин же Тургенев понимал Гоголя, конечно, до тонкости; как все тогда, полагаю, любил его до восторга и, сверх того, сам был поэт, хотя тогда почти не начинал еще своего поэтического поприща (NB Он написал только несколько стихов, забыл каких, и, сверх того, повесть «Три портрета» — произведение уже значительное*). Таким образом, могло бы что-нибудь и выйти. Замечу, что г-н Тургенев, должно быть, превосходно знает французский язык. И что же? Вышла из этого перевода такая странность, что я, хоть и предчувствовал заранее, что Гоголя нельзя передать по-французски, все-таки никак не ожидал такого исхода. Этот перевод можно достать и теперь — посмотрите, что это такое. Гоголь исчез буквально. Весь юмор, всё комическое, все отдельные детали и главные моменты развязок, от которых и теперь, вспоминая их иногда нечаянно, наедине (и часто в самые

нелитературные моменты жизни), зальешься вдруг самым неудержимым смехом про себя, — всё это пропало, как не бывало вовсе. Я не понимаю, что могли заключать тогда французы о Гоголе, судя по этому переводу; впрочем, кажется, ничего не заключили. «Пиковая дама», «Капитанская дочка», которые тоже были переведены тогда по-французски*, без сомнения тоже исчезли наполовину, хотя в них гораздо более можно было понять, чем в Гоголе. Словом, всё характерное, всё наше национальное по преимуществу (а стало быть, всё истинно художественное), по моему мнению, для Европы неузнаваемо. Переведите повесть «Рудин» Тергенева (я потому говорю о г-не Тургеневе, что он наиболее переведен из русских писателей, а о повести «Рудин» потому, что она наиболее из всех произведений г-на Тургенева подходит к чему-то немецкому) на какой хотите европейский язык — и даже ее не поймут. Главная суть дела останется совсем даже неподозреваемою. «Записки же охотника» точно так же не поймут, как и Пушкина, как и Гоголя. Так что всем нашим крупным талантам, мне кажется, суждено надолго, может быть, остаться для Европы совсем неизвестными; и даже так, что чем крупнее и своеобразнее талант, тем он будет и неузнаваемее. Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане*, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников. А, однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс! Что же из этого заключить? Есть ли такое понимание чужих национальностей особый дар русских пред европейцами? Дар особенный, может быть, и есть, и если есть этот дар (равно как и дар говорить на чужих языках, действительно сильнейший, чем у всех европейцев), то дар этот чрезвычайно значителен и сулит много в будущем, на многое русских предназначает, хотя и не знаю: вполне ли это хороший дар, или есть тут что-нибудь и дурное… Вернее же (скажут многие), что европейцы мало знают Россию и русскую жизнь, потому что не имели до сих пор еще и нужды ее узнавать в слишком большой подробности. Правда, действительно в Европе до сих пор не было никакой особенной надобности слишком подробно нас узнавать. Но все-таки кажется несомненным, что европейцу, какой бы он ни был национальности, всегда легче выучиться другому европейскому языку и вникнуть в душу всякой другой европейской национальности, чем научиться русскому языку и понять нашу русскую суть. Даже нарочно

изучавшие нас европейцы, для каких-нибудь целей (а таковые были), и положившие на это большой труд, несомненно уезжали от нас, хотя и много изучив, но все-таки до конца не понимая иных фактов* и даже, можно сказать, долго еще не будут понимать, в современных и ближайших поколениях по крайней мере. Всё это намекает на долгую еще, может быть, и печальную нашу уединенность в европейской семье народов; на долгие еще в будущем ошибки европейцев в суждениях о России; на их видимую наклонность судить нас всегда к худшему и, может быть, объясняет и ту постоянную, всеобщую, основанную на каком-то сильнейшем непосредственном и гадливом ощущении враждебность к нам Европы; отвращение ее от нас как от чего-то противного, отчасти даже некоторый суеверный страх ее перед нами и — вечный, известный, давнишний приговор ее о нас: что мы вовсе не европейцы… Мы, разумеется, обижаемся и изо всех сил таращимся доказать, что мы европейцы…

Я, конечно, не говорю, что в Европе не поймут наших, например, пейзажистов: виды Крыма, Кавказа, даже наших степей будут, конечно, и там любопытны. Но зато наш русский, по преимуществу национальный, пейзаж, то есть северной и средней полосы нашей Европейской России, я думаю, тоже не произведет в Вене большого эффекта. «Эта скудная природа»*, вся характерность которой состоит, так сказать, в ее бесхарактерности, нам мила, однако, и дорога. Ну а немцам что до чувств наших? Вот, например, эти две березки в пейзаже г-на Куинджи («Вид на Валааме»)*: на первом плане болото и болотная поросль, на заднем — лес; оттуда — туча не туча, но мгла, сырость; сыростью вас как будто проницает всего, вы почти ее чувствуете, и на средине, между лесом и вами, две белые березки, яркие, твердые, — самая сильная точка в картине. Ну что тут особенного? Что тут характерного, а между тем как это хорошо!.. Может быть, я ошибаюсь, но немцу это не может так понравиться.

Про исторический род и говорить нечего; в чисто историческом роде мы давно уже не блистаем, а стало быть, Европу и не удивим; даже батальным родом не очень удивим; даже переселение черкесов (огромная пестрая картина, может быть с большими достоинствами, — не могу судить) не произведет, по-моему, за границею слишком сильного впечатления*. Но жанр, наш жанр — в нем-то что поймут? А ведь у нас он вот уже столько лет почти исключительно царствует; и

если есть нам чем-нибудь погордиться и что-нибудь показать, то, уж конечно, из нашего жанра. Вот, например, небольшая картинка (Маковского) «Любители соловьиного пения», кажется; не знаю, как она названа[*]. Посмотрите: комнатка у мещанина аль у какого-то отставного солдата, торговца певчими птицами, должно быть, тоже и птицелова. Видно несколько птичьих клеток; скамейки, стол, на столе самовар, а за самоваром сидят гости, два купца или лавочника, любители соловьиного пения. Соловей висит у окна в клетке и, должно быть, свистит, заливается, щелкает, а гости слушают. Оба они, видимо, люди серьезные, тугие лавочники и барышники, уже в летах, может быть, и безобразники в домашнем быту (как-то уже это принято, что всё это «темное царство» непременно составлено из безобразников и должно безобразничать в домашнем быту)[*], а между тем оба они видимо уже раскисли от наслаждения — самого невинного, почти трогательного. Тут происходит что-то трогательное до глупости. Сидящий у окна немного потупил голову, одну руку приподнял и держит на весу, вслушивается, тает, в лице блаженная улыбка; он дослушивает трель… Он хочет что-то ухватить, боится что-то потерять. Другой сидит за столом, за чаем, к нам почти спиной, но вы знаете, что он «страдает» не менее своего товарища. Перед ними хозяин, зазвавший их слушать и, конечно, им же продать соловья. Это довольно сухощавый и высокий парень лет сорока с лишком, в домашнем, довольно бесцеремонном костюме (да и что тут теперь церемониться); он что-то говорит купцам, и вы чувствуете, что он со властью говорит. Перед этими лавочниками он по социальному положению своему, то есть по карману, конечно личность ничтожная; но теперь у него соловей, и хороший соловей, а потому он смотрит гордо (как будто он это сам поет), обращается к купцам даже с каким-то нахальством, с строгостию (нельзя же-с)… Любопытно, что лавочники непременно сидят и думают, что это так и должно быть, чтобы он их тут немножко подраспек, потому что «уж оченно хорош у него соловей!» Чай кончится, и начнется торг… Ну что, спрашивается, поймет в этой картине немец или венский жид (Вена, как и Одесса, говорят, вся в жидах)? Может, кто и растолкует в чем дело, и они узнают, что у русского купца средней руки две страсти — рысак и соловей, и что потому это ужасно смешно; но что же из этого выйдет? Это знание какое-то отвлеченное, и немцу очень трудно будет представить, почему

это так смешно. Мы же смотрим на картинку и улыбаемся; вспоминаем про нее потом, и нам опять почему-то смешно и приятно. Право, и пусть смеются надо мной, но вот в этих маленьких картинках, по-моему, есть даже любовь к человечеству, не только к русскому в особенности, но даже и вообще. Я ведь эту картинку только для одного примера поставил. Но ведь что всего досаднее — это то, что мы-то подобную картинку у немцев, из их немецкого быта, поймем точно так же, как и они сами, и даже восхищаться будем, как они сами, почти их же, немецкими, чувствами, а они вот у нас совсем ничего не поймут. Впрочем, может быть, для нас это в некотором смысле и выгоднее.

Ну вот в эстонской или лифляндской каюте игра в карты — это, конечно, понятно, особенно фигура мальчика, участвующего в игре; в карты все играют и гадают, так что и «Десятка пик» (так названа одна картина) будет совершенно понятна*; но не думаю, чтобы поняли, например, Перова «Охотников»*. Я нарочно назначаю одну из понятнейших картин нашего национального жанра. Картина давно уже всем известна: «Охотники на привале»; один горячо и зазнамо врет, другой слушает и из всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется… Что за прелесть! Конечно, растолковать — так поймут и немцы, но ведь не поймут они, как мы, что это русский враль и что врет он по-русски. Мы ведь почти слышим и знаем, об чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства. Я уверен, что если бы г-н Перов (и он наверно бы смог это сделать) изобразил французских или немецких охотников (конечно, по-другому и в других лицах), то мы, русские, поняли бы и немецкое и французское вранье, со всеми тонкостями, со всеми национальными отличиями, и слог и тему вранья, угадали бы всё только смотря на картину. Ну а немец, как ни напрягайся, а нашего русского вранья не поймет. Конечно, небольшой ему в том убыток, да и нам опять-таки, может быть, это и выгоднее; но зато и картину не вполне поймет, а стало быть, и не оценит как следует; ну а уж это жаль, потому что мы едем, чтоб нас похвалили.

Не знаю, как отнесутся в Вене к «Псаломщикам» Маковского*. По-моему, это уже не жанр, а картина историческая. Я пошутил, конечно, но присмотритесь, однако: больше ничего как певчие, в некотором роде официальный хор, исполняющий за обедней концерт. Всё это господа в официальных костюмах, с гладко-гладко выбритыми подбородками. Вглядитесь, например, в этого господина с бакенбардами; ясно, что он,

так сказать, переряжен в этот совершенно не гармонирующий с ним костюм и носит его лишь по службе. Правда, и все певчие надевают такие костюмы лишь по службе, и искони так велось, с патриархальных времен, но тут эта переряженность как-то особенно в глаза бросается. Вы такого благообразного чиновника привыкли видеть лишь в вицмундире и в департаменте; это скромный и солидный, прилично обстриженный человечек среднего круга. Он тянет что-то вроде известного «уязвлен!», но и «уязвлен» обращается, глядя на него, во что-то официальное. Ничего даже нет смешнее, как предложить, чтоб этот вполне благонамеренный и успокоенный службою человек мог быть «уязвлен»! Не смотреть на них, отвернуться и только слушать, и выйдет что-нибудь прелестное; ну а посмотреть на эти фигуры, и вам кажется, что псалом поется только так… что тут что-то вовсе другое…

Я ужасно боюсь «направления», если оно овладевает молодым художником, особенно при начале его поприща; и как вы думаете, чего именно тут боюсь: а вот именно того, что цель-то направления не достигнется. Поверит ли один милый критик, которого я недавно читал, но которого называть теперь не хочу, — поверит ли он, что всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из художнической потребности, и даже на сюжет совсем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь «направительное», — поверит ли этот критик, что такое произведение окажется гораздо полезнее для *его же целей,* чем, например, все песни о рубашке (не Гуда, а наших писателей)[*], хотя бы с виду и походило на то, что называют «удовлетворением праздного любопытства»? Если даже люди ученые, по-видимому, еще не догадались об этом, то что же может происходить иногда в сердцах и в умах наших молодых писателей и художников? какая бурда понятий и предвзятых ощущений? В угоду общественному давлению молодой поэт давит в себе натуральную потребность излиться в собственных образах, боится, что осудят «за праздное любопытство», давит, стирает образы, которые сами просятся из души его, оставляет их без развития и внимания и вытягивает из себя с болезненными судорогами тему, удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и социальному мнению. Какая, однако, ужасно простая и наивная ошибка, какая грубая ошибка! Одна из самых грубейших ошибок состоит в том, что обличение порока (или то, что либерализмом принято считать за порок)

и возбуждение к ненависти и мести считается за единственный и возможный путь к достижению цели! Впрочем, даже и на этом узком пути можно было бы вывернуться сильному дарованию и не заглохнуть в начале поприща; стоило бы вспоминать лишь почаще о золотом правиле, что высказанное слово серебряное, а невысказанное — золотое. Есть очень и очень значительные таланты, которые так много обещали, но которых до того заело направление, что решительно одело их в какой-то мундир. Я читал две последние поэмы Некрасова — решительно этот почтенный поэт наш ходит теперь в мундире*. А ведь даже и в этих поэмах есть несколько хорошего и намекает на прежний талант г-на Некрасова. Но что делать: мундирный сюжет, мундирность приема, мундирность мысли, слога, натуральности… да, мундирность даже самой натуральности. Знает ли, например, маститый поэт наш, что никакая женщина, даже преисполненная первейшими гражданскими чувствами, приявшая, чтобы свидеться с несчастным мужем, столько трудов, проехавшая шесть тысяч верст в телеге и «узнавшая прелесть телеги», слетевшая, как вы сами уверяете, «с высокой вершины Алтая»* (что, впрочем, совсем уже невозможно), — знаете ли вы, поэт, что эта женщина ни за что не поцелует сначала цепей любимого человека, а поцелует непременно сначала его самого, а потом уже его цепи, если уж так сильно и внезапно пробудится в ней великодушный порыв гражданского чувства, и так сделает всякая женщина решительно*. Конечно, замечание мое пустяшное, да и не стоило бы приводить, потому что и поэма-то так только написана, ну, например, чтобы к первому января отвязаться… Впрочем, г-н Некрасов все-таки уже громкое литературное имя, почти законченное, и имеет за собою много прекрасных стихов. Это поэт страдания и почти заслужил это имя. Ну а новеньких все-таки жаль: не у всякого такой сильный талант, чтобы не подчиниться мундирной мысли в начале поприща, а стало быть, и уберечь себя от литературной чахотки и смерти. Что делать: мундир-то ведь так красив, с таким шитьем, блестит… Да и как выгоден! то есть теперь особенно выгоден.

Чуть только я прочел в газетах о бурлаках г-на Репина*, то тотчас же испугался. Даже самый сюжет ужасен: у нас как-то принято, что бурлаки всего более способны изображать известную социальную мысль о неоплатном долге высших классов народу. Я так и приготовился их всех встретить в мундирах, с известными ярлыками на

лбу. И что же? К радости моей, весь страх мой оказался напрасным: бурлаки, настоящие бурлаки и более ничего. Ни один из них не кричит с картины зрителю: «Посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу!» И уж это одно можно поставить в величайшую заслугу художнику. Славные, знакомые фигуры: два передовые бурлака почти смеются, по крайней мере, вовсе не плачут и уж отнюдь не думают о социальном своем положении. Солдатик хитрит и фальшивит, хочет набить трубочку. Мальчишка серьезничает, кричит, даже ссорится — удивительная фигура, почти лучшая в картине и равна по замыслу с самым задним бурлаком, понуренным мужичонкой, плетущимся особо, которого даже и лица не видно. Невозможно и представить себе, чтобы мысль о политико-экономических и социальных долгах высших классов народу могла хоть когда-нибудь проникнуть в эту бедную, понуренную голову этого забитого вековечным горем мужичонка… и — и знаете ли вы, милый критик, что вот эта-то смиренная невинность мысли этого мужичонки и достигает цели несравненно более, чем вы думаете, — именно вашей направительной, либеральной цели! Ведь иной зритель уйдет с нарывом в сердце и любовью (с какою любовью!) к этому мужичонке, или к этому мальчишке, или к этому плуту-подлецу солдатику! Ведь нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не полюбя. Нельзя не подумать, что должен, действительно должен народу… Ведь эта бурлацкая «партия» будет сниться потом во сне, через пятнадцать лет вспомнится! А не были бы они так натуральны, невинны и просты — не производили бы такого впечатления и не составили бы такой картины. Теперь ведь это почти картина! Да и отвратительны все мундирные воротники, как ни расшивай их золотом! Впрочем, что тут разглагольствовать; да и картину рассказывать нечего; картины слишком трудно передавать словами. Просто скажу: фигуры гоголевские.* Слово это большое, но я и не говорю, что г-н Репин есть Гоголь в своем роде искусства. Наш жанр еще до Гоголя и до Диккенса не дорос.

Некоторую утрировку можно заметить, впрочем, и у г-на Репина: это именно в костюмах, и то только в двух фигурах. Такие лохмотья даже и быть не могут. Эта рубашка, например, нечаянно попала в корыто, в котором рубили сечкой котлеты. Без сомнения, бурлаки костюмами не блистают. Всем известно, откуда этот народ: дома в конце зимы, как не раз извещали по крайней мере, корой питаются и

идут по весне к хозяину тянуть барку, по крайней мере иные, из-за одной только каши, почти без всякого уговора. Примеры бывали, что с первых дней так и умрет у каши бурлак, навалившись на нее с голодухи, задушится, «лопнет». Лекаря взрезывали, говорят, этих людей и находили одну только кашу до самого горла.* Вот это какие иногда субъекты. Но всё же невысказанное слово золотое, тем более что такую рубашку и надеть нельзя, если раз только снять: не влезет. Впрочем, в сравнении с достоинством и независимостью замысла картины эта крошечная утрировка костюмов ничтожна.

Жаль, что я ничего не знаю о г-не Репине. Любопытно узнать, молодой это человек или нет? Как бы я желал, чтоб это был очень еще молодой и только что еще начинающий художник. Несколько строк выше я поспешил оговориться, что все-таки это не Гоголь. Да, г-на Репин, до Гоголя еще ужасно как высоко; не возгордитесь заслуженным успехом. Наш жанр на хорошей дороге, и таланты есть, но чего-то недостает ему, чтобы раздвинуться или расшириться. Ведь и Диккенс — жанр, не более; но Диккенс создал «Пиквика», «Оливера Твиста» и «Дедушку и внучку» в романе «Лавка древностей»*; нет, нашему жанру до этого далеко; он еще стоит на «Охотниках» и «Соловьях». «Соловьев» и «Охотников» у Диккенса множество на второстепенных местах. Я даже думаю, что нашему жанру в настоящую минуту нашего искусства, сколько могу судить по некоторым признакам, «Пиквик» и «Внучка» покажутся даже чем-то идеальным, а сколько я заметил по разговорам с иными из наших крупнейших художников — идеального они боятся вроде нечистой силы. Боязнь благородная, без сомнения, но предрассудочная и несправедливая. Надо побольше смелости нашим художникам, побольше самостоятельности мысли и, может быть, побольше образования. Вот почему, я думаю, страдает и наш исторический род, который как-то затих. По-видимому, современные наши художники даже боятся исторического рода живописи и ударились в жанр, как в единый истинный и законный исход всякого дарования. Мне кажется, что художник как будто предчувствует, что (по понятиям его) придется ему непременно «идеальничать» в историческом роде, а стало быть, лгать. «Надо изображать действительность как она есть», — говорят они, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу

так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального. Портретист усаживает, например, субъекта, чтобы снять с него портрет, приготовляется, вглядывается. Почему он это делает? А потому что он знает на практике, что человек не всегда на себя похож, а потому и отыскивает «главную идею его физиономии», тот момент, когда субъект этот наиболее на себя похож. В умении приискать и захватить этот момент и состоит дар портретиста. А стало быть, что же делает тут художник, как не доверяется скорее своей идее (идеалу), чем предстоящей действительности? Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность. У нас как будто многие не знают того. Вот, например, «Гимн пифагорейцев» Бронникова: иной художник-жанрист (и даже из самых талантливых) удивится даже, как возможно современному художнику хвататься за такие темы. А между тем такие темы (почти фантастические) так же действительны и так же необходимы искусству и человеку, как и текущая действительность.*

Что такое в сущности жанр? Жанр есть искусство изображения современной, текущей действительности, которую перечувствовал художник сам лично и видел собственными глазами, в противоположность исторической, например, действительности, которую нельзя видеть собственными глазами и которая изображается не в текущем, а уже в законченном виде. (Сделаю nota bene: мы говорим: «видел собственными глазами». Ведь Диккенс никогда не видел Пиквика собственными глазами, а заметил его только в многоразличии наблюдаемой им действительности, создал лицо и представил его как результат своих наблюдений. Таким образом, это лицо так же точно реально, как и действительно существующее, хотя Диккенс и взял только идеал действительности). Между тем у нас именно происходит смешение понятий о действительности. Историческая действительность, например в искусстве, конечно не та, что текущая (жанр), — именно тем, что она законченная, а не текущая. Спросите какого угодно психолога, и он объяснит вам, что если воображать прошедшее событие и особливо давно прошедшее, завершенное, историческое (а жить и не воображать о прошлом нельзя), то событие *непременно* представится в законченном его виде, то есть с прибавкою всего последующего его развития, еще и не происходившего

в тот именно исторический момент, в котором художник старается вообразить лицо или событие. А потому сущность исторического события и не может быть представлена у художника точь-в-точь так, как оно, может быть, совершалось в действительности. Таким образом, художника объемлет как бы суеверный страх того, что ему, может быть, поневоле придется «идеальничать», что, по его понятиям, значит лгать. Чтоб избегнуть мнимой ошибки, он придумывает (случаи бывали) смешать обе действительности — историческую и текущую; от этой неестественной смеси происходит ложь пуще всякой. По моему взгляду, эта пагубная ошибка замечается в некоторых картинах г-на Ге[*]. Из своей «Тайной вечери», например, наделавшей когда-то столько шуму, он сделал совершенный жанр.[*] Всмотритесь внимательнее: это обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей. Вот сидит Христос, — но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти доносить, но не тот Христос, которого мы знаем. К Учителю бросились его друзья утешать его; но спрашивается: где же и причем тут последовавшие восемнадцать веков христианства? Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г-на Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное?

Тут совсем ничего не объяснено, тут нет исторической правды; тут даже и правды жанра нет, тут всё фальшивое.

С какой бы вы ни захотели судить точки зрения, событие это не могло так произойти: тут же всё происходит совсем несоразмерно и непропорционально будущему. Тициан, по крайней мере, придал бы этому Учителю хоть то лицо, с которым изобразил его в известной картине своей «Кесарево кесареви»[*]; тогда многое бы стало тотчас понятно. В картине же г-на Ге просто перессорились какие-то добрые люди; вышла фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже вовсе не реализм. Г-н Ге гнался за реализмом.

Однако я и забыл о выставке. Впрочем… Какой же я репортер; я хотел лишь сделать несколько отметок «по поводу». Тем не менее редакция обещает поместить подробный отчет о картинах наших художников, отправляющихся на венскую выставку; или, может быть, еще лучше, постарается упомянуть о них уже с выставки, уже с отчетом

о впечатлении, которое они произведут в свою очередь на собравшихся иностранцев.

X
Ряженый

Кто тебя!

В «Русском мире» (№ 103) появилась на меня ругательная заметка. Ни на одну ругательную статью я не отвечаю; на эту отвечу — по некоторым соображениям, а по каким — выяснится в продолжение ответа.

И во-первых, дело в том, что ругатель мой духовное лицо, — с этой стороны менее всего ждал нападения. «Заметка» подписана «Свящ. П. Касторский». Что такое: «Свящ.»? Священник? Что может означать это сокращение, кроме «священник»? Тем более что и речь о церковном предмете.* В 15–16 № «Гражданина» напечатана была повесть г-на Недолина «Дьячок». Ну вот об ней-то и дело.

Вот эта «заметка».

«Холостые понятия о женатом монахе

Священнослужители и церковники весьма нередко в наше время бывают избираемы нашими повествователями и романистами в герои своих повествований, еще чаще они появляются там в качестве вводных, так сказать, аксессуарных лиц. Это и прекрасно, что их описывают: в духовном быту очень много типических лиц, и почему их не изображать с их

> добрыми и худыми сторонами? Недавний успех „Записок причетника“ в „Отечественных записках“ и потом еще больший успех „Соборян“ в „Русском вестнике“* показывают, как много интереса могут возбуждать в обществе художественные изображения бытовой среды нашего клира*. Оба названные произведения представляли наших клировых людей с разных точек зрения, и оба они прочитаны со вниманием и с удовольствием. А почему? — потому что они

> написаны хорошо, художественной с знанием дела. Но совсем не то выходит, когда по подражательности или по чему-нибудь другому, — например по самонадеянности или по легкомыслию, — за это дело берутся люди, которые не имеют о нем никакого понятия. Они только конфузят себя и вредят делу, устанавливая на него ложные взгляды, а потому проходить такие вредные покушения — карикатурить быт нашего духовенства — невозможно, и я вслед за *псаломщиком*, недавно заметившим в „Русском мире“ невежество писателя Достоевского насчет певчих, не могу промолчать о еще более грубом, смешном и непростительном невежестве, обличенном опять в том же журнале „Гражданин“ под которым подписывается редактором тот же г-н Достоевский»

Остановимся пока тут. Что значит «вслед за *псаломщиком*, обличившим в „Русском мире“ невежество писателя Достоевского»? Не читал. (И опять «Русский мир»!) Отыскиваю (№ 87), действительно есть обличение, подписано «Псаломщик».* Посмотрим, что такое:*

«О певческой ливрее

Письмо в редакцию)

> В № 13 журнала „Гражданин“ (26 марта) мне случилось прочесть статью г-на Ф. Достоевского по поводу академической художественной выставки Г-н Достоевский, трактуя в этой статье о псаломщиках, изображенных художником Маковским, написал такие строки: „Все это господа в *официальных костюмах* с гладко-гладко выбритыми подбородками. Правда, и *все певчие надевают такие костюмы* лишь по службе и *искони надевают такие костюмы и искони так велось с патриархальных времен…*“»

Прервем на минуту: во-первых, такой глупой фразы у меня совсем нет. У меня написано: «Правда, и все певчие надевают такие костюмы

лишь по службе и искони так велось, с патриархальных времен…» — а это совсем другое.

Продолжаем выписку:

> «Это неосновательно: ни *искони*, ни с *патриархальных* времен клировые певцы в русской церкви никогда не надевали на себя таких костюмов, в каких мы видим их ныне и в каких псаломщики изображены в картине г-на Маковского. Эта ливрея есть позднейшее позаимствование, взятое с Запада, или, точнее сказать, из Польши, и в числе достопочтенных иерархов нашей церкви было и есть немало таких, которые находят этот ливрейный маскарад неуместным, и певцы состоящих при них хоров поют в обыкновенных черных сюртуках, что, конечно, гораздо скромнее и пристойнее польского контуша*. „Искони“ же, во времена *„патриархальные“*, певцы пели стоя в длинных черных азямах* и непременно с лестовками* в руке, так же точно стоят певцы и ныне в церквах единоверцев и в моленных раскольников».

NB Выходит, пожалуй, что у нас, в теперешних православных храмах, певчие поют сидя. Сведущего человека всегда полезно выслушать.

> «Опасаясь (есть чего!), дабы через неведующее слово г-на Достоевского не укреплялось неосновательное мнение насчет этих ливрей (землетрясение будет от этого, что ли?), которые давно бы пора перекроить на русский лад, я имею честь просить редакцию „Русского мира“ дать место этим кратким строкам моим.
>
> Псаломщик»

Вот эта заметка Псаломщика, на которую ссылается Свящ. Касторский. Прежде чем будем продолжать Касторского, кончим с Псаломщиком.

Чего вы рассердились, г-н Псаломщик? Вы указываете ошибку и учите, а между тем ошибаетесь сами. Вы говорите: «Это

неосновательно: ни *искони,* ни с *патриархальных* времен клировые певцы в русской церкви никогда не надевали на себя таких костюмов…» Как так? Почему «это неосновательно»? Почему нельзя сказать: *искони* и с *патриархальных* времен? Что же, они вчера, что ли, так оделись? Ведь по крайней мере при пра-пра-прадедах? С насупившимся видом глубокого историка вы являетесь нас поправлять, а между тем сами ничего не говорите точного? Ждешь, что глубокий историк с точностию определит время, год, а пожалуй, и день, когда клир в первый раз оделся в эти костюмы, а вы после всего, что натрубили, довольствуетесь вялой догадкой: «Это-де у нас с польского» — у только! А звону-то, звону-то!

Вы только ответьте, г-н Псаломщик, как по-вашему польское влияние, отразившееся одновременно у нас на очень многом и даже вот на клире, — давно оно было, по-вашему, или всего только третьего дня? Так почему же, ради всего сколько-нибудь толкового, нельзя выразиться, что *искони* так велось, *с патриархальных* времен? Не только с патриархальных, но почти с *патриаршими* временами* это соприкасается.

Эти костюмы (или подобные им) появились с Петра Великого, стало быть, почти соприкасались со временами патриаршими, немногого недостало. Разве это недавно? Нельзя, что ли, сказать *искони?* или с «патриархальных времен»? Если же я в статье моей и сам не определил с историческою точностию, с какого именно времени наши певчие в эти костюмы одеваются, то потому что и намерения сего не питал, и цели такой не имел, а единственно хотел выразить, что заведено это очень давно, — так давно, что всегда можно выразиться *«искони»,* и это всякий поймет, кто прочтет статью мою. Не про Димитрия Донского время я говорил и не про Ярославово.* Я хотел сказать, что «очень давно», и ничего больше.

Но довольно с ученым Псаломщиком. Выскочил, намахал руками, и — ничего не вышло. По крайней мере, этот выразился вежливо: «Опасаясь, дескать, дабы через *неведующее* слово г-на Достоевского» и т. д. Но Свящ. Касторский разом перескакивает пределы, поставленные Псаломщиком. Резвый человек!. «Невежество писателя Достоевского насчет певчих»… «Не могу промолчать о еще более грубом, смешном и непростительном невежестве, обличенном опять в том же журнале „Гражданин“, под которым подписывается редактором тот же г-н

Достоевский».

Подумаешь, что за страшные преступления натворил этот Достоевский: *простить* даже невозможно! Духовное лицо, которое, казалось, должно бы быть сама любовь, и то простить не в состоянии!.. Но, однако, какое же это «невежество»? В чем дело? Нечего делать, выпишем всего Касторского, угостим читателей. Зачем «хорошего понемножку»? Чем больше его, тем лучше, — вот моя мысль.

> «В 15–16 № журнала „Гражданин“, вышедшем 16 сего апреля, напечатан „Дьячок. Рассказ в приятельском, кругу г-на Недолина“. Рассказ этот имеет самое ложное и невозможное основание в нем представлен голосистый дьячок, которого *бьет* его жена, и *бьет* его так усердно и жестоко, что он от ее побоев сбегает в монастырь, где и „обрек себя Господу и не должен больше ни о чем земном думать“. Он остается в монастырской ограде, а долго бившая его жена его дьячиха стоит за оградою, он там звонко распевает переложение псалма:
>
> И свят, о боже, твой избранник!
> Мечом ли руку ополчит,
> Велений Господа посланник,
> Он исполина сокрушит.*
>
> А покинутая жена опять „стоит у монастырской ограды и, приложив свою пылавшую голову к монастырской стене, плачет“ и просит выманить к ней определившегося в монастырь мужа, с тем что она „будет ему рабой и собакой“. Но муж не вышел и так и умер в монастыре.
>
> Какая жалкая, невозможная и смешная небылица! Кто этот г-н Недолин, мы не знаем*, но всеконечно это человек совсем не знающий ни русского законодательства, ни русской жизни, не знающий их до того, что он полагает, будто в России можно женатому человеку определиться в монастырь и будто его там станут держать, но как же не знать этого редактору г-ну Достоевскому, который недавно так

пространно заявлял, что он большой христианин и притом православный и православно

верующий в самые мудреные чудеса? Разве, может быть, он и это принятие в монастырь женатого человека причисляет к чудесам, — тогда это другое дело; но всякий мало-мальски знающий законы и уставы своей церкви может легко убедить г-на Достоевского, что даже такое чудо у нас невозможно, потому что оно строго запрещено и преследуется нашими положительными законами, которых никакое монастырское начальство преступить не может и человека, имеющего живую жену, в монастырь непримет.

Крайне бедная и неискусно скомпонованная фабула рассказа „Дьячок“, конечно, все-таки могла бы кое-что выиграть, если бы ей была дана вероподобная развязка*, а таковая вполне возможна была для писателя или для редактора, хотя немножечко знакомого с бытом изображаемой среды. Рассказ, например, мог быть доведен до того весьма знакомого драматического положения, что дьячок, чтобы скрыться от сварливой жены, бежит в монастыри, но из одних его выгоняет начальство, потому что он женат, а из других сама жена его вытребовывает и, пожалуй, опять его бьет. Тогда, не видя нигде в отечестве спасения от жены и в то же время стремясь к монастырской жизни, злополучный дьячок мог бы, например, бежать на Афон, где под мусульманским управлением турецкого султана православная церковь действует во многом самостоятельнее, чем в России.* Там, как известно, в монастырях иногда не боятся принимать и женатых людей, ищущих иночества, и там-то немилосердно побиваемый женою русский дьячок мог бы приютиться и молиться и петь, но во всяком случае только петь отнюдь не то стихотворное переложение, которое поет дьячок „Гражданина“, потому что, *во-первых*, как основательно известно, это переложение у лиц духовного звания вниманием не пользуется, *во-вторых*, оно на голос не положено и не поется, а *в-третьих*, никаких светских стихотворных переложений в стенах православных монастырей распевать не

дозволяется, и запрещением этим никто, живущий в монастыре манкировать не смеет, дабы не нарушать тишины, подобающей месту

Свящ. П. Касторский»

Теперь ответим по пунктам и, во-первых, успокоим взволнованного священника Касторского в самом главном пункте, объяснив ему, что повесть «Дьячок» вовсе не бытовая. Почтенному автору ее г-ну Недолину (не псевдоним)*, часть своей жизни проведшему на самой деятельной государственной службе, никакого дела не было в настоящем случае до церковного быта. Его герой *«дьячок»* мог безо всякой потери для себя и для рассказа быть каким-нибудь, например, почтамтским чиновником, и если остался в рассказе дьячком, то единственно потому, что происшествие это истинное. Поэма эта исключительная, почти фантастическая. Знаете ли вы, священник Касторский, что истинные происшествия, описанные со всею исключительностию их случайности, почти всегда носят на себе характер фантастический, почти невероятный?* Задача искусства — не случайности быта, а общая их идея, зорко угаданная и верно снятая со всего многоразличия однородных жизненных явлений. В рассказе г-на Недолина обобщено совсем другое явление человеческого духа. Если бы, напротив, он имел претензию на бытовое изображение, то, с этой точки зрения и с одним своим анекдотом, непременно бы попал в исключичительность. Недавно, то есть несколько месяцев тому назад, в одном из наших знатнейших монастырей случилось, говорят, что один глупый и злой монах убил в школе десятилетнего мальчика жестокими побоями, да еще при свидетелях.* Ну не фантастическое ли это приключение на первый взгляд? А между тем оно, кажется, вполне истинное. Ну опиши его кто-нибудь — мигом закричат, что это невероятно, исключительно, изображено с намерением предумышленным, — и будут правы, если судить с точки зрения одной бытовой верности изображения наших монастырей. Верности не было бы и с одним таким анекдотом; и поныне найдется в монастырях наших ангельское житие, во славу Божию и церкви, и приключение с злым монахом останется навсегда исключительным. Но для повествователя, для поэта могут быть и другие задачи, кроме бытовой стороны; есть общие, вечные и, кажется, вовеки неисследимые глубины духа и

характера человеческого. А уж вам так и кажется, что уж если написано «дьячок» так уж непременно специальное описание быта; а уж коли описание быта, так уж непременно отмежеванные и патентованные писатели для изображения его, и не смей, дескать, соваться на нашу ниву; это наш угол, наша эксплуатация, наша доходная статья. Не правда ли, ведь это вас взволновало, священник Касторский? Помилуйте, можно написать пером слово «дьячок» совсем без намерения отбивать что-нибудь у г-на Лескова.* И потому успокойтесь.

Успокоив вас, попрошу вас обратить внимание на заглавие вашей полемической статьи: «Холостые понятия о женатом монахе».

И мимоходом спрошу: к чему тут «холостые»? Насколько изменятся понятия, если они будут женатые? И разве есть холостые понятия и женатые понятия? Ну да вы не литератор, и всё это вздор; вы — взволнованный священник Касторский, и с вас слогу нечего спрашивать, особенно в таком состоянии. Главное дело вот в чем: кто вам сказал, что наш дьячок поступил в монахи?* Где, во всей повести г-на Недолина, нашли вы, что он постригся? Между тем это очень важно; озаглавив таким образом, вы читателя, незнакомого с повестью г-на Недолина, прямо вводите в недоумение: «Да, действительно, — подумает он, — женатый дьячок не мог поступить в монахи! Как же этого не знает „Гражданин“»? Таким образом, отведя словом «монах» глаза читателю, вы уже победоносно восклицаете в средине вашей статьи:

> «Какая жалкая, невозможная и смешная небылица! Как же не знать того редактору г-ну Достоевскому, который» и т. д.

А между тем вы просто-запросто подтасовали дело, и я преспокойно ловлю вас на плутне. Но вы немножко ошиблись, батюшка, и рассчитали без хозяина. Женатого в монахи *не постригут*, это так; но почему «никакое монастырское начальство имеющего живую жену в монастырь не примет», как утверждаете вы с азартом? Это откудова почерпнули вы такое известие? Кто-нибудь, например, имел бы намерение поселиться в монастыре (где есть, например, удобное помещение), но он женат, жена его где-нибудь в столице или за границей, и вот, потому только, что он женат, его гонят вон из

монастыря? Так ли это? Не знаете дела, батюшка, а еще духовное лицо. Я вам даже смог бы указать на некоторые известные всему петербургскому обществу лица, памятные в обществе до сих пор и которые кончили тем, что поселились жить под конец жизни в монастырях и вот уже живут там очень долго, а между тем женаты и жены их живы до сих пор. Всё произошло с обоюдного согласия. Так точно *поселился жить* в монастыре и дьячок г-на Недолина. Уничтожьте только подтасовку пострижения в монахи, с умыслом вами придуманную и чего совсем нет во всей повести г-на Недолина, и вам тотчас же всё объяснится. Тут даже лучше, чем с «обоюдного согласия», произошло; тут прямо произошло с соизволения начальства. Я вас, батюшка, имею средства на этот счет в высшей степени успокоить. Предположите, что я навел справки и вот какие получил сведения:

Во-первых, артист-дьячок еще за полгода до *поступления* в монастырь, когда при прощании с помещиком открылся ему в первый раз, что намерен уйти *жить* в монастырь, уже и тогда знал, что говорил. Именно потому, что уже сообщил о намерении своем отцу Иоанну, игумену монастыря, который его очень любил, то есть более любил его пение, потому что был чрезвычайный любитель музыки и Софрону изо всех сил покровительствовал; даже сам, кажется, и переманивал *его жить* в монастыре. Дьячок поколебался на предложение помещика ехать за границу и вот почему прождал еще с полгода; но когда кончилось его терпение, ушел в монастырь. Устроить же это было очень легко: отец Иоанн состоял в теснейшей дружбе с епархиальным начальником*, а когда два такие лица согласились, то и предлогов не надо. Но наверно был отыскан и предлог, по которому дьячок был, так сказать, «откомандирован» в монастырь. Обет же, данный дьячком, «посвятить себя Господу» (на что вы так особенно сердитесь) был совершенно свободный, внутренний, неофициальный, дело его совести, дан самому себе. Мало того, в рассказе г-на Недолина есть совершенно ясное указание на то, что дьячок только *проживал* в монастыре, а отнюдь не был пострижен в монахи, как вы с такою бесцеремонностию присочинили, батюшка. Именно: воротившийся помещик всё еще уговаривает Софрона выйти из монастыря и отправиться за границу, и дьячок в первый день переговоров даже колеблется. Ну могло ли бы это быть, если б Софрон был уже пострижен? Не маскируйте, наконец, и того, что ведь это был артист

неслыханный, по крайней мере одаренный неслыханно, и таким он заявляется в повести с самого начала. А если так, то понятно и такое пристрастие к нему отца Иоанна, страстного любителя музыки…

«Но ведь это не объяснено в повести!» — воскликнете вы в чрезвычайном гневе. Нет, отчасти объяснено; очень о многом можно догадаться из рассказа, хотя он быстр и краток. Но, положим, и не всё объяснено, — зачем объяснять? Было бы только вероятно; а уничтожьте подтасовку пострижения в монахи, и всё станет вероятно. Да, рассказ г-на Недолина несколько сжат, но знаете, батюшка, вы вот человек не литературный, что и доказали, а между тем я вам прямо скажу, что ужасно много современных повестей и романов выиграли бы, если б их сократить. Ну что толку, что автор тянет вас в продолжение тридцати листов и вдруг на тридцатом листе ни с того ни с сего бросает свой рассказ в Петербурге или в Москве, а сам тащит вас куда-нибудь в Молдо-Валахию, единственно с тою целью, чтоб рассказать вам о том, как стая ворон и сов слетела с какой-то молдо-валахской крыши, и, рассказав, вдруг опять бросает и ворон и Молдо-Валахию, как будто их не бывало вовсе, и уже ни разу более не возвращается к ним в остальном рассказе[*]; так что читатель остается, наконец, в совершенном недоумении. Из-за денег пишут, чтобы только больше страниц написать! Г-н Недолин написал иначе и хорошо, может быть, сделал

«Но жена, жена! — восклицаете вы, вращая глазами — Как же жена позволила и не жаловалась, как „не вытребовала“ она его законом, силой!» А вот тут-то вы, и именно на женском-то этом пункте, всего больше и спасовали, батюшка. Вы ведь до того разыгрались в вашей статье, что даже сами принялись сочинять роман, а именно как жена своего дьячка наконец воротила и опять начала колотить, как он «сбежал» в другой монастырь, как из другого воротила, как он сбежал наконец на Афон[*] и там уже успокоился под *«мусульманским»* управлением султана (представьте, а ведь я до сих пор думал, что султан христианин!).

Шутки в сторону; знайте, батюшка, что хоть вам бы и следовало, уже по одному сану вашему, немножко знать сердце человеческое, но вы его вовсе не знаете. Вы хоть и плохой сочинитель, но, может быть, если бы взялись за перо, действительно описали бы бытовую сторону духовенства вернее г-на Недолина, но в сердце человеческом г-н Недолин знает более вашего. Женщина, которая целые дни выстаивает у

монастырской стены и плачет, не пойдет подавать просьбы и не станет уже действовать силой. Довольно силы! У вас вот всё битье да битье; в порыве авторского увлечения вы продолжаете роман, и опять у вас битье. Нет, уж довольно битья! Вспомните, батюшка, у Гоголя в «Женитьбе», в последней сцене, после того как Подколесин выпрыгнул в окошко, Кочкарев кричит: «Воротить его, воротить!», воображая, что выпрыгнувший в окошко жених всё еще пригоден для свадьбы. Ну вот точно так же рассуждаете и вы. Кочкарева останавливает сваха словами: «Эх, дела ты свадебного не знаешь; добро бы в дверь вышел; а уж коли в окно махнул, так уж тут мое почтение»[*] Облагородьте случай с Подколесиным, и он как раз придется к положению бедной, оставленной мужем дьячихи. Нет, батюшка, битье кончилось! Эта женщина, — этот исключительный характер, страстное и сильное существо, гораздо высшее, между прочим, по душевным силам, чем артист, ее муж, — эта женщина под влиянием среды, привычек, необразованности могла действительно начать битьем. Толковому, понимающему человеку тут именно реализм события понравится, и г-н Недолин мастерски поступил, что не смягчил действительности. Слишком сильные духом и характером женщины, особенно если страстны, иначе и не могут любить, как деспотически, и имеют даже особенную наклонность к таким слабым, ребяческим характерам, как у артиста-дьячка. И за что она так полюбила его? разве она знает это! Он плачет, она не может не презирать его слез, но плотоядно, сама мучаясь, наслаждается его слезами. Она ревнива: «Не смей петь при господах!» Она бы, кажется, проглотила его живьем из любви. Но вот он бежал от нее, и — никогда бы она тому не поверила! Она горда и самонадеянна, она знает, что красавица, и — странная психологическая задача, — поверите ли, ведь она всё время была убеждена, что он точно так же ее без памяти любит, как и она его, без нее жить не может, несмотря на битье! Ведь в этом состояла вся ее вера; мало того, тут и сомнений для нее не существовало, и вдруг ей всё открывается: этот ребенок, артист ее нисколько не любит, давно уже перестал любить, может быть, никогда не любил и прежде! Она вдруг смирилась, поникла, раздавлена, а отказаться от него все-таки не в силах, безумно любит, еще безумнее, чем прежде. Но так как характер сильный, благородный и необыкновенный, то и вырастает вдруг неизмеримо и над прежним бытом, и над прежней средой своей. Нет, уж теперь она его не

потребует силой. Силой ей его теперь и даром не надо; она всё еще неизмеримо горда, но гордость эта уже другого рода, уже облагородилась: она скорее умрет с горя тут же, в траве у ограды, а не захочет употребить насилие, писать просьбы, доказывать права свои. Ах, батюшка, да ведь в этом и вся повесть, а вовсе не в бытовой стороне церковников! Нет, батюшка, этот крошечный рассказик гораздо значительнее, чем вам кажется, и поглубже. Повторяю, вы так не напишете, даже не поймете в чем дело. У вас отчасти душа кочкаревская (в литературном отношении, разумеется, — далее я не иду), как и имел я вам честь заметить…

Что же касается до сочинительства вашего и до понимания художественного, то к вам в этом отношении вполне, я думаю, можно приложить известную эпиграмму Пушкина

Картину раз высматривал сапожник,
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник
«Вот» подбочась, сапожник продолжал
«Мне кажется, лицо немного криво
А эта грудь не слишком ли нага?»
Но Апеллес прервал нетерпеливо
«Суди, дружок, не свыше сапога!»*

Вы, батюшка, точь-в-точь как этот сапожник, с тою только разницею, что даже и в обуви не сумели указать г-ну Недолину, что, надеюсь, я вам и доказал основательно. А подтасовкой ничего не возьмете. Тут, видите ли, чтобы понимать что-нибудь в душе человеческой и «судить повыше сапога», надо бы побольше развития в другую сторону, поменьше этого цинизма, этого «духовного» материализма; поменьше этого презрения к людям, поменьше этого неуважения к ним, этого равнодушия. Поменьше этой плотоядной стяжательности, побольше веры, надежды, любви! Посмотрите, например, с каким грубым цинизмом обращаетесь вы со мной лично, с каким совсем несвойственным вашему сану неприличием говорите о чудесах. Верить не хотел, когда прочел у вас следующее про себя:

> !!«…но как же не знать этого редактору г-ну Достоевскому, который недавно так пространно заявлял, что он большой христианин и притом православный и православно верующий в самые мудреные чудеса? Разве может быть, он и это принятие в монастырь женатого человека причисляет к чудесам, — тогда это другое дело…»

Во-первых, батюшка, вы и тут сочинили (экая ведь страсть у вас к сочинительству!). Никогда и нигде не объявлял я о себе *лично* ничего о вере моей в чудеса. Всё это вы выдумали, и я вас вызываю указать: где вы это нашли?* Позвольте еще: если б я, Ф. Достоевский, где-нибудь и объявил это о себе (чего не было), то уж, поверьте, не отказался бы от слов моих ни из-за какого либерального страху или страху ради касторского. Просто-запросто ничего подобного не было, и я только констатирую факт. Но если бы и было — что вам-то до веры моей в чудеса? Чем они подходят к делу? И что такое мудреные чудеса и немудреные? Как уживаетесь вы с подобными разделениями сами? Вообще же желаю, чтобы в этом отношении вы оставили меня в покое — уже хоть по тому одному, что приставать ко мне с этим вовсе к вам не идет, несмотря на все современное просвещение ваше. Духовное лицо, а так раздражительны! Стыдно, г-н Касторский.

А знаете, ведь вы вовсе не г-н Касторский, а уж тем более не священник Касторский, и всё это подделка и вздор. Вы *ряженый*, вот точь-в-точь такой, как на святках. И, знаете, что еще? Ни единой-то самой маленькой минутки я не пробыл в обмане; тотчас же узнал ряженого и вменяю себе это в удовольствие, ибо вижу отсюда ваш длинный нос: вы вполне были уверены, что я шутовскую маску, вывесочной работы, приму за лицо настоящее. Знайте тоже, что я и отвечал вам немного уже слишком развязно единственно потому, что сейчас же узнал переряженного. Если бы вы были в самом деле священником, я, несмотря на все ваши грубости, которые в конце вашей статьи доходят до какого-то победоносно-семинарского ржанья, все-таки ответил бы вам «с соблюдением», — не из личного к вам уважения, а из уважения к вашему высокому сану, к высокой идее, которая в нем заключается. Но так как вы всего только ряженый, то и должны понести наказание. Наказание начну с того, что объясню вам подробно, почему

вас узнал (между нами, я даже предугадал, кто именно под маской скрывается; но имя вслух не объявлю, а оставлю при себе до времени), и это вам, естественно, будет очень досадно.

— А если предугадали, то почему же отвечали как священнику, — спросите вы, — к чему написали предварительно столько лишнего?

— А по платью встречают, — отвечаю я вам, — и если написал что-нибудь неприятное г-ну «священнику», то уж пусть возьмет это на свою совесть тот господин, который выдумал и употребил недостойный прием перерядиться в священника. Да, недостойный прием, и он сам это чувствовал. Мало того, он, сколько мог, оберег себя. Он не подписался «Священник П. Касторский», а подписался сокращенно: «Свящ. П. Касторский». *Свящ.* все-таки не священник, если уж крепко обличат. Всегда можно сказать, что подразумевался *«священнолюбец»* или что-нибудь в таком роде.

Я узнал вас, г-н ряженый, по слогу. Видите ли, в чем тут главная штука: в том, что современные критики и хвалят, пожалуй, иногда современных писателей-художников, и даже публика довольна (потому что, что же ей, наконец, читать?). Но и критика понизилась уже очень давно, да и художники наши, большею частию, смахивают на вывескных маляров, а не на живописцев. Не все, конечно. Есть некоторые и с талантом, но большая часть самозванцы. Во-первых, г-н ряженый, у вас пересолено. Знаете ли вы, что значит говорить эссенциями? Нет? Я вам сейчас объясню. Современный «писатель-художник», дающий типы и отмежевывающий себе какую-нибудь в литературе специальность (ну, выставлять купцов, мужиков и проч.), обыкновенно ходит всю жизнь с карандашом и с тетрадкой, подслушивает и записывает характерные словечки; кончает тем, что наберет несколько сот нумеров характерных словечек. Начинает потом роман и чуть заговорит у него купец или духовное лицо, он и начинает подбирать ему речь из тетрадки по записанному. Читатели хохочут и хвалят, и, уж кажется бы, верно: дословно с натуры записано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купец ал и солдат в романе говорят *эссенциями,* то есть как никогда ни один купец и ни один солдат не говорит в натуре. Он, например, в натуре скажет такую-то, записанную вами от него же фразу, из десяти фраз в одиннадцатую. Одиннадцатое словечко характерно и безобразно, а десять словечек перед тем ничего, как и у всех людей. А у типиста-художника он

говорит характерностями сплошь, по записанному, — и выходит неправда. Выведенный тип говорит *как по книге.* Публика хвалит, ну а опытного старого литератора не надуете.

И большею частию работа вывескная, малярная. Между тем «художник» считает себя под конец за Рафаэля; и не разуверишь его! Записывать словечки хорошо и полезно, и без этого нельзя обойтись; но нельзя же и употреблять их совсем механически. Правда, есть оттенки и между «художниками-записывателями»; один все-таки другого талантливее, а потому употребляет словечки с оглядкой, сообразно с эпохой, с местом, с развитием лица и соблюдая пропорцию. Но эссенциозности все-таки избежать не может. Драгоценное правило, что высказанное слово серебряное, а невысказанное — золотое, давным-давно уже не в привычках наших художников. Мало веры. Чувство меры уже совсем исчезает. Взять и то, наконец, что наши художники (как и всякая ординарность) начинают отчетливо замечать явления действительности, обращать внимание на их характерность и обрабатывать данный тип в искусстве уже тогда, когда большею частию он проходит и исчезает, вырождается в другой, сообразно с ходом эпохи и ее развития, так что всегда почти старое подают нам на стол за новое. И сами верят тому, что это новое, а не преходящее. Впрочем, подобное замечание для нашего писателя-художника несколько тонко; пожалуй, и не поймет. Но я все-таки выскажу, что только гениальный писатель или уж очень сильный талант угадывает тип *современно* и подает его *своевременно;* а ординарность только следует по его пятам, более или менее рабски и работая по заготовленным уже шаблонам.

Я, например, не встречал еще ни одного священника во всю мою жизнь, даже самого высокообразованного, совершенно без всяких характерных особенностей разговора, относящихся до его сословной среды. Всегда хоть капельку, да есть что-нибудь. Между тем если б дословно стенографировать его разговор и потом напечатать, то, пожалуй, у иного высокообразованного и долго бывшего в обществе священника и не заметите никакой особенной характерности. Нашему «художнику» этого, естественно, мало, да и публика к другому приучена. Простонародье, например, в повестях Пушкина, по мнению большинства читателей, наверно говорит хуже, чем у писателя Григоровича, всю жизнь описывавшего мужиков.[*] Я думаю, и по мнению многих художников тоже. Не вытерпит он, что священник,

например, говорит почти безо всякой характерности, зависящей от сословия, от среды его, а потому и не поместит его в свою повесть, а поместит характернейшего. Таким образом, современного священника, при известных обстоятельствах и в известной среде, заставит говорить иногда как священника начала столетия и тоже при известных обстоятельствах и известной среде.

Священник Касторский начинает, как и все, некоторое время почти совсем не напоминая собою известной среды.

Пока он хвалит художественность писателя Лескова, он говорит, *как и все,* безо всякой характерности словечек и мыслей, обличающих сословие. Но так было надо автору: надо было его оставить в покое, чтобы литературная похвала вышла серьезнее, а порицание г-ну Недолину строже, ибо смешная и характерная фраза нарушила бы строгость. Но вдруг автор, сообразив, что ведь, пожалуй, читатель и не поверит, что священник писал, пугается и разом бросается в типичности, и уже тут их целый воз. Что ни слово, то типичность! Из такой суматохи, естественно, выходит типичность фальшивая и непропорциональная.

Главный признак человека необразованного, но почему-нибудь принужденного заговорить языком и понятиями не своей среды, — это некоторая неточность в употреблении слов, которых он значение, положим, и знает, но не знает всех оттенков его употребления в сфере понятий другого сословия «…А потому *проходить* такие *вредные* покушения…», «…невежестве, *обличенном* опять в том же журнале…», «…в нем представлен *голосистый* дьячок…» и т. д. Последнее слово *голосистый* уже слишком грубо, и именно тем, что Свящ. Касторский, желая выразить понятие о лице, одаренном прекрасным голосом певца, думает, что выражает это понятие словом «голосистый». Автор-специалист забыл, что хотя в священнической среде и теперь, конечно, встречаются малообразованные люди, но чрезвычайно мало до такой уж степени не понимающих значения слов. Это годится для романа, г-н ряженый, а действительности не выдерживает. Такое ошибочное выражение прилично было бы разве пономарю, а всё же не священнику. Не слежу за всеми выражениями далее; повторяю, их там целый воз, чрезвычайно грубо натасканный из тетрадки. Но хуже всего то, что типичник-автор (если говорят о художнике-авторе, то возможно понятие и о *ремесленнике-авторе, а* слово *типичник* определяет

ремесло или мастерство), что типичник-автор выставил свой тип в таком непривлекательном нравственном виде. Надо бы выставить все-таки в Свящ. Касторском — человека с достоинством, добродетельного, и типичность ничему бы тут не помешала. Но типичник был сам поставлен в затруднительное положение, из которого и не сумел вывернуться: ему непременно надо было обругать своего собрата-автора, наглумиться над ним, и вот свои прекрасные побуждения он, переряженный, поневоле должен был навязать своему священнику. А уж насчет чудес — типичник совсем не сдержал себя. Вышла ужасная глупость: духовное лицо — да еще глумится над чудесами и делит их на мудреные и немудреные! Плохо, г-н типичник.

Я даже думаю, что и «Псаломщик» — произведение того же пера: очень уж перенаивничал неумелый мастеровой в окончании, именно в «опасениях» Псаломщика, которые слишком уж не блистают умом. Одним словом, господа, вся эта вывесочная работа, положим, еще и сойдет в повестях, но, повторяю вам, не выдержит столкновения с действительностию и тотчас же обличит себя. Не вам, господа-художники, надуть старого литератора.

Что же это, шутки, что ли, с их стороны? И, нет — нет, вовсе не шутки. Это — это, так сказать, дарвинизм, борьба за существование.[*] Не смей, дескать, заходить на нашу ниву. И чем мог вам повредить, господа, г-н Недолин? Уверяю же вас, что он вовсе не имеет намерения описывать бытовую сторону духовенства, можете вполне успокоиться. Правда, смутило меня на одно мгновение одно странное обстоятельство: ведь если ряженый типичник напал на г-на Недолина, то, ругая его, в противуположность ему должен бы был хвалить самого себя. (На этот счет у этих людей нет ни малейшего самолюбия: с полнейшим бесстыдством готовы они писать и печатать похвалы себе сами и собственноручно). А между тем, к величайшему моему удивлению, типичник выставляет и хвалит талантливого г-на Лескова, а не себя. Тут что-нибудь другое, и, наверное, выяснится. Но *ряженый* не подвержен ни малейшему сомнению.

А причем же тут сам «Русский мир»?[*] Решительно не знаю. Ничего и никогда не имел с «Русским миром» и не предполагал иметь. Бог знает с чего вскочут люди.

XI
Мечты и грезы

1

Мы в прошлом № «Гражданина» опять заговорили о пьянстве, или, скорее, о возможности исцеления от язвы всенародного пьянства, о наших надеждах, о нашей вере в ближайшее лучшее будущее.* Но уже давно и невольно грусть и сомнения приходят на сердце. Конечно, за текущими важными делами (а у нас все смотрят такими важными деловыми людьми) некогда и глупо думать о том, что будет через десять лет или к концу столетия, то есть когда нас не будет. Девиз настоящего делового человека нашего времени — après moi le déluge.*[11] Но людям праздным, непрактическим и не имеющим дел, право, простительно помечтать иногда о дальнейшем, если только мечтается. Мечтал же Поприщин («Записки сумасшедшего» Гоголя) об испанских делах: «… все эти события меня так убили и потрясли, что я…»* и т. д., писал он сорок лет назад. Я признаюсь, что и меня иногда многое потрясает, и, право, я даже в унынии от моих мечтаний. Я на днях мечтал, например, о положении России как великой европейской державы*, и уж чего-чего не пришло мне в голову на эту грустную тему!

Взять уже то, что нам во что бы ни стало и как можно скорее надо стать великой европейской державой. Положим, мы и есть великая держава; но я только хочу сказать, что это нам слишком дорого стоит — гораздо дороже, чем другим великим державам, а это предурной признак. Так что даже оно как бы и не натурально выходит. Спешу, однако, оговориться: я единственно только с западнической точки зрения сужу, и вот с этой точки оно действительно так у меня выходит. Другое дело точка национальная и, так сказать, немножко славянофильская; тут, известно, есть вера в какие-то внутренние самобытные силы народа, в какие-то начала народные, совершенно личные и оригинальные, нашему народу присущие, его спасающие и поддерживающие. Но с чтением статей г-на Пыпина я отрезвился. Разумеется, я желаю и по-прежнему продолжаю желать изо всех моих

сил, чтобы драгоценные, твердые и самостоятельные начала, присущие народу русскому, существовали действительно; но согласитесь тоже — что же это за такие начала, которых даже сам г-н Пыпин не видит, не слышит и не примечает, которые спрятаны, спрятались и никак не хотят отыскаться? А потому невольно остается и мне обойтись без этих утешающих душу начал.* Таким образом, и выходит у меня, что мы покамест всего только лепимся на нашей высоте великой державы, стараясь изо всех сил, чтобы не так скоро заметили это соседи. В этом нам чрезвычайно может помочь всеобщее европейское невежество во всем, что касается России. По крайней мере, до сих пор это невежество не подвержено было сомнению — обстоятельство, о котором нам вовсе нечего горевать; напротив, нам очень будет даже невыгодно, если соседи наши нас рассмотрят поближе и покороче. То, что они ничего не понимали в нас до сих пор, — в этом была наша великая сила. Но в том-то и дело, что теперь, увы, кажется, и они начинают нас понимать лучше прежнего; а это очень опасно.*

Огромный сосед изучает нас неусыпно и, кажется, уже многое видит насквозь. Не вдаваясь в тонкости, возьмите хоть самые наглядные, в глаза бросающиеся у нас вещи. Возьмите наше пространство и наши границы (заселенные инородцами и чужеземцами, из года в год всё более и более крепчающими в индивидуальности своих собственных инородческих, а отчасти и иноземных соседских элементов)*, возьмите и сообразите: во скольких точках мы стратегически уязвимы? Да нам войска, чтобы всё это защитить (по моему, штатскому впрочем, мнению), надо гораздо больше иметь, чем у наших соседей. Возьмите опять и то, что ныне воюют не столько оружием, сколько умом, и согласитесь, что это последнее обстоятельство даже особенно для нас невыгодно.

Теперь почти в каждые десять лет изменяется оружие, даже чаще. Лет через пятнадцать, может, будут стрелять уже не ружьями, а какой-нибудь молнией, какою-нибудь всесожигающею электрическою струею из машины. Скажите, что можем мы изобрести в этом роде, с тем чтобы приберечь в виде сюрприза для наших соседей? Что, если лет через пятнадцать у каждой великой державы будет заведено, потаенно и про запас, по одному такому сюрпризу на всякий случай? Увы, мы можем только перенимать и покупать оружие у других, и много-много что сумеем починить его сами. Чтобы изобретать такие машины, нужна

наука самостоятельная, а не покупная; своя, а не выписная; укоренившаяся и свободная. У нас такой науки еще не имеется; да и покупной даже нет.* Возьмите опять наши железные дороги, сообразите наши пространства и нашу бедность; сравните наши капиталы с капиталами других великих держав и смекните: во что нам наша дорожная сеть, необходимая нам как великой державе, обойдется? И заметьте: там у них эти сети устроились давно и устраивались постепенно, а нам приходится догонять и спешить; там концы маленькие, а у нас сплошь вроде тихоокеанских. Мы уже и теперь больно чувствуем, во что нам обошлось лишь начало нашей сети; каким тяжелым отвлечением капиталов в одну сторону ознаменовалось оно, в ущерб хотя бы бедному нашему земледелию и всякой другой промышленности. Тут дело не столько в денежной сумме, сколько в степени усилия нации.* Впрочем, конца не будет, если по пунктам высчитывать наши нужды и наше убожество. Возьмите, наконец, просвещение, то есть науку, и посмотрите, насколько нам нужно догнать в этом смысле других. По моему бедному суждению, на просвещение мы должны ежегодно затрачивать по крайней мере столько же, как и на войско, если хотим догнать хоть какую-нибудь из великих держав*,— взяв и то, что время уже слишком упущено, что и денег таких у нас не имеется и что, в конце концов, всё это будет только толчок, а не нормальное дело; так сказать, потрясение, а не просвещение.

Всё это мои мечты, разумеется; но… повторяю, невольно мечтается иногда в этом смысле, а потому и продолжаю мечту. Заметьте, что я ценю всё на деньги; но разве это верный расчет? Деньгами ни за что не купишь всего; так может только какой-нибудь необразованный купец рассуждать в комедии г-на Островского. Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель — это штука тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых; и что же? — все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дела не смыслит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры отлично преподавать педагогию, а сам все-таки педагогом не сделается.* Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не

продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделываются; ну а на века надо время, годков этак двадцать пять или тридцать, даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельною жизнию нации, вековым многострадальным трудом ее — одним словом, образуется всею историческою жизнью страны. Ну а историческая жизнь наша в последние два столетия была не совсем-таки самостоятельною. Ускорять же искусственно необходимые и постоянные исторические моменты жизни народной никак невозможно. Мы видели пример на себе, и он до сих пор продолжается: еще два века тому назад хотели поспешить и все подогнать, а вместо того и застряли; ибо, несмотря на все торжественные возгласы наших западников, мы несомненно застряли. Наши западники — это такой народ, что сегодня трубят во все трубы с чрезвычайным злорадством и торжеством о том, что у нас нет ни науки, ни здравого смысла, ни терпения, ни уменья; что нам дано только ползти за Европой, ей подражать во всем рабски и, в видах европейской опеки, преступно даже и думать о собственной нашей самостоятельности; а завтра, заикнитесь лишь только о вашем сомнении в безусловно целительной силе бывшего у нас два века назад переворота — и тотчас же закричат они дружным хором, что все ваши мечты о народной самостоятельности — один только квас, квас и квас и что мы два века назад из толпы варваров стали европейцами, просвещеннейшими и счастливейшими, и по гроб нашей жизни должны вспоминать о сем с благодарностию.

Но оставим западников и положим, что деньгами всё можно сделать, даже время купить, даже самобытность жизни воспроизвести как-нибудь на парах; спрашивается: откуда такие деньги достать? Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка[*], то есть по-теперешнему народное пьянство и народный разврат, — стало быть, вся народная будущность. Мы, так сказать, будущностью нашею платим за наш величавый бюджет великой европейской державы. Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод. И кто же хотел этого? это случилось невольно, само собой, строгим историческим ходом событий. Освобожденный великим монаршим словом народ наш, неопытный в новой жизни и самобытно еще не живший, начинает первые шаги свои на новом пути: перелом огромный

и необыкновенный, почти внезапный, почти невиданный в истории по своей цельности и по своему характеру. Эти первые и уже собственные шаги освобожденного богатыря на новом пути требовали большой опасности, чрезвычайной осторожности; а между тем что встретил наш народ при этих первых шагах? Шаткость высших слоев общества, веками укоренившуюся отчужденность от него нашей интеллигенции (вот это-то самое главное) и в довершение — дешевку и жида. Народ закутил и запил — сначала с радости, а потом по привычке. Показали ль ему хоть что-нибудь лучше дешевки? Развлекли ли, научили ль чему-нибудь? Теперь в иных местностях, во многих даже местностях, кабаки стоят уже не для сотен жителей, а всего для десятков; мало того — для малых десятков. Есть местности, где на полсотни жителей и кабак, менее даже чем на полсотни. «Гражданин» уже сообщал раз, в особой статье, подробный бюджет теперешнего нашего кабака[*]: возможности нет предположить, чтобы кабаки могли существовать лишь одним вином. Чем же, стало быть, они окупаются? Народным развратом, воровством, укрывательством, ростовщичеством, разбоем, разрушением семейства и стыдом народным — вот чем они окупаются!

Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли; а в кабак приняли![*] Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц? Но пусть, пусть (и дай боже!), пусть это лишь одна мечта пессимиста, в десять раз преувеличившая беду! Верим и хотим веровать, но… если в текущие десять, пятнадцать лет наклонность народа к пьянству (которая все-таки несомненна) не уменьшится, удержится, а стало быть, еще более разовьется, то— не оправдается ли и вся мечта? Вот нам необходим бюджет великой державы, а потому очень, очень нужны деньги; спрашивается: кто же их будет выплачивать через эти пятнадцать лет, если настоящий порядок продолжится? Труд, промышленность? ибо правильный бюджет окупается лишь трудом и промышленностью. Но какой же образуется труд при таких кабаках? Настоящие, правильные капиталы возникают в стране не иначе как основываясь на всеобщем трудовом благосостоянии ее, иначе могут образоваться лишь капиталы кулаков и жидов. Так и будет, если дело продолжится, если сам народ не опомнится, а интеллигенция не поможет ему. Если не опомнится, то весь, целиком, в самое малое время очутится в руках у всевозможных жидов, и уж тут

никакая община его не спасет: будут лишь общесолидарные нищие, заложившиеся и закабалившиеся всею общиной, а жиды и кулаки будут выплачивать за них бюджет. Явятся мелкие, подленькие, развратнейшие буржуа и бесконечное множество закабаленных им нищих рабов — вот картина! Жидки будут пить народную кровь и питаться развратом и унижением народным, но так как они будут платить бюджет, то, стало быть, их же надо будет поддерживать. Мечта скверная, мечта ужасная, и — слава богу, что это только лишь сон! Сон титулярного советника. Поприщина, я с этим согласен. Но не сбыться ему! Не раз уже приходилось народу выручать себя! Он найдет в себе охранительную силу, которую всегда находил; найдет в себе начала, охраняющие и спасающие, — вот те самые, которых ни за что не находит в нем наша интеллигенция. Не захочет он сам кабака; захочет труда и порядка, захочет чести, а не кабака!..

И, слава богу, всё это, кажется, подтверждается; по крайней мере, есть признаки; мы уже упоминали об обществах трезвости[*]. Правда, они едва начинаются; попытки слабые, едва заметные, но — но только бы не помешали им развернуться вследствие каких-нибудь особенных поводов! Напротив — о, если бы их поддержать! Что, если б, с своей стороны, поддержали их и все наши передовые умы, наши литераторы, наши социалисты, наше духовенство и все, все изнемогающие ежемесячно и печатно под тяжестию своего долга народу[*]. Что, если бы поддержал их и нарождающийся наш школьный учитель! Я знаю, что я человек непрактический (теперь, после известной недавней речи г-на Спасовича, в этом даже лестно признаться)[*], но мне — представьте себе — мне воображается, что даже самый беднейший какой-нибудь школьный учитель и тот бы ужасно много мог сделать и единственно одной лишь своей инициативой, захоти только сделать! В том-то и дело, что тут важна личность, характер, важен деловой человек и такой, который действительно способен хотеть. На учительское место у нас большею частию приезжает теперь молодой человек, хотя бы даже и желающий сделать добро, но не знающий народа, мнительный и недоверчивый; после первых, иногда самых горячих и благородных, усилий быстро утомляется, смотрит угрюмо, начинает считать свое место за нечто переходное к лучшему, а потом — или спивается окончательно, или за лишние десять рублей бросает всё и бежит куда угодно, даже даром бежит, даже в Америку, «чтоб испытать свободный

труд в свободном государстве». Это случалось и, говорят, случается и теперь. Там, в Америке, какой-нибудь гнуснейший антрепренер морит его на грубой ручной работе, обсчитывает и даже тузит его кулаками, а он за каждым тузом восклицает про себя в умилении: «Боже, как эти же самые тузы на моей родине ретроградны и неблагородны и как, напротив, они здесь благородны, вкусны и либеральны!» И долго еще так ему будет казаться; не изменять же из-за таких пустяков своим убеждениям! Но оставим его в Америке[*]; я буду продолжать мою мысль. Моя мысль — напомню ее — в том, что даже самый мелкий сельский школьный учитель мог бы взять на себя весь почин, всю инициативу освобождения народа от варварской страсти к пьянству, если б только того захотел. На этот счет у меня есть даже сюжет одной повести, и, может быть, я рискну сообщить его читателю раньше повести…[*]

XII
По поводу новой драмы

Эта новая драма — драма г-на Кишенского «Пить до дна — не видать добра», которой три последние акта мы решились поместить в этом 25-м номере «Гражданина» разом, несмотря на то что она заняла у нас чуть не половину места. Но нам хотелось не дробить впечатления, и, может быть, читатели согласятся, что драма стоит даже особого их внимания. Она написана для народного театра и написана с знанием дела, с отчетливостию и с несомненным талантом — а это главное, особенно теперь, когда почти не является новых талантов.

Это всё типы фабричного быта, «фабричного села» — чрезвычайно разнобразные и твердо очерченные. Сюжет налицо, и мы его подробно излагать не будем. Мысль серьезная и глубокая. Это вполне трагедия, и fatum ее — водка; водка всё связала, заполонила, направила и погубила. Правда, автор, как истинный художник, не мог не взглянуть еще шире на мир, им рисуемый, хотя и провозгласил в названии своей драмы, что тема его — «пить до дна — не видать добра». Тут, кроме того, отзывается и всё чрезвычайное экономическое и нравственное потрясение после огромной реформы нынешнего царствования. Прежний мир, прежний порядок — очень худой, но всё же порядок — отошел безвозвратно. И странное дело: мрачные нравственные стороны прежнего порядка — эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество — не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развились и умножились; тогда как из хороших нравственных сторон прежнего быта, которые всё же были, почти ничего не осталось. Всё это отозвалось и в картине г-на Кишенского, по крайней мере как мы ее понимаем. Тут всё переходное, всё шатающееся и — увы — даже и не намекающее на лучшее будущее.

Автор с энергией указывает на образование как на спасение, как на единственный выход; а покамест — всё захватила водка, всё отравила и направила к худшему, заполонила и поработила народ. Мрачную, ужасную картину этого нового рабства, в которое вдруг впал русский крестьянин, выйдя из прежнего рабства, и рисует г-н Кишенский.

Тут два сорта типов — людей отживающих и новых, молодого

поколения.

Молодое поколение знакомо автору. Типы, излюбленные им, указываемые им как на надежду будущего, составляющие сияние мрачной картины, вышли довольно удачны (что очень странно, ибо «положительные» типы почти совсем не удаются нашим поэтам). По крайней мере, Марья вышла безукоризненна. Иван, жених ее, удался несколько менее, несмотря на всю верность его изображения. Это парень молодой, красивый, смелый, грамотный, довольно видевший и узнавший нового, добрый и честный. Весь недостаток его в том, что автор немного слишком полюбил его, слишком положительно его выставил. Отнесись он к нему поотрицательнее — и впечатление читателя вышло бы более в пользу излюбленного им героя. Правда, как тонкий художник, автор не миновал и самых невыгодных черт характера своего Ивана. Иван с сильной энергией и с сильными умственными способностями, но молод и заносчив. Он великодушно верует в правду и в правый путь, но правду смешивает с людьми и несправедливо требует от них невозможного. Он, например, знает иные законы, так что писарь «Леванид Игнатьич» побаивается прямо нападать на него, но слишком простодушно верует в свое знание, а потому не вооружен перед злом и не только не понимает опасности, но и не предполагает ее. Всё это так натурально и вышло бы прекрасно, потому что так и должно ему быть. Мало того, автор не упустил множества самых симпатических подробностей: Ваня, понимая всю мерзость негодяев (вдобавок еще враждебных ему), как молодой человек, свежий, сильный и которому всё так еще любо на свете, недостаточно гнушается ими, с ними водится, с ними *песни поет.* Эта молодая черта привлекает к нему читателя чрезвычайно. Но, повторяем, автор слишком его полюбил и не решается ни разу посмотреть на него свысока. Нам кажется, что мало еще выставить верно все данные свойства лица; надо решительно осветить его собственным художническим взглядом. Настоящему художнику ни за что нельзя оставаться наравне с изображаемым им лицом, довольствуясь одною его реальною правдой: правды в впечатлении не выйдет. Немного бы, капельку лишь иронии автора над самоуверенностию и молодою заносчивостью героя — и читателю он стал бы милее. А то думаешь, что автор так и желал изобразить его совершенно правым во всем обрушившемся на него несчастии.

Другие лица молодого поколения — лица, погибшие чуть не с детства, «поколение пожертвованное», — вышли еще вернее «положительных» типов. Их два сорта: невиноватые и виновные. Тут, например, есть одна девочка (Матреша) — создание пожертвованное и несчастное, и, что ужаснее всего, вы чувствуете, что она не одна такая, что таких «несчастных» на Руси у нас сколько хотите, все деревни полны, бездна. Верность этого изображения заставит человека с сердцем и смотрящего в наше будущее сознательно — ужаснуться. Это поколение, поднявшееся уже после реформы. В первом детстве оно застало семью уже разлагающуюся и циническое, поголовное пьянство, а затем попало прямо на фабрику. Бедная девочка! она развратничает, может быть, уже с двенадцатилетнего возраста и — почти не знает сама, что развратна. На рождество она с фабрики приехала на побывку в село и искренно удивляется, как может прежняя товарка ее, деревенская девушка Маша, предпочитать честь нарядам: «Во, Степан Захарыч, и видна необразованность! — говорит она. — Велика беда, што купец аль господин с девкой поиграет». Это говорит она с совершенным убеждением в истине и правоте своей, мало того: жалея Машу и деревенских; когда Маша отталкивает подлеца купчишку, она говорит прямо: «Охота тебе с эвтим народом толковать! сипы! На ее таперича месте другая порадовалась бы! так бы их облистила, приняла б, и себе-то припент принесла и брату угодила!» И наконец, когда эта несчастная подсыпает сонного зелья Маше, сговорясь с купчихой, чтоб в бесчувствии изнасиловать бедную честную Машу, и потом, когда лезет на печь смотреть, заснула ли жертва, она делает все это злодейство не только без сознания зла, но вполне убежденная, что делает этой Маше, прежней подруге своей, добро, благодеяние, за которое та, спустя, благодарить будет. В пятом акте, в последней ужасной катастрофе— ни отчаяние Маши, отца ее, жениха, ни убийство, готовое совершиться, — ничто не смущает ее; да и сердца совсем у ней нет, — где же было развиться ему? Она пожимает плечами и говорит свое любимое слово: «необразованность!» Автор не забыл этого восклицания, доканчивая последнюю художественную черту этого типа. Трагическая судьба! человеческое существо обращено в какого-то гнилого червячка и совершенно довольно собой и жалким своим кругозором.

Тут среда, тут fatum, эта несчастная не виновата, и вы понимаете это, но вот другой тип — самый полный в драме — тип развратного,

испитого, плюгавого фабричного парня, брата Маши, продающего потом сестру купчишке за триста рублей и за бархатную поддевку, — это, о, это уже тип из виновных «пожертвованного» поколения. Тут уже не одна среда. Правда, обстановка та же и та же среда: пьянство, разлагающаяся семья и фабрика. Но этот не простодушно, как матреша, уверовал в разврат. Он не простодушно подл, как она, а с любовью, он в подлость привнес своего. Он понимает, что разврат есть разврат, и знает, что такое неразврат; но разврат он полюбил сознательно, а честь презирает. Он уже сознательно отрицает сворый порядок семьи и обычая; он глуп и туп, это правда, но в нем какой-то энтузиазм плотоугодия и самого подлого, самого цинического материализма. Это уже не просто червячок, как Матреша, в которой всё такое маленькое и иссохшее. Он стоит на деревенской мирской сходке, и вы чувствуете, что он ничего уже в ней не понимает, и не может понимать, что он уже не от «мира сего» и с ним разорвал окончательно. Он продает сестру безо всякого угрызения совести и наутро является в отцовскую избу, на сцену отчаяния, в бархатной поддевке и с новой гармонией в руках. Есть пункт, в который он верит как в всемогущество; это — водка. С самой тупой, но верной ухваткой он перед всяким начинанием выставляет водку — горькую мужикам и сладкую бабам, уверенный, что все по его сделается и что водка все может. В нем, к полноте иронии, в изображении его, рядом с полным цинизмом уживается потребность прежних вежливых манер, исконной деревенской «учливости». Прибыв в село и еще не повидавшись с матерью, а засев в кабаке, он вежливо посылает ей из кабака сладкой водки. Когда он и Матреша привлекают мать в кабак, чтоб на свободе выманить ее позволение продать родную дочь купцу на изнасильничание, он вежливо выставляет прежде всего сладкой водки и, указывая на место, говорит: «Пыжалте, мамынька-с», и та очень довольна «учтивостью». Нашего автора упрекали иные, читавшие первый акт, за слишком уж *натуральный* мужицкий язык, утверждая, что он мог бы быть более литературным. Этой *натуральностию* языка и мы недовольны; всё должно быть художественно. Но, прочтя внимательно, прочтя другой раз драму, вы невольно согласитесь, что невозможно было изменить язык, в иных ее местах по крайней мере, не ослабив ее характерности. Это «пыжалте, мамынька-с» не могло быть изменено: вышло бы не так подло. И заметьте, что эту гадкую, глупую пьющую старуху, свою

«мамыньку» сынок уважает столько же, сколько свою подошву.

Вот трагические слова отца этой семьи, пьющего старика, про это «пожертвованное поколение»:

> «**Захар***(выпивает стакан водки).* Пьяницы! Вы теперь подумайте, други·сидит этта фабришный целую неделю за станом, ноги-то, руки-то занемеют, в голове словно туману напущено! словно шальные все! и виду-то челычьего-то нет! В хоромине-то духота, стены голые и не глядел бы! солнышко в ино место не заглянет! только и видишь его што по праздникам! Ну, други, придет этта праздник ты, дед, писание станешь читать, другой в поле хлеб поглядеть пойдет, аль в лес аль к пчелам, аль с суседями толковать земство, значит, аль сходка, аль о ценах хлебных скажи, куда фабришному то идтить? о чем ему говорить-то? у него всё отмеряно да взвешено! Разве о том что штрафы пишет незнамо за што, да провизию отпускает гнилую да за рублевый чай берет два с полтиной, за ворота не пущает, штоб провизию у него брали да штоб разврату боле было! Об эвтом разве! ну, значит одна и дорога в кабак! один разговор-от о водке да распутстве.
>
> **Василий.** Это точно!
>
> **Захар.** Вы подумайте, други, ведь тоже отдохнуть хоцца! тоже молодость! соберется хоровод, песни, смех хожалый разгонит! ну все гурьбой и в кабак да трахтир! И пойдут толки о девках да кто кого перепьет! И глянь-ка, што творится на фабриках то! девчонки 12-ти лет полюбовников ищут! шпульники водку хлыщут что воду! на фабрике-то матершинничество, ахальничество стон стоит ад кромешный! дети от больших займаются! На пагубу ребят своих мы туда отдаем! Есть ли хоша одна девка без распутства, один парень не пьяница на фабриках-то?».

Но самая характерная из всех сцен этой народной драмы — это третий акт, мирская сходка. Сильная мысль положена в этот эпизод поэмы. Эта сходка — это *всё,* что осталось твердого и краеугольного в народном русском строе, главная исконная связь его и главная будущая надежда его, — и вот и эта сходка уже носит в себе начало своего

разложения, уже больна в своем внутреннем содержании! Вы видите, что уже во многом это лишь одна форма, но что внутренний дух ее, внутренняя вековая правда ее пошатнулись — пошатнулись вместе с зашатавшимися людьми.

На этой сходке происходит возмутительная неправда: вопреки обычаю и закону единственного сына вдовы (Ивана, героя драмы) отдают в солдаты вместо одного из богатой семьи тройников[*], и, что хуже всего, это делается сознательно, с сознательным неуважением к правде и обычаю, делается за вино, за деньги. Тут даже и не подкуп; подкуп бы еще ничего; подкуп может быть преступлением единичным и исправимым. Нет, тут всё почти выходит именно из сознательного неуважения к себе, к своему же суду, стало быть, и к собственному бытовому строю своему. Цинизм уже в том проявляется, что против обычая и древнего правила в начале сходки мир допускает попойку: «С угарцем-то будет лучше судить», — зубоскаля говорят предводители сходки. Половина этих собравшихся граждан давно уже не верит в силу мирского решения, а стало быть, и в необходимость его; почти считает за ненужную форму, которую всегда можно обойти. Можно и должно вопреки правде и ради первой текущей выгоды. Еще немного пройдет, и вы чувствуете, что умники поновее сочтут всю эту церемонию за одну лишь глупость, за одно лишь ненужное бремя, потому что мирской приговор, что бы там ни было, всегда состоится такой, какого захочет богатый и сильный мироед, заправляющий сходкой. Так уж лучше вместо пустой формалистики прямо и перейти под власть этого мироеда. А он еще вдобавок и водкой будет поить. Вы видите, что у большинства этих самоуправляющихся членов даже и предположение утратилось, что решение их могло бы быть произнесено вопреки воле сильного человека; все «ослабели»; ожирели сердца; всем хочется сладенького, материальной выгоды. Все рабы уже по существу своему и даже представить не могут себе, как это можно решить для правды, а не для собственной выгоды. Молодое поколение тут присутствует и смотрит на дело отцов не только без уважения, не только с насмешкою, но как на устарелую дичь, именно как на глупую, ненужную форму, которая и держится-то всего лишь упрямством двух-трех глупых стариков, которых вдобавок всегда купить можно. Так стоит и так ведет себя на сходке Степан, тот испитой, плюгавый, пропившийся паренек, который потом продает сестру свою. Все эти эпизоды этой мирской

сходки удались автору. И главное, Степан почти прав в том, что не только не понимает ничего в мирской сходке, но что и нужным не считает ее понимать. Не мог же он не видеть, что на сходку уже допущено постороннее влияние купчишки, который положил себе погубить Ваньку и отбить у него девку-невесту. Мир выпил его вино и допустил купчишкина приказчика сказать себе вслух, что без него, без купца-фабриканта, который фабричной работой им хлеб дает, «вся бы волость ваша по папертям церковным нищенствовала, а что если приговорят по его, то за это его степенство, купец, много штрафов народу простит». Дело, разумеется, разрешается в пользу купца, и Ваньку отдают в солдаты.

Тут на сходке (весьма разнообразной лицами и характерами) являются два почти трагические лица; один — Наум Егоров, старик, уже двадцать лет сидящий на первом месте на сходке и заправляющий ею, и Степанида, мать Ивана. Наум Егорыч — старик разумный, твердый, честный, с высокой душой. На мирской приговор он смотрит с высшей точки. Для него это не просто сходка домохозяев в таком-то селе; нет, чувством он возвысился до понятия самого широкого: приговор хотя бы только сходки села его для него как бы часть приговора всей крестянской России, которая лишь миром и его приговором вся держится и стоит. Но, увы, он слишком разумен и не может не видеть наступившего мирского шатания и куда с некоторого времени мир потянул. Неправда, злодейства, конечно, бывали и на прежних сходках, двадцать лет назад; но неуважения к сходке самих членов ее, неуважения к собственному делу не было, по крайней мере не возводимо было в принцип. Делали подлое, но знали, что делают подлое, а что есть хорошее; теперь же не веруют в хорошее и даже в необходимость его. Но все-таки Наум, этот своего рода последний могикан[*], продолжает верить в правду мирскую во что бы ни стало, чуть не *насильно*, — и в этом трагизм его. Он формалист; чувствуя, что содержание ускользает, он стоит тем крепче за форму. Видя, что мир пьян, он попросил было отложить сходку, но когда закричали, что с «угарцем лучше судить», он покоряется: «Мир решил, против мира нельзя идти». Он слишком хорошо и с страданием понимает про себя, что в сущности наемный их писаришка Леванид Игнатьич значит всё и что купцов приказчик как прикажет сходке решить, так она и решит. Но старик всё еще, пока время, хоть насильно да обманывает себя; он

прогоняет Леванида с первого места и, как председатель сходки, читает приказчику наставление за невежливые слова его против мира.

За Ваньку подымается несколько правдивых голосов, хвалят его, говорят, что парень хороший, толковый, миру нужный, что такого бы приберечь, и вот вдруг между другими раздается голос одной старой, хмельной головы: «Ну, он лучше всех — во его и в рекруты!» Это уже насмешка над правдой сознательная, щегольство неправдой, игра… Сам над собою шутит судья, да еще в таком деле, как судьба человеческая! Наум слышит и, конечно, понимает, что кончается его «мир». Тут стоит мать Ивана. Это баба еще не старая, сильная, гордая. Давно уже осталась она молодой вдовой. Как вдову, ее притесняли, ее мир обижал. Но она выдержала всё, поправила домишко, подняла своего единственного ненаглядного Ваню на радость, на утеху себе и вот — слушает теперь, как мир отнимает у нее последнюю надежду, последнюю радость ее, сына. Наум Егорыч, предчувствуя хмельное, буявое решение мира, говорит поскорей Степаниде: «Эхма, а делать неча! мир сила! Проси, Степанида, проси мир-от!» Но та не хочет просить. Та строптиво укоряет мир в неправде, в подкупе, в пьяном решении, в зависти к ее Ване. «Ты, Степанида, хуже мир-от злобишь!» — тревожно восклицает Наум. «Аль ты думаешь, Наум Егорыч, — отвечает ему Степанида, — кали б я видела, што тут закон да совесть, — тут водка! Кали б я знала, што тут умолить можно, да я колени свои стерла бы о сырую землю, пол-от вымыла б в избе слезьми своими, голову б расшибла б, миру кланяючись! Да тут не упросишь, не умолишь! Разе ты не видишь — тут всё подстроено да подлажено! сгубят они, вороны, ясного сокола, заклюют! За водку продаете вы души-то свои — во кому вы молитесь — водке! Кто больше поднес — тот вас и купил. Обидел вишь ты, Ваня, купчину, а иль вы не знаете, што купчина-то пьяный лез порочить невесту Ванюхину! Да вы эвто знаете! Водка-то купчины хороша! страмники вы, кровопивцы, и то в вину поставили, что сироту бесприютного во двор взяла! Да не быть по-вашему! не быть! посредственник Ванюшу знает — в обиду не даст! *(быстро ухооит)*».

Эта гордая женщина — одна из очень удавшихся нашему поэту лицо. Как хотите, господа, а это сильное место. Это, конечно, русская деревня, а лицо — простая баба, которая грамотно и говорить не умеет, но, ей-богу, этот монолог о стертых коленках, «если б тут умолить было

можно», стоит многих высоких мест в иных трагедиях в этом роде. Тут нет классических фраз, красивого языка, белого покрывала, черных горящих глаз Рашели[*], но, уверяю вас, если б у нас была наша Рашель, вы содрогнулись бы в театре от этой сцены материнского проклятия мирскому суду, от всей этой неприкрашенной правды ее. Сцена кончается многозначительным движением — бегством за правдой к «посредственнику»[*], с жалобой ему на мирской приговор, а это тяжелое пророчество.

Указывать далее на все лучшие сцены этого произведения почти излишне. Но не могу не поделиться впечатлением и прямо скажу: редко что читал я сильнее и трагичнее финала четвертого акта.

Жертва, запроданная матерью и братом купцу, уже опоена зельем и заснула в бесчувствии на печи. Матреша, эта невинная преступница, лезет на печь поглядеть и почти с радостию, почти убежденная, что теперь осчастливила Машу, возвещает купчишке: «Готова! не пошевельнется, хоть на куски изрежь!» Писаришка Леванид, товарищ купчишки, встает и уходит: «Жизнь вам, купцам-то!» — говорит он завистливо. И вот купчишка, перед тем как лезть к своей жертве, приходит в какой-то поэтический пафос: «Потому мы теперь сила! — восклицает он плотоядно-пророчески — Што хотим, то и могим сделать! Если теперь купец чево вздумал — то и сделал — потому сила!» «Сила — чаго и толковать!» — поддакивает брат жертвы. Затем лишние выходят из избы, негодяй лезет к Маше, а пьяная мать, продавшая свою невинную дочь, невесту несчастного Вани, в пьяном бесчувствии тут же валится на пол и засыпает в ногах пьяного без просыпу отца этого счастливого семейства… «Пить до дна — не видать добра!»

Не указываю на все эти поражающие своею дальнейшей правдой черты ужасной картины, — на этих преступников, почти не понимающих своего преступления; на понимающих, но уже не имеющих права проклясть его, как пьяный отец семьи, например, которому дочь трагически бросет в глаза обвинение и дочернее свое проклятие… Есть черты, чрезвычайно тонко замеченные: эта очнувшаяся Маша, в первые минуты хотевшая убить себя, надевает, однако, оставленный ей у матери купчишкой шелковый сарафан, но надевает из злорадства, *для мучения*, для того чтоб истерзать себя еще больше: вот, дескать, сама теперь потаскухой стала! Вот разговор

«невинной» матери и «невинной» Матреши на другой день после беды:

> «**Матрешка***(входит).* Здорово, тетка Арина! Што у вас тут деется? Вчера-то я, признаться, и побоялась прийти-то к вам!
>
> **Арина.** И-и-и, девынька, што страхов-от натерпелись! Страсти! Как поутру-то узнала девка, схватила нож да нас-то маненько не перерезала, а потом себя! Уж насилу, насилу мы с ней сладили! Степку теперь на глаза не пущает!
>
> **Матрешка.** Сказывал он мне!
>
> **Арина.** Ну, к вечеру-то, знашь, отпустило ее, — стала она теперь словно камень! Бог, говорит, меня, говорит, наказал за Матрешку, таперь — говорит — сама така ж! Ноне, девынька, дала я ей сарахван-от што Силантий Савельич у тебя ей-то купил, она надела, Матрешкой говорит стала, ее и сарафан надыть! во што!
>
> **Матрешка.** Где ж она теперь!
>
> **Арина.** И-и-и, девынька, уйдет в сарай, *зароется в солому да ничком и лежит!*
>
> **Матрешка.** Как бы рук на себя на наложила сгоряча то!»

Но жертва не наложила на себя рук: «страшно стало» потом-то, говорит она сама. Наш поэт богат психологическим знанием народа. Вот и Ваня, являющийся внезапно от посредника, к которому на сутки отлучился. Поэт не пощадил своего героя для реальной правды: Иван в первое мгновение, в бестиальной ярости, обвиняет одну Машу, он несправедлив и отвратителен, но, поняв наконец, как было дело, он как бы невольно предложил было Маше идти за него и так. Но автору слишком хорошо известно, что в нашем народном быту это почти немыслимо, если только дело носит честный характер. Обесчещенная девушка, хоть и обманом, хоть и без вины, считается все-таки уже нечистою, если не совсем бесчестною. Да и сама Маша горда «Не марайся об меня, Ваня! — кричит она. — Уйди!» «Прощай, Ваня!» — и затем, в последнем монологе, быстро подходит к столу, наливает стакан водки, обводит всех горячим взглядом и с отчаянным, злорадостным вывертом кричит: «Ну, што же приуныли? Радуйтесь, ваше дело! Матушка! батюшка! пить давайте, гулять! Не один ты, батюшка, будешь

по кабакам-то шляться! с дочкой! Скучно, матушка, пить одной-то было, вдвоем теперь, с дочкой! Заливай вино! потопи ты мое горе, мою совесть!»

И подносит стакан к губам. Тем кончается драма.

Не говорю, что тут совсем нет ошибок; но в этом произведении так много истинных достоинств, что ошибки эти почти ничтожны. Например, тон Маши в монологе четвертого акта, который заканчивает она прелестным, высоким душевным движением: «Теперь легко таково стало!» — этот тон немного уж слишком певуч. Правда, это почти не монолог, а дума, чувство, — те самые думы и чувства, под влиянием которых у русских людей с сердцем и поэзией сложились и все песни русского народа. Поэтому и дума Маши, по существу в высшей степени верная и натуральная, могла выйти по форме своей несколько как бы лиричною. Но у искусства есть пределы и правила, и монолог мог бы быть покороче. Может быть, не совсем верен и тон Маши в конце драмы, уже после катастрофы: лучше было бы, если б она говорила капельку менее. Ужасные слова ее отцу гораздо бы сильнее выдались, если б тоже были покороче и не так певучи. Но всё это поправимо, автор очень может исправить это во втором издании, и, повторяем, сравнительно с бесспорными достоинствами его произведения всё это почти мелочи. Хорошо еще, если б автор выбросил из своей драмы совсем появление в конце ее (и вовсе ненужное) добродетельного старика фабриканта, толкующего чуть ли не о наших «долгах народу». Появление его тем более нелепо, что это тот самый фабрикант, который закабалил весь окрестный люд, замучил произвольными штрафами и кормит работников гнилою пищею. Наконец, сам хозяин дома, Захар, вышел несколько неясен. В собственном объяснении его, отчего он запил, есть как бы какая-то фальшь, что-то необъясненное и натянутое; меж тем дело могло быть выставлено гораздо проще и натуральнее.

Впрочем, это только мое мнение, и я могу ошибиться, но уверен, что не ошибаюсь в твердых достоинствах этого серьезного произведения. Мне слишком приятно было поделиться моим впечатлением с читателями. Серьезнее ничего, по крайней мере, не появилось в нашей литературе за последнее и, может быть, довольно длинное время…

XIII
Маленькие картинки

1

Лето, каникулы; пыль и жар, жар и пыль. Тяжело оставаться в городе. Все разъехались.* На днях принялся было за перечитывание накопившихся в редакции рукописей… Но о рукописях после, хотя о них есть что сказать. Хочется воздуха, воли, свободы; но вместо воздуха и свободы бродишь один без цели по засыпанным песком и известкой улицам и чувствуешь себя как бы кем-то обиженным — право, ощущение как будто похожее. Известно, что половина горя долой, лишь бы подыскать кого-нибудь виноватого в нем перед вами, и тем досаднее, если подыскать решительно некого…

На днях переходил Невский проспект с солнечной стороны на теневую. Известно, что Невский проспект переходишь всегда с осторожностью, не то мигом раздавят, — лавируешь, присматриваешься, улучаешь минуту, прежде чем пуститься в опасный путь, и ждешь, чтобы хоть капельку расчистилось от несущихся один за другим, в два или три ряда, экипажей. Зимой, за два, за три дня перед рождеством например, переходить особенно интересно: сильно рискуете, особенно если белый морозный туман с рассвета опустится на город, так что в трех шагах едва различаешь прохожего. Вот проскользнул кое-как мимо первых рядов карет и извозчиков, несущихся в сторону Полицейского моста*, и радуешься, что уже не боишься их; топот и грохот и сиплые окрики кучеров остались за вами, но, однако, и некогда радоваться:·вы только достигли середины опасного перехода, а дальше — риск и полная неизвестность. Вы быстро и тревожно осматриваетесь и наскоро придумываете, как бы проскользнуть и мимо второго ряда экипажей, несущихся уже в сторону Аничкова моста. Но чувствуете что и думать уж некогда, и к тому же этот адский туман: слышны лишь топот и крики, а видно кругом лишь на сажень. И вот вдруг внезапно раздаются из тумана быстрые, частые, сильно приближающиеся твердые звуки, страшные и зловещие в эту

минуту, очень похожие на то, как если бы шесть или семь человек сечками рубили в чане капусту «Куда деваться? Вперед или назад? Успею или нет?» И благо вам, что остались, из тумана на расстоянии лишь одного шагу от вас вдруг вырезывается серая морда жарко дышащего рысака, бешено несущегося со скоростию железнодорожного курьерского поезда — пена на удилах, дуга на отлете, вожжи натянуты, а красивые сильные ноги с каждым взмахом быстро, ровно и твердо отмеривают по сажени. Один миг, отчаянный окрик кучера, и — всё мелькнуло и пролетело из тумана в туман, и топот, и рубка, и крики — всё исчезло опять, как видение. Подлинно петербургское видение! Вы креститесь и, уже почти презирая второй ряд экипажей, так пугавший вас за минуту, быстро достигаете желанного тротуара, еще весь дрожа от перенесенного впечатления и — странно — ощущая в то же время неизвестно почему и какое-то от него удовольствие, и вовсе не потому, что избегли опасности, а именно потому, что ей подвергались. Удовольствие ретроградное, я не спорю, и к тому же в наш век бесполезное, тем более что надо бы было, напротив, протестовать, а не ощущать удовольствие, ибо рысак в высшей степени не либерален, напоминает гусара или кутящего купчика, а стало быть, неравенство, нахальство, la tyrannie[12] и т. д. Знаю и не спорю, но теперь я хочу лишь докончить. Итак, на днях с привычною зимнею осторожностию стал было я переходить через Невский проспект и вдруг, очнувшись от задумчивости, в удивлении остановился на самой середине перехода: никого-то нет, ни одного экипажа, хоть бы какие-нибудь дребезжащие извозчичьи дрожки! Место пусто сажен на пятьдесят в обе стороны, хоть остановитесь рассуждать с приятелем о русской литературе — до того безопасно! Даже обидно. Когда это бывало?

Пыль и жар, удивительные запахи, взрытая мостовая и перестраивающиеся дома. Всё больше отделывают фасады со старого на новое, для шику, для характеристики. Удивительна мне эта архитектура нашего времени. Да и вообще архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда поражала меня, — именно тем, что выражает всю его бесхарактерность и безличность за всё время существования. Характерного в положительном смысле, своего собственного, в нем разве только вот эти деревянные, гнилые домишки, еще уцелевшие даже на самых блестящих улицах рядом с громаднейшими домами и вдруг

поражающие ваш взгляд словно куча дров возле мраморного палаццо. Что же касается до палаццов, то в них-то именно и отражается вся бесхарактерность идеи, вся отрицательность сущности петербургского периода, с самого начала его до конца. В этом смысле нет такого города, как он, в архитектурном смысле он отражение всех архитектур в мире, всех периодов и мод; всё постепенно заимствовано и всё по-своему перековеркано. В этих зданиях, как по книге, прочтете все наплывы всех идей и идеек, правильно или внезапно залетавших к нам из Европы и постепенно нас одолевавших и полонивших. Вот бесхарактерная архитектура церквей прошлого столетия, вот жалкая копия в римском стиле начала нашего столетия, а вот и эпоха Возрождения и отысканный будто бы архитектором Тоном[*] в прошлое царствование тип древнего византийского стиля. Вот затем несколько зданий — больниц, институтов и даже дворцов первых и десятых годов нашего столетия, — это стиль времени Наполеона Первого — огромно, псевдовеличественно и скучно до невероятности, что-то натянутое и придуманное тогда нарочно, вместе с пчелами на наполеоновской порфире, для выражения величия вновь наступившей тогда эпохи и неслыханной династии, претендовавшей не бесконечность[*]. Вот потом дома, или почти дворцы, иных наших дворянских фамилий, но гораздо позднейшего времени. Это уж на манер иных итальянских палаццо или не совсем чистый французский стиль дореволюционной эпохи[*]. Но там, в венецианских или римских палаццо, отжили или еще отживают жизнь свою целые поколения древних фамилий, одно за другим, в течение столетий. У нас же поставили наши палаццы всего только в прошлое царствование, но тоже, кажется, с претензией на столетия: слишком уж крепким и ободрительным казался установившийся тогдашний порядок вещей, и в появлении этих палаццо как бы выразилась вся вера в него: тоже века собирались прожить. Пришлось, однако же, всё это почти накануне Крымской войны, а потом и освобождения крестьян… Мне очень грустно будет, если когда-нибудь на этих палаццах прочту вывеску трактира с увеселительным садом или французского отеля для приезжающих. И, наконец, вот архитектура современной, огромной гостиницы — это уже деловитость, американизм, сотни нумеров, огромное промышленное предприятие: тотчас же видно, что и у нас явились железные дороги и мы вдруг очутились деловыми людьми. А теперь, теперь… право, не знаешь, как и определить теперешнюю нашу

архитектуру. Тут какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберности настоящей минуты. Это множество чрезвычайно высоких (первое дело высоких) домов под жильцов, чрезвычайно, говорят, тонкостенных и скупо выстроенных, с изумительною архитектурою фасадов: тут и Растрелли*, тут и позднейшее рококо*, дожевские балконы* и окна, непременно оль-де-бёфы* и непременно пять этажей, и всё это в одном и том же фасаде. «Дожевское-то окно ты мне, братец, поставь неотменно, потому чем я хуже какого-нибудь ихнего голоштанного дожа; ну а пять-то этажей ты мне все-таки выведи жильцов пускать; окно окном, а этажи чтобы этажами; не могу же я из-за игрушек всего нашего капиталу решиться». Впрочем, я не петербургский фельетонист* и не об том совсем заговорил. Начал об редакционных рукописях, а свел на чужое дело.

2

Пыль и жар. Говорят, для оставшихся в Петербурге открыто несколько садов и увеселительных заведений, где можно «подышать» свежим воздухом. Не знаю, есть ли там чем подышать, но я нигде еще не был. В Петербурге лучше, душнее, грустнее. Ходишь, созерцаешь, один-одинешенек — это лучше, чем свежий воздух увеселительных петербургских садов. К тому же и в городе открылось вдруг множество садов, там, где их вовсе не подозревали. Почти на каждой улице встретите теперь, при входе в какие-нибудь ворота, иногда заваленные известкой и кирпичом, надпись «Вход в сад трактира». Там, на дворе, где-нибудь перед старым флигельком был лет сорок назад отгорожен какой-нибудь палисадник, шагов десяти длиною и пяти шириною; ну вот это-то и есть теперь «сад трактира». Скажите, отчего в Петербурге гораздо грустнее по воскресениям, чем в будни? От водки? От пьянства? Оттого что пьяные мужики валяются и спят на Невском проспекте среди белого… вечера, как я сам это видел? Не думаю. Гуляки из рабочего люда мне не мешают, и я к ним, оставшись теперь в Петербурге, совсем привык, хотя прежде терпеть не мог, даже до ненависти. Они ходят по праздникам пьяные*, иногда толпами, давят и натыкаются на людей — не от буянства, а так, потому что пьяному и нельзя не натыкаться и не давить; сквернословят вслух, несмотря на

целые толпы детей и женщин, мимо которых проходят, — не от нахальства, а так, потому что пьяному и нельзя иметь другого языка, кроме сквернословного. Именно этот язык, целый язык, я в этом убедился недавно, язык самый удобный и оригинальный, самый приспособленный к пьяному или даже лишь к хмельному состоянию, так что он совершенно не мог не явиться, и если б его совсем не было— il faudrait l'inventer[*] [13]. Я вовсе не шутя говорю. Рассудите. Известно, что в хмелю первым делом связан и туго ворочается язык во рту, наплыв же мыслей и ощущений у хмельного, или у всякого не как стелька пьяного человека, почти удесятеряется. А потому естественно требуется, чтобы был отыскан такой язык, который мог бы удовлетворять этим обоим, противоположным друг другу состояниям. Язык этот уже спокон веку отыскан и принят во всей Руси. Это просто-запросто название одного нелексиконного существительного, так что весь этот язык состоит из одного только слова, чрезвычайно удобно произносимого. Однажды в воскресение, уже к ночи, мне пришлось пройти шагов с пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного, до крайности к тому же немногосложного. Вот один парень резко и энергически произносит это существительное, чтобы выразить об чем-то, об чем раньше у них общая речь зашла, свое самое презрительное отрицание. Другой в ответ ему повторяет это же самое существительное, но совсем уже в другом тоне и смысле — именно в смысле полного сомнения в правдивости отрицания первого парня. Третий вдруг приходит в негодование против первого парня, резко и азартно ввязывается в разговор и кричит ему то же самое существительное, но в смысле уже брани и ругательства. Тут ввязывается опять второй парень в негодовании на третьего, на обидчика, и останавливает его в таком смысле, что, дескать, что ж ты так, парень, влетел? мы рассуждали спокойно, а ты откуда взялся — лезешь Фильку ругать! И вот всю эту мысль он проговорил тем же самым одним заповедным словом, тем же крайне односложным названием одного предмета, разве только что поднял руку и взял третьего парня за плечо. Но вот вдруг четвертый паренек, самый молодой из всей партии, доселе молчавший, должно быть вдруг отыскав разрешение первоначального затруднения, из-за которого вышел спор, в

восторге приподымая руку, кричит… Эврика, вы думаете? Нашел, нашел? Нет, совсем не эврика и не нашел; он повторяет лишь то же самое нелексиконное существительное, одно только слово, всего одно слово, но только с восторгом, с визгом упоения, и, кажется, слишком уж сильным, потому что шестому, угрюмому и самому старшему парню, это не «показалось», и он мигом осаживает молокососный восторг паренька, обращаясь к нему и повторяя угрюмым и назидательным басом… да всё то же самое запрещенное при дамах существитеьное, что, впрочем, ясно и точно обозначало: «Чего орешь, глотку дерешь!» Итак, не проговори ни единого другого слова, они повторили это одно только излюбленное ими словечко шесть раз кряду, один за другим, и поняли друга друга вполне. Это факт, которому я был свидетелем. «Помилуйте! — закричал я им вдруг ни с того ни с сего (я был в самой середине толпы). — Всего только десять шагов прошли, а шесть раз (имя рек) повторили! Ведь это срамеж! Ну, не стыдно ли вам?»

Все вдруг на меня уставились, как смотрят на нечто совсем неожиданное, и на миг замолчали, я думал, выругают, но не выругали, а только молоденький паренек, пройдя уже шагов десять, вдруг повернулся ко мне и на ходу закричал:

— А ты что же сам-то семой раз *его* поминаешь, коли на нас шесть разов насчитал?

Раздался взрыв хохота, и партия прошла, уже не беспокоясь более обо мне.

3

Нет, я не про этих гуляк говорю, и не от них мне так особенно грустно по воскресениям. Я недавно с большим удивлением открыл, что есть в Петербурге мужики, мещане и мастеровые совершенно трезвые, совсем ничего не «употребляющие» даже и по воскресениям; и не это собственно меня удивило, а то, что их несравненно, кажется, больше, чем я предполагал до сих пор. Ну вот на этих-то мне смотреть еще грустнее, чем на пьяных гуляк, и не то чтоб от сострадания к ним; вовсе нет и причины им сострадать; а так приходит в голову всё какая-то странная мысль… По воскресениям к вечеру (по будням их совсем не видать) очень много этого всю неделю занятого работою, но

совершенно трезвого люда выходит на улицы. Выходит именно погулять. Я заметил, что на Невский они никогда не заходят, а так всё больше прохаживаются около своих же домов или идут «прохладно», возвращаясь с семействами откудова-нибудь из гостей. (Семейных мастеровых тоже, кажется, очень в Петербурге много). Идут они степенно и с ужасно серьезными лицами, точно и не на прогулке, очень мало разговаривая друг с другом, особенно мужья с женами, почти совсем молча, но всегда разодетые по-праздничному. Наряды плохи и стары, на женщинах пестры, но всё вычищено и вымыто к празднику, нарочно, может быть, к этому часу. Есть которые и в русских платьях, но много и в немецких и бреющих бороду. Досаднее всего, что они, кажется, действительно и серьезно воображают, что, этак прохаживаясь, доставляют себе несомненное воскресное удовольствие. Ну какое бы, кажется, удовольствие на этой широкой, оголенной, пыльной улице, пыльной еще после заката солнца? Того и есть, что им и это кажется раем; всякому, значит, свое.

Очень часто они с детьми; детей тоже очень много в Петербурге, а еще говорят, что они в нем ужасно как мрут. Все эти дети, как я заметил, большею частью всегда почти маленькие, первого возраста, едва ходят или совсем еще не умеют ходить; не потому ли и так мало детей постарше, что не доживают и умирают? Вот замечаю в толпе одинокого мастерового, но с ребенком, с мальчиком, — одинокие оба, и вид у них у обоих такой одинокий. Мастеровому лет тридцать, испитое и нездоровое лицо. Он нарядился по-праздничному: немецкий сюртук, истертый по швам, потертые пуговицы и сильно засалившийся воротник сюртука; панталоны «случайные», из третьих рук с толкучего рынка, но всё вычищено по возможности. Коленкоровая манишка и галстух, шляпа цилиндр, очень смятая, бороду бреет. Должно быть, где-нибудь в слесарной или чем-нибудь в типографии. Выражение лица мрачно-угрюмое, задумчивое, жесткое, почти злое. Ребенка он держит за руку, и тот колыхается за ним, кое-как перекачиваясь. Это мальчик лет двух с небольшим, очень слабенький, очень бледненький, но одет в кафтанчик, в саможках с красной оторочкой и с павлиньим перышком на шляпе. Он устал; отец; ему что-то сказал, может быть, просто сказал, а вышло, что как будто прикрикнул. Мальчик притих. Но прошли еще шагов пять, и отец нагнулся, бережно поднял ребенка, взял на руки и понес. Тот привычно и доверчиво прильнул к нему, обхватил его шею правой

ручкой и с детским удивлением стал пристально смотреть не меня: чего, дескать, я иду за ними и так смотрю? Я кивнул было ему головой и улыбнулся, но он нахмурил бровки и еще крепче ухватился за отцовскую шею. Друзья, должно быть, оба большие.

Я люблю, бродя по улицам, присматриваться к иным совсем незнакомым прохожим, изучать их лица и угадывать: кто они, как живут, чем занимаются и что особенно их в эту минуту интересует. Про мастерового с мальчиком мне пришло тогда в голову, что у него, всего только с месяц тому, умерла жена и почему-то непременно от чахотки. За сироткой-мальчиком (отец всю неделю работает в мастерской) пока присматриает какая-нибудь старушонка в подвальном этаже, где они нанимают каморку, а может быть, всего только угол. Теперь же, в воскресение, вдовец с сыном ходили куда-нибудь далеко на Выборгскую, к какой-нибудь единственной оставшейся родственнице, всего вернее к сестре покойницы, к которой не очень-то часто ходили прежде и которая замужем за каким-нибудь унтер-офицером с нашивкой и живет непременно в каком-нибудь огромнейшем казенном доме, и тоже в подвальном этаже, но особнячком. Та, может быть, повздыхала о покойнице, но не очень; вдовец, наверно, тоже не очень вздыхал во время визита, но всё время был угрюм, говорил редко и мало, непременно свернул на какой-нибудь деловой специальный пункт, но и о нем скоро перестал говорить. Должно быть, поставили самовар, выпили вприкуску чайку. Мальчик всё время сидел на лавке в углу, хмурился и дичился, а под конец задремал. И тетка и муж ее мало обращали на него внимания, но молочка с хлебцем наконец-таки дали, причем хозяин унтер-офицер, до сих пор не обращавший на него никакого внимания, что-нибудь сострил про ребенка в виде ласки, но что-нибудь очень соленое и неудобное, и сам (один, впрочем) тому рассмеялся, а вдовец, напротив, именно в эту минуту строго и неизвестно за что прикрикнул на мальчика, вследствие чего тому немедленно захотелось аа, и тут отец уже без крику и с серьезным видом вынес его на минутку из комнаты… Простились так же угрюмо и чинно, как и разговор вели, с соблюдением всех вежливостей и приличий. Отец сгреб на руки мальчика и понес домой, с Выборгской на Литейную[*]. Завтра опять в мастерскую, а мальчик к старушонке. И вот ходишь-ходишь и всё этакие пустые картинки и придумываешь для своего развлечения. Никакого в этом нет толку, и «ничего

поучительного нельзя извлечь». Оттого и берет хандра по воскресениям, в каникулы, на пыльных и угрюмых петербургских улицах. Что, не приходило вам в голову, что в Петербурге угрюмые улицы? Мне кажется, это самый угрюмый город, какой только может быть на свете!

Правда, и в будни выносят детей во множестве, но по воскресениям к вечеру их является на улицах чуть не вдесятеро более. Какие всё испитые, какие бледные, худосочные, малокровные и какие у них угрюмые личики, особенно у тех, которые еще на руках; а те, которые уже ходят, — все с кривыми ножками и все на ходу сильно колыхаются из стороны в сторону. Почти все, впрочем, тщательно приодеты. Но, боже мой, ребенок что цветок, что листок, завязавшийся весною на дереве: ему надо свету, воздуху, воли, свежей пищи, и вот вместо всего этого душный подвал с каким-нибудь квасным или капустным запахом, страшное зловоние по ночам, нездоровая пища, тараканы и блохи, сырость, влага, текущая со стен, а на дворе — пыль, кирпич и известка.

Но они любят своих бледных и худосочных детей. Вот маленькая трехлетняя девочка, хорошенькая и в свежем платьице, спешит к матери, которая сидит у ворот в большом обществе, сошедшемся со всего дома часок-другой поболтать. Мать болтает, но глазом наблюдает ребенка, играющего от нее в десяти шагах. Девочка нагнулась что-то поднять, какой-то камушек, и неосторожно наступила на свой подол ножками и вот никак распрямиться не может, раза два попробовала, упала и заплакала. Мать приподнялась было к ней на помощь, но я поднял девочку раньше. Она выпрямилась, быстро и любопытно на меня посмотрела, еще со слезинками на глазах, и вдруг бросилась, немного в испуге и в детском смущении, к матери. Я подошел и учтиво осведомился, сколько девочке лет; мать приветливо, но очень сдержанно мне ответила. Я сказал, что и у меня такая же девочка[*]; на это уже не последовало ответа: «Может, ты и хороший человек, — молча глядела на меня мать, — да только что ж тебе тут стоять, проходил бы мимо». Вся разговорившаяся публика тоже затихла и тоже как будто это же самое думала. Я притронулся к шляпе и прошел мимо.

Вот другая девочка на бойком перекрестке отстала от матери, которая до сих пор ее вела за руку. Правда, бабенка вдруг увидела шагах в пятнадцати от себя товарку, пришедшую ее навестить, и, надеясь, что ребенок знает дорогу, бросила его ручку и пустилась бегом встречать гостью, но ребенок, оставшийся вдруг один, испугался и

закричал, в слезах догоняя мать.

Седой и совсем незнакомый прохожий мещанин с бородкой вдруг останавливает на дороге незнакомую ему бегущую женщину и схватывает ее за руку:

— Чего разбежалась! Вишь, ребенок, сзади кричит; так нельзя; испужаться может.

Бабенка хотела что-то бойко ему возразить, но не возразила, одумалась; безо всякой досады и нетерпения взяла на руки добежавшую к ней девочку и уже чинно пошла к своей гостье. Мещанин строго выждал до конца и направился своей дорогою.

Пустые, самые пустые картинки, которые даже совестно вносить в дневник. Впредь постараюсь быть гораздо серьезнее.

XIV
Учителю

За прошлые мои три маленькие картинки («Гражданин», № 29) московский фельетонист обругал меня в нашем петербургском «Голосе»[*] (№ 210), кажется из целомудрия, за то, что я в картинке № 2, заговорив о скверно-словном языке нашего хмельного народа, упомянул, уж, конечно, не называя прямо, об одном неприличном предмете[*]…«Мне и в голову не могло прийти, до чего может дописаться фельетонист, когда у него нет под рукой подходящего матерьяла»[*],— говорит обо мне московский мой обличитель. Итак, выходит, что я прибегнул к неприличному предмету единственно для оживления моего фельетона, для сока, для кайенского перцу[*]…

Вот это мне грустно; а я-то даже думал, что заключат из моего фельетона именно противуположное, то есть что из огромного материала я вывел мало. Я думал, что название спасет меня: маленькие картинки, а не большие, с маленьких не так спросят. Я и набросал лишь несколько грустных мыслей о праздничном времяпрепровождении чернорабочего петербургского люда. Скудость их радостей, забав, скудость их духовной жизни, подвалы, где возрастают их бледные, золотушные дети, скучная, вытянутая в струнку широкая петербургская улица как место их прогулки, этот молодой мастеровой-вдовец с ребенком на руках (картинка истинная) — всё это мне показалось матерьялом для фельетона достаточным, так что, повторяю, можно было бы упрекнуть меня совершенно в обратном смысле, то есть что я мало из такого богатого матерьяла сделал. Меня утешало, что я хоть намекнул на мой главный вывод, то есть что в огромном большинстве народа нашего, даже и в петербургских подвалах, даже и при самой скудной духовной обстановке, есть все-таки стремление к достоинству, к некоторой порядочности, к истинному самоуважению; сохраняется любовь к семье, к детям. Меня особенно поразило, что они так действительно и даже с нежностию любят своих болезненных детей; я именно обрадовался мысли, что беспорядки и бесчинства в семейном быту народа, даже среди такой обстановки, как в Петербурге, всё же пока исключения, хотя, быть может и многочисленные, и думал

поделиться этим свежим впечатлением с читателями. Я как раз прочел перед тем в одном фельетоне преоткровенное признание одного, уж конечно, умного человека по поводу вышедшей одной официального характера книги именно что заниматься вопросом о том полезна или не полезна была народу реформа? есть в сущности вопрос праздный, что если б даже и не полезна она оказалась народу, то все равно проваливайся всё, а реформа должна была совершиться (и в этом, пожалуй, много правды, на основании pereat mundus,[14] несмотря на постановку вопроса)*. И наконец, что касается собственно до народа, до мужиков, то признался фельетонист весьма явственно «это ведь и правда, что собственно народ наш не стоил реформы» «и что если мы до реформы в литературе и публицистике венчали лаврами и розами с г-дами Марко Вовчком и Григоровичем мужиков, то ведь мы очень хорошо знаем, что венчали только вшивые головы… Но нужно было это тогда для подживления дела» и т. д. и т д. Вот сущность мысли (изложение мое не буквальное), выраженной в фельетоне с такою откровенностию и уже без малейшей прежней церемонии.* Признаюсь, эта слишком уже откровенная мысль, эта обнаженность ее, почти впервые обнаружившаяся с таким удовольствием, привела меня тогда в прелюбопытное настроение духа, и помню, я тогда заключил, что мы, ну например в «Гражданине», хоть и разделяем первую часть этой мысли, то есть реформу, даже несмотря ни на какие последствия, но все же не разделим ни за что второй части этой роковой мысли и твердо уверены, что вшивые головы всё-таки были достойны реформы и даже совсем не ниже ее. Я думаю, подобное убеждение может составлять именно одну из характерных сторон собственно нашего направления; вот почему я об этом теперь и упоминаю.

Что же касается до моего фельетона… А кстати, московский фельетонист, мой собрат по перу, неизвестно почему, думает, что я стыжусь названия фельетониста*, и уверяет на французском языке, что я «plus feuilletoniste que Jules Janin, plus catholique que le pape»*.[15] Этот французский язык из Москвы, конечно, тут для того, чтоб подумали, что автор хорошего тона, но все-таки не понимаю, к чему тут приписываемое мне исповедание католической религии и к чему понадобился тут бедный папа? А что до меня, то я лишь выразился, что я не «петербургский» фельетонист, и хотел лишь этим сказать на всякий случай для будущего, что в моем «Дневнике» не об одной собственно

петербургской жизни пишу и намерен писать[*], а стало быть, и спрашивать с меня слишком подробных отчетов о петербургской жизни, когда я заговорю о ней по необходимости, нечего. Если же московскому моему учителю непременно хочется назвать мой «Дневник» фельетоном, то пусть; я этим очень доволен.

Московский учитель мой уверяет, что фельетон мой произвел фурор в Москве — «в рядах и в Зарядье», и называет его гостинодворским фельетоном. Очень рад, что доставил такое удовольствие читателям из этих мест нашей древней столицы. Но яд в том, что будто я нарочно и бил на эффект; за неимением читателей высших искал читателей в Зарядье и с этою целью и заговорил «*о нем*», а стало быть, я — «самый находчивый из всех фельетонистов»..

> «„То-ись ума не приберу (пишет учитель, рассказывая об эффекте моего фельетона в Москве), ума не приберу, что это за диковинка такая, какой спрос на этого “Гражданина» вышел», удивлялся один из газетных разносчиков на мой вопрос о спросе на „Гражданина“. Когда я объяснил ему в чем дело, разносчик побежал к Мекленбургу и Живареву — нашим оптовым торговцам газетами, чтобы взять оставшиеся нумера, но их и там расхватали: „Все-то из рядов да из Зарядья спрашивают“. Дело в том, что до Гостиного двора дошло сведение, что в „Гражданине“ написана целая статья *об нем, и* вот гостинодворцы, вместо того чтоб покупать „Развлечение“, кинулись на „Гражданина“».

Да ведь это вовсе недурно, послушайте, это известие, и напрасно вы стыдите меня гостинодворскими читателями. Напротив, очень бы желал приобрести их расположение, ибо вовсе не так худо о них думаю, как вы о них думаете. Видите ли, покупали они, конечно, для смеху и из того, что скандал вышел. На скандал всякий человек набрасывается, это уже свойство всякого человека, преимущественно в России (вы, например, вот набросились же); так что гостинодворцев за это, я думаю, нельзя презирать слишком-то специально. Что же до забавы, до смеху — то есть разные забавы и разный смех, даже в самых соблазнительных случаях. Учитель мой, впрочем, оговаривается; он прибавляет: «Я уверен, что пером автора „картинки *об нем*“ руководили самые добрые

намерения, когда он писал этот гостинодворский фельетон», то есть учитель делает мне честь, допуская, что я не имел непосредственною и главною целью, упоминая *о нем,* развратить народ. Благодарим хоть за это; так как автор пишет в «Голосе», то великодушная оговорка эта, пожалуй, и не лишняя, ибо знаю по опыту, что Андрею Александровичу ничего не стоит обвинить меня в чем угодно, даже в развратительных целях против народа и общества русского. (Обвинял же меня в крепостничестве)[*]. Андрей Александрович сказался тоже под вашим пером и в удивительной обратной догадке: «… и если подобные „картинки“ ваши ничего не сделают для исправления гуляк из рабочего люда…» — говорите вы. Такая догадка как раз из головы Андрея Александровича! Ведь придет же в голову, что я писал, имея непосредственною и ближайшею целью исправить (от сквернословия) наш ругающийся рабочий народ! Да ведь они не только про нас с вами, но даже и про Андрея-то Александровича никогда не слыхивали — эти из рабочего-то люда, которых я описывал в моем фельетоне!

Нет, я писал с другим направлением — о сем «существительном», «при дамах к произнесению неудобном», «а между пьяными наиболее употребительном», — и настаиваю, что имел довольно серьезную и извинительную цель, и это вам докажу. Мысль моя была доказать целомудренность народа русского, указать, что народ наш в пьяном виде (ибо в трезвом сквернословят несравненно реже) если и сквернословит, то делает это не из любви к скверному слову, не из удовольствия сквернословить, а просто по гадкой привычке, перешедшей чуть не в необходимость, так что даже самые далекие от сквернословия мысли и ощущения выражает в сквернословных же словах. Я указывал дальше, что главную причину этой сквернословкой привычки искать надо в пьянстве. Про догадку мою о потребности в пьяном виде, когда туго ворочается язык и между тем сильное желание говорить, прибегать к словам кратким, условным и выразительным — про эту догадку мою можете думать что угодно; но что народ наш целомудрен, даже и сквернословя, — на это стоило указать. Я даже имею дерзость утверждать, что эстетически и умственно развитые слои нашего общества несравненно развратнее в этом смысле нашего грубого и столь неразвитого простого народа. В мужских обществах, даже самого высшего круга, случается иногда после ужина, иной раз даже между седыми и звездоносными старичками, когда уже переговорят о

всех важных и даже иногда государственных материях, — перейти мало-помалу на эстетически-каскадные темы. Эти каскадные темы быстро в свою очередь переходят в такой разврат, в такое сквернословие, в такое скверномыслие, что никогда воображению народному даже и не представить себе ничего подобного. Это случается ужасно часто между всеми оттенками этого столь возвышенного над народом круга людей. Мужи, известные самыми идеальными добродетелями, даже богомольцы, даже самые романтические поэты с жадностью участвуют в сих разговорах. Тут всего важнее именно то, что иные из сих мужей почтенны бесспорно и делают много и хороших поступков. Нравится им именно пакость и утонченность пакости, не столько скверное слово, сколько идея, в нем заключающаяся; нравится низость падения, нравится именно вонь, словно лимбургский сыр* (неизвестный народу) утонченному гастроному; тут именно потребность размазать и понюхать и упиться запахом. Они смеются, они об этой пакости, конечно, говорят свысока, но видно, что она им нравится и что без нее они уже обойтись не могут, хоть на словах. Совсем иной смех у народа, хотя бы даже и на эти темы. Я уверен, что у вас в Зарядье смеялись не для пакости, не из любви *к нему и к искусству,* а смехом в высшей степени простодушным, не развратным, здоровым, хотя и грубоватым, — совсем не таким, каким смеются иные размазыватели в нашем обществе или в нашей литературе. Народ сквернословит зря, и часто не об том совсем говоря. Народ наш не развратен, а *очень даже целомудрен,* несмотря на то что это бесспорно самый сквернословный народ в целом мире, — и об этой противоположности, право, стоит хоть немножко подумать.

Московский учитель мой оканчивает обо мне в своем фельетоне с чрезмерною, почти сатанинскою гордостью.

> «Я воспользуюсь примером почтенного коллеги (то есть моим), говорит он, — когда мне случится писать фельетон, а матерьяла никакого не будет, и постараюсь тогда, заняться тоже „картинками“ (какое
>
> презренье!), — но в данный момент мне нет надобности пользоваться преподанным мне примером (то есть у умного человека и без *„него“* всегда много мыслей), потому что хоть

> у нас в Москве тоже „жар и пыль“, „пыль и жар“ (начальные слова моего фельетона-для того чтоб еще раз устыдить меня) — но из этой пыли (а-а! вот тут-то теперь и пойдет, вот он покажет нам сейчас, что может умная московская фельетонная голова вывести даже из „этой пыли“ — сравнительно с петербургскими), но из этой пыли и из-под этого жара (это что же такое „из-под жара“?) можно при известной внимательности усмотреть (слушайте! слушайте!), что жизненный пульс нашей белокаменной, значительно слабеющий летом, начинает, так сказать, оживляться, с тем чтобы, оживляясь все более и более, достигнуть в зимние месяцы той интенсивности, дальше которой уже не может идти пульс московской жизни».

Вот так мысль! Вот оно как у нас в Москве-то! А мне-то, мне-то какой урок! А знаете что, учитель? Мне-то вот и кажется, что вы нарочно подхватили у меня о *нем*, именно чтоб сделать и ваш фельетон занимательнее (а то что интенсивность-то!), может быть, даже позавидовали моему успеху в Зарядье? Это очень и очень может быть. Не стали бы вы так копаться и размазывать и столько раз поминать об этом; мало того что поминали и размазывали, даже нюхали…

> «…всё же мы доросли до того по крайней мере, чтоб разнюхать, когда нам подносят что-нибудь уже очень бьющее в нос, и умеем ценить это помимо намерений автора…»*

Ну так чем же пахнет?*

XV
Нечто о вранье

Отчего у нас все лгут, все до единого? Я убежден, что тотчас же остановят меня и закричат: «Э, вздор, совсем не все! У вас темы нет, вот вы и выдумываете, чтоб начать поэффектнее». Бестемностью меня уже попрекали*; но в том и дело, что я действительно в этой поголовности нашего лганья теперь убежден. Пятьдесят лет живешь с идеею, видишь и осязаешь ее, и вдруг она предстанет в таком виде, что как будто совсем и не знал ее до сих пор. С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства. Хочется произвесть эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно — не случалось ли ему раз двадцать прибавить, например, число верст, которое проскакали в час времени везшие его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиления радостного впечатления в слушателе. И не обрадовался ли действительно слушатель до того, что тотчас же стал уверять вас об одной знакомой ему тройке, которая на пари обогнала железную дорогу, и т. д. и т. д. Ну а охотничьи собаки, или о том, как вам в Париже вставляли зубы, или о том, как вас вылечил здесь Боткин? Не рассказывали ли вы о своей болезни таких чудес, что хотя, конечно, и поверили сами себе с половины рассказа (ибо с половины рассказа всегда сам себе начинаешь верить), но, однако, ложась на ночь спать и с удовольствием вспоминая, как приятно поражен был ваш слушатель, вы вдруг остановились и невольно проговорили: «Э, как я врал!» Впрочем, пример этот слаб, ибо нет приятнее как говорить о своей болезни, если только найдется слушатель; а заговорить, так уж невозможно не лгать; это даже лечит

больного. Но, возвратясь из-за границы, не рассказывали ли вы о тысяче вещей, которые видели «своими глазами»… впрочем, и этот пример я беру назад: не прибавлять об «заграницe» возвратившемуся оттуда русскому человеку нельзя; иначе незачем было бы туда ездить. Но, например, естественные науки! Не толковали ли вы о естественных науках или о банкротствах и бегствах разных петербургских и других жидов за границу, ровно ничего не смысля в этих жидах и не зная в зуб толкнуть о естественных науках? Позвольте, не передавали ли вы анекдота, будто бы с вами случившегося, тому же самому лицу, которое вам же его про себя и рассказывало? Неужели вы позабыли, как с половины рассказа вдруг припомнили и об этом догадались, что ясно подтвердилось и в страдающем взгляде вашего слушателя, упорно на вас устремленном (ибо в таких случаях почему-то с удесятеренным упорством смотрят друг другу в глаза); помните, как, несмотря ни на что и уже лишившись всего вашего юмора, вы все-таки с мужеством, достойным великой цели, продолжали лепетать вашу повесть и, кончив поскорее с нервно-уторопленными учтивостями, пожатием рук и улыбками, разбежались в разные стороны, так что когда вас вдруг дернуло ни с того ни с сего в порыве последней конвульсии крикнуть уже на лестницу сбегавшему по ней вашему слушателю вопрос о здоровье его тетушки, то он не обернулся и не ответил тогда о тетушке, что и осталось в воспоминаниях ваших мучительнее всего из всего этого с вами случившегося анекдота. Одним словом, если кто на всё это мне ответит: *нет,* то есть что он не передавал анекдотов, не трогал Боткина, не лгал об жидах, не кричал с лестницы о здоровье тетушки и что ничего подобного с ним никогда не случалось, то я просто этому не поверю. Я знаю, что русский лгун сплошь да рядом лжет совсем для себя неприметно, так что просто можно было совсем не приметить. Ведь что случается: чуть только солжет человек, и удачно, то так слюбится, что и включает анекдот в число несомненных фактов своей собственной жизни; и действует совершенно совестливо, потому что сам вполне тому верит; да и неестественно было бы иногда не поверить.

«Э, вздор! — скажут мне опять. — Лганье невинное, пустяки, ничего мирового». Пусть. Я сам соглашаюсь, что всё очень невинно и намекает лишь на благородные свойства характера, на чувство благодарности например. Потому что если вас слушали, когда вы лгали, то нельзя же не дать поврать и слушателю, хотя бы из одной

благодарности.

Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества — всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступается в таких случаях за правду и начинает вдруг сомневаться в числе проскаканных вами верст или в чудесах, сделанных с вами Боткиным. Но это лишь бессердечные и геморроидальные люди, которые сами же и немедленно несут за то наказанье, удивляясь потом, отчего оно их постигло? Люди бездарные. Тем не менее все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши черты, до того, что уж тут почти начинает выступать мировое. Например, 1) на то, что мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее наконец одною из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире (я не про газету говорю)[*]. Таким образом у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии; мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе повадливый ум человеческий. В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический.[*] В самом деле, люди сделали наконец то, что всё, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по сту лет на столе, и ее они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим.

Второе, на что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо, и, чуть в обществе, все русские люди тотчас же стараются поскорее и во что бы ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо.

Еще Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике: говорят громко, когда все молчат, и не умеют слова сказать прилично и натурально, когда надобно говорить[*].

И это истина: сейчас же выверт, ложь, мучительная конвульсия; сейчас же потребность устыдиться всего, что есть в самом деле, спрятать и прибрать свое, данное богом русскому человеку лицо и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. Всё это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского — непременно ничтожное и комическое до стыда лицо; а что если он возьмет французское лицо, английское, одним словом, не свое лицо, то выйдет нечто гораздо почтеннее, и что под этим видом его никак не узнают. Отмечу при этом нечто веьма характерное: весь этот дрянной стыдишка за себя и всё это подлое самоотрицание себя в большинстве случаев бессознательны; это нечто конвульсивное и непреоборимое; но, в сознании, русские — хотя бы и самые полные самоотрицатели из них — все-таки с ничтожностию своею не так скоро соглашаются в таком случае и непременно требуют уважения: «Я ведь совсем как англичанин, — рассуждает русский, — стало быть, надо уважать и меня, потому что всех англичан уважают». Двести лет вырабатывался этот главный тип нашего общества под непременным, еще двести лет тому указанным принципом: ни за что и никогда не быть самим собою, взять другое лицо, а свое навсегда оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя — и результаты вышли самые полные. Нет ни немца, ни француза, нет в целом мире такого англичанина, который, сойдясь с другими, стыдился бы своего лица, если по совести уверен, что ничего не сделал дурного. Русский очень хорошо знает, что нет такого англичанина; а воспитанный русский знает и то, что не стыдиться своего лица, даже где бы то ни было, есть именно самый главный и существенный пункт собственного достоинства. Вот почему он и хочет казаться поскорей французом иль англичанином, именно затем, чтоб и его приняли поскорей за такого же, который нигде и никогда не стыдится своего лица.

«Невинности, старина, говорено уже тысячу раз», — скажут опять. Пусть, но вот уже нечто похарактернее. Есть пункт, в котором всякий русский человек разряда интеллигентного, являясь в общество или в публику, ужасно требователен и на за что уступить на может. (Другое дело у себя дома и сам про себя). Пункт этот — ум, желанье показаться умнее, чем есть, и — замечательно это — отнюдь не желание показаться умнее всех или даже кого бы то ни было, а только лишь *не глупее*

никого. «Признай, дескать, меня, что я не глупее никого, и я тебя признаю, что и ты не глупей никого». Опять-таки тут нечто вроде взаимной благодарности. Перед авторитетом европейским, например, русский человек, как известно, со счастьем и поспешностью преклоняется, даже не позволяя себе анализа; даже особенно не любит анализа в таких случаях. О, другое дело, если гениальное лицо сойдет с пьедестала или даже просто выйдет из моды: тогда нет строже русской интеллигенции к такому лицу, нет предела ее высокомерию, презрению, насмешке. Мы пренаивно удивляемся потом, если вдруг как-нибудь узнаем, что в Европе всё еще продолжают смотреть на сошедшее у нас с пьедестала лицо с уважением и ценить его по достоинству. Но зато тот же самый русский человек, хотя бы и преклонился пред гением в моде даже и без анализа, все-таки ни за что и никогда не признает себя глупее этого гения, пред которым сам сейчас преклонился, будь он разъевропейский. «Ну Гёте, ну Либих, ну Бисмарк[*], ну положим… а все-таки и я тоже», — представляется каждому русскому непременно, даже из самых плюгавеньких, если только дойдет до того. И не то что представляется, ибо сознания тут почти никакого, а только как-то его всего дергает в этом смысле. Это какое-то беспрерывное ощущение праздного и шатающегося по свету самолюбия, ничем не оправданного. Одним словом, до такого, может быть, самого высшего проявления человеческого достоинства — то есть признать себя глупее другого, когда другой действительно умнее его, — русский человек высших классов никогда и ни в каком случае не может дойти, и даже я не знаю, могут ли быть исключения. Пусть не очень-то смеются над моим «парадоксом». Соперник Либиха, может быть, и в гимназии не окончил курса и, уж конечно, с Либихом не свяжется спорить о первенстве, когда ему скажут и укажут, что это вот Либих. Он промолчит — но все-таки его будет дергать, даже при Либихе… Другое дело если б, например, он встретился с Либихом, не зная, что это вот Либих, хоть в вагоне железной дороги. И если б только завязался разговор о химии и нашему господину удалось бы к разговору примазаться, то, сомнения нет, он мог бы выдержать самый полный ученый спор, зная из химии всего только одно слово «химия». Он удивил бы, конечно, Либиха, но — кто знает — в глазах слушателей остался бы, может быть, победителем. Ибо в русском человеке дерзости его ученого языка — почти нет пределов. Тут именно происходит феномен, существующий

только в русской интеллигентных классов душе: не только нет в душе этой, *лишь только она почувствует себя в публике,* сомнения в уме своем, но даже в самой полной учености, если только дело дойдет до учености. Про ум еще можно понять; но про ученость свою, казалось бы, каждый должен иметь самые точные сведения…

Конечно, всё это только в публике, когда кругом чужие. Дома же про себя… Ну, дома про себя ни один русский человек об образовании и учености своей не заботится, даже и вопроса о том никогда не ставит… Если же поставит, то вернее всего, что и дома решит его в свою пользу, хотя бы и имел самые полные сведения о своей учености.

Мне самому случилось выслушать недавно, сидя в вагоне, целый трактат о классических языках в продолжение двух часов дороги. Говорил один, а все слушали. Это был никому из пассажиров не знакомый господин, осанистый, зрелых лет, сдержанного и барского вида, веско и неторопливо выпускавший слова. Он всех заинтересовал. Очевидно было с самых первых слов его, что он не только в первый раз говорил, но даже, может быть, в первый раз и думал об этой теме, так что это была лишь блестящая импровизация. Он вполне отрицал классическое образование и введение его у нас называл «историческим и роковым дурачеством» — впрочем, это было единственное резкое слово, которое он себе позволил; тон его взят был слишком высоко и не позволял ему горячиться, из одного уж презрения к факту. Основания, на которых стоял он, были самые первоначальные, приличные разве лишь тринадцатилетнему школьнику, почти те же самые, на которых еще до сих пор стоят иные из наших газет, воюющие с классическими языками, например, «так как все латинские сочинения переведены, то и не надо латинского языка», и проч. и проч. — в этом роде.[*] В нашем вагоне он произвел чрезвычайный эффект; многие, расставаясь с ним, благодарили его за доставленное удовольствие, особенно дамы. Я убежден, что он ушел, чрезвычайно уважая себя.

Теперь у нас в публике (в вагонах ли, в другом ли месте) разговоры сильно изменились против прежних, старых лет; теперь жаждут слушать, жаждут учителей — на все общественные и социальные темы. Правда, разговоры в публике у нас ужасно туго завязываются; всех сначала долго коробит, пока решатся заговорить, ну а заговорят — в такой пафос иной раз войдут, что почти надо за руки держать. Разговоры же более сдержанные и солидные и, так сказать, более

высшие и уединенные вертятся преимущественно на темах биржевых или правительственных, но с секретной, изнаночной точки зрения, с познанием высших тайн и причин, обыкновенной публике неизвестных. Обыкновенная публика слушает смирно и почтительно, а говоруны выигрывают в своей осанке. Разумеется, из них мало кто верит один другому, но расстаются они почти всегда один другим совершенно довольные и друг другу даже несколько благодарные. Задача проехать приятно и весело по железной нашей дороге заключается в умении давать врать другим и как можно более верить; тогда и вам дадут тоже с эффектом прилгнуть, если и сами вы соблазнитесь; стало быть, взаимная выгода. Но, как я сказал уже, есть и общие, животрепещущие, насущные темы разговоров, в которые ввязывается уже вся публика, и это не затем одним, чтоб приятно время провесть: повторяю, жаждут научиться, разъяснить себе современные затруднения, ищут, жаждут учителей, и особенно женщины, особенно матери семейств. Замечательно то, что, при всей этой чрезвычайно любопытной и далеко намекающей жажде общественных советников и руководителей, при всем этом благородном стремлении, удовлетворяются слишком легко, самым иногда неожиданным образом, верят всему, подготовлены и вооружены весьма слабо, — гораздо слабее, чем могла бы представить вам самая яркая ваша фантазия несколько лет тому назад, когда о нашем русском обществе труднее было сделать точное заключение сравнительно с теперешним временем, когда уже имеется более фактов и сведений. Положительно можно сказать, что всякий говорун с несколько порядочными манерами (к порядочным манерам наша публика, увы, до сих пор еще чувствует предрассудочную слабость, несмотря на всё более и более разливающееся из фельетонов образование) может одержать верх и уверить слушателей своих в чем угодно, получить благодарность и уйти, глубоко уважая себя. Разумеется, при несомненном условии быть либеральным, — об этом уже нечего и упоминать. В другой раз мне, тоже в вагоне и тоже недавно, случилось выслушать целый трактат об атеизме. Оратор, светского и инженерного вида господин, вида, впрочем, угрюмого, но с болезненной жаждою слушателя, начал с монастырей. В монастырском вопросе он не знал самого первого слова: он принимал существование монастырей за нечто неотъемлемое от догматов веры, воображал, что монастыри содержатся от государства и дорого стоят казне, и, забывая,

что монахи совершенно свободная ассоциация лиц[*], как и всякая другая, требовал во имя либерализма их уничтожения, как какую-то тиранию. Он кончил совершенным и безбрежным атеизмом на основании естественных наук и математики. Он ужасно часто повторял о естественных науках и математике, не приведя, впрочем, ни одного факта из этих наук в продолжение всей своей диссертации. Говорил опять-таки он один, а прочие только слушали: «Я научу сына моего быть честным человеком, и вот и всё», — порешил он в заключение в полной и очевидной уверенности, что добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное и абсолютное, ни от чего не зависящее и которое можно всегда найти в своем кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений. Этот господин имел тоже необыкновенный успех. Тут были офицеры, старцы, дамы и взрослые дети. Его горячо благодарили, расставаясь, за доставленное удовольствие, причем одна дама, мать семейства, щеголевато одетая и очень недурная собою, громко и с милым хихиканием объявила, что она теперь совершенно убеждена, что в душе ее «один только пар». Этот господин тоже, должно быть, ушел с необыкновенным чувством уважения к себе.

Вот это-то уважение к себе и сбивает меня с толку. Что есть дураки и болтуны, — конечно, тому нечего удивляться; но господин этот, очевидно, был не дурак. Наверно тоже не негодяй, не мошенник; даже очень может быть, что честный человек и хороший отец. Он только ровно ничего не понимал в тех вопросах, которые взялся разрешить. Неужто ему не придет в голову через час, через день, через месяц: «Друг мой, Иван Васильевич (или там кто бы ни было), вот ты спорил, а ведь ты ровно ничего не понимаешь в том, об чем трактовал. Ведь ты это лучше всех знаешь. Ты вот ссылался на естественные науки и математику — а ведь тебе лучше всех известно, что ты свою скудную математику, из твоей специальной школы, давно забыл, да и там-то нетвердо знал, а в естественных науках никогда не имел никакого понятия. Как же ты говорил? Как же ты учил? Ведь ты же понимаешь, что только врал, а между тем до сих пор гордишься собою; и не стыдно это тебе?».

Я убежден, что он мог задать себе все эти вопросы, несмотря на то что, может быть, занят «делом» и нет у него времени на праздные вопросы. Я даже несомненно убежден, что они, хоть вскользь, а

побывали в его голове. Но *ему не было стыдно, ему не было совестно!* Вот эта-то известного рода бессовестность русского интеллигентного человека — решительный для меня феномен. Что в том, что она у нас так сплошь да рядом обыкновенна и все к ней привыкли и пригляделись; она все-таки остается фактом удивительным и чудесным. Она свидетельствует о таком равнодушии к суду над собой своей собственной совести, или, что то же самое, о таком необыкновенном собственном неуважении к себе, что придешь в отчаяние и потеряешь всякую надежду на что-нибудь самостоятельное и спасительное для нации, даже в будущем, от таких людей и такого общества. Публика, то есть внешность, европейский облик, раз навсегда данный из Европы закон, — эта публика производит на всякого русского человека действие подавляющее: в публике он европеец, гражданин, рыцарь, республиканец, с совестью и с своим собственным твердо установленным мнением. Дома, про себя, — «Э, черт ли в мнениях, да хошь бы высекли!» Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много, так много, что и не пересечь. Вспомните, что поручик сейчас же после приключения съел слоеный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах у одного видного чиновника.* Как вы думаете: когда он откалывал мазурку и вывертывал, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, думал ли он, что его всего только часа два как высекли? Без сомнения думал. А было ли ему стыдно? Без сомнения нет! Проснувшись на другой день поутру, он наверно сказал себе: «Э, черт, стоит ли начинать, коли никто не узнает!..» Это «стоит ли начинать», конечно, с одной стороны, намекает на такую способность уживчивости со всем чем угодно, а вместе с тем и на такую широту нашей русской природы, что пред этими качествами бледнеет и гаснет даже всё безграничное. Двухсотлетняя отвычка от малейшей самостоятельности характера и двухсотлетние плевки на свое русское лицо раздвинули русскую совесть до такой роковой безбрежности, от которой… ну чего можно ожидать, как вы думаете?

Я убежден, что поручик в состоянии был дойти до таких столпов или до такой безбрежности, что, может быть, в тот же вечер своей даме в мазурке, старшей дочери хозяина, объяснился в любви и сделал

формальное предложение. Бесконечно *трагичен* образ этой барышни, порхающей с этим молодцом в очаровательном танце и не знающей, что ее кавалера всего только час как высекли и что это ему совсем ничего. Ну а как вы думаете, если б она узнала, а предложение все-таки было бы сделано — вышла бы она за него (разумеется, под условием, что более уж никто не узнает)? Увы, непременно бы вышла!

А все-таки из числа Пироговых и вообще всех «безбрежных», кажется, можно исключить огромное большинство наших женщин. В нашей женщине всё более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва; да и всегда в русской женщине всё это было выше, чем у мужчин. Это несомненно, несмотря на все даже теперешние уклонения. Женщина меньше лжет, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет нелгущих, — я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она *серьезнее*, чем мужчина, хочет дела для самого дела, а не для того лишь, чтоб *казаться*. Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?[*]

XVI
Одна из современных фальшей

Некоторые из наших критиков заметили, что я в моем последнем романе «Бесы» воспользовался фабулой известного нечаевского дела; но тут же заявили, что собственно портретов или буквального воспроизведения нечаевской истории у меня нет; что взято явление и что я попытался лишь объяснить возможность его в нашем обществе, и уже в смысле общественного явления, а не в виде анекдотическом, не в виде лишь описания московского частного случая.* Всё это, скажу от себя, совершенно справедливо.* До известного Нечаева и жертвы его, Иванова, в романе моем лично я не касаюсь. Лицо *моего* Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева. Я хотел поставить вопрос и, сколько возможно яснее, в форме романа дать на него ответ: каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны — не Нечаев, а *Нечаевы*, и каким образом может случиться, что эти *Нечаевы* набирают себе под конец нечаевцев?

И вот недавно-впрочем, уже с месяц назад — прочел я в «Русском мире» следующие любопытные строки:

> «нам кажется, что нечаевское дело могло убедить, что *учащаяся* молодежь в подобных безумствах не бывает у нас замешана. Идиотический фанатик, вроде Нечаева, мог найти себе прозелитов только среди праздной, недоразвитой и вовсе не учащейся молодежи».*

И далее:

> «…тем более что еще на днях министр народного просвещения (в Киеве) заявил, что после осмотра учебных заведений в 7 округах он может сказать, что *„в последние годы молодежь несравненно серьезнее относится к делу науки, несравненно более и основательнее работает“*»*.

Сами по себе, то есть судя безотносительно, строки эти довольно ничтожны (автор, надеюсь, извинит меня) Но в них есть выверт и старая

приевшаяся ложь. Полная и основная идея в том, что Нечаевы если и являются у нас иногда, то непременно все они идиоты и фанатики, а если им и удастся найти себе прозелитов, то непременно *«только* среди праздной, недоразвитой в *вовсе* не учащейся молодежи». Не знаю, что именно хотел доказать этим вывертом собственно автор статейки «Русского мира»: хотел ли он польстить учащейся молодежи? Или, напротив, хитрым маневром и, так сказать, в виде ласкательства думал ее же поднадуть немного, но только с самыми почтенными целями, — то есть для ее же пользы, — и для достижения цели употребил столь известный прием гувернанток и нянюшек с маленькими ребятками: вот, дескать, милые дети, видите, какие *те* нехорошие буяны, кричат и дерутся, и их непременно высекут за то, что они такие «недоразвитей»; вы же вот такие милые хваленые паиньки, за столом сидите прямо, ножками под столом не болтаете, и вам за это непременно гостинцу дадут. Или, наконец, просто-запросто автору захотелось «защитить» нашу учащуюся молодежь перед правительством и употребить для сего прием, который сам он, может быть, считает необыкновенно хитрым и тонким?

Прямо скажу: хотя я поставил все эти вопросы, но личные цели автора статейки «Русского мира» не возбуждают во мне ни малейшего любопытства. И даже, чтоб оговориться окончательно, прибавлю, что ложь и старый приевшийся выверт выраженной «Русским миром» мысли я наклонен считать в настоящем случае чем-то неумышленным и нечаянным, то есть что сам автор статейки совершенно поверил словам своим и принял их за правду с тем высшим простодушием, которое так похвально и даже трогательно по своей беззащитности во всяком другом случае. Но кроме того, что ложь, принятая за правду, имеет всегда самый опасный вид (несмотря даже на то, что является в «Русском мире»), — кроме того, бросается в глаза и то, что никогда еще не являлась она в столь обнаженном, точном и безыскусственном виде, как в этой статейке. Подлинно, заставь иного человека молиться богу, и он лоб расшибет. Вот в этом-то виде и любопытно проследить эту ложь и вывести ее на свет по возможности, ибо когда-то еще дождешься в другой раз такой безыскусственной откровенности!

Вот уже с незапамятных псевдолиберальных наших времен в нашей газетной прессе принято за правило «защищать молодежь», — против кого? против чего? — это иногда остается во мраке

неизвестности и таким образом часто принимает пребестолковый и даже прекомический вид, особенно при нападениях на другие органы печати в том смысле, что «вот, дескать, мы либеральнее, а вы-то нападаете на молодежь, стало быть, вы ретроградне. Замечу в скобках, что в той же статейке «Русского мира» есть обвинение, прямо направленное на «Гражданин», в том, что в нем будто бы сплошь обвиняют нашу учащуюся молодежь в Петербурге, Москве и в Харькове.* Не говоря уже о том, что автор статейки сам *отлично хорошо знает,* что ничего подобного этому поголовному и сплошному обвинению у нас нет и не было, я просто попрошу нашего обвинителя объяснить: что значит обвинять молодежь поголовно? Я совершенно не понимаю этого! Это, конечно, значит сплошь почему-то не любить всю молодежь, — и не столько даже молодежь, сколько известный возраст наших молодых людей! Что за сумбур? Кто может поверить такому обвинению? Ясно, что и обвинение и защита сделаны сплеча, даже не думавши много. Стоит, дескать, об этом задумываться: показал, что сам либерален, что хвалю молодежь, что ругаю тех, которые ее не хвалят, ну и довольно для подписки, и с плеч долой! Именно с плеч долой— ибо только самый злейший враг нашей молодежи мог бы решиться защищать ее *таким образом* и наткнуться на такой удивительный выверт, на какой наткнулся (нечаянно — я убежден в этом теперь более, чем когда-нибудь) простодушный автор статейки «Русского мира».

В том-то и вся важность, что прием этот не выдумка одного только «Русского мира», а прием, общий многим органам нашей псевдолиберальной прессы, и там, может быть, он делается уже не столь простодушно. Сущность его, *во-первых,* в сплошной похвале молодежи, во всем и во всяком случае, и в грубых нападках на всех тех, которые при случае позволят себе отнестись даже и к молодежи критически. Прием этот основан на смешном предположении, что молодежь настолько еще не доросла и так любит лесть, что не разберет и примет всё за чистую монету. И вправду, достигли того, что уже очень многие из молодежи (мы твердо верим, что далеко не все) действительно полюбили грубую похвалу, требуют себе лести и без разбора готовы обвинить всех тех, кто не потакает им сплошь и на всяком шагу, особенно в иных случаях. Впрочем, тут пока еще вред всего только временный; с опытом и с возрастом и взгляды молодежи изменятся. Но есть и другая сторона лжи, которая влечет уже непосредственный и

вещественный вред.

Эта другая сторона приема «защиты нашей молодежи пред обществом и перед правительством» состоит в простом *отрицании факта*, иногда самом грубом и нахальном; нет, дескать, факта, не было его и быть не могло; кто говорит, что он был, значит, клевещет на молодежь, значит, враг нашей молодежи!

Вот прием. Повторяю, самый злейший враг нашей молодежи не выдумал бы ничего вреднее для прямых ее интересов. Мне непременно хочется доказать это.

Отрицанием факта во что бы ни стало можно достигнуть удивительных результатов.

Ну что вы тем докажете, господа, и чем облегчите дело, если начнете удостоверять (и, главное, бог знает для чего), что «увлекающаяся» молодежь, то есть те, которые могут «увлечься» (пусть даже и Нечаевым), непременно должны состоять из одних только «праздных недоразвитков», из тех, которые *вовсе* не учатся, — одним словом, из шалопаев с самыми дурными наклонностями? Таким образом, уединяя дело, выводя его из сферы учащихся и сводя непременно лишь на «праздных недоразвитков», вы тем самым уже заранее обвиняете этих несчастных и отказываетесь от них окончательно: «Сами виноваты, буяны и ленивцы, и смирно за столом не умели сидеть». Уединяя случай и лишая его права быть рассмотренным в связи с общим целым (а в этом-то и состоит единственная возможная защита несчастных «заблудшихся»!), вы тем самым не только как бы подписываете им окончательный приговор, но даже удаляете от них самое милосердие, ибо прямо удостоверяете, что сами заблуждения их произошли единственно от отвратительных качеств их и что эти юноши, даже и без всякого преступления, должны возбуждать к себе презрение и отвращение.

С другой стороны, вдруг случится, что в каком-нибудь *деле* оказались бы замешанными вовсе не недоразвитки, вовсе не буяны, болтающие ногами под столом, вовсе не одни ленивцы, а, напротив, молодежь прилежная, горячая, именно учащаяся и даже с хорошим сердцем, а только лишь дурно направленная? (поймите это слово: *направленная.* Где, в какой Европе найдете вы теперь более шатости во всевозможных направлениях, как у нас в наше время![*]) И вот, по вашей теории «лентяев и недоразвитков», эти новые «несчастные» окажутся

уже втрое виновнее: «Им были средства даны, они прошли курс наук, они основательно работали, — нет у них оправданий! Они втрое менее, чем праздные недоразвитки, могут заслуживать милосердия!» Вот результат, прямо выходящий из вашей теории.

Позвольте, господа (я говорю вообще, а не одному только сотруднику «Русского мира»), вы, на основании «отрицания факта», утверждаете, что Нечаевы непременно должны быть идиотами, «идиотическими фанатиками». Так ли это опять? Справедливо ли? Устраняю в настоящем случае Нечаева, а говорю «Нечаевы», во множественном числе. Да, из Нечаевых могут быть существа весьма мрачные, весьма безотрадные и исковерканные, с многосложнейшей по происхождению жаждой интриги, власти, с страстной и болезненно-ранней потребностью выказать личность, но — почему же они «идиоты»? Напротив, даже настоящие монстры из них могут быть очень развитыми, прехитрыми и даже образованными людьми. Или вы думаете, что знания, «научки», школьные сведеньица (хотя бы университетские) так уже окончательно формируют душу юноши, что с получением диплома он тотчас же приобретает незыблемый талисман раз навсегда узнавать истину и избегать искушений, страстей и пороков. Таким образом, все эти кончившие курс наук юноши станут тотчас же, по-вашему, чем-то вроде множества маленьких пап, не подлежащих прегрешению.

И почему вы полагаете, что Нечаевы непременно должны быть фанатиками? Весьма часто это просто мошенники. «Я мошенник, а не социалист», — говорит один Нечаев, положим, у меня в моем романе «Бесы», но уверяю вас, что он мог бы сказать это и наяву. Это мошенники очень хитрые и изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтоб уметь играть на ней как на музыкальном инструменте[*]. Да неужели же вы вправду думаете, что прозелиты, которых мог бы набрать у нас какой-нибудь Нечаев, должны быть непременно лишь одни шалопаи? Не верю, не все; я сам старый «нечаевец», я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни[*], и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных. Почти вся эта компания кончила курс в самых высших учебных заведениях. Некоторые впоследствии, *когда уже всё прошло,* заявили себя замечательными специальными знаниями, сочинениями[*].

Нет-с, нечаевцы не всегда бывают из одних только лентяев, совсем ничему не учившихся.

Знаю, вы, без сомнения, возразите мне, что я вовсе не из нечаевцев, а всего только из петрашевцев. Пусть из петрашевцев (хотя, по-моему, название это неправильное; ибо чрезмерно большее число, в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, петрашевцев, осталось совершенно нетронутым и необеспокоенным. Правда, они никогда и не знали Петрашевского, но совсем не в Петрашевском было и дело во всей этой давнопрошедшей истории, вот что я хотел лишь заметить).

Но пусть из петрашевцев. Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, *в случае если б так обернулось дело?* Конечно, тогда и представить нельзя было: как бы это могло *так обернуться дело?* Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: *Нечаевым,* вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но *нечаевцем,* не ручаюсь, может, и мог бы… во дни моей юности.

Я заговорил теперь про себя, чтоб иметь право говорить о других. Тем не менее буду продолжать только об одном себе, о других же если и упомяну, то вообще, безлично и в смысле совершенно отвлеченном. *Дело* же петрашевцев — это такое давнопрошедшее дело, принадлежит к такой древнейшей истории, что, вероятно, не будет никакого вреда из того, что я о нем припоминаю, тем более в таком скользком и отвлеченном смысле.

«Монстров» и «мошенников» между нами, петрашевцами, не было ни одного (из стоявших ли на эшафоте, или из тех, которые остались нетронутыми, — это все равно). Не думаю, чтобы кто-нибудь стал опровергать это заявление мое. Что были из нас люди образованные — против этого, как я уже заметил, тоже, вероятно, не будут спорить. Но бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма.[*] Политического социализма тогда еще не существовало в Европе, и европейские коноводы социалистов даже отвергали его.[*]

Луи Блана напрасно били по щекам и таскали за волосы (как нарочно, густейшие длинные и черные волосы) члены-товарищи его Национального собрания, депутаты правой стороны, из рук которых

вырвал его тогда Араго (астроном, член правительства, теперь уже умерший), в то несчастное утро в мае месяце 48 года, когда в палату ворвалась толпа нетерпеливых и голодных работников. Бедный Луи Блан, некоторое время член временного правительства, вовсе не возмущал их: он только лишь читал в Люксембургском дворце этим жалким и голодным людям, вследствие революции и республики разом потерявшим работу, об их «праве на работу». Правда, так как он все-таки был членом правительства, то лекции его в этом смысле были ужасно неполитичны и, конечно, смешны.* Журнал же Консидерана*, равно как статьи и брошюры Прудона*, стремились распространить между этими же голодными и ничего за душой не имевшими работниками, между прочим, и глубокое омерзение к праву наследственной собственности. Без сомнения, из всего этого (то есть из нетерпения голодных людей, разжигаемых теориями будущего блаженства) произошел впоследствии социализм политический, сущность которого, несмотря на все возвещаемые цели, покамест состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими, а затем «будь что будет». (Ибо по-настоящему ничего еще не решено, чем будущее общество заменится, а решено лишь только, чтоб настоящее провалилось, — и вот пока вся формула политического социализма). Но тогда понималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном свете. Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего*, сообразно веку и цивилизации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю *правду* этого грядущего «обновленного мира» и во всю *святость* будущего коммунистического общества еще Белинским*. Все эти убеждения о безнравственности самых оснований (христианских) современного общества, о безнравственности религии, семейства; о безнравственности права собственности; все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству, как к тормозу во всеобщем развитии, и проч. и проч. — всё

это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Во всяком случае тема казалась величавою и стоявшею далеко выше уровня тогдашних господствовавших понятий — а это-то и соблазняло. Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда *зараженных*, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его, — те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться. Итак, почему же вы думаете, что даже убийство é la Нечаев остановило бы если не всех, конечно, то по крайней мере некоторых из нас в то горячее время, среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий, за которыми мы, совершенно забыв отечество, следили с лихорадочным напряжением[*]?

Чудовищное и отвратительное московское убийство Иванова, безо всякого сомнения, представлено было убийцей Нечаевым своим жертвам «нечаевцам» как дело политическое и полезное для будущего «общего и *великого* дела»[*]. Иначе понять нельзя, как несколько юношей (кто бы они ни были) могли согласиться на такое мрачное преступление. Опять-таки в моем романе «Бесы» я попытался изобразить те многоразличные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем! Это и не у нас одних, а на всем свете так, всегда и с начала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шатости в основных общественных убеждениях. Но у нас это более чем где-нибудь возможно, и именно в наше время, и эта черта есть самая болезненная и грустная черта нашего теперешнего времени. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, — вот в чем наша современная беда!

Чем же так особенно защищена молодежь в сравнении с другими возрастами, что вы, господа защитники ее, чуть лишь только она занималась и училась прилежно, немедленно требуете от нее такой стойкости и такой зрелости убеждений, какой не было даже у их отцов,

а теперь менее чем когда-нибудь есть. Наши юные люди наших интеллигентных сословий, развитые в семействах своих, в которых всего чаще встречаете теперь недовольство, нетерпение, грубость невежества (несмотря на интеллигентность классов) и где почти повсеместно настоящее образование заменяется лишь нахальным отрицанием с чужого голоса, где материальные побуждения господствуют над всякой высшей идеей, где дети воспитываются без почвы вне естественной правды, в неуважении или в равнодушии к отечеству и в насмешливом презрении к народу, так особенно распространяющемся в последнее время, — тут ли, из этого ли родника наши юные люди почерпнут правду и безошибочность направления своих первых шагов в жизни? Вот где начало зла: в предании, в преемстве идей, в вековом национальном подавлении в себе всякой независимости мысли, в понятии о сане европейца под непременным условием неуважения к самому себе как к русскому человеку!

Но вы этим слишком общим указанием, кажется, не поверите. «Образование, — твердите вы, прилежание», «праздные недоразвитей», — повторяете вы. Заметьте, господа, что все эти европейские высшие учители наши, свет и надежда наша, все эти Милли, Дарвины и Штраусы преудивительно смотрят иногда на нравственные обязанности современного человека. А между тем это уже не лентяи, ничему не учившиеся, и не буяны, болтающие ногами под столом. Вы засмеетесь и спросите: к чему вздумалось мне заговорить непременно об этих именах? А потому, что трудно и представить себе, говоря о нашей молодежи, интеллигентной, горячей и учащейся, чтоб эти имена, например, миновали ее при первых шагах ее в жизни. Разве может русский юноша остаться индифферентным к влиянию этих предводителей европейской прогрессивной мысли и других им подобных, и особенно к русской стороне их учений? Это смешное слово о «русской стороне их учений» пусть мне простят, единственно потому что эта русская сторона этих учении существует действительно. Состоит она в тех выводах из учений этих в виде несокрушимейших аксиом, которые делаются только в России; в Европе же возможность выводов этих, говорят, даже и не подозреваема. Мне скажут, пожалуй, что эти господа вовсе не учат злодейству; что если, например, хоть бы Штраус и ненавидит Христа и поставил осмеяние и оплевание

христианства целью всей своей жизни, то всё-таки он обожает человечество в его целом и учение его возвышенно и благородно как нельзя более. Очень может быть, что это всё так и есть и что цели всех современных предводителей европейской прогрессивной мысли человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново — то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что всё здание рухнет, под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома. Европа, по крайней мере в высших представителях своей мысли, отвергает Христа, мы же, как известно, обязаны подражать Европе.*

Есть исторические моменты в жизни людей, в которые явное, нахальное, грубейшее злодейство может считаться лишь величием души, лишь благородным мужеством человечества, вырывающегося из оков. Неужели нужны примеры, неужели их не тысячи, не десятки, не сотни тысяч?.. Тема эта, конечно, мудреная и необъятная, и на нее очень трудно вступать в фельетонной статье, но все-таки в результате, я думаю, можно допустить и мое предположение: что даже и честный и простодушный мальчик, даже и хорошо учившийся, может подчас обернуться нечаевцем… разумеется опять-таки если попадет на Нечаева; это уже sine qua non…[16]

Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений. Это дело давнопрошедшее, а потому, может быть, и возможен будет вопрос: неужели это упорство и нераскаяние было только делом дурной натуры, делом недоразвитков и буянов? Нет, мы не были буянами, даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстреляньем, прочтенный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и

проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго. Не годы ссылки, не страдания сломили нас. Напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга. Нет, нечто другое изменило взгляд наш, наши убеждения и сердца наши (я, разумеется, позволяю себе говорить лишь о тех из нас, об изменении убеждений которых уже стало известно и тем или другим образом засвидетельствовано ими самими). Это нечто другое было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастии, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнен и даже приравнен к самой низшей ступени его.*

Повторяю, это не так скоро произошло, а постепенно и после очень-очень долгого времени. Не гордость, не самолюбие мешали сознаться. А между тем я был, может быть, одним из тех (я опять про себя одного говорю), которым наиболее облегчен был возврат к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного. Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня. Я очень часто задумываюсь и спрашиваю себя теперь: какие впечатления, большею частию, выносит из своего детства уже теперешняя современная нам молодежь? И вот если даже и мне, который уже естественно не мог высокомерно пропустить мимо себя той новой роковой среды, в которую ввергло нас несчастие, не мог отнестись к явлению перед собой духа народного вскользь и свысока, — если и мне, говорю я, было так трудно убедиться наконец во лжи и неправде почти всего того, что считали мы у себя дома светом и истиной, то каково же другим, еще глубже разорвавшим с

народом, где разрыв преемствен и наследствен еще с отцов и дедов?..

Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений, тем более что это, может быть, и не так любопытно; да и не идет как-то к фельетонной статье . . . . . .

Господа защитники молодежи нашей, возьмите, наконец, ту среду, то общество, в котором она возрастает, и спросите себя:·может ли быть в наше время что-нибудь менее защищено от *известных влияний?*

Прежде всего поставьте вопрос: если сами отцы этих юношей не лучше, не крепче и не здоровее их убеждениями; если с самого первого детства своего эти дети встречали в семействах своих один лишь цинизм, высокомерное и равнодушное (большею частию) отрицание; если слово «отечество» произносилось перед ними не иначе как с насмешливой складкой, если к делу России все воспитывавшие их относились с презрением или равнодушием; если великодушнейшие из отцов и воспитателей их твердили им лишь об идеях «общечеловеческих»; если еще в детстве их прогоняли их нянек за то, что те над колыбельками их читали «Богородицу», — то скажите: что можно требовать от этих детей и — гуманно ли при защите их, если таковая потребуется, отделываться одним лишь отрицанием факта?

Недавно я наткнулся в газетах на следующее entrefilet:[17]

> „Камско-Волжская газета“ сообщает, что на днях три *гимназиста 2-ой* казанской гимназии, 3-го класса, *привлечены к ответственности* по обвинению в каком-то преступлении, имеющем связь с *их предполагавшимся бегством в Америку»* («С.-Пет<ербургские> вед<омости>», 13 ноября).

Двадцать лет назад известие о каких-то бегущих в Америку гимназистах из 3-го класса гимназии показалось бы мне сумбуром. Но уж в одном том обстоятельстве, что *теперь* это не кажется мне сумбуром, а вещью, которую, напротив, я *понимаю*, уже в одном этом я вижу в ней и ее оправдание![*]

Оправдание! Боже мой, возможно ли так сказать!

Я знаю, что это не первые гимназисты, что уже бежали раньше их и другие, а те потому, что бежали старшие братья и отцы их. Помните вы рассказ у Кельсиева о бедном офицерике, бежавшем *пешком*, через

Торнео и Стокгольм, к Герцену в Лондон, где тот определил его в свою типографию наборщиком?* Помните рассказ самого Герцена о том *кадете,* который отправился, кажется, на Филиппинские острова заводить коммуну и оставил ему 20 000 франков на будущих эмигрантов?* А между тем всё это уже древняя история! С тех пор бежали в Америку изведать «свободный труд в свободном государстве» старики, отцы, братья, девы, гвардейские офицеры… разве только что не было одних семинаристов. Винить ли таких маленьких детей, этих трех гимназистов, если и их слабыми головенками одолели *великие идеи* о «свободном труде в свободном государстве» и о коммуне и об общеевропейском человеке; винить ли за то, что вся эта дребедень кажется им религией, а абсентизм* и измена отечеству — добродетелью? А если винить, то в какой же степени — вот вопрос.

Автор статейки «Русского мира» в подкрепление своей идеи, что в «подобных безумствах» замешаны у нас лишь *одни* лентяи и праздношатающиеся недоразвитки, приводит столь известные и отрадные слова министра народного просвещения, недавно высказанные им в Киеве, о том, что он имел случай убедиться после осмотра учебных заведений в 7 учебных округах, что *«последние годы молодежьнесравненно серьезнее относится к делу науки, несравненно более и основательно работает»*.

Да, это, конечно, слова отрадные, слова, в которых может быть, *единственная* надежда наша. В учебной реформе нынешнего царствования — чуть не *вся* наша будущность*, и мы знаем это. Но сам же министр просвещения, помнится, заявил в той же речи своей, что еще долго ждать окончательных результатов реформы.* Мы всегда веровали, что наша молодежь слишком способна отнестись к делу науки серьезнее. Но пока еще кругом нас такой туман фальшивых идей, столько миражей и предрассудков окружает еще и нас и молодежь нашу, а вся общественная жизнь наша, жизнь отцов и матерей этой молодежи, принимает всё более и более такой странный вид, что поневоле приискиваешь иногда всевозможные средства, чтобы выйти из недоумения. Одно из таких средств — самим быть поменее бессердечными, не стыдиться хоть иногда, что вас кто-нибудь назовет гражданином, и хоть иногда сказать правду, если б даже она была и недостаточно, по-вашему, либеральна.

Статьи, очерки 1873-1878

Наши монастыри
(Журнал «Беседа» 1872 г.)

Это ряд статей в журнале «Беседа» о богатствах наших монастырей.* Автор руководствовался и точными данными, и собственными соображениями при определении разных весьма любопытных арфиметических выводов, которыми изобилует его статья. В конце концов выведено, что каждый монах «обходится государству» в 1155 рублей средним числом. Видно, что автор обладает подходящими сведениями и чрезвычайно много употребил рвения и труда на свою работу. Верна ли цифра, во что «обходится государству» монах, и насколько она подходит к истине — мы разбирать не станем. Статья уже вызвала кое-какие ответы «обиженных». Мы не обиженные и хотим заметить другое.

Мы сами питаем омерзение к монаху-плотоугоднику, напивающемуся и наедающемуся, жадному, торгующему святыней, копящему деньги, зашивающему их в клобук, жестокосердому и, если верно одно недавнее известие, убивающему жестокими побоями десятилетнего мальчика за шалость в школе.* Цифра 1155 р. для содержания монаха по-нашему неприлично и возмутительно велика. (Заметим еще раз, что она средняя и что, конечно, есть в России весьма бедные монахи, и даже, может быть, большинство). И при всем том мы никогда не согласимся с выражением автора, что содержание монаха «обходится государству» в такую-то сумму. Монах «обходится» не государству в такую-то сумму, а народу, и народ жертвует эту огромную сумму (почти 8 милл. по расчету автора) на монастыри сам, добровольно, и никогда даяние его не бывало более добровольным. Сказав это, представим еще другое соображение: ведь эти богатства, раз приобретенные, становятся собственностию приобревших, и какое бы нам было дело до того, как тратится эта собственность, по скольку именно приходится на каждого собственника, по скольку на сбережения, на откладываемые и накопляемые впредь капиталы? Ведь это собственность частных лиц; не считаем же мы, как такой-то и такой-то барин, купец, крестьянин употребляют свое имущество, на заглядываем к ним на кухню, не считаем куски, не тревожимся о том,

что именно они в рот несут…

Вот то-то и есть, что тут поневоле приходит другая мысль:

«Священное сословие должно и держать себя в святости, не плотоугодничать, не копить, подавать пример воздержания, нищеты даже, и что если всё происходит обратно, то теряется цель, польза и сердце возмущается при виде столь жирно награждаемой праздности, невоздержности и проч. и проч.». Статья именно наводит на такую мысль, и, без сомнения, в том ее главная цель.

И прекрасно бы. Ведь уж как бы желательно, чтобы святые отцы, вместо того чтобы копить и так малодушно заботиться о своей обеспеченности, продолжали бы, и получая богатства, жить в прежней нищете и воздержности, приличной монаху, подавать собою святой пример беспрерывно, гореть сердцами ко Господу, а на огромные получаемые суммы приносить пользу ближнему, благодетельствовать всему округу, в котором расположен монастырь; питать голодных в голодные годы, учить детей, делиться с неимущими священниками, — быть, одним словом, премудрыми и чистыми сердцем, посредниками между подающими лепты от горячего сердца своего и нуждающимися, обремененными. Какой был бы, кажется, подвиг, как бы это было светло, прекрасно, премудро!

Произносить подобные пожелания — умилительно; да и нельзя избежать их; беда в том, что можно иногда впасть в чрезвычайную ложь. Во-первых, народ, подающий свои деньги монахам, наверно дает им не для того, чтобы они упивались и объедались, да и не им собственно, а Господу. (Мы исключаем в этом случае иных барынь-богомолок; мы про народ говорим). Юстиция, народное образование (о которых автор сетует, что они обходятся государству в такую же сумму, как и монахи)[*], конечно, важные вещи; но и умиление сердечное, религиозное чувство тоже очень важны, если еще сохраняются в обществе, и наверно стоят и юстиции и народного образования. Горе обществу, не имеющему религиозного умиления. Нашим рационалистам, разумеется, жаль, что это умиление тратится, по-видимому, так нерационально. Лучше бы народ прямо давал на школы и на богадельни, без посредников, не так ли? Лучше бы продать это благовонное миро и раздать бедным, не так ли? — вспомните эту евангелическую историю.[*]

Существуют искони некоторые приемы обличения, крайне

парадоксальные, но чрезвычайно метко достигающие цели. Например: «это люди святые, стало быть, и должны жить свято, но так как мы видим обратное, то»… вывод ясен. И это чрезвычайно действует. В подтверждение выставляется целый ряд неотразимых фактов, которые всем были известны, но не производили известного действия, пока их не сгруппировали в целую систему с известною целью. Отсюда выходят иногда преудивительные выводы.

В сущности, в этой группировке фактов всегда заключается только половина правды, а лишь половина всей правды, по-нашему, хуже лжи. Прямую ложь еще можно опровергнуть, но как опровергнуть целую систему фактов, если они справедливы? Мы знаем, что еще при святом Феодосии, при самом основании Киево-Печерской лавры*, уже находились некоторые точно такие же плотоугодники и малодушные в числе собравшейся братьи. Мы знаем, что грех, эгоизм и даже злодеяние являлись тотчас же даже в самых первых христианских обществах, еще при самом основании христианства. Указывая на это, мы вовсе не предлагаем склониться перед историческим фактом или, вернее, законом и успокоиться; это было бы омерзительно. Но если грех и мерзость были еще при святом Феодосии и в первые времена христианства, то были зато и сам св. Феодосии, и мученики за Христа, и основатели христианства, и основатели всего современного христианского общества. А ведь в этом и всё. Кто знает, может, и в современных русских монастырях есть много чистых сердец людей, жаждущих умиления духовного, страждущих сердцем, для которых, несмотря на всю либеральность нашего века, монастырь есть исход, неутолимая духовная потребность… Мы не хотим насилия и к обновлению общества приступать деспотически.

Но тут, без сомнения, вступится автор и заявит, что он вовсе не о том говорил, что это уже совсем другой предмет и другая материя, а что говорил только об одних лишь богатствах и доходах наших монастырей.

Что же? автор будет, пожалуй, и прав; а мы все-таки повторим ему, что половина правды не только есть ложь, но даже и хуже лжи. Благодарим за доставленные материалы, но не за систему их группировки.

Заседание общества любителей духовного просвещения 28 марта

Мы сообщили в свое время своим читателям о двух заседаниях общества любителей духовного просвещения[*], из которых в одном г-н Филиппов читал свое рассуждение о «нуждах единоверия», а в другом профессор Петербургской духовной академии г-н Нильский предложил свои возражения[*] против означенного рассуждения. Так как в этом последнем заседании для обратных возражений со стороны г-на Филиппова не осталось времени (г-н Нильский кончил свою речь в половине двенадцатого), то решено было для окончательных объяснений между учеными соперниками назначить следующее заседание. Понятно, с каким любопытством ожидалась эта решительная встреча между доводами той и другой стороны и сколько занимательности по этому случаю обещало новое заседание Общества, которое и было наконец назначено на 28-е марта. Но каково же было общее разочарование, когда, по прибытии в заседание, члены Общества узнали, что г-н Нильский, условившийся, как нам известно, предварительно с г-ном Филипповым о порядке предстоявшего им состязания, в заседание Общества не явился по причине, как мы слышали внезапной болезни.

Откладывать долее объяснения с г-ном Нильским для г-на Филиппова не представлялось никакой возможности, так как и без того дело это затянулось и рассуждения по возбужденному им вопросу отодвинули на дальний план все другие дела Общества, и потому г-ном председателем было предложено г-ну Филиппову сообщить приготовленные им опровержения доводов г-на Нильского, несмотря на отсутствие противника.

Между тем из заявления г-на Филиппова, сделанного в начале его речи, мы узнали, что он особенно дорожил изустными, перед членами Общества, объяснениями с г-ном Нильским как с лучшим знатоком дела в Петербурге; что с этою целию он перед своим чтением обращался к совету Общества с просьбою пригласить г-на Нильского, в ту пору не бывшего еще членом Общества, хотя гостем и что, следовательно, самое появление возражений, предложенных г-ном Нильским в

предшествовавшем собрании, было вызвано искренним желанием г-на Филиппова сколь возможно ближе уяснить как себе, так и Обществу существенные черты возбужденного им весьма важного для церкви и народа вопроса.

Конечно, и печатные объяснения, которые должны еще последовать между г-дами Филипповым и Нильским по этому делу, будут иметь свое значение и цену; но в печати гораздо легче уклониться от стеснительного возражения противника и вывернуться из такого состояния, при котором в случае изустного состязания пришлось бы поневоле положить оружие. Как долго можно вести заочную полемику против очевиднейших истин, тому примеров так много на каждом шагу, что мы считаем излишним на этом долее останавливаться. Можно, правда, и при устной беседе позволить себе то и другое, но это гораздо уже труднее особенно при свидетелях.

За неимением достаточного времени объяснения г-на Филиппова только слегка коснулись первой части его рассуждения, в которой, как наши читатели припомнят он доказывает, что некоторые из правил единоверия находятся в противоречии с постоянным воззрением церкви на свободу обряда, и вовсе не тронули вопроса о необходимости соборною пересмотра постановления 13 мая 1667 года, развитого в третьей части рассуждения. Речь его сосредоточена была преимущественно, почти исключительно, на вопросе о значении клятв, наложенных московским собором 1667 года, по которому между ним и г-ном Нильским возникло существенное разногласие и в котором заключается, по выражению г-на Филиппова главный узел всего возбужденного им вопроса.

Г-н Филиппов полагает, как читателям «Гражданина» уже известно, что соборным определением 13 мая 1667 г. употребление двоеперстия и некоторых других особенностей дониконовского обряда было воспрещено на будущее время безусловно, что тот, кто после этого определения решился бы удерживать эти особенности, явился бы, в силу одного этого, противником собора и что такое воспрещение дониконовского обряда продолжалось до 1763 г., то есть до царствования Екатерины II, при которой круто изменился взгляд правительства на старообрядцев. Г-н Нильский же думает, что клятвенное запрещение собора 1667 г. относится не к употреблению дониконовского обряда, а только к таким лицам, которые из-за этого

обряда оставляли сами церковь, хулили ее тайны и их совершителей, — и что если бы человек от церкви не удалялся и просил бы только о том, чтобы ему дозволено было содержать дониконовский обряд, то церковная власть против этого собственно вооружаться не стала бы и к исполнению такого желания не встретила бы с своей стороны препятствий.*

Так как принятый г-ном Филипповым способ объяснения с г-ном Нильским, состоявший в том, что он приводил подлинные слова тех документов, на которые ссылался как г-н Нильский, так и он сам, — так так, говорим, подобный способ изложения предмета доставлял присутствовавшим возможность активного участия в прениях, то мы, по ближайшим ознакомлениям с источниками, не колеблясь скажем, что в этом собственно вопросе г-ну Нильскому устоять против доводов его противника нет, по нашему убеждению, ни малейшей возможности. Не говоря уже про многочисленные свидетельства исторических документов, с совершенною ясностию подтверждающих взгляд г-на Филиппова на эту сторону дела, мы не можем пройти молчанием того, что в собственных статьях г-на Нильского, напечатанных в «Христианском чтении» за 1870 г.*, г-ном Филипповым отысканы и сообщены слушателям такие мнения, которые, если бы только скрыть имя автора, были бы непременно приписаны г-ну Филиппову или же его безусловному единомышленнику, но уж никак не г-ну Нильскому.

Дело это выяснилось до такой степени, что даже г-н Чельцов, возражавший г-ну Филиппову* после его объяснений и все доступные ему средства употреблявший для защиты положений г-на Нильского, в этом собственно пункте согласился с г-ном Филипповым и нашел, что эту слишком очевидную истину доказывать с такими усилиями было, по его мнению, как бы излишне. Г-н Чельцов упустил при этом из виду одно маленькое обстоятельство: что против этой-то очевидности в прошлом заседании Общества г-н Нильский именно и возражал в продолжение двух часов и что главная цель заседания 28 марта в том именно и состояла, чтобы разрешить разногласие, возникшее по этому собственно предмету. Впрочем, г-н Чельцов вообще в этом вопросе человек чужой и возражения его имели вид каких-то подневольных, «как будто тяжкий совершал он долг»*. Не всегда верный логике, но не лишенный дара свободного изустного изложения, он на этот раз, вопреки обыкновению, как-то мялся и путался и, вероятно, вследствие

смущения, весьма понятного в человеке, мало с предметом знакомом, допустил в своей речи несколько весьма важных ошибок, которых в обычном и спокойном состоянии он, вероятно бы, не сделал. За всем тем самое свойство этих ошибок, которое изобличает странную неточность, сбивчивость общих богословских понятий, подействовало на нас болезненно, как признак весьма неудовлетворительного состояния науки даже в высших духовных заведениях.

Пожар в селе измайлове

Пожарный сезон! Разумеется, он наступил; не миновать же ему этот год. Между другими известиями, сообщаемыми в наши газеты, особенно характерно выдается известие в № 134 «Московских ведомостей» о пожаре в селе Измайлове*, и не о пожаре собственно (пожар как пожар, везде бывают такие и много еще будет таких, по всей вероятности), но об особых обстоятельствах при этом пожаре. Вот что говорит корреспондент в заключение своего известия:

> «Вообще этот пожар замечателен во многих отношениях: недостаток в воде ощущался громадный, пруд от села отстоит далеко; у крестьян, по их нерадению и беспечности и, главное, пьянству, нет не только пожарной трубы, багра, но самого необходимого в их домашнем быту — лома, топора и ведра, так что женщины заливали огонь подойниками. Все это пропито и заложено в трактирах и кабаках».

Итак, «по нерадению, беспечности и пьянству» нет не только пожарного инструмента, трубы, багра, но даже лома нет, *топора* и *ведра,* так что женщины *заливают огонь подойниками. Все пропито и заложено в трактирах и кабаках!..*

И это в подмосковном известном селе! Мы как-то недавно рисовали фантастическую картину возможного и близкого будущего, когда всё будет пропито и заложено, все инструменты, — не только пожарные, но топоры, сохи, бороны. Нарубить дровец — надо будет идти к закладчику выкупать или вымаливать на *раз* топор; попахаться — тоже надо будет выкупать соху, борону. Да чего борону? Где тогда будут лошади-то? А где дом, семья, самостоятельность, порядок хоть какой-нибудь? Всё исчезало в нашем фантастическом сне: оставались лишь кулаки и жиды да всем миром закабалившиеся им общесолидарные нищие. Жиды и кулаки, положим, будут платить за них повинности, но уж и стребуют же с них в размере тысячи на сто уплаченное! Мы старались отчураться от нашей фантазии, называли ее «скверным сном», «сном титулярного советника Поприщина»*, и вот уголок поприщинского сна вдруг и выглянул наружу, если верить

корреспонденции «Московских ведомостей». (А почему ей не верить? Всё так художественно вероятно.) Впрочем, если заложены топоры и ведра, то всё же остались подойники, остались и вот пригодились. Не всё, стало быть, еще потеряно! Любопытно только, как остались они: при коровах или без коров? И почему, наконец, остались? Неужели подойник ничего не стоит, так что его и пропить нельзя? Отчего же он не пропит? Мы смело ставим такой вопрос, ибо, по положению дела, гораздо естественнее теперь задать вопрос: почему не пропит подойник? чем: почему он пропит?

Пусть еще погуляет народ. А там… ну а там очнется.

Кстати: кто теперь застраивает крестьянам на Руси погоревшее место? Прежде, и весьма часто, погоревшие деревни обстраивались помещиками. Этот древний, патриархальный способ (хотя и приносивший пользу) следовало бы теперь заменить способом несколько более подходящим к современному положению вещей, а именно развитием народных кредитных учреждений. Правда, в данную минуту много еще денег, если б только получились они через это «развитие», ушло бы туда же, куда и топоры с ведрами; но ведь не вечно же это так будет продолжаться. Недавно мы читали о самоубийстве одного мужичка. Он забрался зимой у подрядчика ввиду летнего заработка, чтоб прокормить семью, и вот к весне, когда надо было отправляться на работу уже даром, даже и на харчи не имея, — повесился.* Любопытно при этом, как велика была забранная сумма и сколько наживают подрядчики, кабаля таким образом народ с прошлой осени на будущее лето? Но еще любопытнее то, что, какова бы ни была эта сумма, она все-таки в сущности благодеяние по теперешнему положению вещей за неимением другого кредита.

Нам случалось тоже недавно прочесть одно известие (впрочем, перепечатанное во всех газетах) из Щигровского уезда о том, что многие из зажиточных тамошних крестьян пустились вдруг продавать окрестным помещикам скопленное в течение зимы удобрение, скот, движимость, приготовляясь отправиться в Оренбургский край на переселение.* Взманил весь уезд, как рассказывают, один из помещиков Фатежского уезда, купивший обширные земли в Оренбургской губернии и предложивший их переселяющимся. На призыв откликнулось до 10000 душ (любопытно лишь, на каких условиях помещик предлагает землю?). Тотчас же началась энергическая

распродажа имущества. Между тем будет ли разрешено это переселение — неизвестно, так что крестьяне могут засесть на прежнем месте еще в горшей доле, чем прежде, уже без скота и без движимости. Зная наши обычаи, мы даже уверены, что нечто подобное выйдет в самом деле, то есть, с одной стороны, выйдет задержка (может, и необходимая), а с другой — слепая вера без всякого расчета, порыв, как обыкновенно во всех сердечных порывах нашего народа. А что тут непременно сердечный порыв и этузиазм, в этом нет сомнения. Признаемся, мы бы очень желали, чтоб мужичкам удалось и чтобы их не задержали. Омерзело, значит, прежнее житье с прежними кабаками. Хотя корреспонденты ни слова не говорят о кабаках, но мы почему-то убеждены, что мужички, возненавидевшие старое место, бегут в обетованный край отчасти и от кабаков. Мы убеждены, что, придя на новое место, они тотчас же миром дадут зарок: не пить вина. Неужто такое серьезное дело предприняли бы с тем, чтоб на новом месте тотчас опять пропиться? Подобные переселения — спасительнейшее и любезнейшее дело, вот что. Это обновление, новая жизнь, на иных нравственных основаниях. Всё это поднятое дело останется потом в легендах семейных, а добрые воспоминания крепят семью. Даже житье на старом месте очистится в воспоминаниях и многое из старого запомнится хорошо. А оставьте-ка их теперь на месте, хотя только на будущую зиму, ну через канцелярскую задержку какую-нибудь, запретите-ка им переселиться, и к зиме это будут сплошь воры и пьяницы, озлобленные разбойники…

Между тем из Пензенской губернии всё пишут, что там число мирских приговоров о прекращении пьянства всё более и более увеличивается. Что за благодатная губерния! А главное, в пожарный сезон. Любопытно бы, если б возможно было, вывести цифру: насколько пьянство способствует усилению пожаров? Что оно способствует — это несомненно. Какой осторожности ждать от пьяного человека? А у нас ведь загорелось у одного, так сгорело и у всех. Ну а если сплошь пьяны, как, например, в большой табельный или приходский праздник? Разумеется, тут «нельзя не сгореть», и если не горят, то разве в виде какого-нибудь исключения. Так по крайней мере должно выходить по теории. В практике оно выходит несколько иначе, то есть гораздо менее выгорают, чем бы следовало по предположению. Но, боже мой, что же и делать мирским людям в праздник, если не

пить? Чем заняться? Подумал ли кто-нибудь хоть раз до сих пор: чем бы это занять в праздник миллионов шестьдесят русского населения? Единственная попытка (увенчавшаяся успехом), как мы уже и объявляли раз прежде, осталась за одним колонистом-пастором, основавшим «штундистов».* Там же, где нет пасторов, происходят «стенки». В «Русский мир» сообщали на днях из-под Москвы, что близ деревни Свистухи в Духов день была стенка, или кулачный бой, причем убит один боец.*

Оно, положим, развлечение еще времен гомеровских, и не то чтобы уж очень постыдное для развлекающихся, но довольно нелестное для развлекающих. Право, пора чем-нибудь иным начать развлекать народ!

Стена на стену

Впрочем, ходят стена на стену и не в одних подмосковных селах в табельные дни. Ходят и в будни председатели, так-таки с места своих занятий. Недавно произошел в Екатеринославле, по известиям «Биржев<ых> ведомостей», следующий турнир (к сожалению, за неимением перед глазами «Биржевых ведомостей» выписываем из «Русского мира»):

> «За стеной мирового съезда, бок о бок, помещается рекрутское присутствие. В том и другом происходили одновременно заседания. В рекрутском присутствии, понятно, в заседании *не могло не быть шума;* самый процесс принятия рекрут всегда сопровождается возгласами „годен! принят!“, за которыми вечно следуют разные причитания родных и знакомых принятого. „Шум“ в рекрутском присутствии вызвал появление судебного пристава мирового съезда. Пристав потребовал тишины. Председатель присутствия явился в мировой съезд, и здесь произошло объяснение с председателем съезда, последовал акт и затем… *предание председателя присутствия* (он же предводитель дворянства) *суду*
>
> *местного окружного суда.* Дело было назначено к слушанию на 5 мая, но „обвиняемый“ возбудил вопрос о подсудности, и разбор дела приостановлен… Чем кончится это пререкание — неизвестно».*

Нам всего более нравится, что всё назначено только «пререканием» — «Биржевыми» или «Русским миром», не знаем, но прекрасно названо, говорим без фальши: к чему в самом деле отягчать или, так сказать, извлекать на свет наши язвы? Впрочем, мы сами, может быть, ошибаемся, не зная юридического языка. Что значит: «произошло объяснение и последовал акт»? Это насчет чего же? И какой такой акт? Нам почему-то кажется, что насчет *того самого.* Мы далеки от осуждений и полагаем, что всё произошло от нервозности лиц,

склонной девятнадцатому столетию, говоря вообще; даже, может быть, и из благороднейшего источника произошло, так сказать, из соревнования во властях. Но, вообще говоря, рыцарские обычаи уничтожаются повсеместно и мы демократизируемся нестерпимо. Там древнейший русский князь обвиняется в покраже у какого-то немца портмоне[*]; тут лицо, забывающее свой сан и свою шпагу, действует пятерней. Кстати, насчет шпаги есть одно историческое свидетельство. Эта европейская шпага была привешена к русопетскому бедру нашему, как известно, Петром Великим. У нас и до Петра Великого была, как всем известно, своя честь, за которую люди московские отдавали зачастую свою шкуру и головы, но символ ее был другой, и не шпага. Однажды великий преобразователь, привив к нам шпагу, застает Данилу Меньшикова на дружеской пирушке, во всей форме и при шпаге, танцующим трепака. И вот тотчас же, чтоб растолковать новоиспеченному рыцарю, как он осрамил свою шпагу и не умеет носить ее, преобразователь оттаскал собственноручно преступника за волосы, больно и нещадно, чтобы помнил, чтобы и прочим к примеру было.[*] В прошлом году мы отпраздновали двухсотлетие преобразователя[*], и вот в нынешнем — корреспонденция «Биржевых ведомостей» уведомляет насчет последовавшего в Екатеринославле акта. Одним словом, два столетия пролетели как сон. Тот же корреспондент особенно рекомендует в этом же смысле Верхнеднепровский уезд. Вот, по его словам, перечень за последние три года некоторых событий, совершившихся в сем уезде

> «Дворянин Следнев обвинен в братоубийстве; дворяне А. и Н. Н. абвиняются в насилии над братом, в лишении своей сестры свободы, в подлоге и (А. Н.) в изнасиловании; дворянин Романовский обвинен в оскорблении товарища прокурора; тот же Романовсквий и дворянин А. Н. Поль (бывший председатель мирового съезда) обвинялись во взаимных оскорблениях друг друга действием в публичном собрании; тот же г-н Поль обвинялся в оскорблении на письме мирового судьи; дворянин К. обвинялся в истязании своего сына. Наконец, в последнее время в Верхнеднепровском уезде отрыта шайка конокрадов. Следствие о ней близится к концу. Говорят, производство состоит из 40 томов и под стражею по

этому делу содержится более 20 человек…»[*]

Всё это, положим, хорошо, то есть в сущности нельзя сквернее, особенно что касается братьев, сестер, изнасилований и проч. «Ослабели!» — как говорил на днях с елейным видом уже седой мужичок, выходя из кабака и опираясь о стенку. Но что касается «оскорбления товарища прокурора» и потом «взаимных оскорблений действием в публичном собрании» (дворянин А. Н. Поль и бывший председатель мирового съезда), то тут наверно что-нибудь из пререкания насчет власти, то есть в сущности всё из того же благороднейшего источника соревнования властей, а потому мы и относимся к таким фактам с чрезвычайною мягкостию. Мы — русские, а потому знаем и должны знать, что такое значит в быту нашем это соревнование властей, и есть ли хоть один из нас, который бы не перенес чего-нибудь в этом роде даже сам на себе, в своей жизни, а не то чтобы был только свидетелем. Даже смотришь, а и сами мы, чуть не каждый из нас, хоть раз в жизни, а заявили-таки свою власть над другими в этом же самом смысле. Положим, это делается всегда, так сказать, с некоторым преступным превышением власти. Ну да ведь нельзя же и иначе — тут превышение вроде как бы щегольства и делается всего чаще из любви к искусству, а не то чтобы с злым намерением. Взгляните на петербурского франта: он не просто заявляет себя, а с вывертом: я, дескать, франт. Взгляните на манежную лошадь: она не просто ступает ногами, а с вывертом: не кляча же я в самом деле извозчичья. Тут шегольство-с. Этот выверт похвален в должностном лице: значит, он гордится ему данною властию, сияет и сияние кладет и на место, им занимаемое; от этого выигрывает идея. Если б этот ничтожный кассиренок на железной дороге или у приема каких-нибудь писем не гордился своею властию, не сиял, а выдал бы вам билет без обиды, без некоторой естественно сопряженной с выдачей грубости, то вы бы первый перестали уважать его, — не так ли я говорю?

И к тому же тут мнительность. Вся Россия заражена в известном смысле страшною мнительностью, во всех сословиях и во всех занятиях и именно насчет власти. Каждый думает про себя: «А ну как подумают про меня, что у меня не так много власти?» Засим следует страх, а засим и превышение власти, и единственно чтоб доказать свою власть. Вот, например, маленькая корреспонденция газеты «Современность».[*]

Положим, это случай маленький, ничтожненький, но все-таки типичный и «как солнце в малой капле вод»[*] отражает весь наш обычай.

> «Из *войска донского донецкого округа: о самоуправстве одного из заседателей.* (Корреспонденция «Современности»). Проезжая из Н.Черкасска, я остановился у знакомого мне священника слободы П…ой о. В. З., который рассказал мне о следующем случае самоуправства. „На прошлой неделе, — говорит о. В., — к нам приехал заседатель здешнего участка В. Д. Д. и сделал распоряжение, чтобы ночью караульные ходили по слободе и кричали: “Слушай!» Воля начальника была исполнена, — все было хорошо; но вот в одну ночь начальник слышит, что около его квартиры кричат «Слушай!». «Позвать крикуна!», — говорит заседатель начальническим тоном своему вестовому, — тот позвал. «Ты как смел, с-н сын, кричать около квартиры своего начальника!? Ты, мужик, знаешь, что меня испугал», — и при этом, *схвативши его за волоса, начал таскать* туда и сюда по комнате; наконец утомившись, он со словами «возьми ты» передал несчастного своему казаку затем, чтобы и тот продолжал ту же операцию. Не знаю, долго ли это продолжалось, но знаю только, что подчиненный вышел от своего начальника весь в крови и почти без волос. О жалобе мужик, конечно, не посмеет и думать».
>
> *И. Синельников».*

Превышения власти тут в настоящем смысле слова и не было, по крайней мере очень большого, так что всё это, если хотите, произошло в порядке вещей. Но было соревнование власти и вот в этом-то и вся штука. Соревнование заседателя с простым сторожем — это правда, но это-то и еще благороднее, вот эта-то именно чуткость, эта-то утонченность ощутительности, этот микрометризм термометра власти. Тут наизусть видна вся психология дела. Приехал заседатель, надобно, чтоб все знали о приезде и, главное, уважали приезд; чем этого достигнуть? Естественно велеть кричать по ночам на всю слободу: «Слушай!» Жаль только что он не воспользовался солдатским или арестантским театром; там, в «Волжских разбойниках», атаман кричит:

— Ессау-у-ул!

А тот ему с того света:

— Чево изволите, суда-а-арь![*]

Это было бы даже эффектнее. Вот они и кричат; заседателю приятно, и всё хорошо, но вот один горлан (и наверно чтоб заявить свою ревность по службе) рявкнул под самым его окном. Вмиг тревожная идея загорается в уме начальства: «А ну как он подозревает, что у меня не так много власти, и заорал, чтоб это мне доказать?» С такою мучительною мыслию естественно нельзя оставаться: надо ввести дурака в границы. Ну и ввели. Конечно, каждый волос гражданина должен бы быть драгоценен начальству; но если только откинуть волосы (что, впрочем, само собою произошло), то всё обошлось как следует, тем более что должен же человек хоть чем-нибудь наконец пожертвовать на общую пользу. Жертвовали и почище его.

История о. Нила

Нам искренно жаль отца Нила. Вот эта история — печальная история, хотя, впрочем, и довольно веселенькая.

Дело в высшей степени житейское, — это его характер, хотя и происшедшее в монастырской келье. Оно было передано первоначально в «Русских ведомостях», но мы выписываем его уже по сокращенному изложению «Русского мира», в котором опущены предварительные похождения героини рассказа, девицы дворянки Огурцовой, некоторое время путешествовавшей под именем полковницы Чертковой.*

> «21 августа 1872 г., как передают обстоятельства этого дела в «Русских ведомостях», к мировому судье в Сергиевском посаде явилась крестьянская девица Прасковья Лекарева и заявила жалобу о похищении у нее девицею из дворян Огурцовой из запертой кельи монаха Троицко-Сергиевской лавры о. Нила, посредством подобранного ключа, двух билетов банкового пятипроцентного и 1-го внутреннего займа. В жалобе мировому судье и затем при следствии Лекарева объяснила, что билеты эти куплены ею в Москве и отданы были ею на сохранение монаху означенной лавры, о. Нилу. Собираясь 21-го августа ехать к себе в деревню Валдайского уезда, она в тот же день утром, в 4 часа 15 минут, пришла в келью монаха Нила за своими билетами; но так как о. Нил торопился к утрени, то и оставил ее в келье до своего прихода, причем по просьбе ее запер на замок, так как ей хотелось уснуть. Вдруг дверь кельи отперлась, и в комнату вошла проживающая в посаде подполковница Анна Васильева, которая, подойдя к шкафу, взяла оттуда билеты, деньги и часы с цепочкою и скрылась; увидев это, она, Лекарева, бросилась к Огурцовой, но та, оттолкнув ее, заперла дверь на замок. По возвращении из церкви монаха Нила Лекарева сообщила ему о случившемся, и он, разыскав Анну Васильеву в церкви, отобрал у нее похищенные билеты, денег же 11 р., взятых ею вместе с билетами, при ней не оказалось.
>
> Спрошенная на следствии, проживавшая в Сергиевском

посаде под именем жены подполковника Анны Васильевой Чертковой девица из

дворян Огурцова в краже из кельи монаха Нила виновною себя не признала, объяснив при этом следующее: уехав из г. Ярославля на страстной неделе 1872 г., она, Огурцова, побывала в разных местах на богомолье и наконец приехала и в Сергиевский посад. Проживая в посаде, она часто виделась с монахом лавры Нилом, с которым давно была знакома и находилась в весьма хороших отношениях, так что давала ему денег и дарила разные вещи. У Нила хранилось ее имущество, как-то: сундук и разные мелкие вещи, из бывших у нее денег 2000 руб. сер Огурцова решилась отдать Нилу 1000 руб. сер без всякой, впрочем, расписки, так как таковых монахи выдавать не могут. В последнее время она, Огурцова, стала замечать, что благочестивый о. Нил начал от нее удаляться, и это, как она думает, по той причине, что он познакомился с крестьянскою девицею Лекаревой. Вследствие этого охлаждения Огурцова стала требовать от о. Нила свои 1000 р., но тот от возвращения их уклонялся. 21 августа, находясь у заутрени в церкви и увидев там о. Нила, обвиняемая решилась пройти в его келью, с целью посмотреть, нет ли там кого-нибудь, и в келье увидела, что ключ торчит в замке наружной двери кельи. Войдя в келью, она, Огурцова, увидела что на постели о. Нила лежала в рубашке и разутая Прасковья Лекарева.

Подойдя к шкафу о. Нила, Огурцова взяла лежавшие на шкафу часы, не с целью совершить кражу, а с тем, чтобы показать о. Нилу, что она была в его келье и видела там женщину, и затем вышла из кельи, заперев ее на замок и оставив ключ в замке. Ни денег, ни билетов не брала. Из кельи Нила она возвратилась в церковь, куда через несколько времени явились о. Нил и Прасковья Лекарева. Тут она, Огурцова, возвратила о. Нилу часы, говоря ему, что неужели он мог заподозрить ее в желании украсть их?

Монах Сергиевской лавры о. Нил, показав на следствии совершенно сходно с Лекаревой, удостоверил, что, уходя 21

августа утром к заутрени, он запер свою келью, где оставалась Лекарева, на замок и ключ взял с собою, с Огурцовой он был знаком, она, впрочем, лишь бывала у него несколько раз в келье, и то ненадолго, он и принял от нее на сохранение сундук ее, но никогда 1000 руб. не брал. Ключ, коим Огурцова отперла его келью был принесен ею с собою и находился у нее, вероятно, потому, что в занимаемой им келье прежде проживал иеромонах Ипполит, с коим Огурцова близко была знакома.

В подтверждение принадлежности ей двух билетов одного внутреннего 1-го займа, другого банкового 5 проц. в 100 р. Лекарева представила к следствию две квитанции на продажу ей этих билетов, выданные из конторы Юнкера.

На вопрос председателя о виновности обвиняемая виновною себя не признала.

Из показания свидетеля о. Нила обнаружилось, что он состоял в любовной связи с Огурцовой и Лекаревой и получал от них разные вещи на сохранение.

На вопросы защитника, давно ли о. Нил знает Огурцову, он отвечал, что знает ее три года, писал ли он ей письма, сказал, что писал, но не очень часто, известно ли ему было, что Огурцова жила в Сергиевском посаде под именем Чертковой, объяснил, что известно, говорила ли она, для чего переменяет фамилию, ответил, что говорила и объяснила это желанием скрыть от брата, на дополнительный вопрос защитника, что именно она хотела скрыть от брата, не то ли, что она была знакома с свидетелем, последний ничего не отвечал.

На вопросы обвиняемой о том, не жила ли она у него в келье по целым месяцам, не дарила ли ему часы, подрясники и деньги, — о. Нил отвечал, что всё это ложь и выдумки.

Товарищ прокурора по окончании допроса о. Нила сделал заявление суду, что свидетель как предварительным, так и судебным следствиями изобличается в том, что состоял в любовной связи с двумя женщинами, а потому и просил занести это обстоятельство в протокол.

Обвиняемая Огурцова на суде подтвердила показание, данное ею на предварительном следствии, добавив, что ключ от кельи дан был ей самим о. Нилом и что она более 500 раз отпирала им его келью.

Г-н товарищ прокурора отказался от обвинения Огурцовой в краже из кельи. Защитник, выводя из обстоятельств дела существование интимных отношений, в которых состоял о. Нил и к Лекаревой, и к подсудимой, находил возможным предположить, что Огурцова взяла из кельи часы не с целью похищения, а для того чтобы показать их о. Нилу, доказать этим, что она была в келье, и возвратить их. Вероятность этого предположения становится тем более возможна, что Огурцова, взяв часы, затем не скрылась, а отправилась в церковь и заказала молебен.

Для того чтоб убедиться в правдивости показания Огурцовой относительно 1000 руб., по словам защитника, достаточно взглянуть на нее и на о. Нила. О. Нилу 26 лет, он силен и молод, Огурцовой 40 лет, и они были в очень близких отношениях, к тому же Огурцова обладает далеко не привлекательной наружностью, которая не могла вызвать искренних чувств у о. Нила, она почти вдвое старше его, и потому трудно допустить, чтобы любовь о. Нила была совершенно бескорыстна.

На основании всех этих соображений защитник просил оправдать подсудимую.

После непродолжительного совещания присяжные вынесли оправдадательный приговор.

О. Нил, по словам «Русских ведомостей», по выходе из здания суда был сопровождаем свистками и насмешками из публики, бывшей в зале заседания на этом процессе».

Мы ограничимся лишь некоторыми и притом отрывочными замечаниями с нашей стороны.

1) Желательно бы иметь фотографическую карточку о. Нила. Мы хотим только этим сказать, что фотографическая его карточка могла бы иметь теперь в продаже несомненный успех.

2) Хотя защитник г-жи Огурцовой и провозгласил о его летах (26

лет) и о его здоровье; но думаем, что две особы сразу даже и для о. Нила несколько уже лишнее.

3) Что подобный факт, если бы о. Нил был мирянином, мог бы даже доставить ему некоторого рода «соблазнительную честь»[*]; ибо есть лица, полагающие в этом всё свое честолюбие, а другие — завидующие и подражающие им изо всех сил. Между тем из залы суда его проводили свистками.

4) Равно поразительны своею наивностию и возможностию некоторые удивительные факты, открывшиеся на суде: чернец идет к заутрене и запирает в своей келье разутую деву. Другая интересная особа, громогласно и обличительно, с оттенком почти торжества, заявляет, что она вверенным ей от о. Нила ключом более пятисот (!?) раз отпирала его келью. Мало того, с тем же обличением и торжеством, почти гордо, спрашивает вслух о. Нила: «Не жила ли она у него в келье по целым месяцам, не дарила ли ему часы, подрясники, деньги?» — и хотя о. Нил и отчурался от вопросов этих, как от дьявольского наваждения, но всё же эти вопросы были, а стало быть, кое-что означают.

5) Все подобные порядки в наших монастырях и возможность сих фактов решительно сбивают с толку бедного светского сочинителя, особенно когда мы знаем наверно, что многое множество русских монастырей пропитываются единственно собственным суровым трудом, да еще пропитывают окрестность; а в страдную пору так-таки и идут, всею братьей с игуменом во главе, жать, косить, пахать, сеять, точно мужики.

6) Решительно непонятна самая возможность возникновения подобного процесса в гласном суде, тогда как до такой степени у самих хвост запачкан. Мало того, и деньги, и часы — всё было возвращено тут же, у заутрени. Что же толку затевать гласное дело, когда несомненно должны обнаружиться на суде и дареные подрясники, и разутые девы, и ключи, пятьсот раз отпирающие? Мы только что прочли в газетах, как один доктор открыл нового рода «сутяжное помешательство»[*]; но о. Нил здоров и, уже конечно, не помешан.

7) До крайности загадочна и личность странствующей особы (девицы Огурцовой, полковницы Чертковой и проч. и проч.). Мы в высшей степени уверены, по наблюдениями и изучениям всей жизни, что существует особый тип таких барынь (барынь по преимуществу), в

которых весьма сильная набожность способна уживаться с личною и весьма заинтересованною любовью к самим служителям церкви. То есть, вернее сказать, пламень набожности принимает в высшей степени неестественную потребность, так сказать, усластить, заласкать, залюбить, лично и даже поземному, самого уважаемого и чтимого ими служителя Божия. Мы заметили, что в католицизме эти случаи повторяются чаще, чем у нас, у нас же совсем даже редки. Говорим это с искренностию и вовсе без желания хвалиться. Вначале, например, из самой горячей набожности посылают служителям Божиим конфеты, сласти, не рассуждая, что, как ни невинны эти посылки, всё же они дьявольский соблазн; и затем постепенно расширяют идею о конфетах до пределов совсем даже непозволительных. Всего любопытнее, повторяем это, что вся эта неестественность рождается почти из похвального чувства и до того обманывает природу, что в моменты сильнейшего грехопадения уживается с молитвами, молебнами, постами и проч. Прибавим, что народу такие утонченности совсем незнакомы; они только у барынь, да еще очень у редких. Если же и происходят у монастырских грехи с женщинами из народа, то уже совсем как грехи — вполне откровенно и безо всякого ложного оттенка святости. Тем не менее, хотя тип таких барынь для нас несомненен, мы не решаемся причислить к нему и славную путешественницу. Правда, есть известие о том, что она сейчас же после своего подвига, еще с часами и с билетами в руках, поспешила в храм и *заказала молебен.* Но все-таки это не то. Тут другое; тут является совершенно особый характер. Гордость же в вопросах и оттенок торжества на суде тоже несомненны, — сколько выходит, по крайней мере, из представленного отчета «Русских ведомостей».

8) В заключение об этой интересной особе прибавим, что, несмотря на несомненную юридическую правоту свою (в монастырском деле; ибо прежде было еще и другое дело[*]), все-таки она, как выходит, весьма-таки нуждалась почему-то *во всех* средствах к своему оправданию и, кто знает, может быть, боялась за результат. Выводим из того, что не стал бы ее адвокат, упомянув о 26 годах, здоровье и, кажется, еще счастливой наружности о. Нила, в противоположность сему и в усиление контраста, упоминать о несчастной наружности и об истинных летах своей клиентки. Без особой опасности нельзя было употреблять такой неучтивый прием на суде.

9) И, наконец, для окончательного заключения заметим, что хотя о. Нила и провожали из залы суда свистки и насмешки, тем не менее мы не сочувствуем такому, так сказать, отпеванию человека и распоряжению душой его. О. Нил, если захочет сообразить и успокоиться, то увидит, что почти ничего не потерял; мало того, даже выиграл. Он разом вышел из весьма дурного положения, — сознательного самообмана, из всех этих запертых келий, пропусков, passe-partout[18] и проч., ибо полагаем, что разразившаяся над ним катастрофа будет же иметь какое-нибудь влияние на его душу, столь молодую и неопытную и обремененную таким излишним здоровьем. Если же он будет сокрушаться о том, что повредил монастырю, то пусть утешится: монастырь не пострадает даже и через такой случай, и, наверно, еще осталось в нем несколько строгих, смиренных и богобоязненных старцев, — а это и всё. Для подобных старцев и стоят монастыри, для них-то и начались они. Притом всем известно, что даже в самые первые века христианства в установившихся тогда церквах и во многих религиозных обществах повторялись несомненно подобные же случаи и, в конце концов, не повредили решительно ничему.

В начале первой французской революции случилось, что в один прекрасный день архиепископ парижский, в облачении, с крестом в руке и в сопровождении многочисленного духовенства, вышел на площадь и во всеуслышание объявил народу, что до сих пор он и сопровождавшие его следовали пагубным предрассудкам; теперь же, когда наступил la Raison,[19] они почли долгом сложить с себя публично свою власть и все знаки ее.* При этом действительно сложили ризы, кресты, чаши, Евангелия и проч. «Веришь ли ты в Бога?» — закричал архиепископу один работник с обнаженною саблею в руке. «Très peu» (очень мало), — пробормотал архиепископ, надеясь подобным ответом смягчить толпу. «Значит, ты подлец и до сих пор нас обманывал!» — закричал работник и тут же рассек архиепископу голову саблей. Затем, как известно, напоили всенародно из чаши осла, церкви обратили в магазины, веру христианскую ликвидировали, в Учредительном собрании большинством четырех, кажется, голосов провозгласили богиню Разума, а христианские священники разбежались. Одни из них пустились открыто в гражданскую и даже в военную карьеру, в которой некоторые впоследствии и отличались; в истории осталось несколько крупных имен из этого сословия. Другие бросились в Бретань волновать

крестьян и, как теперешний Санта-Круц и Испании, отличались неутолимою жестокостию в междоусобной войне[*], настаивали на расстреливании пленных, истязали, распинали республиканцев. Третьи рассыпались по всей Европе просить милостыню, обучать детей и интриговать, и, наконец, четвертые остались истинными священниками Божиими и не покинули родины, несмотря на ликвидацию государственной веры. Они утешали и укрепляли несчастных, они томились в тюрьмах, они с радостию всходили на эшафоты, умирали мучениками за Христа и честною кровью своею смыли позор, в который легкомысленно упали вера и ее служители в глазах народа в предшествовавшие столетия. Итак, смело может видеть и сам о. Нил, и подобные ему, и судьи его, и освиставшие его, что в деле веры — буквально — чего хочешь, то и найдешь; но что всегда есть та несомненная живая и честная струя, которая в данное время омоет всякую скверну и возродит идею еще чище и выше, чем она была в какие-нибудь жалкие, хотя бы и долгие, времена предшествовавшего легкомыслия. Одним словом, «ликвидацию веры» далеко не так легко сделать в мире и в обществе, как, может быть, воображают некоторые, несмотря даже ни на какие скандалы и компрометирующие видимости. А о. Нил, по нашему мнению, просто слишком еще молод и легкомыслен. Итак, пусть, если хочет спастися на прежнем пути, не ропщет на происшедшее. Пусть знает он, что не все ему свищут; напротив, искренно желают ему успеха. Если же он не захочет прежнего пути, то пусть уже лучше поступит в гусары, прямо и откровенно; это будет честнее, — честно и искренно. И так как он еще очень молодой и неопытный человек, то дай ему Бог поскорее научиться, что и в мире и в гусарах совсем не все «полагают *в этом* всё свое честолюбие, а другие и завидуют и подражают им изо всех сил», как мы упомянули выше про некоторых; напротив, пусть знает даже и он, что в мире и даже в гусарах весьма много и скромных, и честных, и целомудренных, и воздержных людей, даже в высшей степени.

Две заметки редактора

I

Мы с величайшим удовольствием помещаем в «Гражданине» это письмо слушательницы московских курсов.* Не будем очень противоречить некоторым особым убеждениям автора, например о «здоровом воздухе» Москвы.* Сам же автор свидетельствует, что в Москве нельзя без сплетней, — а уж это одно не совсем здоровая черта московского воздуха. Мы всегда готовы согласиться, что Москва лучше, чем Петербург, но что она хороша абсолютно — это уже совсем другой вопрос.

Во всяком случае благодарим прежде всего за некоторое сочувствие, выказанное многоуважаемой корреспонденткой нашему изданию. Несмотря, однако, на сочувствие, цель ее письма — опровергнуть на факте наше заявление в 22 № «Гражданина» о *«неудачных»* доселе опытах допущения у нас женщин к университетскому и медицинскому образованию in corpore.[20] Автор является теперь с частным случаем основания высших женских курсов в Москве и, выражая прекрасные и благородные чувства, радуется успешному началу дела.* Мы, пожалуй, пойдем еще далее в вере: мы верим и убеждены заранее, что большинство московских слушательниц доведут свои занятия до конца с полным успехом. Свидетельствуем громко, что никто более нас не уверен в чистоте чувств и в искренности жажды образования наших стремящихся к образованию женщин. Мы только думаем, что эта искренность и чистота доброго намерения могут быть, и весьма часто, дурно направлены, подпасть влиянию иной предвзятой мысли, имеющей мало общего с настоящим просвещением. Если в Москве случилось не то, если от слушательниц до профессоров, — все служили единственно одним только целям просвещения, то мы первые этому радуемся и приветствуем прекрасное событие. Уверяем вас, г-н автор письма, что радуемся еще больше других, ибо случилось только то, чего мы сами желали, что призывали, о чем сами заявили.

Припомним же, чего мы пожелали и о чем заявили в 22 № «Гражданина».

«1) Строгая учебная дисциплина может быть введена и иметь целью требовать от женщин непременно учения, безо всяких послаблений в их пользу, и немедленно исключать тех из них, которые не учатся или учатся дурно.

2) Малейшее нарушение правил нравственности должно повлечь за собою немедленное исключение женщины из числа учащихся.

3) Ежегодные экзамены должны быть безусловно строги». И вот за такие желания, или подобные им, нас обыкновенно объявляют в печати и обществе — ретроградами. По крайней мере теперь, после вашего заявления о московских курсах, мы уже не одни будем ретроградами, а, во-первых, вместе с профессорами московских женских курсов, исполнившими свое дело точь-в-точь, как мы того пожелали; во-вторых, вместе с слушательницами, приходившими единственно для своего образования и ни для чего более, и, наконец, с вами самими, радующейся в своем письме и на профессоров и на слушательниц.

Правда, мы еще написали в статье 22 № «Гражданина», что у нас «нравственная фальшь поражает всякого, кто имеет случай ближе присматриваться к миру женщин, выделяющихся из обшей массы для получения высшего образования», и что «женщины эти получают какую-то уверенность в том, что, обучаясь высшему курсу наук или медицине, *они в то же время и по тому самому являются деятельницами в разрешении какого-то современного женского вопроса»*.

Ну вот в том-то и вся *беда*, что мы это написали. К этому и придрались; да и как было не придраться: сущность дела пока еще такова, что ее можно понять как угодно, придраться к чему угодно и выставить в свете каком угодно. Произнесено самое неопределенное и спорное современное слово, «женский вопрос», и как же было не выйти путанице?

Об этой *беде* мы не будем теперь говорить; заявим лишь одно нашей корреспондентке: вы именно хотели доказать вашим письмом, что на московских женских курсах таких слушательниц не было, что ни одна из них не задавалась задачею «явиться деятельницею в разрешении какого-то современного женского вопроса», а все *просто учились;* что, стало быть, могут быть слушательницы и без «фальши» и что, наконец,

может быть, и очень большое число русских слушательниц окажутся «без фальши» и что мы, стало быть, преувеличили.

Если мы преувеличили — мы опять-таки первые тому обрадуемся. В том, что у нас явятся слушательницы безо всякой «фальши» в самом ближайшем будущем, мы и сами уверены; но что доселе было довольно фальши — можете ли вы отрицать? Если мы про это сказали открыто, не прикрашивая дела, то сказали именно потому, что от всей души желаем нашим женщинам настоящего, а не фальшивого образования. Что же касается до мечты «явиться деятельницею в разрешении какого-то женского вопроса», то мы на это заметим вот что: явиться слушательницею высших курсов с мыслию и надеждой образовать себя, приобресть тем высшие духовные силы, приобрести средства быть через образование более обеспеченною и вооруженною в несчастных случаях жизни; кроме того, вознестись до благородного понятия, что всеобщее образование женщины внесет новую, великую интеллигентную и нравственную силу в судьбы общества и человечества, — эта мысль, заявляем мы, эта надежда не только возвышенна, прекрасна и желательна в душе каждой слушательницы будущих высших курсов в России, но именно и есть начало единственного и настоящего разрешения «женского вопроса» и у нас, и в Европе, и везде, начало настоящей правильной постановки его! В этом смысле пусть всякая слушательница мечтает о будущей своей деятельности в разрешении женского вопроса, садясь на студентскую скамейку. Но уверены ли вы, спрашиваем опять, что все слушательницы женских курсов садятся теперь, хотя бы даже и у вас в Москве, на студентскую скамью с ясным сознанием того, чего хотят, и не путаются в пустопорожних теориях? И вот единственно потому мы и желали, в трех нами выписанных из нашей статьи пунктах, чтоб женщины являлись прежде всего учиться и чтобы требовать от них непременно учения, самым строжайшим образом. В этом случае мы много надеемся на науку. Настоящая, строгая наука изгонит всякую фальшь, всякую постороннюю и ложную идею, засевшую в иную еще не привыкшую к идеям женскую голову и навеянную каким-нибудь посторонним, обыкновенно мужским влиянием. Чего же мы хотим, стало быть, как не женской самостоятельности, самостоятельности ума и сердца женщины прежде всего? Противники мы женского образования, как нас окричали, да или нет?

Вы говорите в одном месте вашего письма, что мы решились высказать свою мысль, «не боясь потерять популярность». Увы, мы в высшей степени сознаем, что ее потеряли! Мы дорожим лишь тем, что пользуемся некоторой симпатией нескольких толковых людей, которые в наше время всеобщего лакейства мысли решились сметь

Свое суждение иметь.*

А надежды наши лишь в том, что круг этих людей несомненно и заметно увеличивается. Еще раз вас благодарим за письмо и просим и на будущее время известий о судьбе московских высших женских курсов. Мы слишком неравнодушны к их успехам.

II

Кстати, теперь ровно полугодие нашему изданию за нынешний год.* Можно бы, воспользовавшись случаем, кое-что сказать о нашей деятельности и о наших редакторских усилиях; помечтать и пооткровенничать, спросить вслух: что мы сделали и чего не сделали, что высказали и чего не могли высказать? и проч. и проч. — как всегда делают, когда пишут объявления об издании журнала на будущий год. Но мы всё это отложим и ответим только на несколько раз предлагавшийся нам со стороны вопрос: почему мы так мало или совсем даже не отвечаем на критики, нападения и ругательства, которые сыплются на нас беспрерывно; которые особенно сыпались в начале года и наверно будут сыпаться в конце его, перед началом подписки на будущий год? Теперь дошло до того, что мы стали выручкой для всех фельетонистов: не об чем писать — а, ну есть «Гражданин», обругать его; к тому же либеральная тема! — и ругают.

Почему же не отвечаем? Во-первых и главное: не отвечать же всякому шуту?

О, без сомнения, есть и не шуты; есть люди умные, а иногда и остроумные, есть и литературно образованные, что так редко теперь и что ценишь. Но иным из них совершенно нельзя отвечать, хотя бы иногда и хотелось, — нельзя, потому что в конце концов не знаешь,

чего сами они хотят. Не понимаешь, из-за чего они так кривят душой, так сами себе противуречат, какая их цель, что они преследуют, где их предания, в чем их будущее? Пишут они весело, а иногда действительно дельно, и вот на той же странице он же сам вдруг и опровергает себя, и опровергает с знанием дела, зная, что сам противуречит себе. Для чего это? Какие тут цели? Неужели всё это из одного литературного искусства? В конце концов и не знаешь, на что отвечать и — зачем отвечать.*

Такие есть; я собственно про летучую литературу нашу говорю. Но есть и не из летучих; есть, напротив, очень искренние. В этом случае я не мог забыть г-на Н. М. из «Отечественных записок» и о «долгах» моих ему*. Я не имею чести знать его лично и ровно ничего не имел удовольствия слышать о нем как о частном человеке. Но я всею душою убежден, что это один из самых искренных публицистов, какие только могут быть в Петербурге. Не мое совсем дело, но я никак не понимаю вражды к нему почтенного г-на Z. из «С.-Петербургских ведомостей»*, столь упорной и безостановочной. Много раз и искренно сожалел о сем обстоятельстве. Уверен, что оба эти деятеля могли бы совершенно сойтись, если бы не так враждовали друг с другом. Но не мое дело. Г-н Н. М. в первый раз поразил мое внимание своим отзывом о моих отзывах о Белинском, социализме и атеизме, а потом о моем романе «Бесы»*. Отвечать ему по поводу моего романа я немного упустил время, хотя и хотел было*; но о социализме непременно отвечу. И вообще о социализме буду писать во второе полугодие моего редакторства. Главное, никак не могу понять, что хотел мне сказать г-н Н. М., уверяя меня, что социализм в России был бы непременно консервативен?* Не думал ли он меня этим как-нибудь утешить, предположив, что я консерватор во что бы ни стало. Смею уверить г-на Н. М., что «лик мира сего» мне самому даже очень не нравится*. Но писать и доказывать, что социализм не атеистичен, что социализм вовсе не формула атеизма, а атеизм вовсе не главная, не основная сущность его, — это чрезвычайно поразило меня в писателе, который, по-видимому, так много занимается этими темами.* Пишу теперь обо всем этом к слову, именно чтоб показать на примере, как трудно теперь у нас в литературе рассуждать или спорить с кем-нибудь и о чем-нибудь, даже с непритворяющимися и простодушнейшими людьми. (NB.

Простодушие вовсе не исключает ни ума, ни таланта). Об г-не же Н. М. я именно вспомнил потому, что всё хочу ему ответить, но никак не удается.

Но зато есть такие, которым отвечать уже никак невозможно. Я не за брань их сержусь — а уж как они ругались! Но иная брань приносит только честь и ничего дурного. Я сержусь… впрочем, нет, не сержусь: и сердиться на них нельзя. Это целая толпа пишущей братии, когда-то, от предков наследовавшая несколько либеральных мыслей, но в совершенной их наготе и наивности, безо всякого их развития и толку. Что у Белинского и Добролюбова предлагалось всё же с некоторою последовательностию, то утратило у них все концы и начала Я уверен, что явись теперь опять Белинский и если им не скажут, указывая перстом, что вот это сам Белинский, то они тотчас же бросятся ругать его. Впрочем, если и укажут, то разве только подождут немного, а через месяц какой-нибудь все вдруг бросятся и начнут ругать. Толку никакого. Первая их забота, разумеется, чтоб было либерально. Но как написать либерально? — он уже и не знает, забыл; потому что никогда не имел ни одной своей мысли и совершенно не знает, что в сущности должно оказываться либеральным. Большая часть из них пишут наудачу, на всякий случай. Девочка воткнула булавку в голову другого ребенка, и вот они находят, что это хорошо, потому что либерально: она протестовала против деспотизма.* С фактами участившихся самоубийств или ужасного теперешнего пьянства они решительно не знают, что делать. Написать о них с отвращением и ужасом он не смеет рискнуть: а ну как выйдет нелиберально, и вот он передает на всякий случай зубоскаля. Для этого выработался у них отвратительнейший и глупейший тон. Взяли Хиву, и он тотчас же теряется: он не знает, либерально это или нет? Хвалить, — пожалуй, выйдет нелиберально. Восторгаться — непременно нелиберально! Хулить? Пожалуй, тоже нелиберально: Вамбери похвалил. И вот он мечется туда и сюда: «Я радуюсь… а впрочем, пожалуй, не радуюсь… впрочем, пожалуй, отчего же не радоваться, а впрочем, пожалуй, и нечему радоваться» и т. д. и т. д. — три столбца. Позубоскалить на всякий случай все-таки как будто либеральнее.*

Всего забавнее, что у них в подобных затруднительных случаях проглядывает уловка показать, что он что-то знает: «Вот только бы дали нам написать, дали б высказать; эва, что бы мы тогда насказали! А

теперь вот поневоле зубоскалим! Но зато сколько мы знаем!… И-и-и, сказать нельзя, сколько знаем!»

Неужели же отвечать таким, пускаться с ними в полемику? Только развороти муравейник — беда! Впрочем, им, видимо, приятно бы было связаться, я замечал это по многим признакам. И уж как задирали! Они объявляли меня «сыскно-полицейским писателем», в другой раз объявили крепостником, вздыхающим по «крепостному состоянию». Ну что же я стал бы им отвечать?

Вот очень недавний анекдот, довольно характерно рисующий эту среду.

Недавно в нашей газете передавалась всем теперь известная история монаха отца Нила и упоминалось о некоторых секретных похождениях его.*

При этом мы заявили, что у нас есть особенный тип таких барынь, которые хоть и очень богомольны, но вместе с тем и наклонны к некоторым уже непозволительным снисхождениям к служителям церкви. Приведем, впрочем, наши слова; тут дело именно в том, как он их понял: «…вернее сказать, пламень набожности принимает в высшей степени неестественную потребность, так сказать, усластить, заласкать, залюбить, лично и даже по-земному, самого уважаемого и чтимого ими служителя Божия. Мы заметили, что в католицизме эти случаи повторяются чаще, чем у нас, у нас же совсем даже редки… Вначале, например, из самой горячей набожности посылают служителям Божиим конфеты, сласти, не рассуждая, что, как ни невинны эти посылки, всё же они дьявольский соблазн; и затем постепенно расширяют идею о конфетах до пределов совсем непозволительных. Всего любопытнее, повторяем это, что вся эта неестественность рождается почти из похвального чувства и до того обманывает природу, что в моменты сильнейшего грехопадения уживается с молитвами, молебнами, постами и проч. Прибавим, что народу такие утонченности совсем не знакомы; они только у барынь, да еще у редких. Если же и происходят у монастырских грехи с женщинами из народа, то уже совсем как грехи — вполне откровенно и безо всякого ложного оттенка святости».

Тип отвратительный, но весьма любопытный и стоящий внимания, как болезненный нарост нашей цивилизации. Верно обрисованный художником, например, в романе, он дал бы художнику славу. И что же? фельетонист не понял ни типа, ни иронии нашего изложения. Он

вообразил, что мы *хвалим* этих барынь! Ну и тотчас же разругал: либеральная тема![*]

— Уверяю вас, — сказал мне один мой знакомый, которому я с удивлением сообщил листок, — уверяю вас, что он совершенно так понял, как написал, безо всякого коварства. Напротив, это естественное, так сказать, фельетонное отупение чувств, мыслей и всякого соображения — десятилетнее отупение от десятилетнего либерализма с чужого голоса и несвойственного его голове. Тут окончательная утрата понимания всего, что вне их приемов, привычек и ихнего казенного и вымученного фельетонного слога… утрата почти языка человеческого…

Верю. Так что даже простительно. Ну так как же этаким отвечать?

Попрошайка

«Я знал одного любопытного попрошайку, — рассказывал один раз покойный Д. — Это покойный С. Его иные помнят. Человек был умный, скромный, знавший себе свою цену, имевший свой особый, довольно любопытный род собственного достоинства и постоянно умевший водить знакомство в кругах несколько высших его собственного общественного положения. Между прочим, я заметил, что он умел отлично выпрашивать. Чего другой ни за что бы, кажется, не добился, то для чего делали. У меня был один родственник, один очень молодой человек, получивший место в Т. губернии при губернаторе. Про т. губернатора рассказывали, что человек он довольно крутой. Бедный юноша, отправляясь из Петербурга, несколько робел и чрезвычайно желал бы достать какое-нибудь частное рекомендательное письмо от влиятельного лица. Он знал, что генерал NN, один из отдаленных моих знакомых, весьма хорош с т. губернатором и что последний даже очень чем-то одолжен генералу. Но этот генерал был человек довольно чванный и неприступный, и особенно трудно было выпросить у него какое-нибудь рекомендательное письмо, даже близким знакомым его, что было уже известно по одному примеру.

— Невозможно, — решил со вздохом молодой человек, — думать нечего.

В эту минуту вошел ко мне С., и у меня вдруг мелькнула идея.

— Послушайте, ведь вы знаете генерала N? — спросил я его.

— Да, знаю. То есть я у него никогда в доме не *бывал* и не приглашен, но я почти каждую неделю встречаюсь с ним у Щ-х и много раз садился вместе в ералаш. Он охотно со мной садится.

Я изложил ему дело молодого человека. Признаюсь, я не имел особенной надежды, но у меня всё мелькала какая-то мысль. Замечу, что по некоторым причинам я мог твердо рассчитывать, что С. с удовольствием исполнил бы какую-нибудь мою просьбу, разумеется если в его силах.

— Вот если б вы попросили генерала написать две-три строчки рекомендательных, — а? — спросил я его на счастье.

С. немного подумал.

— Это можно, — сказал он.

— Ах, вы очень бы одолжили нас. Только как же, вы вот говорите, что не бываете у него в доме?

— Ничего, можно, — подтвердил С.

— Вы знаете, что он ужасно туг на подобные просьбы. Он недавно своей сестре отказал…

— Знаю, знаю, но… попробовать можно; завтра же дам и ответ.

— Как, завтра же!

И вот так оно и случилось. Назавтра же было у нас в руках самое удовлетворительное рекомендательное письмо Генерал писал губернатору:

«Любезный друг и старый товарищ Михаил Степанович, рекомендую тебе подателя сего, тебе подчиненного вновь чиновника и очень приятного молодого человека; я его не знаю и никогда не видывал, но мне так хорошо говорили о нем доверенные люди, что не усумнился написать тебе, и если обратишь на него свое *особливое* внимание, то тем самым весьма и весьма одолжишь тебя помнящего и прежнею душою преданного тебе твоего

Ивана NN».

Письмо принесено было нам нарочно незапечатанное, чтобы мы могли прочитать. Может быть, С. хотел передо мною похвастаться. Конверт же был надписан самим генералом, и, сверх того, в руках у С. была малая вензелевая печать генерала, которую тот ему доверил.

— Знаете что, ведь это почти чудо! — воскликнул я. — Как это вы устроили?

— С каждым свой прием, — засмеялся С.

— Объясните. Ужасно любопытно!

Мы сели. Молодой человек ушел, и мы остались вдвоем. С. поглядывал с самодовольствием. Во-первых, он очень был рад, что угодил мне, а во-вторых, видно было, что он сам чувствует особое удовлетворение. Это было удовольствие как бы мастера своего дела, только что победившего большую трудность.

— Я вам между нами всё это сообщу, — начал он рассказывать. — Повторю опять: со всяким свой прием. Но есть один из них очень пригодный в самых многоразличных случаях жизни. Его-то я и употребил. Вхожу я давеча к генералу в двенадцать часов; дома. Я вам уже доложил, что он очень любит со мною играть в карты; любит тоже слушать, как я иногда рассказываю. Я, вы знаете, на рассказы не

напрашиваюсь, но их любят слушать и люди мною несколько дорожат. Генерал четыре уже года встречает меня. Он очень знает теперь, что я вовсе не то что какой-нибудь приживальщик, или там какой-нибудь pique-assiette,[21] как кажется полагал обо мне прежде, еще два года назад. Но все-таки я знаю наверно и то, что, может быть, разве лишь еще через два годика он решится позвать меня наконец к себе в дом… И вот я вдруг вхожу сам, совершенно неожиданно. Генерал принимает прекрассно, но в лице вопрос, и вопрос растет всё более и более с каждой секундой. Обыкновенно мы с ним, сходясь у Щ-х, сейчас смеемся и я тотчас же что-нибудь начинаю рассказывать. Сегодня же на его смех я не отвечаю и как бы немного смущен. Тяну, однако же, и не объясняюсь. Вопрос на генеральской физиономии становится настоятельным. Вдруг прямо объявляю, что пришел с *чрезвычайною* просьбой. Подчеркните словцо *чрезвычайною* три разика. Генерал отвечает: «Что прикажете-с?», нервно дергает кресло и становится ужасно серьезным. В бровях неприятная складка. Начинаю издалека, как бы самому через силу, путаюсь, делаю вид, что конфужусь ужасно, с каждой фразой, и очень страдаю. «Есть, дескать, такие случаи в жизни… Иногда решительно не к кому обратиться… Очень, очень чувствую, как мне самому тяжело беспокоить ваше n-во. Но такие обстоятельства… Есть, так сказать, долги каждого человека… Если б вы знали, генерал, чего мне стоила настоящая решимость!.. Встречаясь с вами у ваших милых Щ-х, мне никогда даже и в мысль не могло прийти, что я буду доведен·… чтоб, как теперь вот, беспокоить, лично… и, может быть, в такой неурочный час…»

Одним словом, решительно пришел просить денег! Можете представить, что генерал давно уже начал краснеть; взгляд влажный, страдающий, не может от меня оторваться… А я-то всё напираю больше и больше, на ту же тему. По некоторому обороту фразы даю даже сообразить, что в случае, если я вправду пришел просить взаймы денег, то попрошу сумму немалую. Сообразите же теперь: я, во всяком случае, для генерала теперь уж не такой человек, которому можно резко отказать да и выпроводить. Мы на такой взаимной ноге… Мы еще долго будем вместе встречаться… Между тем мне слишком известно, что он никому и ни за что не даст денег… Кроме того, известно мне тоже, что ему очень приятно играть со мной в ералаш, — и расстаться с этой мыслью будет очень и очень трудновато. Он на прошлой неделе, когда

мы с ним разыграли одну безнадежнейшую вздачу, сказал, что ни с кем как со мной с таким удовольствием не играет… А уж после такой просьбы какой же ералаш? Одним словом, я его измучил… Я дал ему выпить всю чашу; я истощил его, он похудел у меня в эти четверть часа! И вот — только бы начать о деньгах, «тысячки, дескать, две-три, генерал, на самое короткое время», — а я вдруг, и совсем другим голосом: «Вот, дескать, молодой человек едет в Т., нуждается в рекомендации, а я поставлен в такое положение что никак не могу отказать ему. Всего две-три строчки от вас, и вы представить не можете, генерал, как бы вы меня осчастливили».

Можете представить, как он был рад! Он вскочил точно даже в каком-то восторге; гора с плеч долой! да если б я у него 4 письма спросил в эту минуту, — он бы все четыре мне написал из одной только благодарности! Сам же я ему и продиктовал. Вы только посмотрите на росчерк. По одному уже росчерку судить можете о блаженстве человека. Проводил он меня до дверей, наилюбезнейшим образом пенял, как мог я так затрудняться в таком пустом обстоятельстве! К себе, правда, всё еще не пригласил, но я слишком видел, что у него уже срывалось с губ словцо: «Да, что, дескать, Павел Михайлович, никогда не зайдете, так знаете, запросто». Условились, однако, сойтись у Щ-х. Обещал ему прелюбопытную вещицу сообщить об Александре Михайловиче. Одним словом, я вам навеки рекомендую, заключил С., если вам надо у кого-нибудь что-нибудь выпросить и если это довольно трудно, то один из самых лучших приемов это сделать вид, что пришли просить денег. Разумеется, судя по человеку чем деликатнее были прежние отношения, тем лучше. Явитесь не в урочный час, удивите приходом, сочините себе такое лицо, заведите издалека, заставьте страдать, напугайте, истомите человека, — и вдруг совсем другим голосом, прямо изложите настоящее дело. Поверьте, до того будет вам *благодарен,* что ни за что не откажет. Всё, что хотите, получите. Это самый вернейший пример. Впрочем, я вам всё это сообщаю секретно».

С. был очень доволен тем, что мне всё это сообщил, и я очень хорошо понял, почему ему так всё удавалось…

Маленькие картинки
(В дороге)

Я разумею дорогу паровую, чугунку и пароходы. Про дороги прежние, про дороги «конем», как выразился недавно один мужичок, мы, жители столиц, стали совсем забывать. А, должно быть, и на них теперь можно встретить много нового против прежних порядков. Я, по крайней мере, слышал много любопытного от рассказчиков, и так как повсеместным будто бы разбойникам я все-таки не верю вполне, то и собираюсь чуть не каждое лето проехаться куда-нибудь поглубже, по прежним дорогам, для собственного назидания и поучения. А пока милости просим на чугунку.

Ну вот мы входим в вагон. Русские люди классов интеллигентных, являясь в публику и сбиваясь в массу, всегда становятся любопытны для поучающегося наблюдателя; но в дороге особенно. У нас в вагонах заговаривают друг с другом туго; особенно характерны в этом отношении самые первые мгновения пути. Все как бы настроены друг против друга, всем как-то не по себе; оглядываются с самым недоверчивым любопытством, смешанным непременно с враждебностью, стараясь в то же время сделать вид, что не только не замечают один другого, но и не хотят замечать.

В интеллигентных отделениях поезда первые мгновения размещений и дорожных ознакомлений для очень многих суть решительно мгновения страдания, невозможного нигде, например, за границей, именно потому, что там всякий знает и тотчас же везде сам находит свое место. У нас же без кондуктора и вообще без руководителя трудно обойтись и найти себе свое место сразу, даже где бы то ни было, не только в вагонах, а даже и в вагонах с билетом в руках. Я не про одни споры из-за мест говорю. Случится спросить о чем-нибудь самом необходимом незнакомого соседа, около которого сели, — и вопрос задается в самом трусливо-услащенном тоне, точно вы рискнули на чрезвычайную опасность. Спрашиваемый, разумеется, тотчас же испугается и посмотрит с необыкновенной нервной тревогой; и хотя и ответит вдвое торопливее и услащеннее вопрошающего, тем не менее оба они, несмотря на взаимную услащенность, довольно долго еще

продолжают чувствовать некоторое преоригинальное опасение: а не вышло бы как-нибудь драки! Предположение это хоть и не всегда сбывается, но в первое мгновение, когда где бы то ни было собираются в незнакомую толпу образованные русские люди, это предположение хоть на миг, хоть в виде бессознательного лишь ощущения, а, право, должно проноситься по всем этим собравшимся вместе образованным русским сердцам

— И это вовсе не потому, — яростно заметил мне на это замечание один пессимист из «болеющих сердцем», — это вовсе не потому, что они взаимно не доверяют европеизму своего развития, непременно и потому еще, что у нас почти всякий согласен в глубинах европейской души своей, что его, пожалуй, и стоит побить… нет, о нет, бесконечно соврал! — с криком поправил себя тотчас же мой пессимист, — никогда наш европеец не сознается, что его стоит прибить! Нет, это слишком много чести ему приписать! Сознание, хотя бы лишь самое отдаленное, что тебя стоит высечь, есть уже начало добродетели, а где у нас добродетель? Лганье перед самим собой у нас еще глубже укоренено, чем перед другими. У нас всякий может почувствовать, что его стоит высечь, но никогда не сознается, даже и себе самому, что его и впрямь надо бы хорошенько вспороть.

Привожу это мнение пессимиста в виде оригинальности, отчасти лишь любопытной; сам же я не во всем с ним согласен и наклонен к мнению гораздо более примирительному.

Второй период собравшегося в дороге русского образованного общества, то есть период завязывающихся разговоров, наступает всегда почти очень скоро после первого, то есть периода трусливых высматриваний и подергиваний. Не умеют заговорить лишь вначале, а потом расходятся так, что иной раз и не удержишь. Что делать: крайности — наша черта. Виновата к тому же и наша бездарность; кто что ни говори, а у нас ужасно мало талантов в каком бы то ни было роде; напротив, ужасно много того, что называется «золотою серединою». Золотая средина — это нечто трусливое, безличное, а в то же время чванное и даже задорное. Боятся заговорить, чтобы как-нибудь себя не скомпрометировать, дичатся и совестятся умные, потому что считают всякий самостоятельный шаг как бы ниже ума своего, а глупые из гордости. Но так как русский человек по природе своей в то

же время и самый общительный и стадный человек на всем земном шаре, то и выходит, что в эту первую четверть часа все до того наконец исстрадаются, что наконец сами себе станут в тягость и примут с радостью, когда кто-нибудь первый решится разбить стекло и завязать хоть что-нибудь вроде общего разговора. На железных дорогах это разбитие стекла происходит иногда довольно забавным образом, но всегда почти несколько иначе, чем на пароходах (причину объясню ниже) Иногда над всеобщей «срединой» и бездарностью, вдруг и совсем неожиданно, возникает гениальный талант и увлекает примером своим сразу всех до единого. Вдруг объявляется такой господин, который среди всеобщего напряженного молчания и конвульсивных потуг громко и без всякого приглашения, без всякого да же повода, мало того без малейшего даже присюсюкиванья столь необходимого по нашим понятиям каждому джентльмену, когда он вдруг очутится среди незнакомого общества; без малейшей этой подленькой скандировки в выговоре самых обыкновенных слов, столь укоренившейся в некоторых наших джентльменах тотчас же после освобождения крестьян, в виде как бы обиды по этому поводу, напротив, с видом самого прежнего, старинного джентльмена начинает рассказывать всем вообще и никому в особенности не более не менее, как свою собственную автобиографию, разумеется к совершенному и недоверчивому изумлению слушателей. Все сначала даже теряются и вопросительно переглядываются друг с другом; ободряются лишь мыслию, что ведь во всяком случае это не они говорят, а он. Такой рассказ, с самыми интимными, а иногда даже и чудесными, подробностями, может продолжаться полчаса, час, сколько угодно.

Мало-помалу все начинают ощущать на себе магическое влияние таланта, — ощущают именно тем, что вовсе не находят себя обиженными, несмотря даже на всё желание того. Всех, главное, поражает то, что он никому не льстит, ни в чем ни у кого не заискивает, в слушателе решительно не нуждается, подобно тому, как нуждается в нем какой-нибудь обыкновенный, бездарный болтун; говорит же единственно потому, что не может таить в себе своего сокровища. «Хотите слушайте, хотите нет, мне всё равно; я ведь только чтоб вас осчастливить» — вот что, кажется, мог бы он сказать; между тем и этого даже не говорит, потому что все чувствуют себя совершенно свободными, тогда как в самом начале (ну, нельзя же без этого), когда

он только что начал так неожиданно говорить, разумеется, каждый почувствовал себя, в первые мгновения, как бы лично обиженным. Мало-помалу ободряются до того, что начинают его останавливать, расспрашивать, входить в подробности, ну, разумеется, со всеми возможными предосторожностями. Джентльмен с необычайным вниманием, хотя и безо всякой услащенности, тотчас же вас выслушивает и тотчас же вам отвечает — поправляет вас, если вы ошибаетесь, и немедленно соглашается с вами, если вы хоть чуть-чуть выходите правы. Но поправляя ли, соглашаясь ли, он решительно доставляет вам несомненное удовольствие; вы это чувствуете всем существом вашим, каждую минуту, и решительно не понимаете, как это он умеет хорошо так делать. Вы, например, ему только что возразили; и хоть он, не далее как за минуту, говорил совершенно противоположное, но теперь выходит, что и он говорил именно то же самое, что вы только что изволили найти нужным ему заметить, и совершенно с вами согласен, так что и вы польщены, и он сохранил свою полную независимость. Польщены же вы бываете иногда до того после иного удачного вашего возражения, да еще при всех, что начинаете оглядываться на публику с видом настоящего именинника, несмотря даже на весь ваш ум, но таково уж обаяние таланта. О, он всё видел, всё знает, везде был, везде ходил, везде сидел и только что вчера все с ним простились. Он еще тридцать лет назад приходил к известному министру, в прошлое царствование, а потом к генерал-губернатору Б-ву, жаловаться на его родственника, вот что отличился недавно своими мемуарами, и Б-в тотчас же посадил его с собой курить сигары. Таких сигар он потом никогда не куривал. Конечно, ему лет пятьдесят на вид, так что он может помнить и Б-ва, но вчера еще он провожал известного жида Ф., только что бежавшего за границу, и тот и последнюю минуту разлуки открыл ему все свои последние тайны, так что только он один во всей России и знает теперь всю подноготную всей этой истории. Пока дело шло о Б-ве, все еще были спокойны, тем более что и рассказ-то вышел из-за сигар; но при имени Ф. самые даже солиднейшие из слушателей принимают особенно заинтересованный вид; даже наклоняются несколько к рассказчику и слушают с алчностию, и при этом без малейшей даже зависти в том, что рассказчик в дружбе с таким высшим жидом а они нет. Шар «Жюль Фавр» одно надуванье и непременно лопнет[*], в франко-прусскую войну летал совсем другой[*], а

этот новый. Тут un mot de Jules Favre[22] о князе Бисмарке прошлого года ему на ухо и под секретом в Париже, впрочем, хотите верьте, хотите нет даже видно, что рассказчик особенно не настаивает, но про проект новых акцизных законов* он знает всё, что третьего дня говорилось в государственном совете, да же лучше знает, чем знают в самом государственном совете. Остроумнейший анекдот, как сострил притом *** о кабатчиках. Все улыбаются и заинтересованы очень, потому что ужасно похоже на правду. Инженерный полковник сообщает соседу вполголоса, что он давеча почти то же самое слышал и что чуть ли это не правда, кредит рассказчика мгновенно вырастает. С Г-вым он ездил в вагонах тысячу раз, ты-ся-чу раз, и тут вовсе не то тут анекдот, которого никто не знает и Незнакомцу ровно ничего не будет, потому что замешано известное лицо и лицо хочет непременно всему положить предел. Лицо простило и сказало, что не будет вмешиваться, но лишь до известной черты, а так как оба перешли черту, то лицо конечно, вмешается. Он сам тут был и все это видел, сам в станционную книгу записывал в качестве свидетеля. Примирят, разумеется.* Зато про охотничьих собак, и про известных собак, наш джентльмен говорит так, как будто в собаках-то и состояла главная задача всей его жизни. Разумеется, под конец ясно для всех, как дважды два, что он никогда не ездил с Г-вым, ровно ничего не записывал в книге, с Б-вым не курил, собак не имел, очень далек от государственного совета; тем не менее всякому, даже специалисту понятно, что он всё это знает и даже довольно прилично знает, так что очень и очень можно, не компрометируя себя, слушать. Но не в известиях дело, а в удовольствии слушать их. Заметен, впрочем, и пробел у всезнайки мало и даже почти совсем не говорит о школьном вопросе, об университетах, о классицизме и реализме и даже об литературе, — точно эти темы совсем даже и не подозреваются им. Спрашиваешь себя, кто бы это мог быть, и решительно не находишь ответа. Знаешь только, что талант, но специальности его угадать не можешь. Предчувствуешь, однако, что это тип и, как и всякий резко очерченный тип, непременно имеет свою специальность, и если ее не угадываешь, то именно потому, что не знаешь типа и его до сих пор не встречал. Особенно сбивает с толку наружность: одет широко, и портной у него был, очевидно, хороший; если летом, то непременно по-летнему, в коломянке*, в гетрах и в летней шляпе, но… всё это на нем несколько как бы ветхо, так что если

и был хороший портной, то только *был, а* теперь уже, может, и нет. Высок, худощав, очень даже, держит себя как-то не по летам прямо; смотрит прямо перед собой; вид смелый и с неотразимым достоинством; ни малейшего нахальства; напротив, благоволение во всем, но без сахару. Небольшая с проседью бородка клином, не то чтоб совсем наполеоновская, но зато самого дворянского обреза. Вообще манеры безукоризненны, а к манерам у нас очень падки. Очень мало курит, даже, может, и совсем нет. Поклажи никакой, — маленький тощий сачок, вроде ридикюльчика, несомненно заграничной когда-то выделки, теперь же непозволительно истершийся, вот и всё. Кончается тем, что такой джентльмен вдруг и совсем неожиданно исчезает, а даже непременно на какой-нибудь самой незначительной станции, на каком-нибудь самом неважном повороте куда-нибудь, куда никто и не ездит. По уходе его кто-нибудь из наиболее слушавших и поддакивавших вслух решает, что «всё врал». Разумеется, тут всегда окажутся двое таких, что всему поверили и заспорят; в противуположность им непременно окажутся двое таких, которые еще с самого начала были обижены и если молчали и не возражали «вралю», то единственно от негодования. Теперь они с жаром протестуют. Публика смеется. Кто-нибудь, доселе очень скромно и солидно молчавший, с видимым знаньем дела заявляет предположение, что это особый стародворянский тип благородного приживальщика высшей руки, сам помещик, но только маленький, благородный лентяй с чрева матери, действительно с хорошими знакомствами и всю жизнь витающий около высших людей, — тип чрезвычайно полезный в общежитии, особенно в деревенской глуши, куда зачастую заглядывает и куда особенно любит ездить гостить. С неожиданным мнением все как-то вдруг соглашаются, споры прекращаются; но стекло разбито, и разговоры завязаны. Даже и без разговоров всякий чувствует себя как дома, и всем вдруг стало совершенно свободно. А между тем все благодаря таланту.

Впрочем, если только не брать в расчет так называемых случайных скандалов и иных неминуемых неожиданностей, довольно иногда неприятных и, к несчастию, все-таки слишком частых, то по дорогам нашим, в результате, все-таки можно проехать. Разумеется, с предосторожностями.

Я уже написал однажды и напечатал, что задача проехать приятно и весело по железной нашей дороге заключается, главное, «в умении

давать врать другим и как можно более этому вранью верить[*]; тогда и вам дадут тоже с эффектом прилгнуть, если и сами вы соблазнитесь; стало быть, взаимная выгода». Здесь же подтверждаю, что и доселе придерживаюсь того же мнения и что высказано было оно мною нимало не в юмористическом, а, напротив, в самом положительном смысле. Что же собственно до вранья и особенно железнодорожного, то я уже заявил тогда же, что почти и не считаю его пороком, а, напротив, естественным отправлением нашего национального добродушия. Злых лгунов у нас почти нет, а, напротив, почти все русские лгуны-люди добрые. Не говорю, впрочем, что хорошие.

Тем не менее поражает иногда, даже и в дорогах, даже и в вагонах, некоторая внове зародившаяся жажда разговоров серьезных, жажда учителей на всевозможные социальные и общественные темы. И являются учителя. Об них я тоже писал, но то особенно поражает, что из желающих учиться и научиться всего более женщин, девиц и дам, и совершенно не стриженых[*], смею вас в том уверить. Скажите, где встретите вы теперь девицу или даму без книжки, в дороге или даже на улице? Может быть, я преувеличил, но все-таки очень много пошли с книжками, и не то чтоб с романами, а всё с похвальными книжками, с педагогическими или с естественнонаучными; даже читают Тацита в переводе[*]. Одним словом, жажды и ревности очень много, самой благородной и светлой, но… но всё это еще как-то нейдет. Ничего нет легче, как, например, уверить такую ученицу почти в чем вам угодно, особенно если кто складно умеет поговорить. Женщина глубоко религиозная вдруг, в ваших глазах, соглашается с выводами почти атеистическими и с рекомендуемым применением их. А уж насчет педагогии, например, так чего-чего им не внушают и чему-чему они не способны уверовать! Содрогание пройдет иногда при мысли, что она, приехав домой, тотчас и начнет применять на детях и на супруге то, чему ее научили. Ободряешься лишь догадкой, что, может быть, она вовсе и не поняла учителя, или поняла совершенно противуположно, и что дома спасет ее инстинкт матери и супруги и здравый смысл, столь сильный в русской женщине, даже с изначала русских веков. Но смысл смыслом, а все-таки пожелать надо и научного образования, только твердого и настоящего, а не то что из всяких книжек да по вагонам. Тут самые похвальные шаги могут обратиться в плачевные.

Хорошо на наших дорогах и то, что, — опять-таки если не считать

разных «случаев», — можно проехать почти что incognito всё время пути, молча и ни с кем даже не заговаривая, если уж очень говорить не желаешь. Теперь только разве одни священники прямо начинают с расспросов: кто вы, куда едете, по каким делам и чего ожидаете. Но, впрочем, и этот благодушный тип, кажется, переводится. Напротив, даже и в этом роде бывают, с недавнего времени, пренеожиданные встречи, так что глазам не веришь.

На пароходах, как я сказал уже, разговоры завязываются несколько иначе, чем в вагонах. Причины естественные, и во-первых, уже то, что публика *избраннее.* Я, конечно, говорю лишь про пароходную публику первого класса, про публику *на корме.* Про публику *носовую*, то есть второго разряда, и говорить не стоит; да и не публика она, а просто пассажиры. Там мелкотравчатые, там узлы с поклажей, давка и теснота, там вдовы и сироты, там матери кормят грудью детей, там общипанные старички, получающие пенсию, там переезжающие священники, целые артели рабочих, мужики с своими бабами и краюхами хлеба в мешках, пароходная прислуга, кухня. Кормовая публика, везде и всегда, совершенно игнорирует носовую и не имеет об ней никакого понятия. Может быть, покажется странным мнение, что пароходная «первоклассная» публика всегда *избраннее,* чем даже соответственного разряда в вагонах. В сущности, конечно, это неправда, да и вся эта публика, чуть лишь приедет домой и сойдет с парохода, немедленно в недрах семейств своих понижает свой тон даже до самого натурального·но покамест семейство это на пароходе, оно поневоле подымает свой тон до нестерпимо великосветского, единственно чтоб казаться не хуже других. Вся причина в том, что больше пространства где поместиться и больше досугу, чтоб поковеркаться, чем на железной дороге, то есть, как я сказал уже, причина естественная. Тут не так сбиты вместе, публика не рискует образовать из себя *кучу*, не так быстро летят, не так подчинены необходимости, закону, минуте, заснувшим или расплакавшимся детям; тут вы не принуждены обнаруживать иные ваши инстинкты в таком натуральном и утопленном виде; напротив, тут всё похоже на строгую гостиную; входя на палубу, вы как будто званый и входите в гости. Между тем вы все-таки связаны пятью-шестью часами совместного пути, пожалуй, целым днем пути, и непременно знаете, что надо доехать вместе и почти

познакомиться. Дамы почти всегда лучше одеты, чем бывает это в вагонах, дети ваши в самых очаровательных летних костюмах, если только вы хоть сколько-нибудь себя уважаете. Разумеется, и тут иногда встречаются дамы с узлами и отцы семейств, совсем как настоящие отцы у себя дома, иные даже с детьми на руках и с надетыми орденами на всякий случай; но это лишь низкий тип «взаправду путешествующих», принимающих дело плебейски серьезно. В них нет высшей идеи, а одно только утопленное чувство самосохранения. Настоящая публика немедленно игнорирует этих жалких людей, хотя бы они сидели подле, да и сами они тотчас же начинают понимать свое место и хоть крепко займут оплаченные свои места, но перед общим тоном совершенно и покорно стушевываются.

Одним словом, пространство и время изменяют условия радикально. Тут даже и самый «талант» не мог бы начать с своей автобиографии, а должен бы был поискать другого пути. Может, даже и совсем бы не имел успеха. Тут разговор почти не может завязаться из одной только дорожной необходимости. Главное, тон разговоров должен быть совершенно другой, «салонный», а в этом вся сущность. Само собою, если пассажиры незнакомы друг с другом предварительно, то стекло еще труднее разбивается, чем в вагоне. Общий разговор на пароходе чрезвычайная редкость. Собственные же страдания от собственного лганья и кривляний, особенно в первые мгновения пути, даже значительнее, чем в вагоне. Если вы хоть чуть-чуть внимательный наблюдатель, то наверно будете поражены, как можно столько налгать в какую-нибудь четверть часа, сколько налгут все эти пышные дамы и столь уважающие себя их супруги. Конечно, всё это встречается всего чаще, и в самом чистом виде, в поездках, так сказать, увеселительных, каникулярных, в поездках от двух до шести часов всего пути. Лгут же всем: манерами, красивыми позами; каждый как будто каждое мгновение заглядывает на себя в зеркало. Пискливой скандировки фраз, самой неестественной и противной, самого невозможного произношения слов, с каким никто бы не решился произносить их, если бы только чуть-чуть уважал себя, кажется, еще больше, чем бывает в вагонах. Отцы и матери семейств (то есть пока не завязалось еще никакого общего разговора на палубе) стараются говорить между собою неестественно громко, из всех сил желая показать, что совсем как у себя дома, но тотчас же и постыдно не выдерживают характера:

заговаривают между собою о совершенных пустяках, ужасно не идущих к делу, к месту и к положению, а иногда муж обращается к жене совершенно как незнакомый кавалер к незнакомой ему даме где-нибудь в гостях. Вдруг быстро и без причины обрывают уже завязанный разговор, да и вообще говорят более отрывками; нервно и беспокойно оглядываются на соседей, следят за взаимными ответами с недоверчивостью и даже с испугом, а иной раз даже и совсем краснеют один за другого. Если же случится им (то есть заставит необходимость) заговорить друг с другом о чем-нибудь прямо идущем к делу и к положению, и об чем всякому мужу с женой может случиться нужда переговорить в начале дороги, — об чем-нибудь хозяйственном, например, или семейном, о детях, о том, что у Мишеньки кашель, а здесь свежо, или у Сонички слишком подымаются юбочки, — то конфузятся и быстро начинают шептаться, чтоб по возможности никто их не расслышал, хотя в том, что они говорят, ровно ничего нет неприличного или предосудительного, а напротив — всё достойно самого полного уважения, тем более что все эти дети и хлопоты не у них одних, а точно так же есть и у всякого, даже на этом самом пароходе. Но именно эта-то самая простейшая идея ни за что и не приходит им в голову и даже иметь ее кажется им ниже их достоинства. Напротив, каждая семейная группа более наклонна, хотя и с завистью, принять чуть не всякую другую семейную группу на этой палубе за нечто, во-первых, хоть градусом высшее себя, во-вторых, за нечто из какого-то особого мира, вроде как из балета, но уж ни под каким видом за людей, тоже могущих иметь, подобно им, хозяйство, детей, нянек, пустой кошелек, долг в лавочке и проч. Такая мысль была бы даже слишком для них оскорбительною; безотрадною даже; разрушала бы, так сказать, идеалы.

На пароходах к числу первых начинающих вслух заговаривать можно причислить, почти прежде всех, гувернанток, — разумеется, разговоры с детьми и на французском языке. Гувернантки в обществе средней руки большею частию всегда одного пошиба, то есть все молоденькие, все недавно из учебного заведения, все не совсем хороши собою, но и никогда не бывают вполне дурны; все в темных платьицах, все с стянутыми тальями, все стараются выказать ножку, все с гордою скромностью, но и с самым непринужденным видом, свидетельствующим о высокой невинности, все до фанатизма преданы

своим обязанностям, у каждой непременно с собою английская или французская книжка благовоспитанного содержания, чаще всего какое-нибудь путешествие. Вот она берет на руки двухлетнюю девочку, а сама, не спуская глаз, строго, но с любовью, зовет заигравшуюся шестилетнюю сестру ребенка (в соломенной шляпке с незабудками, в белом коротеньком с кружевцами платьице и в очаровательных детских ботиночках) своим гувернантски-французским языком «Wera, venez-ici»,[23] — непременно классическое «ve-nez-ici», и непременно с сильнейшим ударением на соединительном звуке «zi». Мать семейства, полная и необычайно высшего общества женщина (муж ее тут же — европейского, хоть и помещичьего, вида господин, росту не малого, более плотен, чем худощав, с легкою проседью, с белокурою бородой, хоть и длинною, но несомненно парижской модели, в белой пуховой шляпе, одет по-летнему, чина сомнительного), — мать семейства немедленно замечает, что гувернантка, взяв на руки двухлетнюю Нину, берет на себя лишний труд, не выговоренный в условии, и чтоб напомнить той, что она вовсе не так-то это ценит, необычайно ласковым голосом, исключающим, однако, малейшую мечту в подчиненной девице о праве на дальнейшую фамильярность, замечает, что ей с Ниной должно быть «тя-же-ло» и что надо кликнуть няньку, причем беспокойно и повелительно осматривается вокруг, чтобы отыскать улизнувшую няньку. Европейский супруг ее делает даже недоконченное движение в том же смысле, будто желая бежать отыскивать няньку, но одумывается и остается, и видимо доволен, что все-таки одумался и не побежал за нянькой. Он, кажется, немножко на посылках у своей высшей дамы-супруги и в то же время принимает это к сердцу. Гувернантка спешит успокоить насчет себя высшую даму, уверяя вслух и нараспев, что она «так любит Нину» (страстный поцелуй Нине). Тут опять легкий окрик по-французски на Веру, с тем же «zici», но любовь так и сверкает из глаз этой преданной девицы даже и к виноватой Вере. Вера наконец подбегает подпрыгивая и фальшиво ластится (шести-семилетний ребенок, еще в чине ангела, и тот уже лжет и коверкается!) Мамзель немедленно начинает на ней оправлять, без всякой впрочем необходимости, колеретку[*]; затем и звала ее…

Пароходу этому всего шесть часов пути, и поездка почти что увеселительная. Повторяю опять: без сомнения, два-три дня пути, где-

нибудь по Волге или из Кронштадта в Остенде, взяли бы свое: необходимость разогнала бы гостиную, балет полинял бы и растрепался, и стыдливо припрятанные инстинкты выскочили бы наружу в самом открытом виде, даже радуясь своему праву выскочить. Но три дня и шесть часов — разница, и на нашем пароходе всё осталось в самом «чистом виде» с начала и до конца. Вот мы понеслись, в прелестный июньский день, в десятом часу утра, по тихому и широкому озеру. Носовая часть парохода клонится от «пассажиров», но там это лишь всякая всячина, о которой мы ровно ничего знать не хотим; у нас же, как я сказал, свой салон. Есть, впрочем, и у нас из таких, что везде собой задают задачу, так что, по правде, и не знаешь, что с ними делать, например немец-доктор с семейством, состоящим из его муттер и из трех германо-косоротых девиц, на которых трудно, чтоб кто-нибудь из русских женихов мог польститься. Для всех этих лиц наш закон не писан. Старик доктор совершенно в своей тарелке; он уже надел свою дорожную клеенчатую немецкую фуражку, весьма глупой формы, и сделал это нарочно для независимости, то есть, по крайней мере, это нам так кажется. Но взамен этого недоумения есть одна прехорошенькая дамочка и инженер-полковник, есть старушка мать с тремя несколько перезрелыми, но весьма шиковатыми дочками средне-высшего петербургского генеральского круга, девицами, должно быть, задорными и уже видавшими виды. Есть два хлыща, один художник, есть юнкер и есть кавалерийский офицер из одного известного гвардейского кавалерийского полка; но он держит себя в каком-то надменном уединении и молчит свысока, конечно считая себя не в своем обществе, и это всем у нас, очевидно, нравится. Но всех более обращает на себя внимания и занимает собою места очутившееся вместе с нами *начальство*. Это, впрочем, весьма добродушного вида превосходительство, в фуражке и в полуформе. Все сейчас же узнают, что это самый старший чиновник и, так сказать, «хозяин губернии»; утверждают даже, что он теперь едет что-то «обозревать». Вероятнее, что он просто провожает свою супругу и семейство недалеко, на летнюю их резиденцию. Супруга его замечательно красивая дама, лет тридцати шести или семи, из знатной фамилии С-х (о чем отменно хорошо знают на пароходе), едет со всеми четырьмя детьми (всё девочки, старшей лет десять), с гувернанткой-швейцаркой и, к негодованию некоторых наших дам, держит себя слишком по-

мещански, хотя и нестерпимо «подымает нос». Одета по-будничному, «и это теперь у них в моде, у ма-те-рей се-мей-ств», — протянула вполголоса одна из генеральских дочек, с завистью осматривая изящный фасон слишком скромного платья супруги хозяина губернии. Обращает тоже отменное и даже несколько высшее на себя внимание один высокий, худощавый, с сильною проседью джентльмен, лет уже примерно пятидесяти шести или семи, и независимо усевшийся почти на самом проходе на пароходном складном стульчике, решительно спиною к публике, и через борт лениво и беспредметно смотрящий на воду. Всем известно, что это *такой-то,* камергер и щеголь в прошлое царствование, и хоть не бог знает какого значения теперь, но зато самого высшего круга барин, проживший много в своей жизни денег и что-то очень долго скитавшийся в последнее время за границей. Он одет даже несколько и небрежно и вида самого партикулярного, но осанка самого безукоризненного русского милорда и даже почти без примеси французского парикмахера, что уже одно составляет совершенную редкость в настоящем русском англичанине. У него на пароходе два лакея, а с ним собака сеттер удивительной красоты. Она ходит по нашей палубе и, желая познакомиться, тычет нос между коленками сидящей публики, видимо наблюдая очередь. И хоть это скучно, но никто этим не обижается, а некоторые из нас даже пробуют и погладить собаку, но непременно с видом знатоков, совершенно умеющих оценить достоинство дорогого пса и у которых завтра же может быть у каждого точно такой же сеттер. Но сеттер ласки принимает равнодушно, как настоящий аристократ, и у колен остается неподолгу и хоть машет чуть-чуть хвостом, но лишь из светской вежливости, лениво и равнодушно. У милорда, очевидно, знакомых здесь нет, но по обрюзглому и разваренному виду его совершенно ясно, что ему никого и не надо, и не из принципа какого-нибудь, а просто потому, что не надо. К административному значению «хозяина области» он, на складном своем стульчике, в высшей степени равнодушен, и равнодушие это тоже в высшей степени беспринципное. Но уже видно, что разговор между ними несомненно готов завязаться. Администратор похаживает около складного стульчика и из всех сил желает заговорить. Он хоть и женат на урожденной С-и, но сам со свойственным ему прямодушием, кажется, признает себя на довольно крупную степень пониже милорда, — разумеется, безо всякой потери достоинства; вот эту-то

последнюю задачу и предстоит теперь разрешить ему. Тут вертится один господин «со второй ступеньки», и, по его старанью, хозяин и милорд как-то успели уже случайно и без предварительного ознакомления перебросится двумя словами. Поводом послужило известие, сообщенное господином «со второй ступеньки», об одном соседнем губернаторе, тоже известном аристократе, и который за границей, спеша на воды к своему семейству, как-то вдруг сломал себе в вагоне ногу. Наш генерал поражен ужасно, и ему очень хотелось бы узнать подробности. Милорд знает подробности и довольно обязательно уже промямлил сквозь вставные свои зубы две-три пары слов, впрочем не глядя на генерала и даже неизвестно кому говоря, — ему или вестовщику «со второй ступеньки». Генерал с искренним нетерпением стоит над стулом, заложа за спину руки, и ждет. Но милорд решительно неблагонадежен и, пожалуй, вдруг замолчит и забудет, о чем говорил. По крайней мере, у него вид такой. Животрепещущий господин «со второй ступеньки» так и дрожит над ним, желая не дать ему замолчать. Он поставил себе священнейшим долгом свести обоих высших джентльменов и познакомить их между собою.

Замечательно, что таких господ «со второй ступеньки» всегда довольно в дороге, особенно около «старших» лиц, и уже по тому одному, что в дороге их некуда отогнать. Но их и не отгоняют, потому что они довольно полезны, разумеется если сами находятся в известных благоприятных и подходящих условиях. У нашего, например, даже орденок на шее, и сам он хоть и в гражданской, но в форменной какой-то одежде, и фуражка у него с каким-то форменным околышем, — стало быть, в некотором отношении приличен. Такой господин так и начинает с того перед старшим лицом, что всем своим существом выражает собою, без слов, одной фигурой, в виде предупреждения: «Ведь я со второй ступеньки; на равную ногу не бью, ни за что, и на первую ступеньку к вам не покушусь. Обидеться на меня вы никак не можете, ваше превосходительство, а развлечь вас я могу даже со счастьем себе-с, так что вы всегда можете ответить мне сверху вниз на вторую ступеньку, а я свое место даже до гроба моего всегда знаю-с». Без сомнения, ясно, что эти господа бьются из выгоды, но «чистый тип» подобных господ действует даже и без расчета на выгоду, а из некоторого чиновничьего вдохновения; вот в таком-то случае он и

полезен, тут-то он и искренно весел, тут-то он и простодушен до того, что в нем даже исчезает лакей; а выгода его все-таки приходит сама собою, как факт и необходимое следствие.

К начинающемуся разговору «двух высших лиц» все на палубе становятся вдруг чрезвычайно внимательны; не то чтоб они желали тоже примкнуть, это было бы даже слишком, а хоть поглядеть и послушать. Иные уже бродят около, но более всех страдает европейский муж «высшей дамы». Он чувствует, что мог бы не только подойти, но даже и в разговор ввязаться, и что даже имеет на то некоторое свое право: генералы генералами, а Европа Европой, как ведь там хотите. И совсем, совсем бы он не хуже других мог поговорить о губернаторе, сломавшем за границею ногу! Он даже думает с этою целью поласкать сеттера и с этого как-нибудь и начать, но гордо отдергивает уже протянувшуюся руку и даже вдруг ощущает непреодолимое побуждение задать сеттеру ногою пинка. Мало-помалу он принимает как бы уединенный и обиженный вид, на минутку отходит и начинает всматриваться в блестящую даль озера. Супруга его, он видит это, смотрит на него с самой ехидной иронией. Этого он не выдерживает и возвращается опять к «разговору», ходит и бродит около разговора, как душа в чистилище. И если безгрешная душа эта способна хоть что-нибудь ненавидеть, то ненавидит она в эту минуту господина со «второй ступеньки», ненавидит изо всех сил, и не будь только этого господина со второй ступеньки, ничего бы, может, и не было из того, что далее произошло!

— Те-ле-гра-фи-ровал сюда, — скандирует сухопарый милорд, следя за сеттером и едва отвечая генералу, — и я в первую минуту, во-об-ра-зите себе, по-те-ря-лся…

— Вероятно, вам родственник? — желал бы осведомиться генерал, но сдерживает себя и ждет.

— И представьте, семейство в Карлсбаде, а он те-ле-гра-фи-ровал, — опять бессвязно шамкает милорд, наладив одно: «телеграфировал».

Его превосходительство продолжает ждать, хотя в лице его изображается сильнейшее нетерпение. Но милорд вдруг умолкает совершенно и решительно забывает о разговоре.

— Ведь у него, кажется… главное его именье… в Тверской

губернии? — решается наконец сам спросить генерал с некоторым стыдом неуверенности.

— Оба, оба су-хо-щавые, и Яков и А-ри-старх… Оба брата. Брат теперь в Бес-са-ра-бии. Яков ногу сломал, а Аристарх в Бес-са-ра-бии.

Генерал вздергивает голову и находится в чрезвычайном недоумении.

— Су-хо-ща-вые, а именье женино, от Га-ру-ни-ных. Она у-рож-денная Га-ру-ни-на.

— А! — радуется генерал. Он видимо доволен тем, что «она Гарунина». Он теперь понимает.

— Добрейший, кажется, человек, — с жаром восклицает он… — Я его знал… то есть я именно думал здесь познакомиться… благороднейший человек!

— Добрейший человек, ваше превосходительство, добрейший! и знаете, именно как вы изволили сейчас определить: «добрейший-с!» — горячо ввязывается развязный человечек со второй ступеньки, и неподдельный восторг сияет в глазах его. Он осанисто озирается на пассажиров и чувствует себя нравственно выше всех нас остальных на палубе.

Этого уже совершенно не выдерживает европейский господин, скитающийся «около разговора». Увы, тут даже целый фатум!

В том, главное, фатум, что супруга его, «высшая дама», когда-то еще в девицах была чуть не подругой супруги «хозяина губернии», урожденной С-и, и тогда еще тоже девицы. «Высшая дама» — тоже чья-то «урожденная» и тоже причисляет себя к существам несколько высшего типа, чем супруг ее. Вступая давеча на пароход, она отлично знала, что хозяйка губернии тоже поедет на пароходе, и рассчитывала с ней «встретиться». Но увы, они не «встретились», и даже с первого шагу, с первого взгляда обозначилось с необычайною ясностию, что и не могут встретиться! «И всё это из-за несносного этого человека!»

А «несносный этот человек», с своей стороны, слишком хорошо знает бессловные мысли своей супруги и слишком приучился их узнавать в семилетие своего супружества. А между тем и он «в Аркадии рожден»[*]. У него здесь, в этой же губернии, в старину было восемьсот даже душ! На выкупные они и проездили все эти семь лет за границей и даже на дубовую рощу (триста десятин-с!), проданную еще три года

назад. И вот они теперь возвратились в отечество, даже четыре уже месяца как в отечестве, и едут теперь в развалины своего поместья, сами не зная зачем. Главное, высшая дама, кажется, и знать не хочет, что уже нет более ни выкупных, ни дубовой рощи. Но всего более она раздражена тем, что вот уже они четыре месяца как воротились, а ей всё ни с кем не удается «встретиться». Случай с генеральшей не первый. «И всё из-за него, из-за этого ничтожного человечишка!»

— Что в том, что у него европейская борода, зато ни значения, ни чинишка, ни связей! Он ничего не сумел сам выдумать, даже жениться сам не сумел. И как могла я за него выйти. Я бородой прельстилась! Пусть он там говорит, что беседовал с Миллем и способствовал низвержению Тьера*; ведь за это ему здесь ничего не дадут; да к тому же и врет: если б Тьера низвергал, я бы видела…

Счастливый муж великолепно, отлично знает, что таковы именно мысли о нем его «высшей дамы», и именно в эту минуту. Она не высказала ему желания «встретиться» с хозяйкой губернии, но он знает, что если не устроит ей этой встречи, то это причтется ему уже на всю жизнь. К тому же он сам непременно хочет, чтобы она первая созналась, что он не только с Миллем, но даже и с отечественными генералами может поговорить, что он тоже птица, и не простая какая-нибудь, а настоящая птица каган. Увы, вот это-то добровольное признание супругою его совершенств и составляло, в сущности, главнейшую задачу всей его столь манкированной жизни, и даже всю цель ее, с самых первых часов супружества! Как это так устроилось, слишком долго передавать, но это было так, и тут было всё и ничего более. И вот он вдруг нервно, потерянно, шагает вперед и становится прямо против милорда.

— Я… генерал… я тоже был в Карлсбаде, — лепечет он с дубу генералу, — и, представьте, генерал, там при мне тоже был случай с ногой… Это вы про Аристарха Яковлевича изволили говорить? — ужасно быстро повертывается он вдруг к милорду, не выдержав генерала.

Генерал вздергивает голову и с некоторым удивлением смотрит на подбежавшего господина, который говорит, а сам весь трясется. Но милорд не вскинул даже и головы, а между тем, о ужас, протягивает руку, и европейский господин ясно чувствует, что милорд, упираясь рукой с боку в его ноги, с силою отстраняет его с места. Он вздрагивает,

смотрит вниз и вдруг замечает причину: забежав и легкомысленно поместившись между скамейкой и стульчиком милорда, он и не заметил, как задел лежавшую на скамейке трость его, которая уже скользит и готова упасть со скамейки. Он быстро отскакивает, трость падает, и милорд с ворчаньем нагибается поднять ее. В то же самое мгновение раздается ужасный визг: это сеттер, которому отскочивший на два шага господин отдавил лапу. Сеттер визжит нестерпимо, нелепо; милорд всем корпусом поворачивается на стульчике и яростно скандирует господину:

— Я вас по-кор-нейше прошу оставить в по-кое мою со-ба-ку…

— Это не я. Это она сама… — бормочет собеседник Милля, желая провалиться сквозь палубу.

— Вы не поверите, вы не поверите, сколько я должна была выстрадать из-за этого без-дар-ного человека! — слышится ему сзади яростный полушепот его супруги на ухо гувернантке, и даже не слышится, а только всем существом предчувствуется, а супруга, может быть, и не шептала ничего гувернантке…

Но ведь уж всё равно! Он не только решается провалиться сквозь палубу, но даже готов стушеваться куда-нибудь на нос, спрятаться у колеса. Так, кажется, и делает. По крайней мере, в остальную часть пути его что-то не видно у нас на палубе.

Всё кончается у нас тем, что администратор не выдерживает и, познакомив милорда с своей супругой, сам отправляется в каюту, где стараньями капитана уже изготовлен карточный стол. Все знают маленькую слабость администратора. Господин со второй ступеньки всё уже устроил и добыл позволительных по обстоятельствам партнеров: приглашены — один чиновник, состоящий при постройке ближайшей железной дороги, с каким-то неестественной величины жалованьем и уже несколько знакомый его превосходительству, и инженер-полковник, хотя и незнакомый, но согласившийся составить партию. Этот держит себя угрюмо и туповато (от наплыва собственного достоинства), но разыгрывает партию хорошо. Железнодорожный чиновник несколько тривиален, но умеет сдерживаться; господин же со второй ступеньки, севший за четвертого, ведет себя совершенно так, как ему надо вести себя. Генерал испытывает большое удовольствие.

А милорд между тем знакомится с генеральшей. О том, что она

урожденная С-я, он совсем позабыл и не догадывался. Теперь он вдруг припомнил ее еще шестнадцатилетней девочкой. Генеральша обращается с ним несколько свысока и как будто небрежно, но это всё только вид. Она вяжет какое-то вязанье и едва глядит на него; но милорд становится чем дальше, тем милее; он одушевляется, правда, шамкает и брызгается, но так отлично рассказывает (разумеется, по-французски), припоминает такие прелестные анекдоты, такие действительно остроумные вещи… А сколько он знает сплетен! Генеральша улыбается всё чаще и чаще. Обаяние прелестной женщины действует на милорда до странности, он всё ближе и ближе подвигает к ней свой стульчик, он, наконец, совсем как-то раскисает и как-то странно хихикает… Этого уже окончательно не может вынести несчастная «высшая дама». С ней делается тик (tic douleureux[24]), она переходит в дамскую каюту, в особое отделение, вместе с гувернанткой и с Ниной. Начинаются уксусные примочки, раздаются стоны. Гувернантка чувствует, что «утро потеряно», и решительно дуется. Она не хочет заговаривать, усадила Веру, а сама смотрит в книжку, которую, впрочем, не читает.

— Это с ней, однако же, в первый раз во все три месяца, — меряет ее глазами страдающая дама. — Она бы должна говорить, должна! Меня развлекать должна, меня сожалеть; она гувернантка, она должна юлить, распинаться, это всё, всё через этого, человечишку! — и она с ненавистью продолжает коситься на девицу. Заговорить же с ней сама не хочет из гордости. Девица между тем мечтает про только что покинутый Петербург, про бакенбарды двоюродного братца, про офицера, его приятеля, про двух студентов. Мечтает об одной компании, где так много собирается студентов и студенток и куда ее уже приглашали.

«А черт бы драл! — решает она окончательно, — пробуду у этих езопов еще месяц, и если всё так же будет скучно, удеру в Петербург. А жрать будет нечего, пойду в акушерки. Наплевать!»

Пароход наконец подходит к пристани, и все бросаются к выходу, как из спертого темничного воздуха. Какой жаркий день, какое ясное, прекрасное небо! Но мы на небо не смотрим, некогда. Мы спешим, спешим; небо не уйдет.

Небо дело домашнее, небо дело не хитрое; а вот жизнь прожить —

так не поле перейти.

Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга

I

Тритон

Вчера, 27-го июля, на Елагином острове[*] на закате солнца, в прелестное тихое время, вся гуляющая великосветская публика была невольною свидетельницею забавного приключения. На поверхности пруда вдруг показался выплывший тритон[*], по-русски водяной, с зелеными влажными волосами на голове и бороде, и, удерживаясь на волнах, начал играть и выделывать разные штуки. Он нырял, вскрикивал, смеялся, плескался водой, стучал своими длинными и крепкими зелеными зубами, скрежеща ими на публику. Появление его произвело обычное в таких случаях впечатление. Дамы бросились к нему со всех сторон кормить его конфетами, протягивая к нему свои бонбоньерки. Но мифологическое существо, выдерживая древний характер водяного сатира, принялось выделывать перед дамами такие телодвижения, что все они бросились от него с визгливым смехом, пряча за себя своих наиболее взросших дочерей, на что водяной, видя это, крикнул им вслед несколько весьма и весьма бесцеремонных выражений, что усугубило веселость. Он скоро, впрочем, исчез, оставив по себе на поверхности воды лишь несколько водяных кругов, а в публике недоумение. Стали сомневаться и не верить, хотя видели собственными глазами, — конечно, мужчины, дамы же все стояли за то, что это был настоящий тритон, точь-в-точь как бывают на столовых бронзовых часах. Некоторые выразили мысль, что это будто бы какой-то Пьер Бобо[*], всплывший для оригинальности. Разумеется, предположение не устояло, потому что Пьер Бобо всплыл бы непременно во фраке — и в фоколях[*], хотя бы и мокрых. Тритон же был точь-в-точь как ходили древние статуи, то есть без малейшей одежды. Но явились скептики, которые начали даже утверждать, что всё происшествие есть не что иное, как политическая аллегория и тесно связано с восточным вопросом, только лишь разрешившимся в данную

минуту на Берлинском конгрессе*.

Несколько минут продолжалась даже идея, что это английские штуки и что всё это проделывает всё тот же великий жид * для британских интересов с хитрою целью отвлечь нашу публику, начиная с дам, рядом эстетически шаловливых картин от воинственного задора*. Немедленно, впрочем, поднялись возражения, основанные на том, что лорд Биконсфильд теперь за границей, что его теперь встречают в Лондоне и что слишком много нам, русским медведям, чести, чтоб он сам влез в русский пруд для эстетического наслаждения наших дам с политическими целями, что у него и без того своя дама в Лондоне, и проч. и проч. Но слепота и азарт наших дипломатов неудержимы: начали кричать, что если не сам Биконсфильд, то почему же не быть господину Полетике, издателю «Биржевых ведомостей», жаждущему мира*, и что именно его-то могли бы избрать англичане для представления тритона. Но и это всё быстро рухнуло в том соображении, что хотя господин Полетика, может быть, и способен на телодвижения, но все-таки без достаточной античной грации, из-за которой всё прощается и которая одна могла бы прельстить наших дачниц. Подоспел притом какой-то господин, который как раз сообщил, что господина Полетику видели в том же самом часу совсем на противоположном краю Петербурга в одном месте. Таким образом предположение об античном тритоне всплыло опять на поверхность, несмотря на то что сам тритон давно уже сидел в воде. Замечательнее всего, что за античность и мифологичность тритона особенно стояли дамы. Им чрезвычайно этого хотелось, конечно для того, чтоб прикрыть откровенность своего вкуса, так сказать, классицизмом его содержания. Так точно мы ставим в наши комнаты и сады раздетые совершенно статуи, именно потому, что это мифологические, а следовательно и классические, антики, и, однако, не подумаем вместо статуй поставить, например, обнаженных слуг, что еще можно было бы сделать во времена крепостного права; даже и теперь можно, и тем скорее, что слуги исполнили бы всё это не только не хуже, но даже и лучше статуй, потому что они во всяком случае натуральнее. Вспомните тезис о яблоке натуральном и яблоке нарисованном*. Но так как не будет мифологичности, то этого и нельзя. Спор зашел на почве чистого искусства так далеко, что, говорят, был даже причиною нескольких семейных ссор мужей с своими прекрасными половинами, стоявшими

за чистое искусство, в противоположность политическому и современному направлению, которое мужья их усматривали в совершившемся факте. В этом последнем смысле имело особенный и почти колоссальный успех мнение известного нашего сатирика, г-на Щедрина. Быв тут же на гулянье, он не поверил тритону и, рассказывали мне, хочет включить весь эпизод в следующий же номер «Отечественных записок» в отдел «Умеренности и аккуратности». Взгляд нашего юмориста очень тонок и чрезвычайно оригинален: он полагает, что всплывший тритон просто-напросто переодетый, или, лучше сказать, раздетый донага, квартальный*, отряженный еще до начала сезона, тотчас же после весенних наших петербургских волнений*, на всё лето в пруд Елагинского острова, на берегах которого столь много гуляет дачников, для подслушивания из воды преступных разговоров, буде таковые окажутся. Догадка эта произвела впечатление потрясающее, так что даже дамы перестали спорить и задумались. К счастью, известный наш исторический романист г-н Мордовцев, случившийся тут же, сообщил один исторический факт из истории нашей Северной Пальмиры, никому не известный, всеми забытый, но из которого оказалось ясным, что всплывшее существо — настоящий тритон и, сверх того, совершенно древний. По сведениям г-на Мордовцева, добытым из древних рукописей, этот самый тритон доставлен был в Петербург еще во времена Анны Монс, единственно чтоб понравиться которой Петр, как известно г-ну Мордовцеву, совершил свою великую реформу*. Античное чудище привезено было вместе с двумя карликами, бывшими тогда в чрезвычайной моде, и шутом Балакиревым*. Всё это привезено было из немецкого городка Карлсруэ. Тритон же в кадке с карлсруйской водой для того, чтобы по переходе в Елагин пруд мог тотчас же найти около себя сопровождавшую его стихию. Но когда опрокинули в пруд карлсруйскую кадку, то злой и насмешливый тритон, невзирая на то что за него так дорого заплатили, нырнул в воду и ни разу потом не появился на поверхности, так что о нем все забыли до самого июля сего года, когда ему вдруг почему-то вздумалось о себе напомнить. В прудах же они могут жить припеваючи по нескольку даже веков. Никогда ученое сообщение не принималось публикою с таким восторгом, как это. Позже всех прибежали русские естественные ученые, иные даже с других островов: г-да Сеченов, Менделеев, Бекетов, Бутлеров и tutti

quanti*.[25] Но они застали лишь вышеупомянутые круги на воде да умножившийся скептицизм. Конечно, они не знали, на что решиться, и стояли как потерянные, на всякий случай отрицая явление. Всех более заслужил симпатии один очень ученый профессор зоологии: он прибежал позже всех, но в совершенном отчаянии. Он бросался на всех и ко всем, расспрашивал о тритоне с жадностью и почти плакал, что его не увидит и что зоология и свет потеряли такую тему!* Но окружающие городовые отвечали нашему зоологу немогузнаньем, военные смеялись, биржевики смотрели свысока, а дамы, как трещотки, окружив профессора, сообщали ему лишь о телодвижениях, так что наш скромный ученый принужден был наконец заткнуть себе пальцами уши. Горестный профессор тыкал палочкой в воду близ того места, где скрылся тритон, бросал маленькими камушками, выкрикивал: «Кусь, кусь, сахарцу дам!», но всё тщетно — тритон не выплыл… Впрочем, все остались довольны… Прибавьте ко всему прелестный летний вечер, заходящее солнце, дамские обтянутые туалеты, сладостное ожидание мира во всех сердцах, и вы дорисуете сами картину. Замечательно, что тритон проговорил сказанные им несколько в высшей степени нецензурных слов на чистейшем русском языке, несмотря на то что он по происхождению немец, да, сверх того, еще родился где-нибудь в древних Афинах вместе с тогдашней Минервой. Кто же научил его по-русски — вот вопрос? Да-с, Россию-таки начинают изучать в Европе! По крайней мере, оживил собою общество, заснувшее было под шум войны, всех усыпившей, и разбудил его для внутренних вопросов. И за то спасибо! В этом смысле надо бы желать не одного, *а* нескольких даже тритонов, и не только в Неве, но и в Москве-реке,[26] и в Киеве, и в Одессе, и везде, во всякой даже деревне. В этом смысле их даже можно было бы разводить нарочно: пусть будят общество, пусть всплывают… Но довольно, довольно! Будущее впереди. Мы вдыхаем новый воздух всею новою, жаждущею вопросов грудью, так что, может быть, всё это устроится само собой… вместе с русскими финансами.

(Сообщено). Друг Кузьмы Пруткова.

Приложение
Объяснения и показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев

(Объяснение ф. М. Достоевского)

От меня требуют, чтоб я передал всё, что знаю о Петрашевском и о тех людях, которые у него бывали по пятницам, то есть показания фактов и личного мнения моего об этих фактах. Соображаясь с первым допросом моим, я заключаю, что от меня требуют отчетливого ответа на следующие пункты:

1) О том, каков характер Петрашевского как человека вообще и как политического человека в особенности?

2) Что бывало на тех вечерах у Петрашевского, на которых я присутствовал, и мое мнение о тех вечерах?

3) Не было ли какой тайной, скрытой цели в обществе Петрашевского? Вредный ли человек сам Петрашевский и до какой степени он вреден для общества?

Я никогда не был в очень коротких отношениях с Петрашевским, хотя и езжал к нему по пятницам, а он, в свою очередь, отдавал мне визиты. Это одно из таких знакомств моих, которым я не дорожил слишком много, не имея сходства ни в характере, ни во многих понятиях с Петрашевским. И потому я поддерживал знакомство с ним ровно настолько, насколько того требовала учтивость, то есть посещал его из месяца в месяц, а иногда и реже. Оставить же его совсем я не имел никакой причины. Да к тому же мне бывало иногда любопытно ходить на его пятницы.

Меня всегда поражало много эксцентричности и странности в характере Петрашевского. Даже знакомство наше началось тем, что он с первого разу поразил мое любопытство своими странностями. Но езжал я к нему нечасто. Случалось, что я не бывал у него иногда более полугода. В последнюю же зиму, начиная с сентября месяца, я был у него не более восьми раз. Мы никогда не были коротки друг с другом, я думаю, что во всё время нашего знакомства мы никогда не оставались вместе, одни, глаз на глаз, более получаса. Я даже заметил положительно, что он, заезжая ко мне, как будто исполняет долг учтивости; но что, например, вести со мной долгой разговор ему тягостно. Да и со мной было то же самое; потому что, повторяю, у нас мало было пунктов соединения и в идеях и в характерах. Мы оба опасались долго заговариваться друг с другом; потому что с десятого

слова мы бы заспорили, а это нам обоим надоело. Мне кажется, что взаимные впечатления наши друг о друге одинаковы. По крайней мере, я знаю, что я очень часто езжал к нему по пятницам не столько для него и для самих пятниц, сколько для того, чтоб встретить некоторых людей, с которыми я хотя и был знаком, но виделся чрезвычайно редко и которые мне нравились. Впрочем, я всегда уважал Петрашевского как человека честного и благородного.

Об эксцентричностях и странностях его говорят очень многие, почти все, кто знают или слышали о Петрашевском, и даже по ним делают свое о нем заключение Я слышал несколько раз мнение, что у Петрашевского больше ума, чем благоразумия. Действительно, очень трудно было бы объяснить многие из его странностей. Нередко при встрече с ним на улице спросишь: куда он и зачем? — и он ответит какую-нибудь такую странность, расскажет такой странный план, который он только что шел исполнить, что не знаешь, что подумать о плане и о самом Петрашевском. Из-за такого дела, которое нуля не стоит, он иногда хлопочет так, как будто дело идет обо всем его имении. Другой раз спешит куда-нибудь на полчаса кончить маленькое дельце, а кончить это маленькое дельце можно разве только в два года. Человек он вечно суетящийся и движущийся, вечно чем-нибудь занят. Читает много; уважает систему Фурье и изучил ее в подробности. Кроме того, особенно занимается законоведением. Вот всё, что я знаю о нем как о частном лице, по данным весьма неполным для совершенно точного определения характера, потому что, повторяю еще раз, в слишком коротких сношениях с ним я никогда не находился.

Трудно сказать, чтоб Петрашевский (наблюдаемый как политический человек) имел какую-нибудь свою определенную систему в суждении, какой-нибудь определенный взгляд на политические события. Я заметил в нем последовательность только одной системе; да и та не его, а Фурье. Мне кажется, что именно Фурье и мешает ему смотреть самобытным взглядом на вещи. Впрочем, могу утвердительно сказать, что Петрашевский слишком далек от идеи возможности немедленного применения системы Фурье к нашему общественному быту. В этом я всегда был уверен.

Общество, которое у него собиралось по пятницам, почти всё состояло из его коротких приятелей или давних знакомых; так, по крайней мере, я думаю. Впрочем, являлись и новые лица, но, сколько я

мог заметить, довольно редко. Из этих людей я знаю хорошо только очень малую часть. Других знаю только потому, что раза три-четыре в год случалось говорить с ними, и, наконец, многих из гостей Петрашевского почти совсем не знаю, хотя схожусь с ними по пятницам уже год или два. Но хотя я и не знаю хорошо всех лиц, однако же прислушался к иным мнениям. Все эти мнения большею частию — разноголосица, и одно противуречит другому. Я не встретил никакого единства в обществе Петрашевского, никакого направлен<ия>, никакой общей цели. Положительно можно сказать, нельзя найти трех человек, согласных в каком-нибудь пункте, на любую заданную тему. Оттого вечные споры друг с другом; вечные противуречия и несогласия в мнениях. В некоторых из этих споров брал участие и я.

Но прежде чем я скажу, по какой причине я участвовал в этих спорах и на какую именно тему я говорил, я скажу несколько слов об том, в чем меня обвиняют. В сущности, я еще не знаю доселе, в чем обвиняют меня. Мне объявили только, что я брал участие в общих разговорах у Петрашевского, говорил *вольнодумно* и что, наконец, прочел вслух литературную статью: «Переписку Белинского с Гоголем». Скажу от чистого сердца, что до сих пор для меня было всего на свете труднее — определить слово: *вольнодумец, либерал.* Что разуметь под этим словом? Человека, который говорит противузаконно? Но я видал таких людей, для которых признаться в том, что у них болит голова, — значит поступить противузаконно, и знаю, что есть и такие, которые готовы говорить на каждом перекрестке всё, что только в состоянии перемолоть их язык. Кто видел в моей душе? Кто определил ту степень вероломства, вреда и бунта, в котором меня обвиняют? По какому масштабу сделано это определение? Может быть, судят по нескольким словам, сказанным мною у Петрашевского. Я говорил три раза, два раза я говорил о *литературе* и один раз о предмете вовсе неполитическом об *личности* и *об человеческом эгоизме.* Не припомню чтоб было что-нибудь политического и вольнодумного в словах моих. Не припомню, чтоб я когда-нибудь высказался *весь, каков я на самом деле* у Петрашевского. Но я знаю себя, и если основывают обвинение на нескольких словах, схваченных налету и записанных на клочке бумаги, то я не боюсь даже и такого обвинения хотя оно самое опасное, ибо ничего нет губительнее сбивчивее и несправедливее нескольких слов, вырванных бог знает откудова, относящихся бог знает к чему,

подслушанных наскоро, понятых наскоро, а всего чаще вовсе непонятых, записанных наскоро. Но повторяю я знаю себя и не боюсь даже и такого обвинения.

Да, если *желать лучшего* есть либерализм, *вольнодумство* то в этом смысле, может быть, я вольнодумец. Я вольнодумец в том же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем и каждый человек который в глубине сердца своего чувствует себя вправе быть гражданином, чувствует себя вправе желать добра своему отечеству потому что находит в сердце своем и любовь к отечеству, и сознание, что никогда ничем не повредил ему. Но это *желание лучшего* было в возможном или в не возможном? Пусть уличат меня что я желал перемен и переворотов насильственно, революционерно, возбуждая желчь и ненависть! Но я не боюсь улики, ибо никакой до нос в свете не отнимет от меня и не прибавит мне ничего никакой донос не заставит меня быть другим, чем я на самом деле. В том ли проявилось мое вольнодумство, что я говорил вслух о таких предметах, о которых другие считают долгом молчать, не потому, чтобы опасались сказать что-нибудь против правительства (этого и в мысли не может быть!), но потому, что, по их мнению, предмет такой, о котором уже принято не говорить громко? В этом ли? Но меня всегда даже оскорбляла эта боязнь слова скорее способная быть обидой правительству, чем быть ему приятною. И в самом деле·зачем правому человеку спасаться за себя и за свое слово? Это значит полагать, что законы недостаточно ограждают личность и что можно погибнуть из-за пустого слова, из-за неосторожной фразы. Но зачем же мы сами так настроили всех, что на громкое откровенное слово, сколько-нибудь похожее на мнение, высказанное прямо без утайки, уже смотрят как на эксцентричность! Мое мнение, что если бы мы все были откровеннее с правительством, то было бы гораздо лучше для нас самих. Мне всегда было грустно видеть, что мы все как будто инстинктивно боимся чего-то; что сойдемся ли мы, например, толпой в публичном месте, — мы смотрим друг на друга недоверчиво, исподлобья, косимся по сторонам, подозреваем кого-то, Заговорит ли кто-нибудь, наприм<ер>, о политике, то заговорит непременно шепотом и с самым таинственным видом, хотя бы республика была так же далека от его идей, как и Франция. Скажут: «Оно и лучше, что у нас не кричат на перекрестках». Без сомнения, никто и слова не скажет против этого; но излишнее умолчание,

излишний страх наводят какой-то мрачный колорит на нашу обыденную жизнь, который кажет всё в безрадостном, неприветливом свете, и, что всего обиднее, колорит этот ложный; ибо весь этот страх беспредметен, напрасен (я верю в то), все эти опасения больше ничего как наша выдумка, и мы сами только напрасно беспокоим правительство своею таинственностию и недоверчивостию. Ибо из этого натянутого положения часто выходит много шуму из пустяков. Самое обыкновенное слово, сказанное громко, получает гораздо более весу, а самый факт по своей эксцентричности принимает размеры иногда колоссальные и, наверно, припишется посторонним (необыкновенным), а не настоящим (обыкновенным) причинам. Я всегда был уверен, что сознательное убеждение лучше, крепче бессознательного, неустойчивого, колеблющегося, способного пошатнуться от первого ветра, который подует. А сознания не высидишь и не выживешь молча. Сами мы бежим обобщения, дробимся на кружки или черствеем в уединении. А кто виноват в этом положении? Мы, мы сами и более никто, — я так всегда думал.

Хотя я и привел для примера наши общественные разговоры, а между тем я сам далеко не крикун, и то же самое скажет про меня всякой, кто меня знает. Я не люблю говорить громко и много даже с приятелями, которых у меня очень немного, а тем более в обществе, где я слыву за человека неразговорчивого, молчаливого, несветского. Знакомств у меня очень мало. Половина моего времени занята работой, которая кормит меня; другая половина занята постоянно болезнию, ипохондрическими припадками, которыми я страдаю уже скоро три года. Едва остается немного времени на чтение и на то, чтоб узнать, что на свете делается. Для приятелей и знакомых остается очень немного времени. А потому, если я и написал теперь против системы всеобщего, как будто систематического умолчания и скрытности, то это потому, что мне хотелось высказать свое убеждение, а вовсе не защищать себя. Но в чем же обвиняют меня? В том, что я говорил о политике, о Западе, о цензуре? и проч. Но кто же не говорил и не думал в наше время об этих вопросах? Зачем же я учился, зачем наукой во мне возбуждена любознательность, если я не имею права сказать моего личного мнения или не согласиться с таким мнением, которое само по себе авторитетно? На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспримерная. Трещит и сокрушается вековой порядок вещей. Самые

основные начала общества грозят каждую минуту рухнуть и увлечь в своем падении всю нацию. Тридцать шесть миллионов людей каждый день ставят словно на карту всю свою будущность, имение, существование, свое и детей своих! И эта картина не такова, чтоб возбудить внимание любопытство, любознательность, потрясти душу? Это тот самый край, который дал нам науку, образование, цивилизацию европейскую, такое зрелище урок! Это, наконец история, а история — наука будущего. И после этого неужели обвинят нас, которым дали известную степень образования, в которых возбудили жажду знания и науки, — неужели обвинят нас в том, что мы имели столько любопытства, чтоб говорить иногда о Западе, о политических событиях, читать современные книги, приглядываться к движению западному, даже изучать его по возможности. Неужели обвинят меня в том, что я смотрю несколько серьезно на кризис, от которого ноет и ломится надвое несчастная Франция, что я считаю, может быть, этот кризис исторически необходимым в жизни этого народа, как состояние переходное (кто разрешит теперь это?) и которое приведет наконец за собой лучшее время. Дальше этого мнения, дальше таких идей никогда не простиралось мое вольнодумство о Западе и о революции. Но если я говорил о французском перевороте, если я позволял себе судить о современных событиях, следует ли из этого, что я вольнодумец, что я республиканских идей, что я противник самодержавия, что я его подкапываю? Невозможно! Для меня никогда не было ничего нелепее идеи республиканского правления в России. Всем, кто знает меня, известны на этот счет мои идеи. Да, наконец, такое обвинение будет противно всем моим убеждениям, моему образованию. Я, может быть, еще объясню себе революцию западную и *историческую необходимость* тамошнего современного кризиса. Там несколько столетий, более тысячелетия, длилась упорнейшая борьба общества с авторитетом, основавшимся на чуждой цивилизации завоеванием, насилием, притеснением. А у нас? И земля-то наша сложилась не по-западному! У нас исторические примеры перед глазами: 1) падение России перед татарами от ослабления авторитета и раздробления его, 2) безобразие республики Новгородской, — республики, испробованной в продолжение нескольких веков на славянской почве, — и, наконец, 3) двукратное спасение России единственно усилением авторитета, усилением самодержавия: первый раз от татар, второй раз в реформу

Петра Великого, когда только одна теплая, детская вера в своего великого кормчего дала России возможность перенести такой крутой поворот в новую жизнь. Да и кто у нас думает о республике? Если и предстоят реформы, то даже для тех, кто желает их, будет ясно как день, что должны эти реформы истечь именно из авторитета, даже еще более усиленного на то время; а иначе дело должно произойти революционерным образом. Не думаю, чтоб нашелся в России любитель русского бунта. Примеры известны и до сих пор памятны, хотя случились давно. В заключение я припомнил теперь слова свои, несколько раз повторявшиеся мною: что всё, что только было хорошего в России, начиная с Петра Великого, всё то постоянно выходило свыше, от престола, а снизу до сих пор ничего не выказывалось, кроме упорства и невежества. Это мнение мое известно многим из тех, кто меня знает.

Я говорил об цензуре, об ее непомерной строгости в наше время и сетовал об этом; ибо чувствовал, что произошло какое-то недоразумение, из которого и вытекает натянутый, тяжелый для литературы порядок вещей. Мне грустно было, что звание писателя унижено в наше время каким-то темным подозрением и что на писателя, уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительству и принимается разбирать его рукопись уже с очевидным предубеждением. Мне грустно слышать, что запрещается иное произведение не потому, чтобы в нем нашли что-нибудь либерального, вольнодумного, противного нравственности, а, например, потому, что повесть или роман слишком печально кончается, что выставлена слишком мрачная картина, хотя бы эта картина не обвиняла и не заподозревала никого в обществе и хотя бы самая трагедия произошла совершенно случайным и внешним образом. Пусть разберут всё, что я написал, напечатанного и ненапечатанного, пусть просмотрят рукописи уже напечатанных сочинений и увидят, каковы они были до поступления к цензору, — пусть найдут в них хоть одно слово, противное нравственности и установленному порядку вещей. А между тем я именно подвергся подобному запрещению собственно за то, что картина написана была слишком мрачными красками. Но если б знали, в какое мрачное положение поставлен был автор запрещенного сочинения! Он увидел перед собой необходимость просидеть хуже чем без хлеба целых три месяца, ибо работа давала мне средства к существованию. Да кроме

того, среди лишений, грусти, почти отчаяния (ибо, откинув денежный вопрос, — тяжело до отчаяния видеть свое произведение, которое любил, над которым потратил труд, здоровье, лучшие силы душевные, — запрещенным от *недоразумения,* от *подозрения),* итак, кроме того, среди лишений, грусти, отчаяния нужно еще найти столько легких, веселых часов, чтобы написать в это время новое литературное произведение красками светлыми, розовыми, приятными. А написать непременно нужно, потому что нужно существовать. Если я говорил, если я немножко жаловался (а я жаловался так немного!), — то неужели я вольнодумствовал? И на что я жаловался? На *недоразумение.* Именно: я бился из всех сил, доказывая, что каждый литератор уже заподозрен заране, что на него смотрят с недоумением, с недоверием, и обвинял самих же литераторов в том, что они сами не хотят изыскивать средств для разрешения пагубного недоразумения. Пагубного, потому что литературе трудно существовать при таком напряженном положении. Целые роды искусства должны исчезнуть: сатира, трагедия уже не могут существовать. Уже не могут существовать при строгости нынешней цензуры такие писатели, как Грибоедов, Фонвизин и даже Пушкин. Сатира осмеивает порок, и чаще всего порок под личиною добродетели. Как может быть теперь хоть какое-нибудь осмеяние? Цензор во всем видит намек, заподозревает, нет ли тут какой личности, нет ли желчи, не намекает ли писатель на чье-либо лицо и на какой-нибудь порядок вещей. Мне самому случалось очень часто, забывши грусть, захохотать над тем, что нашел цензор *вредным для общества* и неспособным к напечатанию в моих или чьих чужих рукописях. Смеялся я потому, что никому, кроме цензора, в настоящее время не придет в голову подобных подозрений. В самой невиннейшей, чистейшей фразе подозревается преступнейшая мысль, которую видно, что цензор преследовал с напряжением умственных сил, как вечную, неподвижную идею, которая не может покинуть его головы, которую он сам создал, колеблемый страхом и подозрениями, сам воплотил ее в своем воображении, сам расцветил небывалыми страшными красками и наконец уничтожил свой фантом вместе с невинной причиной его страха — безгрешной первоначальной фразой писателя. Точно как будто скрывая порок и мрачную сторону жизни, скроешь от читателя, что есть на свете порок и мрачная сторона жизни. Нет, автор не скроет этой мрачной стороны, систематически опуская ее перед читателем, а

только заподозрит себя перед ним в неискренности, в неправдивости. Да и можно ли писать одними светлыми красками? Каким образом светлая сторона картины будет видна без мрачной, может ли быть картина без света и тени вместе? О свете мы имеем понятие только потому, что есть тень. Говорят: описывай одни доблести, добродетели. Но добродетели мы и не узнаем без порока; самые понятия *добра* и *зла* произошли оттого, что добро и зло постоянно жили вместе, рядом друг с другом. Но подумай только я выставить на сцену невежество, порок, злоупотребления, спесь, насилие! Ценсор тотчас же заподозрит меня и подумает, что я говорю про всё вообще без изъятия. Я не стою за изображение порока и мрачной стороны жизни! И тот и другая вовсе не милы мне. Но я говорю единственно только в интересах искусства.

Видя, убедясь наконец, что между литературой и цензурой происходит недоразумение (одно недоразумение и больше ничего!), — я сетовал, я молил, чтобы это печальное недоразумение прошло поскорее. Потому что я люблю литературу и не могу не интересоваться ею; потому что я знаю, что литература есть одно из выражений жизни народа, есть зеркало общества. С образованием, с цивилизацией являются новые понятия, которые требуют определения, названия русского, чтоб быть переданными народу; ибо не народ может назвать их в настоящем случае, затем что цивилизация не от него идет, а свыше; назвать их может только то общество, которое прежде народа приняло цивилизацию, то есть высший слой общества, класс уже образованный для принятия этих идей. Кто же формулирует новые идеи в такую форму, чтоб народ их понял, — кто же, как не литература! Реформа Петра Великого не принялась бы так легко в народе, который и не понял бы, чего хотят от него. А каков был русский язык при Петре Великом? Наполовину русский, наполовину немецкий, потому что наполовину жизни немецкой, понятий немецких, нравов немецких привилось к жизни русской. Но русский народ не говорит по-немецки, и явление Ломоносова сейчас после Петра Великого было не случайное. Без Литературы не может существовать общество, а я видел, что она угасала, и, в десятый раз повторяю, недоразумение, возникшее между литературой и ценсорами, волновало меня, мучило меня. Я говорил, — но я говорил только о согласии, о соединении, об уничтожении недоразумения. Я не поджигал кругом меня никого, *потому что я верил.* Да и говорил-то я только с самыми короткими приятелями, с

своими товарищами-литераторами. Это ли вредное вольнодумство?!

Меня обвиняют в том, что я прочел статью «Переписка Белинского с Гоголем» на одном из вечеров у Петрашевского. Да, я прочел эту статью, но тот, кто донес на меня, может ли сказать, к которому из переписывавшихся лиц я был пристрастнее? Пусть он припомнит, было ли не только в суждениях моих (от которых я воздержался), — но хоть бы в интонации голоса, в жесте моем во время чтения, что-нибудь способное выказать мое пристрастие к одному лицу, преимущественно, чем к другому из переписывавшихся? Конечно, он не скажет того. Письмо Белинского написано слишком странно, чтоб возбудить к себе сочувствие. Ругательства отвращают сердце, а не привлекают его; а всё письмо начинено ими и желчью написано. Наконец, вся статья образец бездоказательности — недостаток, от которого Белинский никогда не мог избавиться в своих критических статьях и который усиливался по мере истощения нравственных и физических сил его в болезни. Письма эти написаны в последний год его жизни, во время пребывания за границею. Несколько времени я был знаком с Белинским довольно коротко. Это был превосходнейший человек как человек. Но болезнь, сведшая его в могилу, сломила в нем даже и человека. Она ожесточила, очерствила его душу и залила желчью его сердце. Воображение его, расстроенное, напряженное, увеличивало всё в колоссальных размерах и показывало ему такие вещи, которые один он и способен был видеть. В нем явились вдруг такие недостатки и пороки, которых и следа не было в здоровом состоянии. Между прочим, явилось самолюбие, крайне раздражительное и обидчивое. В журнале, в котором он числился сотрудником и где за болезнию очень мало работал, — ему связывала редакция руки и уже не давала писать слишком серьезных статей. Это оскорбляло его. И вот в этом-то состоянии он написал письмо свое Гоголю. В литературном мире небезызвестно весьма многим о моей ссоре и окончательном разрыве с Белинским в последний год его жизни. Известна тоже и причина нашей размолвки: она произошла из-за идей о литературе и о направлении литературы. Взгляд мой был радикально противуположный взгляду Белинского. Я упрекал его в том, что он силится дать литературе частное, недостойное ей назначение, низводя ее единственно до описания, если можно выразиться, *одних газетных фактов* или скандалезных происшествий. Я именно возражал ему, что желчью не привлечешь никого, а только надоешь смертельно всем и

каждому, хватая встречного и поперечного на улице, останавливая каждого прохожего за пуговицу фрака и начиная насильно проповедовать ему и учить его уму-разуму. Белинский рассердился на меня и, наконец, от охлаждения мы перешли к формальной ссоре, так что и не видались, наконец, друг с другом в продолжение всего последнего года его жизни. Я давно желал прочесть эти письма. В моих глазах эта переписка — довольно замечательный литературный памятник. И Белинский и Гоголь — лица очень замечательные. Сношения их между собою весьма любопытны — тем более для меня, который был знаком с Белинским. Петрашевский случайно увидал эти письма в моих руках, спросил: «Что такое?» — и я, не имея времени показать ему эти письма тотчас, обещал их привезть к нему в пятницу. Сам я вызвался и уже потом должен был сдержать слово. Я прочел эту статью ни более ни менее как литературный памятник, твердо уверенный, что она никого не может привести в соблазн, хотя она и не лишена некоторого литературного достоинства. Что до меня касается, я буквально не согласен ни с одним из преувеличений, находящихся в ней. Теперь я прошу взять в соображение следующее обстоятельство: стал ли бы я читать статью человека, с которым был в ссоре именно за идеи (это не тайна; это очень многим известно), да еще писанную в болезни, в расстройстве умственном и душевном, — стал ли бы я читать эту статью, выставляя ее как образец, как формулу, которой нужно следовать? Я только теперь понял, что сделал ошибку и что не следовало мне читать этой статьи вслух; но тогда я не спохватился; ибо даже и не подозревал того, в чем могут обвинить меня, не подозревал за собой греха. Из уважения к человеку, уже умершему, замечательному в свое время, которого многие уважают за некоторые литературно-эстетические статьи его, написанные действительно с большим знанием литературного дела, — наконец, из щекотливого чувства но поводу ссоры нашей за идеи, которая многим известна, я прочел всю переписку, воздержавшись от всяких замечаний и с полным беспристрастием.

Я упомянул, что я говорил о политике, о цензуре и т. д. Но я только напрасно сказал на себя. Мне хотелось только высказать образ идей моих. Никогда я не говорил у Петрашевского об этих предметах. Говорил я у него только три раза или, лучше сказать, два раза. Раз о *литературе* по поводу спора с Петрашевским из-за Крылова и другой раз *о личности* и об *эгоизме.* Вообще я человек неразговорчивый и не

люблю громко говорить, там где есть мне незнакомые. Образ мыслей моих и я весь известен только очень немногим моим приятелям. От больших споров я удаляюсь и люблю уступить, только бы меня оставили в покое. Но я был вызван на этот литературный спор, темой которого, с моей стороны, было то, что искусство не нуждается в направлении, что искусство само себе целью, что автор должен только хлопотать о художественности, а идея придет сама собою; ибо она необходимое условие художественности. Одним словом, *известно, что это направление диаметрально противуположно газетному* и *пожарному*. Многим тоже известно, что это направление мое уже в продолжение нескольких лет. Наконец, спор наш слышали все у Петрашевского; все могут засвидетельствовать то, что я говорил. Кончилось тем, что оказалось, что Петрашевский со мною одних идей о литературе; но что мы не понимали друг друга. Об этом заключении тоже все слышали. И я заметил, наконец, что весь спор вышел отчасти из самолюбия; потому что я заподозрил раз Петрашевского в отчетливом знании по этому предмету. Что же касается до второй темы: *о личности* и *эгоизме,* то в ней я хотел доказать, что между нами более *амбиции,* чем настоящего человеческого достоинства, что мы сами впадаем в самоумаление, в размельчение личности от мелкого самолюбия, от эгоизма и от бесцельности занятий. Эта тема чисто психологическая.

Я сказал, что в обществе, которое собиралось у Петрашевского, не было ни малейшей целости, ни малейшего единства, ни в мыслях, ни в направлениях мыслей. Казалось, это был спор, который начался один раз, с тем чтоб никогда не кончиться. Во имя этого спора и собиралось общество — чтоб спорить и доспориться; ибо каждый почти раз расходились с тем, чтобы в следующий раз возобновить спор с новою силою, чувствуя, что не высказали и десятой части того, что хотелось сказать. Без споров у Петрашевского было бы чрезвычайно скучно, потому что одни споры и противуречия и могли соединить этих разнохарактерных людей. Говорилось обо всем и ни об чем исключительно, и говорилось так, как говорится в каждом кружке, собравшемся случайно. Я так уверен. И если я участвовал иногда в спорах у Петрашевского, если я ездил к нему и не пугался того, когда слышал иное горячее слово, то это потому, что совершенно был уверен (и уверен в том до сих пор), что тут дело происходило семейственно, в

кругу общих знакомых и приятелей Петрашевского, а не публично. Так и действительно было, и если теперь обратили такое исключительное внимание на то, что было у Петрашевского, то, мне кажется, это произошло оттого, что Петрашевский известен почти всему Петербургу своими странностями и эксцентричностями, а поэтому и вечера его известны; а я знаю положительно, что молва преувеличивала их значение, хотя в людской молве было больше насмешки к вечерам Петрашевского, чем опасения. Тем, что говорилось иногда довольно откровенно (но всегда в виде сомнения и всегда то, что говорилось, подымалось на спор), я не смущался. Потому что, по моей идее, лучше пусть иной горячий парадокс, иное сомнение идет на суд других (конечно, не на площадь, а в приятельский круг), чем остается внутри человека без выхода, черствеет и укореняется в душе его. Общий спор полезнее уединения. Истина всегда наверх всплывет, и здравый смысл одержит победу; так я смотрел на эти собрания и на основании такого взгляда ходил иногда к Петрашевскому. И опыт оправдал меня. Потому что, например, о фурьеризме перестали наконец совсем говорить, ибо фурьеризм был засыпан насмешками со всех сторон, даже как учение. Но если бы решился кто-нибудь у Петрашевского говорить о применении системы Фурье к нашему общественному быту, то ему тут же бы безо всяких околичностей насмеялись в глаза. Я говорю так потому, что уверен в истине слов моих.

Чтоб ответить на вопрос, не было ли какой тайной, скрытой цели и обществе Петрашевского, можно утвердительно сказать, припоминая всю разноголосицу, всё это смешение понятий, характеров, личностей, специальностей, все эти споры, доходившие чуть-чуть не до вражды и которые тем не менее оставались одними спорами, — смотря на всё это и сообразив, можно утвердительно сказать, что невозможно, чтоб была какая-нибудь тайная, скрытая цель во всем этом хаосе. Тут не было и тени единства и не было бы до скончания веков. И хотя я знал не всех и не всё в обществе Петрашевского, но, судя по тому, что я видел, могу положительно сказать, что я не ошибаюсь.

Теперь мне приходится отвечать на последний вопрос, ответ на который составит заключение моего оправдания. Это: вредный ли человек сам Петрашевский, и до какой степени он вреден для общества? Когда мне предложили этот вопрос в первый раз, я не мог отвечать на него прямо. До этого вопроса я должен был разрешить в себе целый ряд

вопросов и сомнений, которые тотчас же породились в уме моем, которых я разрешить не мог тут же на месте, которые требовали некоторого соображения, и потому я стоял, не зная, что отвечать. Теперь, сообразив всё, я представляю и предварительные соображения мои и, наконец, ответ на заданный мне вопрос как следствие этих соображений.

Во-первых, если меня спрашивали, вреден ли Петрашевский для общества, то, я разумею, прежде всего как фурьерист, как последователь и распространитель учения Фурье. Мне показали тетраль, мелко исписанную, и сказали, что я, вероятно, узнаю почерк. Руки Петрашевского я не знаю, мы с ним никогда не переписывались, и я решительно не подозревал, чтобы он пускался в авторство. И я говорю утвердительно. И потому я решительно ничего не знаю о Петрашевском как о фурьеристе-распространителе. Я знаю только его научные верования. Да и то мы с ним и в научный разговор о Фурье редко вступали, почти никогда; ибо наш разговор в ту же минуту обратился бы в спор. Это он знал очень хорошо. Планов же и распоряжений Петрашевский мне никаких никогда не сообщал, и я решительно не знаю, были ли они у него или не были. Кроме того, если б даже и были, чего я совершенно не знаю, то он, будучи совсем не в коротких сношениях со мною и вовсе не в большой приязни, наверно (я уверен в том) скрыл бы от меня всё и не объявил бы мне ни слова. Я же, с своей стороны, и в желании никогда не имел проведать его тайны. И потому я решительно ничего не могу сказать о Петрашевском как о фурьеристе, кроме как в отношении чисто научном.

Я знаю, что Петрашевский уважает систему Фурье. Как фурьерист, конечно, он не может не желать, чтоб ему сочувствовали. Но меня спрашивали: делает ли он учеников? *Не завлекает ли он к, себе учителей из разных учебных заведений с тем, чтобы, обратив их, действовать через них на распространение фурьеризма в юношестве?* Отвечаю: положительно я ничего не могу сказать на этот вопрос, потому что не имею достаточных данных, решительно не зная тайн Петрашевского. Мне сказали, что у Петрашевского в числе знакомых есть учителя, например Толль. Но с Толлем я совершенно не знаком и узнал, что он учитель только очень недавно. Что же касается до Ястржембского, то об нем я узнал, что он учитель, только с тех пор, как он говорил о политической экономии. Больше учителей я никого не

знаю. Будучи не только не в коротких, но даже в далеких отношениях к Толлю, я не знаю ни историю знакомства его с Петрашевским, ни того, когда они познакомились, ни того, в каких отношениях находились друг ко другу, — одним словом, мне было вовсе не любопытно знать это. Что же касается до Ястржембского, то я имел случай узнать образ экономических идей его, когда два раза удалось мне его слышать. Он, сколько мне кажется, экономист последней школы и допускает социализм настолько, насколько его допускают самые строгие профессора науки. Ибо социализм, в свою очередь, сделал много научной пользы критической разработкой и статистическим отделом своим. Одним словом, я полагаю, что Ястржембский далеко не фурьерист и что ему нечему учиться у Петрашевского. Но замечу, что Ястржембского как человека я не знаю совсем. Я с ним *никогда* не вступал в разговор, и кажется, что и он находиться точно в таких же ко мне отношениях. Полного образа его идей я не знаю, равно как и он моего. Итак, я могу судить о Петрашевском как о распространителе учения только по одним догадкам, по соображению.

Но по догадкам я ничего не могу сказать. Я знаю, что мое показание не возьмется за окончательное, за основное, но все-таки оно останется показанием. Что же, если я ошибусь? Ошибка ляжет на моей совести. Мне показали рукопись, о существовании которой я не знал прежде. Я прочел одну фразу этой рукописи. В этой фразе высказано горячее желание скорейшего торжества системы Фурье. Если вся рукопись в этом роде, если Петрашевский признал ее, то, конечно, он желал распространения системы Фурье. Но употреблял ли он действительно какие-либо меры до сих пор — я не знаю. Мне неизвестны его тайны, и я думаю, что мне можно наконец поверить. Никто не покажет, что мы были с Петрашевским когда-либо в отношениях очень близких. Я ездил к нему по пятницам как знакомый, не более. Я не знаю никаких его планов, и я в первый раз видел эту рукопись, содержания которой, кроме одной фразы, я совершенно не знаю. Итак, делал ли он что-нибудь, употреблял ли он какие меры, об этом я сказать не могу. Но, да позволят мне изложить несколько собственных моих соображений, которые составляют во мне глубочайшее убеждение, которое я долго обдумывал, которые и прежде мне представлялись такими же, как и теперь, и вследствие которых, наконец, я при первом вопросе о виновности Петрашевского не мог

отвечать положительно. Я понимаю, как важны в глазах судей Петрашевского такие улики, как книги, рукописи и разговоры, записанные отрывками. Но так как меня спросили о Петрашевском, то да позволят мне изложить мой взгляд на всё его дело.

Петрашевский верит Фурье. Фурьеризм — система мирная; она очаровывает душу своею изящностью, обольщает сердце тою любовию к человечеству, которая воодушевляла Фурье, когда он создавал свою систему, и удивляет ум своею стройностию. Привлекает к себе она не желчными нападками, а воодушевляя любовью к человечеству. В системе этой нет ненавистей. Реформы политической фурьеризм не полагает; его реформа — экономическая. Она не посягает ни на правительство, ни на собственность, а в одном из последних заседаний палаты Виктор Консидеран, представитель фурьеристов, торжественно отказался от всякого посягновения на фамилию. Наконец, эта система кабинетная и никогда не будет популярною. Фурьеристы, во время всего февральского переворота ни разу не вышли на улицу, а остались в редакции своего журнала, где они проводят свое время уже с лишком двадцать лет в мечтах о будущей красоте фаланстеры. Но, без сомнения, эта система вредна, во-первых, уже по одному тому, что она система. Во-вторых, как ни изящна она, она всё же утопия, самая несбыточная. Но вред, производимый этой утопией, если позволят мне так выразиться, более *комический,* чем приводящий в ужас. Нет системы социальной, до такой степени осмеянной, до такой степени непопулярной, освистанной, как система Фурье на Западе. Она уже давно померла, и предводители ее сами не замечают, что они только живые мертвецы и больше ничего. На Западе, во Франции, в эту минуту всякая система, всякая теория вредна для общества; ибо голодные пролетарии в отчаяньи хватаются за все средства и из всякого средства готовы сделать себе знамя. Там минута крайности. Там голод гонит на улицу. Но фурьеризм забыт из презрения к нему, и даже *кабетизм,* нелепее которого ничего не производилось на свет, возбуждает гораздо более симпатии. Что же касается до нас, до России, до Петербурга, то здесь стоит сделать двадцать шагов по улице, чтоб убедиться, что фурьеризм на нашей почве может только существовать или в неразрезанных листах книги, или в мягкой, незлобивой, мечтательной душе, но не иначе как в форме идиллии или подобно поэме в двадцати четырех песнях в стихах. Фурьеризм вреда нанести не может

серьезного. Во-первых, если бы и был вред серьезный, то самое распространение его уже утопия, ибо до невероятности медленно. Чтобы понять фурьеризм вполне, нужно его изучить; а это целая наука. Нужно прочесть до десятка томов. Может ли такая система когда-либо сделаться популярною! Распространять ее с кафедр через учителей? Но это физически невозможно, уже по одному объему фурьеристической науки! Но, повторяю, вреда серьезного, по моему мнению, от системы Фурье быть не может, и если фурьерист нанесет кому вред, так только разве себе, в общем мнении у тех, в которых есть здравый смысл. Ибо самый высочайший комизм для меня — *это не нужная никому деятельность.* А фурьеризм, вместе с тем и всякая западная система, так неудобны для нашей почвы, так не по обстоятельствам нашим, так не в характере нации — а с другой стороны, до того порождение Запада, до того продукт тамошнего, западного положения вещей, среди которых разрешается во что бы то ни стало пролетарский вопрос, что фурьеризм с своею настойчивою необходимостию в настоящее время, у нас, между которыми нет пролетариев, был бы уморительно смешон. Деятельность фурьериста была бы самая ненужная, след<ственно> самая комическая. Вот почему, по *догадке* моей, я полагаю Петрашевского умнее и никогда не подозревал его *серьезно,* дальше кабинетного уважения к Фурье. Всё остальное я, *по истине,* готов был счесть за шутку. Фурьерист — несчастный, а не виновный человек — вот мое мнение. Наконец, по моему мнению, ни один парадокс, сколько их ни было, не мог удержаться долго сам собою, своими силами. Так нас учит история. И доказательство то, что во Франции в один год пали почти все системы одна за другой, и пали сами собою, чуть только дело дошло до малейшего опыта. Сообразив это всё, если б я даже знал (чего я не знаю, повторяю еще раз) — но если б я даже знал, что Петрашевский, не боясь никакой насмешки, всё еще старается о распространении фурьеризма, то я бы все-таки удержался сказать, что он вреден, что он приносит положительный вред. Во-первых, каким образом мог бы быть вреден Петрашевский как пропагатор фурьеризма? — свыше моих понятий. Смешон, а не вреден! Вот мое мнение, и вот, что я по совести могу отвечать на заданный мне вопрос.

Наконец, во мне возникло еще одно соображение, о котором я не могу умолчать, соображение чисто житейское. У меня было давнее, старое убеждение, что Петрашевский заражен некоторого рода

самолюбием. Из самолюбия он созывал к себе в пятницу и из самолюбия же пятницы не надоедали ему. Из самолюбия он имел много книг, и, кажется, ему нравилось, что знают, что у него есть редкие книги. Впрочем, это не более как мое наблюдение, догадка, ибо, повторяю, всё, что я знаю о Петрашевском, я знаю не полно, не совершенно, а по догадкам, основанным на том, что я видел и слышал.

Вот мой ответ. Я передал истину.

Федор Достоевский

<Формальный допрос Ф. М. Достоевского>

Господину Достоевскому 1<-му>

На предлагаемые здесь высочайше учрежденною Следственною комиссиею предварительные вопросные пункты имеете объяснить по сущей справедливости коротко и ясно:

1) Как ваше имя, отечество и прозвание, сколько вам от роду лет, какого вероисповедания, и исполняли ли внадлежащее время предписанные религиею обряды?

— Федор Михайлов Достоевский, двадцати семи лет от роду, вероисповедания православного, греко-российского. Обряды, предписанные религиею, исполнял в надлежащее время.

2) Кто ваши родители, и где они находятся, если живы?

— Отец мой был штаб-лекарь, коллежский советник Достоевский. Моя мать происходила из купеческого звания. Оба умерли.

3) Где вы воспитывались, на чей счет и когда окончили воспитание?

— Воспитывался в Главном инженерном училище, н… собственный счет. Окончил воспитание свое по выходе из офицерских классов Главного инженерного училища в тысяча восемьсот сорок третьем году.

4) Состоите ли на службе, когда вступили в оную, какую занимаете должность и какой имеете чин; также не находились ли прежде сего под следствием или судом, и если были, то за что именно?

— Поступил на действительную службу по выходе из верхнего офицерского класса Главного инженерного училища в тысяча восемьсот сорок третьем году в чертежную Инженерного департамента. Вышел в отставку в тысяча восемьсот сорок четвертом году, с чином поручика. Под судом или следствием, до сей поры, никогда не бывал.

5) Имеете ли недвижимое имение или собственные капиталы, а если нет, то какие имели вы средства к пропитанию и содержанию себя и своего семейства, если его имеете?

— По смерти родителей наследовал вместе со всем семейством нашим, оставшимся после них, недвижимым имением, числом около ста

душ, состоящем в Тульской губернии. Но в тысяча восемьсот сорок пятом году, по взаимному соглашению с родственниками, отказался от следуемой мне части в имении за единовременно выплаченную мне сумму денег. В настоящее время не имею ни недвижимого имения, ни капиталов. Средства же к содержанию себя получал через литературную работу, чем и существрвал до сих пор.

6) С кем имели близкое и короткое знакомство и частые сношения?

— *Совершенно откровенных* сношений не имел ни с кем, кроме как с братом моим, отставным инженер-подпоручиком Михайлою Достоевским. Приятельских же знакомств имел несколько; ближе всех с семейством художника Майкова, с доктором медицины Яновским, с Дуровым, с Пальмом, с Плещеевым, с Головинским и с Филипповым. Частые сношения имел с моим братом Михайлою, с доктором Яновским, у которого лечусь уже два года от моей болезни, и с Андреем Александровичем Краевским по поводу близкого моего участия в издаваемом им журнале «Отечественных записках».

7) Какие были ваши сношения внутри государства и за границею?

— Кроме петербургских знакомств, сносился с родственниками моими в Москве. За границею сношений не имел никаких.

Отставной инженер-поручик Федор Михайлов

Достоевский

<показания Ф. М. Достоевского>

<Вопрос.> Давно ли вы знакомы с Петрашевским?

<Ответ.> Я знаком с Петрашевским ровно три года. Я увидал его в первый раз весною 1846 года.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Что вас побудило познакомиться с Петрашевским?

<Ответ.> Знакомство наше было случайное. Я был, если не ошибаюсь, вместе с Плещеевым, в кондитерской у Полицейского моста и читал газеты. Я видел, что Плещеев остановился говорить с Петрашевским, но я не разглядел лица Петрашевского. Минут через пять я вышел. Не доходя Большой Морской, Петрашевский поровнялся со мною и вдруг спросил меня: «Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить?» Так как я не разглядел Петрашевского в кондитерской и он там не сказал со мною ни слова, то мне показалось, что Петрашевский совсем посторонний человек, попавшийся мне на улице, а не знакомый Плещеева. Подоспевший Плещеев разъяснил мое недоумение: мы сказали два слова и, дошедши до Малой Морской, расстались. Таким образом, Петрашевский с первого раза завлек мое любопытство. Эта первая встреча с Петрашевским была накануне моего отъезда в Ревель, и увидал я его потом уже зимою. Мне показался он очень оригинальным человеком, но не пустым; я заметил его начитанность, знания. Пошел я к нему в первый раз уже около поста, сорок седьмого года.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Часто ли вы посещали вечера его?

<Ответ.> В первые два года знакомства я бывал у Петрашевского очень редко; иногда не бывал по три, по четыре месяца и более. В последнюю же зиму я стал ходить к нему чаще. Но тоже из месяца в месяц. Впрочем, не ровно. Иногда бывал два раза сряду; другой раз пропускал целый месяц. Так, например, в марте месяце я не был ни разу. Стал я ходить чаще из любопытства, кроме того, я встречал там некоторых знакомых. Наконец, сам принимал иногда участие в разговоре, в споре, который, оставаясь неоконченным в один вечер,

невольно позывал меня идти в другой раз и докончить спор.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Сколько бывало людей на вечерах этих и кто из них постоянно посещал эти вечера?

<Ответ.> Десять, пятнадцать, двадцать и даже иногда двадцать пять человек.

Из знакомых Петрашевского я до сих пор не знаю некоторых по фамилии. Так, например, фамилии Ахшарумова, Берестова я узнал уже во время ареста. Так же точно и Кропотова, которого я видел, кажется, всего только один раз у Петрашевского. Что же касается до Кашкина, то я его и в лицо не знаю, и у Петрашевского никогда не видал. С иными я сошелся ближе, чем с другими. Впрочем, не всякое знакомство было сделано у Петрашевского. Из ближайших мне были: Плещеев, Дуров, Пальм. Кроме того, я знал младшего Десбута, Кайданова, Львова, Момбелли, Баласогло, Филиппова. Они бывали у Петрашевского довольно часто, но помню, что бывали они не всякий раз. Кайданов был раза четыре в зиму, Кузьмин один раз, Плещеев раза четыре, не более. Старшего Десбута я почти не помню. Он, брат его, Кайданов, Пальм почти никогда не принимали участия в общем разговоре. Из введенных мною к Петрашевскому были Головинский и мой брат. Головинский собирался ехать в Казань. Узнавши о том от меня случайно, Петрашевский сказал, что ему бы хотелось послать письмо в Казань с Головинским, и я вызвался привести Головинского к нему. Головинского же я склонил идти потому, что он уже знал прежде о Петрашевском, по слухам, и раз об нем у меня спрашивал. Я повел Головинского, собственно, только затем, чтоб показать ему Петрашевского и его знакомых, зная, что ему придется быть у Петрашевского не более двух раз до отъезда, то есть что я не навяжу скучного и неприятного знакомства ни тому, ни другому за краткостию срока этого знакомства. Головинский был всего два раза.

Брат мой, Михаило Достоевский, познакомился с Петрашевским тоже через меня, когда жил со мною вместе по приезде из Ревеля. Петрашевского он увидал в первый раз у меня и был приглашен им на вечера; я повел брата, чтобы доставить ему знакомство и развлечение; ибо по приезде из Ревеля он никого не знал в Петербурге и скучал по своем семействе. Но брат мой никогда не принимал никакого участия в

разговорах у Петрашевского. Я не слыхал, чтобы он сказал хоть два слова. Все, бывавшие у Петрашевского, знают это. Ходил он реже меня и если ходил, то ходил из любопытства и потому, что, будучи человеком семейным, весьма небогатым, трудящимся, отказывающим себе почти во всех наслаждениях, он не мог отказать себе в единственном развлечении: поддерживать весьма небольшой круг знакомства, чтоб не одичать в домашнем углу совершенно. Я говорю это к тому, что брат познакомился с Петрашевским через меня, что в этом знакомстве я виноват, а вместе в несчастии брата и семейства его. Ибо, если я и другие в эти два месяца заключения вытерпели только тоску и скуку, то он выстрадал в десять раз более в сравнении с нами. Он от природы сложения слабого, наклонен к чахотке и, сверх того, мучается душою о погибшем семействе своем, которое должно буквально и неизбежно погибнуть от тоски, лишений и голода в его отсутствие. И потому этот арест должен быть для него буквально казнию, тогда как виновен он менее всех. Я считал себя обязанным сказать это; ибо знаю, что он не виноват ни в чем не только словом, но даже мыслию.

Чаще всех бывали Чириков, Деев и Мадерский, но те жили в доме Петрашевского.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Известно, что в собрании у Петрашевского 11-го марта Толль говорил речь о происхождении религии, доказывая, между прочим, что она не только не нужна в социальном смысле, но даже вредна. Сделайте об этом объяснение.

<Ответ.> Я слышал об речи Толля о религии от Филиппова, который сказал мне, что он на нее возражал. Самого же меня в тот вечер у Петрашевского не было.

Федор Достоевский

<Вопрос.> На собрании у Петрашевского 18 марта Ястржембский говорил речь о науках и, между прочим, объяснил, что статистика по-настоящему должна называться не статистикою, а общественною социальною наукою, но как великий князь велел называть ее статистикою, то нечего делать, надобно ее так и называть. Сделайте об этом объяснение.

<Ответ.> Не был и не слыхал. В марте месяце с 1-го до 25-го числа я был нездоров и выходил из дома разве по самонужнейшим надобностям.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Известно, что в собрании у Петрашевского 25-го марта говорено о том, каким образом должно восстановлять подведомственные лица против властей. Дуров утверждал, что всякому должно показывать зло в самом его начале, то есть в законе и государе. Напротив, Берестов, Филиппов, Кайданов и Баласогло говорили, что должно вооружать подчиненных противу ближайшей власти и, переходя таким образом от низших к высшим, невольно как бы ощупью, довести до начала зла. Сделайте об этом объяснение.

<Ответ.> В этот раз меня у Петрашевского не было. Слышал об этом разговоре от Филиппова.

Федор Достоевский

<Вопрос.> При тех же разговорах Филиппов сказал: «Наша система пропаганды есть наилучшая, и отступать от нее значит отступать от возможности исполнения наших идей». Объясните эти слова

<Рукою неустановленного лица.> Не был в собрании и потому не спрошен.

<Вопрос.> В собрании у Петрашевского 1-го апреля Петрашевский, говоря о цензуре, объяснял, что хотя она и стесняет возможность большего развития, но приносит и ту пользу, что, вычеркивая все нелепости из какого-нибудь сочинения, она дает этому сочинению вид дельный и порядочный; напротив, если бы цензура была уничтожена, то явилось бы множество людей, влекомых личными побуждениями и страстями, которые хотя своими талантами заслужат место в истории литературы, но за всем тем будут служить препоною к развитию человечества и к достижению цели, им всем любезной. Объясните.

<Ответ.> Слышал подобное мнение от Петрашевского.

Федор Достоевский

<Вопрос.> На том же собрании, при разговоре об освобождении крестьян, говорено было, что идеею каждого должно быть освободить этих угнетенных страдальцев, но что правительство не может

освободить их, ибо без земель освободить нельзя, освободив же с землями, должно будет вознаградить помещиков, а на это средств нет; освободив же крестьян без земель или не заплатив за землю помещикам, правительство должно будет поступить революционным образом, но каким образом приступить к освобождению крестьян без воли правительства, в этих словах не объясняется. Объясните о мерах, к тому предполагаемых.

<Ответ.> Весь этот разговор слышал. Слова Головинского припоминаю, он говорил с увлечением, но окончательного вывода, того, где сказано, что освободить нужно бунтом, не припоминаю и утверждаю, что разошлись безо всякого разрешения на этот вопрос. Все кончилось большим спором.

Ф. Достоевский

При словесном объяснении я согласился, что Головинский сознает возможность внезапного восстания крестьян самих собою, потому что они уже достаточно сознают тягость своего положения. В этом и заключался вопрос, мне предложенный, но я его не понял вначале. Но считаю себя обязанным прибавить, что Головинский выражал эту идею как факт, а не как желание свое; ибо, допуская возможность освобождения крестьян, он далек от бунта и от революционного образа действий. Так мне всегда казалось из разговоров с Головинским.

Ф. Достоевский

<Вопрос.> В опровержение сказанного Головинским Петрашевский говорил, что при освобождении крестьян должно непременно произойти столкновение сословий, которое, будучи бедственно уже само по себе, может быть еще бедственнее, породив военный деспотизм или, что еще хуже, — деспотизм духовный. Объясните, что подразумевалось под военным деспотизмом и деспотизмом духовным?

<Ответ.> Помню, что Петрашевский опровергал Головинского. Ответа Головинского ясно не припоминаю, хотя помню, что он пустился в довольно длинное развитие. Может быть, я был развлечен в эту минуту посторонним разговором. Не припоминая совершенно, как было дело, я не могу отвечать ясно на этот вопрос, а потому принужден оставить его без ответа.

Федор Достоевский

Что же касается до Петрашевского, то припоминаю, что он говорил о необходимости реформ, юридической и цензурной прежде крестьянской и даже вычислял преимущества крепостного сословия крестьян перед вольным при нынешнем состоянии судопроизводства. Но не упомню хорошо, что означали слова: военный и духовный деспотизм. К тому же и Петрашевский говорил иногда темно и бессвязно, так что его трудно понять.

Федор Достоевский

<Вопрос.> На том же собрании Петрашевский, говоря о судопроизводстве, объяснял, что в нашем запутанном, многосложном и с предубеждениями судопроизводстве справедливость не может быть достигнута, и если из тысячи примеров и явится один, где она достигается, то это происходит как-то ненарочно, случайно, что одно судопроизводство, возможно, в котором достигалась бы цель его, то есть справедливость, — это судопроизводство публичное— juri.[27] Сделайте о сем объяснение.

<Ответ.> Было сказано.

Федор Достоевский

<Вопрос.> В том же разговоре Петрашевский объяснил, что не следует требовать перемены в судопроизводстве, а всеподданнейше просить об этом, потому что правительство, и отказавши, и удовлетворивши просьбе, поставит себя в худшее положение. Отказавши просьбе сословию, оно вооружит его противу себя, и идея наша идет вперед. Исполнивши просьбу, оно и ослабит себя и даст возможность требовать большего, и все-таки идея наша идет вперед. Объясните об этом.

<Ответ.> Это было говорено. Смысл, по-моему, ясен сам по себе, без объяснения.

Федор Достоевский

<Вопрос.> В этом же собрании Головинский говорил, что перемена правительства не может произойти вдруг, но что прежде надо утвердить диктатуру. Дайте об этом объяснение.

<Ответ.> Несмотря на отдаленность времени, я старался собрать

все мои воспоминания об этом вечере и, припомнив многие из разговоров, никак не мог припомнить, чтоб были сказаны такие слова о нашем правительстве.

Головинский принимался говорить во всеуслышание два раза. Первый раз он говорил о насущности крепостного вопроса, о том, что все заняты этим вопросом и что действительно участь крестьянина достойна внимания. Во второй же раз, отвечая Петрашевскому, он поддерживал свое мнение о том, что разрешение вопроса о крестьянах важнее требования юридической и цензурной реформы. В оба раза он говорил довольно коротко, первый раз не более 10 минут и во второй не более четверти часа; об этом воспоминания мои точны, и в оба раза начал и кончил только разговором о крестьянах, не вдаваясь в другие темы. В такой краткий срок он не мог бы коснуться ни до чего другого, кроме вышеприведенных тем, на которые он говорил. Но чтоб заговорить о таком пункте, как перемена правительства, да еще вдаваться в подробности (ибо если он говорил, что не вдруг может измениться правительство, то необходимо должен был сказать хоть несколько слов в объяснение своего мнения, уже по самой важности темы; да к тому же, как изложено в предложенном мне вопросе, он и действительно вдался в подробности, потому что, как приводится в вопросе, предложил меру, то есть сказал, *«что надо утвердить диктатуру»*, и необходимо, естественно, должен был сказать хоть два слова о том: какую диктатуру), то, повторяю, заговоря на эту тему и необходимо вдаваясь в подробности, он вдруг перескочил бы от своей прежней темы к совершенно другой; кроме того, заговорил бы о таком пункте, о котором и слова не было до его речи; в-третьих, сделал бы это по какому-нибудь поводу, а повода ему дано не было; наконец, должен бы был проговорить гораздо более четверти часа или, положим, 20-ти минут. (Насчет времени продолжения речи Головинского я надеюсь на точность моих воспоминаний и надеюсь тоже, что никто не покажет противного.) Следственно, *если даже и было сказано что-нибудь подобное*, то оно было сказано, по всем вышеизложенным мною причинам, до того вскользь, мимолетом, между словами, и с таким незначительным смыслом, что не удивительно, если я не только позабыл теперь об этих словах, но даже пропустил их и тогда, в минуту самого разговора. Кроме того, и сказаны были, по моему мнению, не эти слова, а только что-нибудь подобное этим словам, например, что так

бывает *вообще* при перемене какого-либо правительства, а не нашего правительства.

Я написал выше *«если даже и было сказано»*. Этими словами я вовсе не хотел утверждать, что показание на Головинского было сделано неверно. Но я только хотел сказать, что этим словам Головинского (если даже они и были сказаны), очевидно, придан преувеличенный смысл, и желал доказать это уже одной физическою невозможностию, недостатком времени для разговора на такую важную, новую тему, не упоминая уже о неожиданности перескока с прежней темы на новую, которая уж неизвестно мне, как и по какому поводу, вышла. Итак, может быть, он и сказал это, хорошо не упомню, но вскользь и *вообще,* а вовсе не как желание перемены нашего правительства. В одном из ответов моих на вопрос, предложенный мне о Головинском, я сказал, что знаю Головинского лично, знаю идеи его и никогда не слыхал от него о желании исполнения идей его бунтом и вообще всяким насильственным образом. Подтверждаю и теперь, что о перемене правительства я никогда не слыхал от него ни слова. Головинский всего чаще говорил о положении крестьян, потому что увлекался этим вопросом, и, помнится, даже и не говорил никогда на какую-нибудь другую тему, если только разговор начинался в таком роде. По крайней мере я не слыхал ничего подобного.

Федор Достоевский

Сейчас только я припомнил, что в одном из разговоров моих с Головинским, один на один, у меня на квартире, мы заговорили о крестьянах и о возможности их освобождения. Так как я очень интересовался этим вопросом, то и спросил Головинского, каким образом он полагает возможность освобождения крестьян, не разорив помещиков, то есть при вознаграждении помещиков, представляя ему, что иначе вопроса и нельзя разрешить; ибо нашего времени помещик не сам поработил крестьян, а случилось это до него за два столетия, то есть в этом он нисколько не виноват, а теряя право на крестьянина, он теряет работника, след<ственно>, капитал? Я очень хорошо помню, что Головинский не только согласился с этим, но даже сказал мне, что, по его идее, нет прямой невозможности освободить крестьянина с вознаграждением, что, напротив, вознаграждение возможно, и даже сказал несколько слов о какой-то финансовой мере, по которой бы

можно было, рассрочив на несколько лет платеж, выплатить всё сполна. Но о мере этой, так как она изложена была очень вскользь и мы были прерваны, я не упомню.

Я привел это воспоминание к тому, чтоб показать, что Головинский не желает революционного и всякого насильственного образа действия, что, по моему *окончательному* мнению, он только занят сильно крестьянским вопросом, потому что этот вопрос интересен сам по себе и достоин внимания, и останавливается на мерах мирных, возможных, а не сокрушающих. Вот с какой стороны я знаю Головинского.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Известно, что на собрании у Петрашевского, 15 апреля, Петрашевский читал речь по поводу отдания первенства вопросу о судопроизводстве и, между прочим, говорил, что переменою судопроизводства откроются и все прочие недостатки и что восстания нельзя предпринимать без уверенности в совершенном успехе, что перемены судопроизводства можно достигнуть законным образом, требуя от правительства таких вещей, в которых оно не может отказать, сознавая их справедливость, и что, достигнувши перемены в судопроизводстве, можно будет требовать у правительства и других перемен. Дайте о сем объяснение и покажите, по какому случаю вы читали на этом собрании письмо Белинского к Гоголю.

<Ответ.> Так как это в идее Петрашевского, то оно могло быть сказано. Я же после чтения находился в другой комнате, кажется, с Кайдановым и Пальмом.

Я прочел письмо Белинского Гоголю, вызвавшись сам, при свидании с Петрашевским у Дурова. Я дал обещание и уже не мог отказаться от него. Петрашевский напомнил мне об этом обещании уже у себя на вечере. Впрочем, он не знал и не мог знать содержания письма. Я его прочел, стараясь не выказывать пристрастия ни к тому, ни к другому из переписывавшихся. По прочтении письма я не говорил об нем ни с кем из бывших у Петрашевского. Мнений об этой переписке тоже не слыхал. При чтении слышны были иногда отрывочные восклицания, иногда смех, смотря по впечатлению, но из этого я не мог заметить чего-нибудь целого. К тому же, быв занят чтением, я не могу даже сказать теперь, чьи были восклицания и смех, которые были слышны.

Сознаюсь, что я поступил неосторожно.

Ф. Достоевский

* По более зрелом обсуждении вопроса я нахожусь вынужденным дать некоторое объяснение на мой ответ. В вопросе приведена следующая фраза, в которой обвиняется Петрашевский: «… и что восстания нельзя предпринимать без уверенности в совершенном успехе…» Я отвечал выше, что всё, что предложено в вопросе, в идее Петрашевского. Этими словами я подразумевал только известное желание Петрашевского о переменах и улучшениях в судопроизводстве, — желание, исполнения которого он ожидает прежде всего. Что же касается до слов о восстании, то долгом считаю сказать, что я никогда не слыхал от Петрашевского никаких проектов о восстании, ни наедине, ни среди общего разговора, что с этой стороны Петрашевского не знаю и потому не могу сказать, чтоб и эти слова были в его идее. Находясь во время речи в другой комнате, не могу ничего сказать об этих словах положительного, но догадываюсь и предполагаю, что они были сказаны не в виде проекта насущного и необходимого, а только фактически, как доказательство невозможности всякого восстания вооруженной рукой. Убежден же я потому, что сам заметил неоднократно, что Петрашевскому очень не нравилось, когда кто, не удержавшись, говорил у него не вечерах слишком резко и неосторожно. Я заметил тоже, что он всегда старался как-нибудь замять подобный промах и чье-нибудь неблагоразумное слово.

Но этим объяснением моим я не могу и отнюдь не желаю ручаться в чем-нибудь за Петрашевского, за его тайные намерения, если они есть у него (которых я никогда не знал), за его сокровенный образ мыслей. Может быть, мне действительно придется сознаться, что я знал его еще менее того, чем предполагал знать. Не хочу тоже и оправдывать словами моими и его уже известный мне образ мыслей. Нет; но я привожу мое объяснение, единственно побуждаемый чувством справедливости. Я должен сказать истину. И потому, повторяю, что излишне резкого слова, так, наприм<ер>, о бунте, о восстании вооруженной рукой, Петрашевский не мог сказать в *виде желания у себя на вечере*, то есть таким образом, как будто бы эта фраза, взятая отдельно, в виде трактата о средствах к восстанию и к бунту, могла, в свою очередь, послужить темою для разговора в другую пятницу. Подтверждаю и повторяю еще, что собрания Петрашевского вовсе не

были такого рода, на которых бы толковалось о средствах к бунту. В воспоминаниях моих я не нахожу ни одной подобной речи или мысли, изложенной или самим Петрашевским, или кем-нибудь из его посетителей на его вечерах. Наконец, я твердо уверен, что если б Петрашевский и позволил себе такие темы для разговора или допустил бы другого кого-нибудь развивать подобную идею, то в следующую пятницу у него не было бы посетителей. По крайней мере, я могу поручиться за тех, кого я знаю. Не говоря уже о тайных побуждениях и сокровеннейших планах Петрашевского и каждого из его посетителей (предполагая только возможность существования этих планов), не говоря об них и нисколько не оправдывая отрицанием их вечера Петрашевского, я хочу только сказать, чтобы заключить мое объяснение, что Петрашевский и гости его не могли быть так неблагоразумны, чтобы делать *заговор,* если б даже и хотели (о чем опять говорю, отнюдь не утверждая, но в виде предположения), таким открытым, неосторожным и безрассудным образом.

Я должен был дать это объяснение и для того, чтобы сказать истину, и для того, чтобы не бросить предшествовавшим ответом моим опасной и несправедливой тени подозрения на многих из бывавших у Петрашевского, которых мнения я знаю близко и за которых даже могу поручиться.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Кроме указанных вам разговоров, происходивших на собраниях у Петрашевского, не было ли там говорено еще чего-нибудь особенного в отношении правительства и кто именно говорил?

<Ответ.> Я не упомню ни одного из разговоров, особенно замечательных, кроме тех, на которые имел честь дать объяснение и которые заняли прошедшей зимой почти все пятницы Петрашевского, начиная с октября месяца. Впрочем, говорю только за те вечера, на которых я сам лично присутствовал. Речь Тимковского занимала два или три вечера (я был на двух); Ястржембский говорил вечеров пять (я был раза три). Наконец, я знаю по слухам, что говорили Толль, Филиппов, и еще был спор о чиновниках. Потом я был лично на двух вечерах, на которых толковалось о литературе. Потом, когда говорилось о вопросах: крестьянском, цензурном и судебном. В эти два раза я присутствовал — и вот все речи и разговоры, которые я знаю, кроме не

политических и не серьезных: так, например, было несколько слов, сказанных Момбелли о вреде карт и о растлении нравов из-за игры. По его идее, карты, доставляя ложное и обманчивое занятие уму, отвлекают его от истинных потребностей, от образования и полезных занятий.

У Петрашевского не всегда говорились (как уже назвали их) *речи:* слово давалось *по большей части тем,* которые говорили против убеждений большинства присутствующих, для того чтобы не всякий из несогласных возражал в одно время и тем не затягивал и не сбивал напрасно разговора. Но большею частию, особенно после речей, тотчас же разбивались на кучки, и разговор шел перекрестный, о котором упомнить нельзя, да и уловить всего было невозможно. Очень многое из того, что предлагалось мне для ответа, по-видимому, было сказано во время этих шумных отдельных разговоров. Но да позволят мне сказать *вообще* несколько слов об этих речах и разговорах.

Так как говорить речей у нас никто не привык и не умеет, то обычай говорить речь, введенный на вечерах Петрашевского единственно во избежание излишнего шума, смущал говоривших своею новостию и непривычкою. И я заметил неоднократно, что часто говорящий, чтоб ободрить себя, как бы нарочно прибегал к некоторым уловкам, которые и не в характере, и не в привычке его. Одна из таких уловок есть острое словцо, слово для смеха, слово пасквильное, насмешка, резкая выходка. Раздающийся кругом смех уже ободряет говорящего; он по естественному чувству увлекается, удваивает резкость, заговаривается, впадает в ложную горячность, в негодование, даже в озлобление, которых нет в его душе; потому что, как мне было известно, часто говоривший бывал из самых незлобивых и смиренных людей. Тут и тщеславие явится на подмогу и разжигает говорящего, и желание угодить всем и каждому, заставляющее иногда для вида согласиться с чужою идеей, которой вовсе не разделяет ораторствующий, но соглашается в надежде, что зато не тронут и его какой-нибудь задушевной идеи. Наконец, самолюбие, разжигающее человека и заставляющее его по нескольку раз требовать слова и с нетерпением ожидать следующего вечера, чтобы опровергнуть своих возражателей, — одним словом, для многих (для очень многих, по моему искреннему убеждению) эти вечера, эти речи, эти разговоры были настолько же серьезным занятием, насколько серьезны карты, шахматная игра и т. п., в свою очередь неотразимо увлекающие

человека, действуя точно таким же образом на те же страсти и страстишки его. Очень многие, по моему мнению, самих себя обманывали и опутывали в этой игре у Петрашевского, принимая игру за серьезное дело. Так же точно разговоры в кучках. Всё, что накопится недосказанного, что накипит в уме в противуречиях на иную длинную речь, которую должно выслушать, не возражая ни слова, всё это изливается разом по окончании речи, тем с большею силою, чем длиннее была речь, чем больше согласных с нею и чем больше явилось собственных противуречий. В это время трудно удержаться от резкого слова, от иной мысли, до того неосторожной, до того не в обыкновенном, нормальном характере того, кто высказывает ее, что, наверно, высказавший на завтра же или, может быть, тут же, через час, отказался бы от нее, спохватившись, но поздно. К тому же вечера Петрашевского слыли всегда за приятельские, за кружок знакомых, а вовсе не были клубом или нарочно устроенным политическим сборищем.

Я говорю это утвердительно, рассуждая так: что если бы (говоря в виде предположения) и был кто-нибудь желающий участовать в политическом собрании, в тайном обществе, в клубе, то, наверно, он не принял бы за тайное общество вечеров Петрашевского, где была одна только болтовня, иногда резкая оттого, что хозяин ручался, что она приятельская, *семейная,* и где вместо всего регламента и всех гарантий был только один колокольчик, в который звонили, чтобы потребовать кому-нибудь слова. Но уже по одному тому, что эти вечера были *приятельские, семейные,* если можно так выразиться, уже по одному этому не остерегались иные и говорили неосторожно. Говорили так, как бы они не стали говорить публично. Кто не будет виноват, если судить всякого за сокровеннейшие мысли его или даже за то, что сказано в кружке близком, тесном, приятельском, чуть не наедине? Но семейный и публичный человек — лица разные. Я был серьезно удивлен, когда мне на первом же допросе представлена была от высочайше утвержденной комиссии фраза, сказанная Дуровым, для подания на нее объяснений, смысл которой был тот, «что нужно посредством литературы показывать чиновникам самый корень зла, или иначе — высшее начальство». Я лично знаю Дурова. Я очень хорошо помню, что он горячо поддерживал меня во время двукратного моего спора у Петрашевского о литературе, — спора, в котором я доказывал, что

литературе *не нужно никакого направления, кроме чисто художественного,* а след<ственно>, и подавно не нужно такого, по которому выказывается, как сказано в обвинении, в словах, приписываемых Дурову, — *корень зла (*не нужно же потому, что навязывается писателю направление, стесняющее его свободу, и вдобавок направление желчное, ругательное, от которого гибнет художественность*).

В тот вечер, в который происходил разговор о чиновниках, меня не было у Петрашевского, как уже я имел честь донести; о споре слышал я на другой или на третий день (хорошо не помню когда) вскользь; слов Дурова не знаю. Но зная его образ мыслей, я уверен, что слова эти или не поняты передавшим их, или сказаны в припадке, в досаде от противуречий, в горячке. Я знаю Дурова как за самого незлобивого человека; но вместе с тем он болезненно раздражителен, раздражителен до припадков, горяч, не удерживается на слова, забывается и даже из противуречия говорит иногда против себя, против своих задушевных убеждений, когда раздражен на кого-нибудь. Близкие Дурова: Щелков и Пальм — еще лучше меня знают его несчастный характер, и я уверен, что и они скажут со мной в одно слово, одно мнение о Дурове. Что случилось с Дуровым, то могло быть в большей или меньшей силе со всеми. Представляю эти наблюдения и замечания мои по долгу справедливости, по естественному чувству, убежденный, что я не вправе скрыть их теперь, при этом ответе моем.

Федор Достоевский

* С чем Петрашевский совершенно согласился. Оказалось, что мы спорили из-за недоразумения. Свидетели — все гости Петрашевского.

<Вопрос.> Объясните, что и в каком духе читал Тимковский на собрании у Петрашевского.

<Ответ.> Тимковский бывал у Петрашевского в начале зимы, всего на четырех или на пяти вечерах. Это, как показалось мне, один из тех исключительных умов, которые если принимают какую-нибудь идею, то принимают ее так, что она первенствует над всеми другими, в ущерб другим. Его поразила только одна изящная сторона системы Фурье, и он не заметил других сторон, которые бы могли охладить его излишнее увлечение Фурье. Кроме того, он недавно только ознакомился с его системой и еще не успел переработать ее собственной критикой. Это по

всему было видно. А известно, какое обаяние делает система Фурье с первого раза.

Во всех других отношениях Тимковский показался мне совершенно консерватором и вовсе не вольнодумцем. Он религиозен и в идеях самодержавия. Известно, что система Фурье не отрицает самодержавного образа правления. Что же касается до личного характера Тимковского, мимо политических убеждений, то я могу сказать одно: он показался мне очень самолюбивым.

Сколько я могу припомнить, за отдаленностию срока, речь его заключалась в следующем.

Во-первых, он благодарил всех за то, что его хорошо приняли, хотя три четверти лиц, бывших в то время в зале, едва знали его по фамилии, то есть вступление было сделано немного напыщенно, да и вся речь мне показалась в том же духе. Потом он объявлял, что скоро уезжает из Петербурга и уносит в душе утешение, что его поняли. Затем он говорил о Фурье с большим уважением, помнится, коснулся многих выгод его системы и желал ее успеха. Впрочем, Тимковский постигнул невозможность немедленного применения системы. Потом увещевал быть согласными в идеях, кто бы какой социальной системы не держался, оговариваясь тут же, что он зовет не на бунт и не желает тайного общества; наконец, просил изъявить ему симпатию нашу, если он заслужил ее, пожатием руки. Речь была написана горячо; видно, что Тимковский работал над слогом и старался угодить на все вкусы. Но направление Тимковского, по моему мнению, несерьезно. Несмотря на свои лета, он еще в первом периоде своего фурьеризма, который случайно попал на его дорогу в глуши провинциальной жизни. Недостаток внешней жизни, избыток внутреннего жара, врожденное чувство изящного, требовавшее пищи, и, главное, недостаток прочного, серьезного образования, вот, по моему мнению, что сделало его фурьеристом. В его же летах всё принимается несколько глубже, чем в первой молодости. На мой взгляд, он может отказаться от многих из своих фурьеристических убеждений, так что от системы Фурье ему останется только то, что в ней полезного. Ибо ум его, жаждущий познаний, беспрерывно требует пищи, а образование самое лучшее лекарство против всех заблуждений. Вот мой собственный взгляд на Тимковского.

Что же касается до впечатления, произведенного им у

Петрашевского, то, как показалось мне, оно было очень двусмысленно. Некоторые смотрели на Тимковского с насмешливым любопытством; некоторые скептически не верили его искренности. Некоторые принимали его за истинный, дагерротипно верный снимок с Дон-Кихота и, может быть, не ошибались. Впрочем, все обошлись с ним весьма учтиво и приветливо.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Бывали ли вы на собраниях у Спешнева, Кашкина, Кузьмина, Дурова, Данилевского и не было ли подобных собраний и у других лиц?

<Ответ.> Со Спешневым я был знаком лично, езжал к нему, но на собраниях у него не бывал и почти в каждый приезд мой к нему я заставал его одного.

С господами Кашкиным и Кузьминым я совсем не знаком.

Данилевского я встречал прошлого года раза два или три в разных домах. Был с ним знаком отдаленно; но на вечерах у него не бывал; сверх того, с мая месяца 1848 года я его совсем не видал, кроме одной минуты, после его возвращения, да и то не успел с ним сказать двух слов.

На вечерах у Дурова я бывал.

Знакомство мое с Дуровым и Пальмой началось с прошедшей зимы. Нас сблизило сходство мыслей и вкусов; оба они, Дуров и особенно Пальм, произвели на меня самое приятное впечатление. Не имея большого круга знакомых, я дорожил этим новым знакомством и не хотел терять его. Кружок знакомых Дурова чисто артистический и литературный. Скоро мы, то есть я, брат мой, Дуров, Пальм и Плещеев, согласились издать в свет литературный сборник и поэтому стали видеться чаще. Брат написал проект издания; начались рассуждения о редакции издания. Так как редакцию мы хотели составлять сами, все, сообща, и решать о достоинстве романов и повестей, назначенных для печати, должны были мы же, то, естественно, родилась в нас потребность взаимного обобщения наших литературных идей и окончательного согласия в некоторых пунктах, касательно издания, в которых мы всё еще не соглашались. Сходились же мы всего чаще на квартиру Дурова, где нам было всего удобнее; ибо каждый из нас был стеснен у себя дома — брат семейством, я и Плещеев теснотою

квартиры, а след<ственно>, мы и не могли принимать гостей в свою очередь. Скоро наши сходки обратились в литературные вечера, к которым примешивалась и музыка. Дуров приглашал самых близких из своих знакомых, мы ввели к Дурову своих; наконец эти сходки стали повторяться каждую неделю, и всего чаще бывали они в субботу. Впрочем, дней постоянных не было.

Вечера эти пребывали чисто литературно-музыкальными, приятельскими, короткими, потому что все мы уже успели перезнакомиться довольно коротко, — и всё это продолжалось в таком виде до тех пор, покамест одно несчастное предложение не изменило на мгновение характера этих сходок.

Возникла мысль, что наши сходки бесплодны даже для нас самих; что многие из нас специальнее других в некоторых познаниях и науках; что у каждого свой ум, свой взгляд, свои наблюдения, и если мы будем делиться друг с другом нашими наблюдениями и познаниями, то для всех будет польза и выгода. Эта мысль могла бы найти сочувствие, но Филиппов, первый ее выразивший, примешал к ней другое предложение, совершенно изменившее ее характер и набросившее весьма неприятную тень на наши сходки. Именно: ему вздумалось предложить литографировать сочинения, которые бы могли быть сделаны кем-нибудь из нашего кружка мимо цензуры.

<Вопрос.> Кто еще посещал эти собрания и чем там занимались?

<Ответ.> Я познакомился с Филипповым прошедшего лета на даче, в Парголове. Он еще очень молодой человек, горячий и чрезвычайно неопытный; готов на первое сумасбродство и одумается только тогда, когда уже беды наделает. Но в нем много очень хороших качеств, за которые я его полюбил; именно — честность, изящная вежливость, правдивость, неустрашимость и прямодушие. Кроме того, я заметил в нем еще одно превосходное качество: он слушается чужих советов, чьи бы они ни были, если только сознает их справедливость, и тотчас же готов сознаться в своей ошибке и раскаяться в ней, если в том убедят его. Но горячий темперамент его и сверх того ранняя молодость часто опережают в нем рассудок; да кроме того, есть в нем и еще одно несчастное качество, это — самолюбие, или, лучше сказать, *славолюбие*, доходящее в нем до странности. Он иногда ведет себя так, как будто думает, что все в мире подозревают его храбрость, и я думаю, что он

решился бы соскочить с Исаакиевского собора, если б случился кто-нибудь подле, чьим мнением он бы дорожил и который бы стал сомневаться в том, что он бросится вниз, а <не> струсит. Я говорю это по факту. Я боялся холеры в первые дни ее появления. Ничего не могло быть приятнее для Филиппова, как показывать мне каждый день и каждый час, что он нимало не боится холеры. Единственно для того, чтоб удивить меня, он не остерегался в пище, ел зелень, пил молоко и однажды, когда я, из любопытства, что будет, указал ему на ветку рябинных ягод, совершенно зеленых, только что вышедших из цветка, и сказал, что если б съесть эти ягоды, то, по-моему, холера придет через пять минут, Филиппов сорвал всю кисть и съел половину в глазах моих, прежде чем я успел остановить его. Эта детская безрассудная страсть, достойная сожаления, к несчастью, главная черта его характера. Из того же самолюбия он чрезвычайный спорщик, и любит спорить обо всем, хотя бы того, об чем спорят, он никогда не знал. Несмотря на то что он образован и вдобавок специалист по физико-математическим предметам, у него мало серьезно выработанных убеждений, за недостатком действительной жизни. Взамен его молодость щедро наделена всякими увлечениями, нередко самыми разнородными и даже противуречащими друг другу. Вот каковым кажется мне характер Филиппова.

Почти все приняли предложение его весьма дурно. Все чувствовали, что зашли далеко и ждали, как каждый выскажется. Не знаю, может быть, я ошибся, но мне показалось, что половина присутствующих только оттого тут же не высказали противного Филиппову мнения, что боялись, что другая половина заподозрит их в трусости, и хотели отвергнуть предложение не прямо, а как-нибудь косвенным образом. К тому же хотя все были довольно коротки друг с другом, однако прежние знакомые Дурова и Пальма знали новых знакомых, то есть нас, еще очень недавно и не совсем доверяли нам. Я забыл сказать, что самые короткие и старые знакомые Дурова и Пальма — Щелков, братья Ламанские и Кашевский. Филиппов же был введен мною; я же пригласил и Спешнева. Впрочем, и Филиппов и Спешнев были уже довольно закомы с Дуровым и Пальмом, сходясь иногда у Петрашевского. Начались толки; всякий представлял неудобства; многие сидели и молчали, другие говорили, больше всех Момбелли и Филиппов, но не помню, поддерживал ли Момбелли Филиппова. Мало-

помалу приятельский тон нашего кружка расстроился. Дуров ходил по комнате и начинал хандрить; я уже замечал скорый припадок. Кашевский и Щелков, *вполне равнодушные ко всему, что выходит из их артистического круга*, чтобы замять дело, сели за свои инструменты. Некоторые уехали ранее, тотчас после ужина. Наконец досада Дурова на Филиппова излилась в припадке. Он завел его в другую комнату, придрался к какому-то слову его и наговорил ему дерзостей. Филиппов вел себя благоразумно, понял, в чем дело, и не отвечал запальчиво. Я уехал в тот вечер раньше обыкновенного.

На другой день брат объявил мне, что он не будет ходить к Дурову, если Филиппов не возьмет назад своего предложения; то же самое, помнится, он объявил и Филиппову, встретив его, кажется, дня через два. По наблюдениям моим, я заметил, что многие поступили бы так же, как и мой брат. По крайней мере, я положительно знаю, что Дуров хотел уничтожить свои вечера как можно скорее. Наконец, когда собрались в другой раз, я попросил, чтоб меня выслушали, и отговорил всех, стараясь действовать в моей речи * легкой насмешкой, но по возможности щадя щекотливость каждого. Мне удалось, и, как мне показалось, все как будто ждали этого, и тотчас же предложение Филиппова было откинуто. После того собрались всего только один раз. Это было уже после святой недели. В это время я был очень занят у себя дома литературной работой моей, виделся с очень немногими из моих знакомых, да и то мельком, но знаю, что по болезни Пальма вечера совсем прекратились.

Вот всё, что я имею сказать о собраниях у Дурова.

Федор Достоевский

* Впрочем, речей у Дурова не говорилось. Я сказал первую и последнюю, и всего была одна.

<Вопрос.> Вы были на обеде у Спешнева. Объясните, что происходило замечательного за этим обедом?

<Ответ.> На обеде у Спешнева были толки о предложении Филиппова. Впрочем, утро было самое скучное и вялое, потому что между Спешневым и Дуровым, как мне показалось, были недоумения. Эти недоумения, сколько я знаю, возникли из-за предложения филипповского. Дуров, рассерженный на Филиппова, поссорился с Момбелли и объявил, что он не хочет делать вечеров, говоря, что зачем

же другие не делают? Момбелли предложил собраться у Спешнева, и Спешневу навязали сделать утро. Дуров сказал это, желая во что бы то ни стало кончить с предложением Филиппова и придрался хоть к чему-нибудь, Спешнев решительно объявил некоторым, что ему навязали этот обед и что ему неудобно звать в другой раз. Толковали и ничего не решили. Григорьев же прочел «Солдатскую сказку», но, кто автор ее, сказано не было, и я не знал, хотя и подозревал. Впрочем, я не любопытствовал знать. Впечатление было очень слабое, потому что все были под различными влияниями и почти все не хотели подобных чтений. После обеда разошлись тотчас же.

В первом показании моем я умолчал об этом обеде, во-первых, потому, что это было продолжением того же спора, во-вторых, чтобы не обнаруживать неприятной ссоры Момбелли и Дурова. Я не показал тоже на Григорьева, потому что действительно наверно не знаю, кто автор «Солдатской сказки».

Федор Достоевский

<Вопрос.> Известно, что на вечерах у Дурова читали: Милюков — перевод свой из «Paroles d'un croyant»,[28] вы — переписку Белинского с Гоголем, а Григорьев — «Солдатскую беседу». Имеете дать об этом объяснение.

<Ответ.> Милюков действительно читал свой перевод. Еще прежде он как-то сказал, что у него он есть; и его просили принести прочесть — из любопытства.

Которого числа и месяца, не помню (кажется, в марте), я зашел к Дурову, в третьем часу пополудни, и нашел присланную мне переписку Белинского с Гоголем. Я тут же прочел ее Дурову и Пальму. Меня пригласили остаться обедать. Я остался. В шестом часу заехал Петрашевский и просидел четверть часа. Он спросил: «Что это за тетрадь?» Я сказал, что это переписка Белинского с Гоголем и обещал, неосторожным образом, прочесть ее у него. Это сделал я под влиянием первого впечатления. Тут, по уходе Петрашевского, пришли еще кто-то, и я остался пить чай. Естественно, зашел разговор о статье (Белинского), и я прочел ее в другой раз. Но слушающих, кроме Дурова и Пальма, было не более шести человек; только и было гостей. Помню, что были: Момбелли, Львов, братья Ламанские. Кто еще? — позабыл. Всё это сделалось *в первый же день* получения статьи, когда еще я был

под влиянием *первого* впечатления.

О статье Григорьева «Солдатская беседа» я уже дал объяснение, что она была прочитана, но не у Дурова и не на вечере, а на обеде у Спешнева. Чтение началось так нечаянно (то есть без предварительных объяснений), что я даже не знал, кто автор и что такое читается. Об этой статье я с Григорьевым не говорил никогда. Впечатление было ничтожное. Может быть, кто-нибудь из бывших возле Григорьева сказал несколько одобрительных слов, но разве только из учтивости. Но я этого не заметил, сидя всех далее во время чтения.

Федор Достоевский

<Вопрос.> На тех же вечерах Момбелли сделал предложение о тесном сближении между посетителями, дабы под влиянием друг друга тверже укрепиться в направлении и успешнее поддерживать свои идеи в общественном мнении. Сделайте об этом объяснение.

<Ответ.> Это было еще в самом начале вечеров у Дурова, кажется, даже в первый вечер. Момбелли действительно начал говорить что-то подобное, но всех его слов не упомню. Но помню, что он не докончил; потому что его прервали на половине и занялись музыкой. Момбелли засмеялся, не обиделся за невнимание, согласился тут же, что он начал говорить некстати, и о словах его уже никогда более не было помину, и общество надолго осталось чисто литературно-музыкальным.

Федор Достоевский

<Вопрос.> На тех же вечерах студент Филиппов предлагал заняться общими силами разработыванием статей в либеральном духе, относящихся к вопросам, которые касаются до современного состояния России в юридическом и административном отношении, и печатать их в домашней типографии. Имеете дать об этом объяснение.

<Ответ.> Не студент, а бывший студентом Павел Филиппов. Что же касается до студента Филиппова, его брата, то он ни с Дуровым, ни с Петрашевским и, кажется, ни с кем из нас не был знаком; я его знаю, потому что видел раза три, когда заходил к его брату, Павлу Филиппову.

Павел Филиппов сделал такое предложение. Но в вопросе сказано *о домашней типографии. О печатании* никогда и ничего я не слыхал у Дурова; да и нигде. Об этом и помину не было. Филиппов же

предложил *литографию.* Это мне совершенно памятно.

Я уже дал объяснение об этом предложении в одном из предыдущих вопросов. Это предложение сделано было вдруг, то есть в обществе, которое было чисто литературно-музыкальным, и с первого раза оно завлекло многих как новость. Впрочем, я не помню, чтоб Филиппов произнес слов: *в либеральном духе*, а просто приглашал заняться разработкой статей о России. Некоторые одобряли это предложение вначале, чисто из любознательности, но остановились, когда дело дошло до литографии. Тут большая половина, а может быть и все (ибо неизвестно, что каждый думает про себя), не захотели этого предложения. Но толки об этом предложении продолжались еще два собрания (из которых одно было на обеде у Спешнева). Эти толки тянулись через силу; ибо всем видимо хотелось отстать. Но наконец оно было отвергнуто, и тогда все объявили себя против него. Каким образом было отвергнуто, я уже имел честь дать объяснение в одном из предыдущих вопросов.

Федор Достоевский

Я припомнил, что вначале, когда еще не было вечеров у Дурова, когда они были только в проекте и только рассуждалось об их установлении, я и Дуров, как первые согласившиеся на эти вечера, имели случай неоднократно повторить, *что вечера устанавливаются чисто с литературно-музыкальною целью и что другой какой цели, тайной, подразумеваемой, — не было, нет и не будет.* Приглашались в это собрание другие, открыто, прямо, безо всякого соблазна; никто не был завлечен приманкой посторонней цели, и всякому сказано было (и не один раз даже), *что общество чисто литературно-музыкальное, и только литературно-музыкальное.*

Федор Достоевский

<Вопрос.> На тех же вечерах говорено было, что учители в учебных заведениях должны стараться читать сколько возможно в либеральном духе. Сделайте об этом объяснение.

<Ответ.> Этого совсем не припомню.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Если вам что-либо известно в отношении к злоумышлению, которое бы существовало и вне обозначенных

собраний, то обязываетесь всё то показать, с полною откровенностию.

<Ответ.> Ни о чем подобном не знаю.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Что вы знаете об учителе Белецком?

<Ответ.> Об учителе Белецком я ничего не знаю.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Объясните, с которых пор и по какому случаю проявилось в вас либеральное или социальное направление?

<Ответ.> Со всею искренностию говорю еще однажды, что весь либерализм мой состоял в желании всего лучшего моему Отечеству, в желании безостановочного движения его к усовершенствованию. Это желание началось с тех пор, как я стал понимать себя, росло во мне всё более и более, но никогда не переходило за черту невозможного. Я всегда верил в правительство и самодержавие. Не осмелюсь сказать, что я никогда не заблуждался в желаниях моих, то есть что все они были правильны. Может быть, я и очень ошибался в моих желаниях усовершенствования и общей пользы, так что исполнение их послужило бы ко всеобщему вреду, а не к пользе. Но я совестливо смотрел за собою и очень часто поправлял свое мнение. Может быть, мне удавалось иногда выражать это мнение с излишнею горячностию или даже горечью; но это было минутами. *Злобы и желчи во мне никогда не было.* К тому же меня всегда руководила самая *искренняя* любовь к Отечеству, которая подсказывала мне добрый путь и (я верю в то) оберегала меня от пагубных заблуждений.

Я желал многих улучшений и перемен. Я сетовал о многих злоупотреблениях. Но вся основа моей политической мысли была — ожидать этих перемен от самодержавия. Всё, чего хотел я, это — чтоб не был заглушен ничей голос и чтобы выслушана была по возможности всякая нужда. Я знаю, что законы охраняют всех и каждого; верую в то, но есть злоупотребления и, к несчастию, их много. И потому я изучал, обдумывал сам и любил слушать разговор, в котором бы знающие более меня говорили о возможности некоторых перемен и улучшений. Но во мне, повторяю, никогда желание лучшего не превышало возможного. Что же касается до социального направления, то я никогда и не был социалистом, хотя и любил читать и изучать социальные вопросы. Во-

первых, социализм есть та же политическая экономия, но в другой форме. А политико-экономические вопросы я люблю изучать. К тому же я страстно люблю исторические науки. Вот почему я с большим любопытством следил за переворотами западными. Вся эта ужасная драма сильно занимала меня, во-первых, как драма, во-вторых, как важный факт, по крайней мере могущий возбудить любопытство. В-третьих, как история, в-четвертых, во имя человеколюбия, ибо настоящее положение Запада крайне бедственно. Я говорил иногда о политических вопросах, но — редко вслух, почти никогда. Я допускал *историческую* необходимость настоящего переворота на Западе, но — *только в ожидании лучшего.*

Социализм предлагает тысячи мер к устройству общественному, и так как все эти книги писаны умно, горячо и нередко с неподдельною любовью к человечеству, то я с любопытством читал их. Но именно оттого, что я не принадлежу ни к какой социальной системе, а изучал социализм вообще, во всех системах его, именно потому я (хотя мои познания далеко не окончательные) вижу ошибки каждой социальной системы. Я уверен, что применение хотя которой-нибудь из них поведет за собою неминуемую гибель. Я уже не говорю у нас, но даже во Франции. Это мнение было не раз выражаемо мною. Наконец, вот вывод, на котором я остановился. Социализм — это наука в брожении, это хаос, это алхимия прежде химии, астрология прежде астрономии; хотя, как мне кажется, из теперешнего хаоса выработается впоследствии что-нибудь стройное, благоразумное и благодетельное для общественной пользы точно так же, как из алхимии выработалась химия, а из астрологии — астрономия.

Федор Достоевский

Во всех сих ответах моих на предложенные мне вопросные пункты написал я сущую истину и ничего более прибавить не имею, в чем и подписуюсь.

Отставной инженер-поручик Достоевский

<Вопрос.> Объясните, когда и каким образом вы познакомились с Черносвитовым.

<Ответ.> Я встретил Черносвитова в первый раз у Петрашевского, никогда не видав его прежде, и видел его не более двух раз.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Известно, что Черносвитов на одном собрании у Петрашевского старался внушить мысль, что либерализм и социализм одно и то же. О содержании и направлении этого разговора имеете дать положительное объяснение?

<Ответ.> Разговора о тождественности либерализма и социализма и мнения Черносвитова не расслышал.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Известно, что на том же собрании у Петрашевского Черносвитов в разговорах своих старался всех вызвать на резкость и, действительно, разговор в этот вечер был резче, чем когда-либо, причем и Львов рецитировал какую-то басню. Имеете дать положительное о сем объяснение?

<Ответ.> Вызова на резкость я не заметил; но говорил он бойко, остро и часто словами своими порождал смех. О рассказанной басне действительно припоминаю.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Известно, что на том же собрании Черносвитов между прочим говорил: «Да, вот, господа, беда нам, русским, к палке-то мы очень привыкли — она нам нипочем»; на возражение же Спешнева, что палка о двух концах, Черносвитов сказал: «Да другого-то конца мы сыскать не умеем». Имеете сделать и по этому предмету положительное объяснение?

<Ответ.> Не слыхал.

Ф. Достоевский

<Вопрос.> В том же собрании Черносвитов говорил, что Восточная Сибирь есть отдельная страна от России и что ей суждено быть отдельною империею, причем звал всех в Сибирь, говоря: «А знаете что, господа, поедемте все в Сибирь — славная страна, славные люди». Объясните о подробностях и цели этого разговора.

<Ответ.> Слова эти припоминаю; но только не помню, чтобы Черносвитов давал им подобный смысл. Он говорил, что восточный край Сибири действительно страна как бы отдельная от России, но, сколько я припомню, в смысле климатическом и по особенной

оригинальности жителей. Такого же резкого суждения, что Сибири суждено быть отдельною империей, я решительно не слыхал от Черносвитова, и такого смысла в словах его, по моему мнению, не заключалось.

Федор Достоевский

Причем на словесный спрос об рассказе Черносвитова про оригинальность жителей отвечаю, что слышал, как он рассказал свой разговор с каким-то, помнится, рабочим, про Китай, куда, по мнению рабочего, можно прелегко забраться.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Говоря про Черносвитова на дороге с Спешневым, вы сказали: «Черт знает, этот человек говорит по-русски, точно как Гоголь пишет». После сего, подойдя ближе к Спешневу, вы сказали: «Мне кажется, что Черносвитов просто шпион». Объясните, какие разговоры Черносвитова внушили вам мысль, что он шпион.

<Ответ.> Не особенное что-нибудь из разговора Черносвитова, но всё в разговоре Черносвитова внушило мне эту, впрочем *мгновенную,* мысль. Мне показалось, что в его разговоре есть что-то увертливое, как будто, как говорится, *себе на уме.* Видев Черносвитова после того всего один раз, я даже позабыл мое замечание теперь, когда позван был отвечать на вопрос.

Федор Достоевский

<Вопрос.> В бумагах ваших найдена записка от Белинского, заключающая в себе приглашение вас в собрание у одного лица, с которым вы еще не были знакомы. Объясните, какое это собрание, были ль вы на оном, и сколько именно раз.

<Ответ.> О записке Белинского решительно ничего не могу припомнить, не знаю, какого она содержания, и теперь только в первый раз узнаю, что у меня была записка от Белинского. Но этими словами я вовсе не хочу отречься от моего знакомства с Белинским. Я был с ним знаком в первый год знакомства довольно коротко, во второй год очень отдаленно, а в третий год был с ним в ссоре и не виделся с ним ни разу.

Если записка эта пригласительная, то, вероятно, она была написана еще в первые дни нашего знакомства, и если он куда-нибудь приглашал

меня, то просто в гости, а не в собрание. Круг знакомства Белинского, сколько я знаю, был очень тесен и ограничивался литературным кружком. В собрания большие он не ходил и терпеть их не мог, потому что был нелюдим, хвор и сидень. Вероятно, он хотел познакомить меня с кем-нибудь из литераторов. Тогда, то есть в первые дни нашего знакомства, он очень интересовался мною; ибо первый роман мой ему очень понравился и он смотрел на меня, несколько преувеличивая и мое дарование и значение мое. Через роман мой я с ним и познакомился. Сколько помню, мы только и говорили тогда об одной литературе, и несколько месяцев велся у нас жаркой спор о некоторых мнениях чисто литературных. Итак, повторяю, что если я был приглашен куда-нибудь, то не в собрание, а *в гости,* к какому-нибудь литератору. Но куда? как? — припомнить ничего не могу, потому что о записке совершенно забыл и не знаю ее. Собраний же постоянных ни у кого не бывало.

Федор Достоевский

<Вопрос.> В числе книг ваших оказались две запрещенные, под заглавиями: одна — «Le Berger de Kravan», а другая — «La célébration du Dimanche». Объясните, от кого и каким образом вы приобрели эти книги.

<Ответ.> Накануне ареста, 22 апреля, я заходил вечером к Григорьеву и взял у него со стола «Le Berger de Kravan». Я не успел прочесть в этой книге ни строчки и потому содержания ее не знаю. Другую же «La célébration du Dimanche» — взял я, кажется, за неделю до ареста, у Головинского. Я прочел в ней только несколько страниц еще в бытность у Головинского, и так как она показалась мне занимательною, то я и взял ее с собою. Впрочем, не могу сказать, знает ли об том Головинский, потому что я, помнится, и позабыл спросить его.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Известно, что вы посещали вечера Плещеева, на которых была читана юмористическая статья под заглавием «Петербург и Москва», сочиненная Гернцем[29] Объясните, часто ли вы бывали на вечерах этих и какое они имели направление?

<Ответ.> У Плещеева никогда не было постоянных вечеров. Он только очень изредка звал к себе на чай. По воспоминаниям моим, во

всю зиму не более трех раз. На этих вечерах говорилось обо всем и ни о чем особенно; то есть это были обыкновенные приятельские собрания, не более; и так как не было особенной цели, то не было и особого направления; тут всякий был точно таков же, как и у себя дома, как и в другом месте: особенности никакой не было. Гости были, сколько я знаю, из коротких приятелей. Вот всё, по моим воспоминаниям. Статья «Петербург и Москва» была действительно один раз прочитана; но вовсе не для возмутительных целей и без предварительного намерения; а случайно, кажется потому, что под руку попалась как легкая фельетонная статья, в которой много остроумия, хотя и бездна парадоксов; на нее смотрели с точки зрения чисто литературной. Так, по крайней мере, по воспоминаниям моим.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Из показаний Спешнева и Данилевского видно, что на вечерах Плещеева рассуждалось о возможности печатать за границею запрещенные книги. Дайте об этом объяснение.

<Ответ.> На вечерах Плещеева, о которых я говорил в предыдущем вопросе, никогда, ни одного слова не было произнесено о подобном предмете. Но я помню, что один раз, когда именно — позабыл, но только очень давно, с лишком год назад, я зашел поздно вечером, часов в 11-ть, к Плещееву и встретил у него Данилевского и Спешнева. И помню, тогда действительно сказано было несколько слов о возможности печатать за границею. Мне тогда же показалось это невозможным по многим причинам. Разговор об этом предмете в последующее время никогда не возобновлялся, — одним словом, остался без всяких последствий.

Федор Достоевский

<показания Ф. М. Достоевского из дела о В. Р. Зотове>

<Вопрос.> Объясните: как имя и отчество издателя литературной газеты Зотова, какого он звания, где служит, где живет, а также какое он имел сношение с Петрашевским и, бывая на собраниях, какое принимал в них участие?

<Ответ.> Его имя, если не ошибаюсь, Владимир Рафаилович. Где служит и живет — не знаю; ибо никогда не имел с ним никакого знакомства. О знакомстве его с Петрашевским я и не знал и теперь только в первый раз слышу об этом. На вечерах Петрашевского я никогда не встречал его.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Не известно ли вам: имя, отчество и звание издателя литературной газеты г-на Зотова, а также где он служит и имеет жительство?

<Ответ.> Его имя: Владимир Рафаилович. О месте службы его и жительстве я не знаю.

Федор Достоевский

<показания Ф. М. Достоевского из дела об А. Н. Майкове>

<Вопрос.> Как отчество Валериана *Майкова,* который, по показанию вашему, посещал собрания *Петрашевского,* а также какого он звания, где служит и где живет?

Не умер ли он?

<Ответ.> Вероятно, в этом вопросе сделана ошибка. Я никогда ни одного слова не показывал о Валериане Майкове и о том, что он знал Петрашевского. Мои воспоминания на этот счет точны.

Валериан Николаевич Майков умер ровно два года назад 13 июля 1847 года. Я был с ним знаком всего один год, как с литератором. Он был в Университете, кончил курс и потом служил — но где? — не могу припомнить. У Петрашевского я его не видал ни разу. * Он знал Петрашевского, но не любил ни его, ни его собраний и старался с ним видеться как можно реже. Я два раза был свидетелем, как он не сказался дома, когда Петрашевский приезжал к нему с визитом. Он называл его сумасбродным человеком, и я помню, как он говорил, что он не будет у Петрашевского никогда по пятницам и что это общество ему нисколько не нравится.

Вот всё, что я имею сказать о Валериане Николаевиче Майкове.

Федор Достоевский

* Кроме одного раза, в именины Петрашевского, в *званый* вечер.

<показания Ф. М. Достоевского из дела об А. П. Милюкове>

<Вопрос.> Какое участие г-н Милюков принимал на собраниях у Дурова и часто ли посещал он эти собрания?

<Ответ.> Г-н Милюков на вечерах Дурова был как и все гости. Так как он сам литератор, то знакомство его с Дуровым и с обществом, которое собиралось у Дурова, было литературным знакомством. Милюкова, казалось мне, все любили за веселый и добродушный характер; сверх того, он мастер рассказывать анекдоты — и вот его главные особенности. Раз он как-то сказал, — не помню, к какому разговору, — что у него есть переложение известной статьи Ламене на славянский язык. Это показалось странным и любопытным, и его просили показать. Милюков наконец принес ее и прочел. Когда Филиппов сделал свое предложение, Милюков хотя сначала и принимал участие в общих толках, по живости своего характера; но, как показалось мне, испугался второго предложения: о литографии. Это я заключаю из двух воспоминаний. 1-е) то, что он совсем перестал говорить об этом, тогда как еще продолжались толки, и даже не был в один из этих вечеров у Дурова; равно как и на обеде у Спешнева, несмотря на приглашение. Последнее обстоятельство мне памятно потому, что я помню, как все спрашивали: «Где Милюков и отчего не пришел?» 2-е) то, что я слышал, и кажется, через достоверных людей, как сам Милюков говорил, что он отстает от предложения Филиппова и что оно ему не нравится. Все это было еще до моего предложения (против Филиппова). Мне кажется, что Милюков хотел тоже совсем перестать ездить на вечера Дурова. Это по всему было видно, а главное из того, что он перестал являться в последнее время. Но тут нас арестовали, и я не имел случая поверить моих наблюдений.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Какое г-н Милюков принимал участие на собраниях у Дурова и Плещеева?

<Ответ.> Милюков на собраниях у Плещеева не выказался ни с какой особенной стороны, кроме того, что он

человек веселый, умеет хорошо рассказывать и заставить себя слушать. У Дурова, как известно, он прочел свой перевод Ламене.

Федор Достоевский

<показания Ф. М. Достоевского из дела о Н. А. Мордвинове>

<Вопрос.> Объясните, какое Николай Мордвинов принимал участие в собраниях у Плещеева.

<Ответ.> Николай Мордвинов, как мне известно, старый знакомый Плещееву и товарищ его по Университету; он приезжал к нему как близкий знакомый. Но он всегда был молчалив. Я ничего не заметил особенного.

Федор Достоевский

<показания Ф. М. Достоевского из дела о Ромашове, Салтыкове, Бердяеве, Яшвиле, извозчиках: Федоте и Михаиле Яковлевых и Блюм>

<Вопрос.> С которого времени титулярный советник Михаил Салтыков начал посещать собрания Петрашевского, когда прекратил посещения этих собраний и какое принимал в них участие?

<Ответ.> Я не помню, чтобы я когда-нибудь встретил г-на Салтыкова у Петрашевского. Бывши очень мало знакомым с г-ном Салтыковым, я ничего не знаю и об отношениях его к Петрашевскому. От Петрашевского же я тоже не слыхал ни слова о г-не Салтыкове.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Не известно ли вам, в каких сношениях был с Петрашевским участвовавший в заговоре, бывшем в Киевском университете, Яшвиль, где он ныне находится и в каком звании?

<Ответ.> Я совершенно ничего не знаю о г-не Яшвиле, первый раз слышу о нем, равно как и о заговоре, бывшем в Киевской губернии. Ничего не знаю об отношениях к нему Петрашевского.

Федор Достоевский

<показания Ф. М. Достоевского из дела о прикосновенных лицах>

<Вопрос.> Часто ли господа Безобразов и Пальчиков посещали собрания у Плещеева и какое они принимали на них участие?

<Ответ.> Господина Пальчикова я не встречал ни разу у Плещеева. А господин Безобразов был один раз. Он оставался с полчаса и принимал такое же участие, как и все приглашенные на чай. Он ничем не кинулся мне в глаза, и потому я не могу сказать о нем ничего необыкновенного.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Как имя и отчество господина Витковского, посещавшего собрания Петрашевского, какого звания, где служит и имеет жительство, а также не известно ли вам, с которых пор он начал посещать эти собрания и когда посещения прекратил?

<Ответ.> Я никогда не знал господина Витковского, ничего не слыхал о нем и теперь только в первый раз о нем слышу. По этому случаю не могу сказать, бывал ли он у Петрашевского.

Мне помнится, что я сказал в одном из моих ответов, что несколько лиц, бывавших у Петрашевского, были мне совсем незнакомы, так что я даже не знаю их фамилии. Может быть, и господин Витковский принадлежит к числу этих лиц? Впрочем, повторяю, о господине Витковском я решительно ничего не знаю.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Какой имеет чин Владимир Кайданов, где он служит и имеет жительство; а также часто ли он посещал собрания Петрашевского и Дурова и какое принимал участие в этих собраниях?

<Ответ.> Я знаю одного господина Кайданова, которого встречал у Петрашевского, но не знаю, как его имя, равно как ни его чина, ни места его службы. Он, кажется, воспитывался вместе с Петрашевским в Лицее и знаком с ним как товарищ. У Петрашевского он бывал не часто, много что один раз в месяц; так, по крайней мере, мне помнится. В общих разговорах он не принимал никогда участия и всегда сидел в другой

комнате за книгой или с кем-нибудь из коротких знакомых своих, тогда как в зале говорили. У Дурова он никогда не был ни на одном вечере, и я думаю, что они совсем незнакомы.

Федор Достоевский

<Вопрос.> Объясните, часто ли посещали собрания Петрашевского и с которого времени нижепоименованные лица; а также имена, отчества и звания их, где служат и имеют жительства: Вернацкий.

<Ответ.> Никогда не слыхал об этой фамилии у Петрашевского и никогда не встречал у него господина Вернацкого.

<Вопрос.> Авдеев.

<Ответ.> Такого лица совсем не знаю; также не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Стальницкий.

<Ответ.> Не знаю ни господина Стальницкого, ни о том, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Григорьев.

<Ответ.> Имени и отчества не припомню. Чина тоже. Служит, кажется, в лейб-гвардии драгунском полку. Видел я его у Петрашевского всего раза четыре. Он знаком с Петрашевским, помнится, с января месяца 1849 года. Живет в Гороховой, близ Семеновского моста, в доме Севастьянова.

<Вопрос.> Ратовский.

<Ответ.> Ничего не знаю ни о господине Ратовском, ни о том, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Степанов.

<Ответ.> Никогда не знал ни господина Степанова, ни о том, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Аслан.

<Ответ.> Не знаю господина Аслана. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Гренков.

<Ответ.> Не знаю господина Гренкова. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Полянский.

<Ответ.> Не знаю господина Полянского. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Мотрашенко.

<Ответ.> Не знаю господина Мотрашенко. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Михайлов.

<Ответ.> Знаю господина Михайлова только по фамилии; ни чина, ни имени не помню. Не знаю ничего о времени знакомства с Петрашевским, но, кажется, видел его у Петрашевского один раз прошлого года. Впрочем, наверно не помню. Где живет, не знаю.

<Вопрос.> Макеев.

<Ответ.> Не знаю господина Макеева. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Стасов 1-й.

<Ответ.> Никогда не слыхал о знакомстве господина Стасова 1-го с Петрашевским и не видал его у Петрашевского. Ни чина, ни имени, ни места жительства не знаю.

<Вопрос.> Стасов 2-й.

<Ответ.> Никогда не слыхал о знакомстве господина Стасова 2-го с Петрашевским и не видал его у Петрашевского. Ни чина, ни имени, ни места жительства не знаю.

<Вопрос.> Сипко.

<Ответ.> Не знаю господина Сипко; не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Сундуков 1-й.

<Ответ.> Не знаю господина Сундукова 1-го. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Сундуков 2-й.

<Ответ.> Не знаю господина Сундукова 2-го. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Назаров.

<Ответ.> Не знаю господина Назарова. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Петров.

<Ответ.> Не знаю господина Петрова. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Взметнев.

<Ответ.> Не знаю господина Взметнева. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Бурнашев.

<Ответ.> Не знаю господина Бурнашева. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Петр Петрович Семенов.

<Ответ.> Не знаю господина Семенова. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

<Вопрос.> Лукин (учитель) Василий Васильевич.

<Ответ.> Не знаю господина Лукина. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

Федор Достоевский

<подписка Ф. М. Достоевского в военно-судной комиссии>

Г-ну отставному инженер-поручику Достоевскому.

Высочайше утвержденная для суждения Вас по полевым военным законам Военно-судная комиссия предлагает Вам объяснить: не имеете ли Вы, в дополнение данных уже Вами при следствии показаний, еще чего-либо к оправданию своей вины представить?

К оправданию своему не имею представить ничего нового, кроме, разве того, что я никогда не действовал с злым и преднамеренным умыслом против правительства. Что я сделал, было сделано мною необдуманно и многое почти нечаянно, так, например, чтение письма Белинского. Если же когда-нибудь я что сказал свободно, то разве в кругу близких людей, которые могли понять меня и знали, в каком смысле я говорю. Но распространения моих сомнений я всегда убегал.

Федор Достоевский

20 октября 1849 г.

<мемуарная запись Ф. М. Достоевского в альбом О. А. Милюковой об его аресте>

Двадцать второго или, лучше сказать, двадцать третьего апреля (1849 год) я воротился домой часу в четвертом от Григорьева, лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час я, сквозь сон, заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатический голос: «Вставайте!»

Смотрю: квартальный или частный пристав, с красивыми бакенбардами. Но говорил не он; говорил господин, одетый в голубое, с подполковничьими эполетами.

— Что случилось? — спросил я, привстав с кровати.

— По повелению…

Смотрю: действительно «по повелению». В дверях стоял солдат, тоже голубой. У него-то и звякнула сабля… «Эге! да это вот что!» — подумал я.

— Позвольте ж мне… — начал было я…

— Ничего, ничего! одевайтесь… Мы подождем-с, — прибавил подполковник еще более симпатическим голосом.

Пока я одевался, они потребовали все книги и стали рыться, не много нашли, но всё перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности: он полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер, по его приглашению, стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стулом на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было.

На столе лежал пятиалтынный, старый и согнутый. Пристав внимательно разглядывал его и наконец кивнул подполковнику.

— Уж не фальшивый ли? — спросил я…

— Гм… Это, однако же, надо исследовать… — бормотал пристав и кончил тем, что присоединил и его к делу.

Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и человек ее, Иван, хотя и очень испуганный, но глядевший с какою-то тупою

торжественностью, приличною событию, впрочем, торжественностью не праздничною. У подъезда стояла карета; в карету сел солдат, я, пристав и подполковник; мы отправились на Фонтанку, к Цепному мосту у Летнего сада.

Там было много ходьбы и народу. Я встретил многих знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин, статский, но в большом чине, принимал… беспрерывно входили голубые господа с разными жертвами.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — сказал мне кто-то на ухо.

23 апреля был действительно Юрьев день.

Мы мало-помалу окружили статского господина со списком в руках. В списке перед именем господина Антонелли написано было карандашом: «агент по найденному делу».

«Так это Антонелли!» — подумали мы…

Нас разместили по разным углам, в ожидании окончательного решения, куда кого девать. В так называемой белой зале нас собралось человек семнадцать…

Вошел Леонтий Васильевич…

Но здесь я прерываю мой рассказ. Долго рассказывать. Но уверяю, что Леонтий Васильевич был преприятный человек…

Ф. Достоевский

24 мая 1860

Примечания

В двенадцатом томе Собрания сочинений Достоевского печатается «Дневник писателя» за 1873 г., а также его статьи, очерки и фельетоны, помещенные в газете-журнале «Гражданин» (1873–1874, 1878) и литературном сборнике «Складчина» (1874). В «Приложении» печатаются «Объяснения и показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев», представляющие большой биографический интерес и имеющие некоторую перекличку со статьями «Дневник писателя».

Со времени прекращения в 1865 г. журнала «Эпоха» до 1873 г. Достоевский не напечатал ни одной статьи. Нам известен лишь один его мемуарно-публицистический замысел этих лет — очерк «Знакомство мое с Белинским», написанный в 1867 г. в Женеве для литературного сборника «Чаша», который намеревался издать в Петербурге К. И. Бабиков. Отправленный в сентябре 1867 г. Майкову и переданный им книгоиздателю А. Ф. Базунову очерк этот затерялся вместе с другими материалами несостоявшегося сборника и до нас не дошел (см. о нем в письме Достоевского к А. Н. Майкову от 15 (27) сентября 1867 г.) Содержание этого очерка позволяют до некоторой степени реконструировать письма Достоевского 1867–1868 гг., сентябрьские записи из его записной книжки 1872 г., а также статья «Старые люди» из «Дневника писателя» за 1873 г. Они свидетельствуют также о том, что к 1872 г. у Достоевского остро назрела потребность вернуться к работе публициста, чем и было вызвано его согласие взять на себя редактирование «Гражданина». Вместе с тем они составляют существенное звено в истории формирования замысла «Дневника писателя» на пути от проекта «Записной книги» 1860-х годов к «Гражданину» (см. об этом наст. том С. 284–285).

«Гражданин», «газета-журнал политики и литературы», был основан в январе 1872 г. князем В. П. Мещерским (1839–1914) и издавался им (с перерывом в 1878–1881 гг.) до 1914 г. В период редакторства Достоевского «Гражданин» выходил один раз в неделю, по понедельникам.

Издатель «Гражданина» происходил из старинного аристократического рода, он по материнской линии был внуком Н. М.

Карамзина и был лично близок к наследнику (будущему Александру III). Мещерский выступал как автор романов из великосветской жизни Петербурга, писал также для театра. После смерти Достоевского, при Александре III и Николае II, он продолжал действовать как правый, консервативный публицист.

К 1870-м годам Мещерский самоопределился как идеолог контрреформ, противник изменения существующего самодержавного строя. В либеральной печати его прозвали «князем Точкой», так как в одной из первых статей в своем журнале он потребовал «поставить точку» всем реформам в России Целью «Гражданина» он считал, по собственному позднейшему признанию, борьбу против «вредного действия печати на молодежь и общество вообще» и характеризовал его как «орган консервативный в защиту церковного авторитета, самодержавия и в обличение всех увлечений либерализмом».[30]

Тем не менее, задумывая «Гражданина» как охранительный орган, Мещерский понимал, что программа издателя и его имя не могли обеспечить изданию популярности. Поэтому в качестве первого редактора «Гражданина» он пригласил в 1872 г. либерального публициста Г. К. Градовского (1842–1915). Но уже к концу первого года издания Градовский отказался вести «Гражданин» совместно с Мещерским, потребовав от издателя передать ему журнал полностью и заявив, что в противном случае он отказывается от редакторства.

Уход Градовского поставил Мещерского, по собственному его признанию, в критическое положение. Для успешного продолжения «Гражданина» был нужен редактор, чье имя восстановило бы в глазах публики авторитет журнала, который и из-за одиозности имени издателя и из-за крайне беспорядочного выхода в первый год издания был очень непопулярен (к концу года у журнала было всего 1 000 подписчиков) Это и побудило Мещерского пригласить Достоевского на пост редактора «Гражданина».

Знакомство писателя с Мещерским и редакционным кружком «Гражданина» относится к 1872 г. Как свидетельствуют воспоминания Мещерского, он, уже приступая к изданию журнала, был, вероятно, весьма заинтересован в сотрудничестве Достоевского, хотя форма участия писателя в «Гражданине» определилась не сразу. Первоначально Достоевский, по-видимому, выступил инициатором издания в качестве приложения к «Гражданину» альманаха, в котором

собирался поместить задуманный им «Дневник литератора». Во всяком случае 10 сентября 1872 г. он записал в тетради: «Страхову сообщил идею об альманахе» 30 октября в «Гражданине» было помещено объявление о намерении редакции выпустить в 1873 г. альманах, составленный из «лучших, оригинальных беллетристических произведений», при участии Достоевского.[31] Осенью 1872 г. Мещерский настойчиво начал вовлекать Достоевского в редакционную работу. А. Н. Майков писал Н. Н. Страхову 12 декабря 1872 г.: «Мещерский назначил по вторникам обеды у себя для Федора Михайловича, Филиппова и меня; вы должны были бы замыкать квинтет, если бы были налицо. Цель — после обеда прослушать готовящуюся для следующего номера его статью и ругать ее до тех пор, пока он ее не выработает».[32] Поскольку в письме далее идет речь о статье Мещерского, напечатанной в «Гражданине» 4 декабря 1872 г. и переделывавшейся, по словам Майкова, «три раза», то можно предположительно считать, что Достоевский присутствовал на этих «обедах» с середины ноября. По-видимому, вопрос об ответственном редакторе журнала обсуждался на обедах неоднократно, ибо, как вспоминал Г. К. Градовский *уже* осенью 1872 г., он решительно «предложил кн. Мещерскому или передать мне вполне право на „Гражданина“, или освободить меня от выполнения заключенного нами на два года контракта. Переговоры по этому поводу длились до конца года, когда Ф. М. Достоевский согласился занять мое место».[33] Вопрос о редакторстве Достоевского решился 15 декабря 1872 г. А. Н. Майков 17 декабря приписал к письму от 12 декабря: «Градовский вышел из редакции „Гражданина“. Место его занимает Ф. М. Достоевский».[34] По свидетельству Страхова, Достоевский «принял на себя редакторство впопыхах, не подумавши, а мысль об этом подал Майков».[35] Согласно же рассказу В. П. Мещерского (как и все его воспоминания о писателе, рассказ этот требует к себе критического отношения), «в одну из сред, когда за чашкою чая мы говорили об этом вопросе <…> Ф. М Достоевский обратился ко мне и говорит мне: хотите, я пойду в редакторы? В первый миг мы подумали, что он шутит, но затем явилась минута серьезной радости, ибо оказалось, что Достоевский решился на это из сочувствия к цели издания <…> и потому сказал мне, что он желает для себя только самого нужного гонорара, как средств к жизни, сам назначив 3 000 рублей в год и построчную плату».[36]

16 декабря В. П. Мещерский, Г. К. Градовский и Ф. М. Достоевский обратились в Главное управление по делам печати с совместным заявлением, датированным 15 декабря, в котором просили утвердить Достоевского ответственным редактором «Гражданина» взамен Градовского.[37] К заявлению была приложена «подписка» Достоевского от 15 декабря: «Даю сию подписку в том, что в случае утверждения меня редактором журнала „Гражданин“, я, Федор Михайлович Достоевский, принимаю на себя все обязательства по сему изданию в качестве ответственного редактора».

Несмотря на то что политические убеждения Достоевского после «Бесов» не должны были, казалось бы, вызывать тревоги у властей, он продолжал находиться под негласным надзором полиции (снятым только в 1875 г.). Поэтому III Отделение, куда 16 декабря 1872 г. обратился В. П. Мещерский за разрешением передать редактуру «Гражданина» Достоевскому, ответило, что оно «не принимает на себя ответственности за будущую деятельность этого лица в звании редактора»,[38] хотя и разрешило доверить Достоевскому это звание. Однако Мещерский, как и весь круг людей, близких к редакции «Гражданина», полагал, что «Достоевский как романист совершенно искупил то, чем был он как политический преступник в 1848 г.», и 20 декабря 1872 г. Главное управление по делам печати известило С.-Петербургский цензурный комитет, что по ходатайству Мещерского Достоевский утвержден ответственным редактором «Гражданина»; «свидетельство» об этом Достоевский получил 31 декабря.[39] В последнем номере «Гражданина» за 1872 г. появилось крупным шрифтом объявление (на обычном месте передовой статьи): «С 1 января 1873 года редактором журнала „Гражданин“ будет Ф. М. Достоевский».

Предложение Мещерского взять на себя редактуру еженедельника «Гражданин» показалось Достоевскому в конце 1872 г. заманчивым; «… около редакции нового журнала объединилась группа лиц одинаковых мыслей и убеждений, — пишет А. Г. Достоевская. — Некоторые из них: К. П. Победоносцев, А. Н. Майков, Т. И. Филиппов, Н. Н. Страхов, А. У. Порецкий, Евг. А. Белов — были симпатичны Федору Михайловичу, и работать с ними представлялось ему привлекательным. Не меньшую привлекательность составляла для мужа возможность чаще делиться с читателями теми надеждами и сомнениями, которые назревали в его уме. На страницах „Гражданина“ могла осуществиться и идея

„Дневника писателя“, хотя и не в той внешней форме, которая была придана ему впоследствии».[40]

Решение взять на себя редактирование «Гражданина» не означало, что Достоевский собирался заняться только журнальной работой: согласившись на уговоры Мещерского, он «не скрывал <…> что берет на себя эти обязанности временно, в виде отдыха от художественной работы и ради возможности ближе ознакомиться с текущей действительностью, но что когда потребность поэтического творчества в нем вновь возникнет, он оставит столь несвойственную его характеру деятельность».[41]

Достоевский принял предложение Мещерского, по всей вероятности, потому, что стремился высказаться публицистически по широкому кругу вопросов русской жизни, в том числе тех, которые получили разнообразное отражение в критических отзывах о «Бесах». Одно время Достоевский предполагал приложить к «Бесам» полемическое послесловие «О том, кто здоров и кто сумасшедший. Ответ критикам» (XI, 303). Но возможность вернуться к полемике с критиками романа была, конечно, не единственной причиной, побудившей его стать редактором «Гражданина». Достоевский хотел изложить на страницах журнала свои основные философско-исторические идеи, при помощи которых он пытался осмыслить момент, переживаемый страной, объяснить состояние умов, предсказать грядущее общественное развитие России и Европы.

В письме к М. П. Погодину от 26 февраля 1873 г. Достоевский так объяснял мотивы, побудившие его согласиться на редакторство: «… многое надо сказать, для чего и к журналу примкнул…». В том же письме к Погодину Достоевский дал яркую характеристику своей редакционной работы в «Гражданине» и своего внутреннего состояния в это время: «Секретаря у нас нет <…> Перечитывать статьи берет огромное время и расстраивает мое здоровье, ибо чувствую, что отнято время от настоящего занятия. Затем, имея статью и решив напечатать — переправлять ее с начала до конца, что зачастую приходится <…> А главная горечь моя — бездна тем, о которых хотелось бы самому писать. Думаю и компоную я статью нервно, до болезни; принимаюсь писать и, о ужас, в четверг замечаю, что не могу кончить. Между тем отрезать ничего не хочу. И вот бросаю начатое и поскорей, чтоб поспеть <…> нередко в четверг ночью схватываюсь за новую какую-нибудь

статью и пишу, чтоб поспеть в сутки, ибо в пятницу ночью у нас прием статей кончается. Всё это действует на меня, повторяю, болезненно <… > С другой стороны, роятся в голове и слагаются в сердце образы повестей и романов. Задумываю их, записываю, каждый день прибавляю новые черты к записанному плану и тут же вижу, что всё время мое занято журналом, что писать я уже не могу больше, — и прихожу в раскаяние и отчаяние…».

О работе Достоевского в «Гражданине», ее внешних условиях, круге редакторских обязанностей писателя, его столкновениях с цензурными инстанциями, о настроениях и идеологической позиции Достоевского в этот период рассказывают воспоминания корректора журнала В. В. Тимофеевой (О. Починковской) и метранпажа М. А. Александрова.[42]

Ряд свидетельств о настроениях Достоевского-редактора мы встречаем также в письмах Н. Н. Страхова к Л. Н. Толстому и Н. Я. Данилевскому. Так, 15 марта 1873 г. Страхов пишет Толстому о Достоевском: «„Гражданин“, в котором он редакторствует, очень его волнует, терзает, раздражает».[43] А Н. Я. Данилевскому в июне того же 1873 г. сообщает: «Мещерский тоже уехал <…> Достоевский один заправляет делом, и, кажется, много ему выпадет на долю неприятностей. Охота была соваться в такое дело!». [44]

До марта вся тяжесть редакционной работы падала на одного Достоевского. Лишь с этого времени на пост секретаря редакции был приглашен В. Ф. Пуцыкович, впоследствии его преемник по редакторству.

Из известных писателей и видных деятелей русской культуры в «Гражданине» в 1873–1874 гг. участвовали А. Ф. Писемский, Ф. И. Тютчев, А. Н. Майков, А. Н. Апухтин, Н. С. Кохановская (Соханская), ВаС. И. Немирович-Данченко, Е. А. Салиас, П. И. Чайковский.

«Гражданин» издавался без предварительной цензуры. Это не избавило Достоевского от столкновений с цензурным ведомством уже в первые дни его редакторства. В заметке «Киргизские депутаты в С.-Петербурге», где сообщалось о приеме киргизских депутатов Александром II, рассказывалось о комическом недоразумении на этом приеме: «Старший из депутатов Султан-Магомет-Султан киргиз начал произносить речь, которая была им самим от имени всего народа составлена; произнес первоначально твердо и правильно: „Ваше

императорское величество“ — но на этих словах, когда государь возразил: „А ты говоришь по-русски?“ — Магомет до того переконфузился, что далее мог произнести тихо только несколько слов по-киргизски из приготовленной благодарственной речи и потом положительно онемел».[45] Заметка эта, по неосведомленности Достоевского, явилась нарушением высочайшего повеления от 28 апреля 1870 г., согласно которому «статьи и сочинения, оригинальные и переводные, в коих описываются личные действия или излагаются изустные выражения государя императора и особ императорской фамилии или же приводятся обращенные к ним речи, могут быть печатаемы не иначе, как с разрешения министра императорского двора»[46] Петербургский цензурный комитет запросил 30 января 1873 г. редакцию «Гражданина», имеется ли у нее подобное разрешение, и, убедившись в том, что такого разрешения нет, обратился 7 февраля 1873 г в Петербургский окружной суд с просьбой о «возбуждении судебного преследования <…> против редакции журнала „Гражданин“, в лице редактора, отставного поручика Федора Михайловича Достоевского». 26 мая 1873 г. Достоевский получил приглашение явиться в Окружной суд, а 11 июня 1873 г. состоялся самый суд. На нем Достоевский себя виновным не признал и был приговорен к штрафу в 25 рублей и к двухдневному аресту на военной гауптвахте. В письме к А. Г. Достоевской от 12 июня 1873 г. Достоевский сообщал: «Вчера утром меня судили <…> но окончательный приговор скажут лишь 25 июня». 26 июня Достоевский писал жене о новой отсрочке·«Вчера встал в 8 часов утра, чтоб идти в суд выслушать окончательный приговор. Но председатель суда сказал мне, что можно и не ждать приговора, а на вопрос мой, когда исполнение, он объявил, что еще 2 недели должен быть срок для кассации. Итак, еще 2 недели я свободен, а там на 3-ю неделю арестуют».

2 июля 1873 г Достоевский получил от В. П. Мещерского письмо, в котором последний, по словам Достоевского, «просит у меня извинения, что я за него просижу (это, наверно, Филиппов ему передал, которому я передал в свою очередь, что Мещерский слишком небрежно обращается со мною, не изъявив даже сожаления, что я буду сидеть за него)». Благодаря содействию А. Ф. Кони, тогда прокурора Окружного суда, исполнение приговора было отсрочено до весны 1874 г. Тюремное заключение Достоевский отбывал на гауптвахте (на Сенной площади)

21 и 22 марта 1874 г., где его посещали А. Н. Майков и Вс. С. Соловьев.

Пока исполнение приговора за первый промах Достоевского было отложено, «Гражданин» постигла новая цензурная кара; на основании рапорта цензора А. Юферова Петербургский цензурный комитет нашел, что в статье Сол-ского «О голоде»[47] высказываются упреки правительству, в частности говорится, что «наше правительство <…> не делает никаких официальных заявлений по поводу голода в Самарской губернии и допускает, что вопрос об устранении голода разрешается путем общественной благотворительности, а не путем государственной или земской помощи <…> Сетуя на отсутствие у нас центрального земства и на неудобство говорить о нем, автор статьи тем не менее полагал бы, что правительству надлежит позаботиться об учреждении какого-либо совещательного органа с допущением в него представителей земства..».[48] На этом основании комитет обратился 15 октября 1873 г. в Главное управление по делам печати, начальник которого 18 октября нашел необходимым запретить розничную продажу «Гражданина» в Петербурге; 26 октября она была запрещена и в Москве. Запрещение розничной продажи существенно отразилось на финансовом состоянии журнала. 11 ноября 1873 г. Достоевский обратился с письмом к М. Н. Лонгинову, начальнику Главного управления по делам печати, в котором просил его ходатайствовать перед министерством внутренних дел об отмене запрещения, сделанного «на основании <…> выражений <…> которые противоречат всему его («Гражданина». — *Ред.)* направлению». Однако ходатайство это было Советом Главного управления по делам печати отклонено 13 ноября 1873 г. И только 5 декабря запрет розничной продажи был отменен.

Но и после этого цензура препятствовала печатанию, сколько-нибудь независимых по взглядам статей о голоде, и Достоевскому как редактору часто приходилось отказываться от помещения выступлений даже вполне благонадежных публицистов. Так, 4 января 1874 г. Достоевский сообщил О. Ф. Миллеру: «Меня как редактора призывали на днях в Цензурный комитет и внушали, что про голод хотя и можно писать и печатать сообщенные факты, но без тенденциозности в известную сторону и чтоб не было „алярмирующего“. Об этом внушении сообщаю Вам секретно. Но перечтя Вашу статью, печатать ее боюсь. К тому же во всяком случае придется опять кое-что из статьи

выкинуть. Что ж из нее останется?». В ответ Достоевский получил от Миллера письмо, которое дает представление о тех дополнительных трудностях, с которыми приходилось сталкиваться Достоевскому как редактору, вынужденному считаться с цензурой: «Да, я был очень глуп, что положился на Ваше согласие напечатать мою статью и рассказывал уже кое-где, что „Гражданин“ пристыдит этих наших „либералов“! О приглашении редакторов „туда“ я знал, но оно было *ранее* данного Вами обещания. Я только даром потерял время — а статья именно такова, что откладывать ее напечатание все равно, что совсем не печатать: не после же голода, в самом деле, взывать о пожертвованиях! Так пусть жители мрут как мухи — а мы здесь — все до единого, всяких оттенков будем робеть перед каждым цензурным внушением. О доблестная отечественная печать» (XXIX, 522–523).

В январе же Петербургский цензурный комитет потребовал от редакции «Гражданина» сообщить, есть ли у нее разрешение министра двора на напечатание во втором номере журнала за 1874 г. статьи «Великая княгиня Мария Александровна», а также «известия о высочайших особах», изложенного в «Петербургском обозрении». [49] Достоевскому грозил новый судебный процесс. Но докладная записка, в которой объяснялось, что все сведения были взяты из официальных источников или иностранных газет, удовлетворила цензурные инстанции, и репрессий против журнала не последовало. Более опасные последствия имела публикация статьи «Два слова по поводу мнения князя Бисмарка о русских немцах». [50] «Мнение» Бисмарка, которое приводилось в этой статье, касалось прибалтийских немцев. Бисмарк сказал, что обрусевший немец «никуда не годен, лишаясь добродетелей немца и заражаясь всеми пороками русских».[51] По-видимому, «Два слова…» вызвали неудовольствие самого царя, ибо не цензурное ведомство, а непосредственно министерство внутренних дел объявило 12 марта 1874 г. «Гражданину» первое предупреждение за «высказанные в самых резких выражениях совершенно превратные суждения, клонящиеся к возбуждению вражды против одной из частей населения империи».[52] В связи с этой правительственной мерой находится, по-видимому, окончательное решение Достоевского отказаться от уже давно тяготившей его редакторской работы в «Гражданине». Впрочем, еще 22 февраля хорошо осведомленный Страхов под секретом сообщал Толстому, что Достоевский откажется от

«Гражданина» в половине марта.[53]

19 марта 1874 г. Достоевский обратился в Главное управление по делам печати с просьбой по случаю его болезни «разрешить <…> Виктору Феофиловичу Пуцыковичу принять на себя, на шесть месяцев, звание ответственного редактора <…> журнала „Гражданин“». 20 апреля Пуцыкович был утвержден ответственным редактором. 22 апреля появилось сообщение о перемене редактора: «Ф. М. Достоевский, по расстроенному здоровью, принужден, не оставляя по возможности своего постоянного участия в „Гражданине“, сложить с себя обязанности редактора журнала».[54] 24 апреля Достоевский передал Пуцыковичу редакторские права[55].

Мещерский обрисовал Достоевского периода работы его в «Гражданине» как «грандиозную фигуру» законченного, «цельного и полного консерватора».[56] Таким Мещерский хотел видеть Достоевского — однако на деле в годы эти духовный облик писателя был значительно более сложным. Не случайно свой «Дневник писателя» в «Гражданине» Достоевский начал с воспоминаний о «старых людях» — Белинском и Герцене, а в дальнейшем посвятил специальные его статьи опровержению взгляда на себя как на врага Чернышевского и автора литературного памфлета о нем, разбору некрасовского «Власа», исторической оценке петрашевцев и воспоминаниям о своем осуждении по их делу. Тем самым Достоевский протягивал нить от 1870-х годов к 1840-м и 1860-м. Стремясь широко отразить на страницах редактируемого им издания всю совокупность глубоких и сложных вопросов русской жизни, ее различных идейных традиций, Достоевский безуспешно пытался поднять орган Мещерского на высоту, недоступную издателю «Гражданина» и его окружению. Разочарование Достоевского в Мещерском и уход его из «Гражданина» явились результатом неизбежного краха этой попытки, основанной на иллюзорной вере писателя в возможность найти в охранительном лагере опору для своих глубоко демократических в конечном счете — при всей их исторической противоречивости — чаяний и идеалов.

У нас нет возможности вполне точно судить о том, как были определены обязанности и права редактора, когда Достоевский принял от Градовского редакционный портфель «Гражданина», но, по словам М. А. Александрова, метранпажа типографии, где печатался журнал, «у журнала очутилось двое хозяев, или, вернее, ни одного хозяина при

двух распорядителях-редакторах — неофициальном (Мещерском. — Ред.) и официальном, Ф. М. Достоевском, у которых хотя и была одна и та же задача, но каждый употреблял для ее разрешения различные средства, вследствие чего соглашение между ними достигалось с большим трудом <…> имеется, например, между прочим материалом данная статья: один одобряет ее, другой бракует!».[57]

По свидетельству вдовы писателя, сначала «Федора Михайловича очень заинтересовала и новизна его редакторских обязанностей, и та масса разнообразных типов, с которыми ему приходилось встречаться в редакции».[58] Но уже в конце января 1873 г. Достоевский писал своей племяннице С. А. Ивановой: «…я только кляну себя за решимость, с которою внезапно взвалил на себя редакторство журнала». В дальнейшем, несмотря на осложнения, связанные с наличием у журнала двух хозяев, редакторская работа и авторское участие Достоевского на какое-то время наладились. Мещерский, отдавая должное литературному таланту и опыту Достоевского, в ряде случаев, как видно из его писем к писателю, принимал его редакторскую правку.

В начале же ноября 1873 г. между издателем и редактором «Гражданина» возник снова горячий спор по поводу написанного Мещерским «Ответа» «С.-Петербургским ведомостям». Достоевский писал по этому поводу Мещерскому в начале ноября: «Любезнейший князь, Ваш ответ „С.-П<етербургским> ведомостям“ очень мило и дельно написан, но резок, заносчив (хочет ссоры) и, может быть, тон не тот. Вместо насмешливого тона не лучше ли спокойный, ясный? Я именно так думаю, больше будет достоинства. А потому и посылаю Вам мой ответ. Тут включено кой-что из Вашего. Но я мог наделать ошибок; а потому просмотрите, пожалуйста. Я очень бы желал, чтоб Вы согласились на мою редакцию. Если найдете нужным — поправьте ради бога» Прочитав, как обычно, уже в корректуре, статью, переделанную Мещерским по его совету, Достоевский потребовал в ней дополнительных изменений. В частности, возмущение Достоевского вызвало одобрение Мещерским полицейского надзора над студенчеством: «…7 строк о надзоре, или, как Вы выражаетесь, о труде надзора правительства, — писал ему в связи с этим Достоевский, — я выкинул радикально. У меня есть репутация литератора и, сверх того, дети. Губить себя я не намерен. Кроме того Ваша мысль глубоко противна моим убеждениям и возмущает мое сердце» (XXIX, kh 1, 307).

Мещерский вынужден был принять требование Достоевского. Однако тут же он писал о своем несогласии с ним по существу.

Достоевскому-редактору не принадлежал решающий голос и при отборе статей и материалов. Это право сохранил Мещерский, что способствовало нарастанию расхождений писателя с издателем и редакционным кружком «Гражданина». Записная тетрадь Достоевского содержит ряд замечаний, из которых становится очевидным, что мнения его по многим существенным вопросам русской общественной жизни в начале 1874 г. расходились с мнениями сотрудников им же редактировавшегося «Гражданина». Уход Достоевского из «Гражданина» и был вызван этими постоянно выходившими наружу идеологическими расхождениями между ним и кругом Мещерского, а также желанием писателя вновь обрести полную самостоятельность и вернуться к литературной работе.[59]

Когда Достоевский приступил к редактированию «Гражданина», он полагал, что превратит журнал в «орган людей с независимым убеждением» (XXI, 258), сможет представить картину того, что происходит в русском обществе, дать верное отображение идейного брожения, так беспокоившего писателя. Оставив же журнал и набрасывая в 1876 г. в записной тетради ответ критикам, порицавшим его за участие в «Гражданине», писатель защищал только себя самого, но не журнал Мещерского: «Чем я уронил себя. Я был год редактором „Гражданина“ и, приняв журнал с 1 000 подписчиков, через год оставил его с тремя тысячами. Вот уже признак, что не уронил себя в публике. А если хотите в чем уличить меня, то пусть найдут хоть строчку, подписанную мной, неблагородную» (XXIV, 106).

В то же время следует учесть, что редакционная работа, дававшая писателю возможность ознакомиться со многими явлениями русской жизни, на которые откликался еженедельный журнал, не могла не способствовать эволюции его воззрений, явственно обозначившейся в период работы над «Подростком» зимой 1874–1875 гг. Редакторская работа помогла Достоевскому отказаться от многих крайностей, внимательнее присмотреться к тому, что действительно происходило в России после десяти лет реформ, поискать реально-исторического объяснения процессов, идущих в живой жизни России, отбросив объяснение предвзято-догматическое.

Текст произведений, входящих в том, подготовили Е. И. Кийко («Дневник писателя» за 1873 г., I–IV), А. В. Архипова (то же, V, IX, XII), В. А. Туниманов (то же, VI, «Попрошайка»), Г. Я. Галаган (то же, VII, VIII, X, XI, XIII–XVI), Н. Ф. Буданова (статьи, очерки, фельетоны из журнала «Гражданин» («Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга») и из сборника «Складчина» («Маленькие картинки»). Ими же составлены примечания к соответствующим разделам (за исключением фельетона «Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга», который прокомментировала Н. А. Хмелевская). Раздел «Приложения» — текст подготовлен А. Л. Осповатом, примечания составлены Г. М. Фридлендером и А. Л. Осповатом. Вступительная заметка написана Г. М. Фридлендером (при участии М. Б. Рабиновича). Редакторы тома — А. В. Архипова и Г. Я. Галаган. Редакционно-техническая подготовка тома — И. Д. Якубович.

Дневник писателя. 1873

Впервые опубликован в газете-журнале «Гражданин» (январь-декабрь 1873 г.); более точные данные о времени публикации каждой статьи-фельетона см. в примечаниях к ним.

Замысел «Дневника писателя» и его план слагались у Достоевского на протяжении многих лет.

Уже в 1840-х годах у Достоевского выработалась привычка внимательно следить за русской и иностранной периодической печатью, материал которой представлялся ему неоценимым источником познания жизни для романиста, желающего посвятить себя изображению текущей действительности.

В 1864–1865 гг., в период усложнявшихся условий издания журнала «Эпоха», Достоевский набрасывает в рабочей тетради план единолично осуществляемого им издания «Записная книга» и делает расчет необходимых затрат на него (XX, 181). План «Записной книги» явился прямым предшественником замысла будущего «Дневника писателя». Тогда же 8 (20) ноября 1865 г. Достоевский писал А. Е. Врангелю: «В голове у меня есть одно периодическое издание, не журнал. И полезное и выгодное. Может быть, осуществлю в будущем году» (XXVIII, кн. I, 141).

Работа над «Преступлением и наказанием», а затем над «Идиотом» и «Бесами» не дала Достоевскому возможности осуществить его замысел в 1865–1866 гг. Но письма его свидетельствуют о том, что в 1866–1872 гг. писатель продолжал упорно думать о нем. 29 сентября (11 октября) 1867 г. Достоевский писал из Женевы племяннице С. А. Ивановой: «…непременно хочу издавать, возвратясь, нечто вроде газеты (я даже, помнится, Вам говорил это вскользь, но здесь теперь совершенно выяснилась и форма и цель. А для этого надо быть дома и видеть и слышать все своими глазами» (там же, 224). Вскоре, 26 февраля (10 марта) 1869 г., Достоевский писал Н. Н. Страхову из Флоренции: «В каждом нумере газет Вы встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших они фантастичны; да они и не занимаются ими, а между тем они действительность, потому что факты. Кто же будет их замечать, разъяснять и записывать? Они поминутны, и ежедневны, а не

исключительны» (XXIX, кн. 1, 19). Наконец, в «Бесах» (ч. I, гл. IV, § 11) Достоевский вкладывает в уста Лизы Дроздовой-Тушиной проект «одной полезной, по ее мнению, книги» Лиза так характеризует ее в разговоре с Шатовым, предлагая ему план ее совместного издания: «Издается в России множество столичных и провинциальных газет и других журналов, и в них ежедневно сообщается о множестве происшествий. Год отходит, газеты повсеместно складываются в шкапы или сорятся, рвутся, идут на обертки и колпаки. Многие опубликованные факты производят впечатление и остаются в памяти публики, но потом с годами забываются <…> А между тем, если бы совокупить все эти факты за целый год в одну книгу, по известному плану и по известной мысли, с оглавлениями, указаниями, с разрядом по месяцам и числам, то такая совокупность в одно целое могла бы обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год, несмотря даже на то, что фактов публикуется чрезвычайно малая доля в сравнении со всем случившимся <…> Это была бы, так сказать, картина духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год (наст. изд. Т. 8. С. 103, 104)

Не имея после окончания «Бесов» возможности осуществить свой замысел в полном виде из-за отсутствия необходимых средств для издания «Записной книги», Достоевский в 1873 г воспользовался для публикации «Дневника писателя» редактировавшимся им в это время журналом В. П. Мещерского «Гражданин» Здесь в течение 1873 г с января по декабрь появились в виде 16 статей-фельетонов редактора первые 16 номеров «Дневника писателя», продолженные позднее уже в виде отдельного самостоятельного издания.

I

Вступление

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873, 1 января. № 1 С. 14–15) с подписью: Ф. Достоевский.

Во «Вступлении» к «Дневнику» Достоевский обратился к подписчикам «Гражданина», определил задачи, которые ему предстояло

решить в качестве редактора, только что принявшего на себя руководство этим изданием, наметил принципы, которым он будет следовать как единоличный уже автор «Дневника писателя», и охарактеризовал необычную форму этого нового литературного жанра.

Как редактор «Гражданина» Достоевский предполагал «задумываться» над сущностью явлений русской жизни, изучать их, пытаясь понять, и затем делиться своими мыслями с читателями в форме «Дневника писателя».

Упомянув книгу Герцена «С того берега», рассказав «присказку» о нем и о споре между «господином А. и господином Б.». Достоевский подготовил читателей к восприятию избранной им диалогической манеры изложения, при которой, с целью отыскания истины, он будет сталкивать в открытом диспуте аргументы равных по силе оппонентов. [60]

Диалогическое строение стало одним из главных структурных принципов «Дневника писателя» на всем протяжении издания.[61]

Планы и конспекты первых глав «Дневника писателя» за 1873 г. были составлены Достоевским в декабре 1872 г., когда он дал согласие редактировать журнал «Гражданин» и заканчивал работу над «Бесами»: записи эти сделаны среди заметок к третьей части романа.[62]

Многие из тем, намеченных для «Дневника литератора», как первоначально Достоевский предполагал назвать задуманный им цикл еженедельных фельетонов в «Гражданине», были связаны с кругом вопросов, затронутых в «Бесах». Ряд тем был подсказан материалами, печатавшимися в «Гражданине» за 1872 г. Достоевский, по-видимому, хотел высказать собственную точку зрения на те явления русской жизни, которые уже освещались в этом журнале.

Не все из обозначенных в подготовительных материалах тем получили развитие в «Дневнике писателя» за 1873 г. Некоторые из них продолжали интересовать Достоевского на протяжении всего его дальнейшего творчества и нашли отражение в «Дневнике писателя» за 1876 и 1877 гг., в речи о Пушкине, в «Братьях Карамазовых».

II
Старые люди

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 1 янв. № 1. С. 15–17) с подписью: Ф. Достоевский.

Основные идеи и темы очерка «Старые люди» сложились в период работы над «Бесами» (1870–1872). Н. К. Михайловский даже утверждал, что первые разделы «Дневника писателя» могут рассматриваться как своего рода комментарий к «Бесам». По его мнению, «многие мысли „Дневника“ <…> высказаны уже в „Бесах“ разными действующими лицами».[63]

В «Бесах» Степан Трофимович Верховенский представлял собой обобщенный тип «идеального западника», в «Старых людях», продолжая раздумья об исторической роли поколения 1840-х годов, Достоевский сделал попытку дать мемуарные очерки о Белинском и Герцене — самых значительных представителях той эпохи, оказавших, каждый по-своему, огромное воздействие на формирование автора «Дневника писателя» как художника и мыслителя.

С Герценом Достоевский познакомился в начале октября 1846 г. в Петербурге, затем виделся с ним в июле 1862 г. в Лондоне, а в октябре 1863 г. в Италии. 10 (22) августа 1865 г. Достоевский писал А. П. Сусловой: «…с Г<ерце>ном я в очень хороших отношениях». Весной 1868 г. Достоевский и Герцен жили одновременно в Женеве, но не общались: «С Г<ерценом> случайно встретился на улице, десять минут проговорили враждебно-вежливым тоном с насмешками, да и разошлись», — сообщил Достоевский 21 марта (2 апреля) 1868 г. А. Н. Майкову. Высоко ценя художественные и публицистические произведения Герцена, Достоевский постоянно с ним полемизировал.

Последовавшая в 1870 г. смерть Герцена позволила Достоевскому выступить в печати с оценкой всей его деятельности

Познакомившись с Белинским в середине 1845 г., Достоевский вошел в круг литераторов «натуральной школы» и был в курсе философских, социальных и эстетических проблем, волновавших представителей нового тогда литературного направления. Об этом времени весьма сочувственно упоминается в 1861 г. в «Униженных и оскорбленных» (см.: наст. изд. Т. 4. С. 26–27). В том же 1861 г. в статье «Г-н-бов и вопрос об искусстве», защищая Белинского от нападок со стороны «Отечественных записок», Достоевский писал: «…в двух страницах Белинского (издание сочинений которого приводится к

окончанию) сказано больше об исторической же части русской литературы, чем во всей деятельности „Отечественных записок“ с 48 года до наших времен». С несомненным уважением Достоевский вспоминал о Белинском и в письме к М. В. Белинской от 5 января 1863 г.

В «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) Достоевский писал, однако, что Белинский, будучи «страстным русским человеком», в то же время, как западник, «по-видимому, презирал всё русское» (наст. изд. Т. 4. С. 393). Эта полемическая оценка Белинского-западника укрепляется у Достоевского во второй половине 1860-х годов. В 1867 г. он пишет статью под названием «Знакомство мое с Белинским» для несостоявшегося сборника «Чаша» (см. письмо к А. Н. Майкову от 15 (27) сентября 1867 г.). О содержании этой не дошедшей до нас статьи мы можем судить по письмам 1867–1871 гг. (к А. Н. Майкову и Н. Н. Страхову). В письме к А. Н. Майкову от 16 (28) августа 1867 г. Белинский назван родоначальником «либералишек и прогрессистов» 1860-х годов, которые «ругать Россию находят первым своим удовольствием и удовлетворением». Полемически-пристрастные отзывы этого времени о личности и литературной деятельности Белинского в известной мере заострены против Тургенева, который в романе «Дым» (1867) и «Воспоминаниях о Белинском» (1869) ставил свои западнические взгляды в зависимость от идей Белинского. В письме к Н. Н. Страхову от 18 (30) мая 1871 г. Достоевский задался прямой целью пункт за пунктом опровергнуть характеристики Белинского в «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенева. [64]

Некоторые наброски к «Бесам», где упоминаются реальные лица и события 1840-х годов, восходят, вероятно, к идеям утраченной статьи Достоевского о Белинском. В 1873 г. именно эти заметки легли в основу первых глав «Дневника писателя».

Закончив статью о Белинском, Достоевский жаловался 3 (15) сентября 1867 г. А. Н. Майкову: «…кончил вот эту проклятую статью „Знакомство мое с Белинским“ <…> Штука была в том, что я сдуру взялся за такую статью. Только что притронулся писать и сейчас увидал, что возможности нет написать *цензурно* <…> Сколько драгоценных фактов я принужден был выкинуть».

С аналогичными трудностями Достоевский столкнулся и работая

над «Старыми людьми». После выхода в свет первого номера «Гражданина» за 1873 г. в разговоре со Вс. Соловьевым писатель высказал сожаление, что он не мог сказать о Белинском всего, что хотел: «Вот хоть бы о Белинском (он раскрыл № «Гражданина» с первым своим «Дневником писателя»), разве тут я всё сказал, разве to я мог бы сказать! И совсем-то, совсем его не понимают. Я хотел бы просто привести его собственные слова — и больше ничего… Ну, и не могу».[65]

III
Среда

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 8 янв. № 2. С. 32–36) с подписью: Ф. Достоевский.

«Основные положения преобразования судебной части в России» были опубликованы 3 октября 1862 г., а новые судебные уставы обнародованы в ноябре 1864 г. (два издания «Судебных уставов» 1876 и 1877 гг. хранились в библиотеке Достоевского). Важнейшие завоевания судебной реформы — учреждение в России суда, не зависевшего от администрации, уничтожение сословных судов и введение института присяжных заседателей. О готовящейся судебной реформе упоминалось в «Преступлении и наказании» (1866. Ч. 4, гл. 5).

А. Ф. Кони отметил, что Достоевский своим творчеством оказал влияние на прогрессивную часть русского общества, требовавшую проведения судебной реформы: «Заступник за униженных и оскорбленных, друг падших и слабых, он выдвигает их вперед, он является борцом за *живого человека*, которого так недоставало старому порядку и которого он нам так изобразил во всех его душевных движениях, подлежавших изучению подготавливавшегося тогда нового суда» (*Кони А. Ф.* Собр. соч. М., 1968. Т. 6. С. 419).

Достоевский внимательно следил за деятельностью реформированного русского суда, а от «справедливых и разумных приговоров» присяжных заседателей, как вспоминает жена писателя, «он даже приходил в восторг и умиление» (*Достоевская А. Г.* Воспоминания. М., 1971. С. 170). 9 (21) октября 1867 г. Достоевский

писал А. Н. Майкову: «Присяжные наши — лучше невозможно». Судьям Достоевский тогда же хотел пожелать «поболее образования и практики», а самое главное — «нравственных начал». «Без этого основания, — утверждал он, — ничего не устроится».

Достоевский, будучи писателем-реалистом, признавал факт воздействия среды на поведение человека и на формирование его психологии. Он был согласен и с тем, что «общество гадко устроено» (С. 18), но после возвращения из Сибири в отличие от революционных демократов 1840-1860-х годов видел путь к изменению общества прежде всего в совершенствовании личности: «Ведь сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшею. Ведь только этим одним и можно ее исправлять», — утверждал он (С. 18).

С начала 1860-х годов Достоевский вел борьбу с формулой «среда заела» (впервые он выступил с критикой ее в «Записках из Мертвого дома»). Особенность позиции Достоевского состояла в том, что в ходе полемики он не проводил различия между революционно-демократическим и либеральным истолкованием этой формулы. Между тем революционные демократы не оправдывали (подобно либералам) влиянием среды на человека его пассивность и бездействие, но призывали личность к активной борьбе с уродующей ее средой.[66] Достоевский же полагал, что теория среды неизбежно приводит (при любом ее истолковании) к отрицанию свободы воли, снимает с личности нравственную ответственность за совершенные поступки: «Делая <…> человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить» (С. 18).

После судебной реформы теория среды стала оказывать, по мнению Достоевского, разлагающее воздействие на часть присяжных заседателей, что побудило его посвятить проблеме среды специальную главу «Дневника писателя».

Внимание Достоевского к деятельности суда присяжных в 1870-х годах было обострено слухами о готовившихся, по выражению газеты «Голос» (1872. 14 ноября. № 198), «баснословных проектах» контрреформ судопроизводства, предусматривавших введение имущественного и образовательного ценза, проверку

«благонадежности» кандидатов, избираемых в присяжные заседатели, и пр. Активной сторонницей пересмотра постановлений о суде присяжных выступала, в частности, газета «Русский мир», которая неоднократно писала о «неудовлетворительности личного состава <…> присяжных заседателей, происходящей от низкого уровня умственного и нравственного их развития» (РуС. мир. 1872. 22 июля. № 188; ср. № 140 и 141 от 2 и 3 июля, а также № 254 от 1 октября, и № 294 от 11 ноября).

Вступившие в полемику «С.-Петербургские ведомости» (1872. 8 июля. № 184) обвинили редакцию «Русского мира» в том, что она настаивает на отстранении крестьян от исполнения обязанности присяжных.

Не касаясь вопроса о порядке избрания присяжных, Достоевский писал, что, когда устанавливался «новый (правый) суд», ему «в мечтаниях мерещились заседания, где почти сплошь будут заседать, например, крестьяне, вчерашние крепостные» (С. 14–15).

Н. К. Михайловский, соглашаясь с Достоевским, что «учение о среде в своем крайнем развитии обезличивает и нравственно унижает человека», вступил с писателем в полемику по поводу сущности «народной правды». Достоевскому, писал критик-народник, «нужно доказать, что русская народная правда состоит главным образом в стремлении к страданию» (Отеч. зап. 1873. № 2. С. 337, 335). Михайловский, напротив, утверждал, что «с некоторыми по крайней мере элементами народной правды совпадает социализм» (там же. С. 342).

Резко критический отзыв о «Среде» был помещен в «Неделе» (1873. № 5. С. 180). Вывод из «Заметок провинциального философа» Н. В. Шелгунова напрашивался сам собой: чтобы искоренить зло, нужно изменить политическую и социальную систему, порождающую это зло.

IV
Нечто личное

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 15 янв. № 3. С. 61–64) с подписью: Ф. Достоевский.

Статья «Нечто личное» писалась в обстановке полемики по поводу «Бесов», печатание которых, начатое в 1871 г., закончилось в последнем номере «Русского вестника» за 1872 г., и была задумана как ответ критикам, поставившим имя автора «Бесов» в один ряд с авторами рядовых «антинигилистических» романов. Не затушевывая своих идейных расхождений с демократическим лагерем, Достоевский, напротив, хотел в «Дневнике» подчеркнуть независимость своей общественной позиции, открыто заявив о том, что он «сам бывший ссыльный и каторжный» (С. 34), сочувствует Чернышевскому, которого уважает, хотя и расходится «с ним в мнениях радикально» (С. 34). При этом Достоевский намекал на темные обстоятельства ареста и осуждения Чернышевского, обвинение против которого было сфабриковано жандармами и следственной комиссией: «Никогда ничего не мог я узнать о его деле, — говорится в „Дневнике“, — не знаю и до сих пор» (С. 30).

Заканчивая главу «Нечто личное», Достоевский отстаивал право человека, который «тревожится духом и сердцем», писать правду об экономическом и нравственном состоянии народа после реформы 1861 г. Этим правом Достоевский воспользовался в следующей главе «Дневника», названной «Влас», развив и обосновав там высказанную им мысль: «…народ спасет себя сам, себя и нас, как уже неоднократно бывало с ним, о чем свидетельствует вся его история <…> довольно вмешательств!..» (С. 36).

V
Влас

Впервые напечатано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 22 янв. № 4. С. 96–100) с подписью: Ф. Достоевский.

Статья занимает особое место в «Дневнике писателя» 1873 г.; ряд ее основных мыслей — о русском характере, стремящемся во всем «дойти до черты», о потребности страдания, свойственной русскому народу, об идеале Христа, который народ носит в сердце своем, и о том, что спасение России в народе, — представляют собой сгусток любимых идей Достоевского, которые реализовались во многих его

художественных произведениях. В статье «Влас» они высказаны наиболее резко и публицистически заострены.

Сведения о первоначальном замысле «Власа» содержит дневник Вс. С. Соловьева 2 января 1873 г он записал рассказ, слышанный им тогда же от Достоевского. Версия, зафиксированная Соловьевым, отличается от окончательного текста: не упоминается о товарище грешника, «русском Мефистофеле», побудившем героя совершить святотатство; говорится, что монах, «к которому со всех концов России идут исповедоваться в таких грехах, признаться в которых не смеют священнику», живет «в Киеве (или возле Киева)», что указывает на украинское происхождение сюжета.[67] Следующий этап работы над «Власом» отражен в дошедшей до нас рукописи, представляющей собой частью черновой автограф начала статьи, частью подготовительные наброски как к ней, так и к статье «Смятенный вид» «Дневника писателя». В черновом автографе содержится исключенная из окончательного текста характеристика лица, сообщившего писателю историю его Власа. Вероятно, по замыслу Достоевского, его должна была поразить сила народной веры и почитания Христа, хотя он «человек большого ума», «верует в какого-то философского бога», а «в сущности атеист» (XXI, 322–323). Исключив характеристику рассказчика из окончательного текста, писатель сосредоточил внимание на образах двух главных героев — различных психологических типов людей из народа.

Непосредственный источник услышанного Достоевским рассказа о мужике, стрелявшем в причастие, нам неизвестен. Но несомненно фольклорное происхождение этого предания. По народному поверью, святотатственная стрельба в причастие (или причастием), а также в крест, в распятие и т. д. имеет магическое значение: она помогает охотнику стрелять без промаха. Поверье это существовало в разных — сходных — вариантах у многих народов. Харьковский ученый-фольклорист Н. Ф. Сумцов в своей книге 1890 г. приводит несколько из них, бытовавших в западных губерниях в 1870-х годах. Так, в 1879 г. один польский крестьянин был судим за святотатство, аналогичное тому, о котором рассказывает Достоевский. «В Харьковской губернии, — пишет Н. Ф. Сумцов, — я слышал такое поверье: чтобы сделаться искусным стрелком, нужно во время причащения удержать часть святых даров под языком, потом заделать их в кусочек дерева и

носить при себе. Говорят, один человек так и поступил; но при стрельбе он увидел перед собой распятого Спасителя».[68] Возможно, оба рассказа, — записанный Сумцовым и изложенный Достоевским, — имели общий источник в судебной хронике 1870-х годов. Позднее фольклористы записали целый ряд вариантов легенды о грешнике, совершившем подобное же святотатство и пришедшем за покаянием.[69] В западноукраинских вариантах легенды святотатство выражалось обычно, как и у Достоевского, в стрельбе охотника в причастие. На связь этого фольклорного мотива с «Власом» указал Н. К. Пиксанов.[70] Интересно, что не только образ раскаявшегося грешника, но и образ мудрого старца, наложившего на него эпитимъю, имеет фольклорные аналогии. Н. П. Андреев замечает, что во многих старообрядческих вариантах легенды есть образ старца-советодателя, противопоставленного священнику, который не мог освободить кающегося страдальца от грехов и найти для него путь к спасению.[71] Тема старчества, как мы знаем, вообще важна для Достоевского 1870-х годов, она нашла отражение в замысле «Жития Великого грешника», в «Бесах» и в «Братьях Карамазовых» (см.: наст, изд., т. 7, 10).

Однако обращает на себя внимание, что ни в одном из известных нам фольклорных вариантов легенды нет образа товарища героя — толкнувшего его на грех искусителя (вместо него в фольклорных версиях часто появляется образ второго грешника, которого убивает раскаявшийся герой легенды, после чего получает отпущение грехов). В замысле Достоевского образ искусителя сложился, по-видимому, как можно судить на основании записи Вс. Соловьева, также не сразу, но затем приобрел первостепенное значение, ибо подобный характер всегда интересовал писателя и воплотился во многих его художественных произведениях (Валковский, Свидригайлов, Ставрогин). Но на этот раз искусителем стал человек из народа, что было для Достоевского принципиально новым и важным.

Об одном из литературных предшественников «русского Мефистофеля» — кузнеце Еремке в комедии Островского «Не так живи как хочется» — Достоевский упоминает в статье «Влас», хотя и считает, что он «вышел даже очень плоховат» (С. 48). Возможно, что в поле зрения писателя находилось и другое, более раннее, русское литературное воплощение образа «деревенского нигилиста», «доморощенного отрицателя» из повести А. А. Бестужева-Марлинского

«Страшное гадание» (1831).[72] Образы «переступающих черту» грешников или циников появляются в повести Бестужева трижды. Это два деревенских парня (один из них совершает святотатство шутки ради, другой гадает ночью на кладбище, вступая тем самым в сношения с «нечистой силой») и таинственный незнакомец, появляющийся в деревенской избе в облике не то приказчика, не то поверенного по откупам. Последний сам выступает как воплощение нечистой силы и побуждает героя совершить ряд преступлений. При всей романтической традиционности многих сюжетных положений повести Бестужева, интересно, что выразителями «духа отрицания и сомнения» в ней явились крестьянин и приказчик. Достоевский, с молодых лет хорошо знакомый с творчеством А. А. Бестужева, хотя и не упомянул его повесть, мог иметь в виду, что наличие подобных черт в народном характере было уже давно зафиксировано в русской литературе.

Сходный сюжетный мотив осквернения причастия использован И. С. Тургеневым в «Рассказе отца Алексея» (1877). Впрочем, Тургенев мог опираться уже на «Власа» Достоевского.[73]

Очень существенно обращение Достоевского в статье «Влас» к творчеству Некрасова. Стихотворение его «Влас», напечатанное впервые в 1855 г. в июньской книжке «Современника», входило впоследствии во все прижизненные издания стихотворений Некрасова. Произведение это высоко ценилось Достоевским. Идеи и образы его он в сложном переосмыслении творчески использовал в «Подростке» и в «Дневнике писателя» за 1877 г.

Отношение Достоевского к Некрасову было сложным: оно к 1870-м годам успело пройти различные стадии — от личной и идейной близости в середине 1840-х годов до расхождения и даже вражды в конце 1860 — начале 1870-х годов. В январском и декабрьском выпусках «Дневника писателя» за 1877 г. Достоевский сам рассказал об этом. Но Некрасов неизменно оставался для него значительной личностью, самым любимым из современных поэтов.[74]

Неприемлемость для Достоевского многих сторон творчества Некрасова и его поэтики особенно заметно проявилась как раз в «Дневнике писателя» за 1873 г. (ср. характеристику поэмы «Русские женщины» в статье «По поводу выставки», а также статью «Нечто личное»). Но и здесь он называет Некрасова «истинным нашим поэтом» (с 37).

Сформулированные в статье о Власе идеи Достоевского о народе и народном искании правды вызвали заметный резонанс в современной литературе и критике. Ни либеральная, ни, в особенности, демократическая критика не могли согласиться с той трактовкой народа, которую обосновывал Достоевский. Постоянный антагонист «Гражданина» — «Голос» откликнулся на «Власа» в № 60 от 1 марта 1873 г. Здесь в фельетоне из серии «Литературные и общественные курьезы» содержится резкий выпад против автора «Дневника».[75]

Фельетонист «Голоса» иронически замечает, что Достоевский «мечтает о нашем „предызбранном назначении“ только в далеком будущем <…> Ведя нас по такому скользкому и скептическому пути, г-н Достоевский, чего доброго, допустит и науку, и цивилизацию, и европейский прогресс, и всякие дьявольские наваждения… При чем же останемся мы? Чем же мы станем щеголять перед „человечеством“? Неужели „Власами“, которые спасут и себя, и нас, и Европу? Оно, конечно, и от „Власов“ всякое спасение лестно и приятно… Но беда в том, что сами „Власы“ о своих спасительных силах ничего не знают и более чем кто-нибудь напоминают о своем обезьяньем происхождении». Поэтому, заявляет фельетонист «Голоса», надо или изменить жизнь «Власов», «снять с них гнет бедности и невежества», чтобы они действительно могли спасти себя и «нас с вами», или надо отказаться от идеи их предызбранности. «Понимаете ли вы теперь, как курьезно быть автором „Мертвого дома“ и верить в очистительное назначение каторги, писать сегодня „Бедных людей“, „Униженных и оскорбленных“, а завтра „Бесов“ и „Дневник писателя“? Чувствуете ли, как курьезно на одной странице возлагать все свои надежды на темных „Власов“, которые должны обновить мир, а на другой — роптать на тех же „Власов“ за то, что они слишком снисходительны к преступникам? Уместно ли в одно время скорбеть о народных несчастиях, а в другое — проповедовать страдание как главную, коренную народную потребность? Стоило ли вести знакомство с Белинским, Герценом и др., чтоб потом примкнуть к Аскоченским и Мещерским?» — заключает он.

Настойчиво возвращались к образу Власа представители народнической литературы в своей полемике с Достоевским о народе и будущем России. Особенно значительны в этом смысле выступления Н. К. Михайловского и Г. И. Успенского. В февральском номере «Отечественных записок» за 1873 г. появилась большая статья Н. К.

Михайловского, посвященная анализу «Бесов», где он рассматривает «Дневник писателя» как комментарий к «Бесам», особенно подробно останавливаясь на «Власе». Критик отмечает, что у «Власа» в толковании Достоевского много общего со Ставрогиным: та же потребность, «дойдя до пропасти <…> заглянуть в самую бездну» и, с другой стороны, «потребность искупить дерзость, грех».[76] Михайловский указывает и разницу: «И Влас и Ставрогин одинаково чувствуют „наклонность к преступлению“ <…> наклонность согрешить для греха, для сильного ощущения. Но Власа этот грех не выбивает из его жизненного седла окончательно; в конце концов даже укрепляет в нем. Он идет искупать свой грех и в страдании искупления находит примирение с самим собой. Ставрогин этого сделать не в силах. Он падает окончательно именно потому, что не может или не хочет принять на себя крест·вернее сказать, не может, сил не хватает, хоть его и тянет к этому». Так трактует Михайловский характер Ставрогина, этого «citoyen du monde», и являющийся параллелью к нему характер грешника из народа. Спор с Достоевским критик ведет по поводу обоих этих характеров. Достоевский готов преклониться перед народной правдой, видит спасение в народе. Михайловский же отмечает неоднородность этой правды, где есть и ценные ростки, и плевелы, как «на одной и той же поляне можно найти и съедобный гриб и поганку».[77] В подтверждение этого Михайловский приводит две народные легенды из сборника Афанасьева «Народные русские легенды» (М., 1859, № 28 и 30), в которых речь идет о грехе и его искуплении. В одной легенде грешник искупил свой грех тем, что убил страшного разбойника, в другой, сделав то же самое, грешник, по словам Господа, взял на свою душу и грех убитого им. Михайловский делает вывод, что следует выбирать «из народной правды то, что соответствует <…> общечеловеческим идеалам», тщательно оберегать «это подходящее» и при помощи его изгонять «неподходящее». Достоевский же, по его мнению, из числа тех людей, которые «навязывают народу свои общечеловеческие идеалы и стараются не видеть неподходящего».[78]

По предположению М. Гина, полемика Михайловского с Достоевским оказала воздействие на Некрасова, который в 1876 г., работая над «Пиром на весь мир», легендой «О двух великих грешниках», созданной под влиянием упомянутой Михайловским легенды из сборника Афанасьева, ответил Достоевскому. «Легенду о

Кудеяре, — замечает М. Гин, — рассказывает в поэме монах, слышавший ее в Соловках от „инока, отца Питирима“, и преподносится она в религиозном обрамлении — начинается и кончается словами: „Господу богу помолимся“ <…> Монашеской легенде Достоевского Некрасов противопоставляет свою „монашескую“ легенду, прямо противоположную по характеру».[79] Именно как полемику с Достоевским воспринял стихи Некрасова Михайловский. В позднейшей статье «О Писемском и Достоевском» (1881), говоря о двух Власах (Некрасова и Достоевского), критик замечает, что Достоевский «никогда не понимал <…> той глубокой черты не только русского, а и всякого народного духа, в силу которой присутствие греха обязывает не только к пассивному подвигу личного страдания, а и к активному подвигу борьбы со злом за то, что оно других заставляет страдать». И добавляет к этому в примечании: «Превосходную иллюстрацию к этой черте читатель найдет в одной главе поэмы Некрасова „Кому на Руси жить хорошо?“ <…> именно в рассказе „О двух великих грешниках“ Прибавьте рассказы „Про холопа примерного — Якова верного“ и „Крестьянский грех“, и вы увидите, что значит истинное понимание народной души в вопросе греха и искупления».[80]

К образу Власа Михайловский — критик и публицист — возвращался неоднократно. Так, в 1875 г. в «Записках профана», полемизируя с П. П. Червинским, идеализировавшим русскую деревню, он снова говорит о Власе Достоевского.[81] А в 1876 г. в очерках «Вперемежку», касаясь эпилога романа «Подросток», критик опять упомянул о Власе.[82]

В 1880 г. в статье «Секрет», написанной в связи с Пушкинской речью Достоевского, об его интерпретации образа Власа вспомнил Г. И. Успенский, имея в виду февральский выпуск «Дневника писателя» за 1877 г. Говоря о том, какую характеристику Достоевский дает западноевропейскому и русскому положению дел, Успенский упрекает писателя в отсутствии трезвого реализма, когда речь идет о России. «Ни о положении вещей в данную минуту, ни о прошлом, из которого оно вышло, нет ни одного слова, — замечает Успенский, полемизируя с Достоевским. — На каждом шагу задаешь себе вопросы: какую-такую злобу дня разрешу я, если, подобно Власу, буду, с открытым воротом и в ярмяке, собирать на построение храма божия? Если ту же, какая в Европе, то почему же там дело должно кончиться дракой, а не Власом?

Если другую какую-нибудь, русскую злобу, особенную, то какую именно? <…> В Европе вот, говорит г-н Достоевский, буржуа не дает пролетарию жить на свете… А у нас есть ли что-нибудь в этом роде? Для кого устроены банки всевозможных рядов и видов, кто играет на бирже, съедает миллионы гарантий и субсидий? И достаточно ли в таких делах Власа, собирающего на построение храма божия?»[83]

В статье «О Писемском и Достоевском» Н. К. Михайловский подвел итог своим многочисленным высказываниям о Достоевском. Коснулся он и «Власа», отметив, что образ этот свидетельствует, «до какой степени скудно и односторонне было в Достоевском понимание народной души. Вся эта душа резюмировалась для него в чувстве греха и жажды страдания…».[84] Вместе с тем критик-демократ писал об отношении Достоевского к народу: «Пусть Достоевский скудно и односторонне понимал народную душу, но он горячо любил народ, желал ему добра и видел в нем надежду России. Это правда. И великая честь за это покойнику».[85]

VI
Бобок

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 5 февр. № 6. С. 162–166) с подписью: Ф. Достоевский.

Рассказ был задуман в январе 1873 г. Черновой автограф начала статьи «Мечты и грезы», опубликованной Достоевским лишь в мае, содержит сентенцию об удивлении, вошедшую в рассказ «Бобок». В автографе сентенция была связана с рассуждениями о суде над Нечаевым, отчет о котором публиковался в «Правительственном вестнике» (Правит. вести. 1873. 2 янв. № 10) и других газетах, и размышлениями над книгой социолога А. И. Стронина «Политика как наука» (СПб., 1872). Почти полностью перенеся из чернового автографа статьи «Мечты и грезы» мысль об удивлении и последующую реплику «одного из моих знакомых», Достоевский устранил намеки на конкретные злободневные причины, способствовавшие рождению сентенции.

Замысел рассказа связан с появлением в газете «Голос»

журнальной заметки Л. К. Панютина (1831–1882; псевдоним «Нил Адмирари»). Внимание Достоевского привлекло следующее место в этой заметке: «„Дневник писателя“ <…> напоминает известные записки, оканчивающиеся восклицанием: „А все-таки у алжирского бея на носу шишка!“ Довольно взглянуть на портрет автора „Дневника писателя“, выставленный в настоящее время в Академии художеств (имеется в виду известный портрет работы В. Г. Перова — *Ред.*), чтобы почувствовать к г-ну Достоевскому ту самую „жалостливость“, над которою он так некстати глумится в своем журнале. Это портрет человека, истомленного тяжким недугом» (Голос. 1873. 14 янв № 14).

Герой «Бобка» так отвечает на недостойную выходку Панютина: «Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: „Все-таки ты, говорит, литератор“. Я дался, он и выставил. Читаю: „Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо“.

Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати? В печати надо все благородное; идеалов надо, а тут…».

Заканчивается рассказ прямым упоминанием портрета Достоевского: «Снесу в „Гражданин“, там одного редактора портрет тоже выставили».

Заметка Панютина сыграла роль первого толчка: Достоевский приступает к работе над «Бобком», видимо, во второй половине января 1873 г. Героем-автором рассказа стал страдающий от слуховых и зрительных галлюцинаций, спившийся почти до горячки литератор-неудачник. Реплика Панютина «предопределила» близость «Записок одного лица» к «Запискам сумасшедшего» Гоголя (стиль, жанр, герой). «Рубленый слог» героя «Бобка» разительно напоминает стиль дневника Поприщина. Почти аналогичным образом мотивируются фантасмагоричные видения героев обоих произведений. Поприщин так удивляется изменениям, происходящим с ним: «Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которые никто еще не видывал и не слыхивал».[86] Литератор в «Бобке» заявляет о себе: «Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи».

Повествователь охотно уснащает свой рассказ каламбурами, сентенциями, обобщенными суждениями (о сумасшествии, удивлении,

например). Они нередко имеют реальную основу. Полемические намеки ощутимы и в таком размышлении: «Не люблю, когда при одном лишь общем образовании суются у нас разрешать специальности; а у нас это сплошь. Штатские лица любят судить о предметах военных и даже фельдмаршальских, а люди с инженерным образованием судят больше о философии и политической экономии». Среди «штатских лиц», судящих о фельдмаршальских предметах, безусловно должен быть назван социолог А. И. Стронин (1827–1889); рецензия на его книгу «Политика как наука» была помещена в том же номере «Гражданина», что и «Бобок». Достоевский полемизирует с книгой Стронина в статье «Мечты и грезы». «Люди с инженерным образованием», занимающиеся философией и политической экономией, это главным образом Н. К. Михайловский, учившийся с 1856 по 1863 г. в Петербургском институте горных инженеров, и, видимо, П. Л. Лавров, обучавшийся с 1837 по 1842 г. в Петербургском артиллерийском училище и затем преподававший высшую математику сначала в том же училище, а потом в Артиллерийской академии.

Литературные мнения «одного лица» полемичны и резки. Они всецело отражают эстетико-литературную позицию Достоевского, его особенное понимание «реализма в высшем смысле», полемику с «утилитарным» взглядом на искусство, суть которого Достоевский в наиболее окарикатуренном виде определил в статье «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» (1864).

«Философия» героя рассказа Клиневича, его жизненное кредо выражены в ясных, откровенных, предельно циничных словах, с которыми он обратился к соседям по кладбищу, призывая их перестать «стыдиться»: «Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!».

Призыв Клиневича, с энтузиазмом встреченный почти всеми мертвецами (кроме патриархального купца и генерала Первоедова), и сладострастная атмосфера странного кладбищенского сборища в какой-то степени связаны с классическими и современными Достоевскому «образцами» эротической (или, по выражению М. Е. Салтыкова-Щедрина, «клубничной») литературы, в том числе с нашумевшим романом П. Д. Боборыкина (1836–1921) «Жертва вечерняя» (1868), второе издание которого появилось в 1872 г.[87] Салтыков-Щедрин в

статье «Новаторы особого рода» подверг роман Боборыкина язвительной критике, увидел в нем «нимфоманию и приапизм», попытку «узаконить в нашей литературе элемент „срывания цветов удовольствия“».[88] Особенное внимание Салтыков-Щедрин уделил героине романа и ее искусному соблазнителю Домбровичу, иронически объяснив свое предпочтение этим героям тем обстоятельством, что они являются в произведении Боборыкина единственными «живыми лицами».[89] Героиня, по мнению сатирика, нимфоманка, все интересы которой вертятся вокруг «безделицы»: ухищрения Боборыкина сообщить ее действиям и мыслям трагический колорит выглядят несостоятельными. Селадон Домбрович («пламенный обожатель безделицы») — теоретик и практик разврата одновременно. «Эта célébrité, — замечает Салтыков-Щедрин, — такая слизистая гадина, до которой нельзя дотронуться, чтобы не почувствовать потребности обтереться».[90] Домбрович — «человек сороковых годов»,[91] и это обстоятельство не прошло мимо внимания критика, принадлежащего к тому же поколению: «Еще одно слово: г-н Боборыкин относит своего литератора к числу эстетиков сороковых годов. Мы не возражаем против того, что в сороковых годах могли быть и даже были эстетики-литераторы вроде Домбровича, но утверждаем, что в то время не могли появиться, а ежели бы даже и могли, то не имели бы успеха, произведения, подобные „Жертве вечерней“».[92]

По-видимому, не прошел мимо факта принадлежности Домбровича к поколению людей 1840-х годов и Достоевский. Один из персонажей «Бобка» — тоже идеолог безудержного разврата — вряд ли случайно носит фамилию Клиневич.[93] «Идеи» Домбровича, внушаемые им пылкой вдове, просты, конкретны и очень близки к mot Клиневича: «… нужно уметь наслаждаться настоящею жизнью. Кисло-сладкими фразами ничего не сделаешь. В таком светском обществе, как наше петербургское, еще можно жить; разумеется, умеючи <…> Иван Александрович Хлестаков говорит, что он „любит срывать цветы удовольствия“. Но знаете ли, что срывать их умно и разнообразно — очень нелегкая вещь <…> Жить с прохладцей и, — протянул он, — ничего не бояться».[94] «Ничего не стыдиться» Клиневича — это в сущности вариант призыва Домбровича «ничего не бояться». На практике теория Домбровича реализуется в «афинских вечерах», на которых «все позволено» и где все собрались для «веселья». «Да, мы

хотим любить и любить без всяких фраз и мелодрам! — откровенничает «просветившаяся» героиня романа. — Мы хотим жить и очень долго будем жить „в свое удовольствие!“».[95]

Неуемной жаждой плотских наслаждений охвачены и мертвецы «Бобка», желающие последние два-три месяца как бы жизни провести «в свое удовольствие»: «Главное, чтобы весело провести остальное время…».[96]

Веселые вечера в «Жертве вечерней» быстро переходят в разнузданные оргии: «Ужин перешел в настоящую оргию. И я всех превзошла! Во мне не осталось ни капли стыдливости. Я была как какая-нибудь бесноватая <…> Сквозь винные пары (шампанского мы ужасно выпили) раздавался шумный хохот мужчин, крики, взвизгиванья, истерический какой-то смех и во всей комнате чад, чад, чад!».[97] Ср. в «Бобке»: «Поднялся долгий и неистовый рев, бунт и гам, и лишь слышались нетерпеливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатьевны». Развратники Боборыкина занимаются непристойными «литературными» играми, а также участвуют в своеобразной «пети-жё»: «От письменного вранья мы перешли к простому. Мы заставили каждого из мужчин рассказать про свою первую любовь. Сколько было смеху! <…> Домбрович рассказал историю, где выставил себя совершенно Иосифом Прекрасным».[98] К такому же примерно состязанию призывает мертвецов, не исключая и женщин, Клиневич: «Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться».

В рассказе есть свой кладбищенский философ Платон Николаевич, как и многие другие действующие или упоминаемые персонажи, являющийся лицом вымышленным, «художественным». Тем не менее некоторые штрихи его биографии напоминают о Николае Николаевиче Страхове: «…наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил…». Н. Н. Страхов (1828–1896) защитил магистерскую диссертацию по зоологии на тему «О костях запястья млекопитающих» (1857) и к 1873 г. был автором нескольких философских книг, в том числе и книги «Мир как целое. Черты из науки о природе» (СПб., 1872), восторженная анонимная рецензия на которую появилась в «Гражданине» (1873. 1 янв. № 1).

Представления «доморощенного» философа Платона Николаевича о загубленной жизни ближе к мистическим идеям Сведенборга, а не к

рационалистической, отвергающей веру в чудеса и «потустороннее» существование после смерти концепции человека и мира Страхова. Но вполне вероятно, что повторяющийся каламбур: «Во-первых, *дух* <…> Но *дух, дух.* Не желал бы быть здешним *духовным лицом* <…> Много заметил веселости и одушевления искреннего <…> слышу *дух* от него, *дух…* <…> нет от меня никакого такого особого *духу*, потому еще в полном нашем теле как есть сохранил себя <…> *дух* действительно нестерпимый, даже и по здешнему месту <…> признака могильного *воодушевления* <…> Вонь будто бы *души* <…> воистину *душа* по мытарствам ходит…» (курсив наш. — *Ред.)* — навеян одним «этимологическим» рассуждением Страхова: «„Он дышит, он жив!“ — говорим мы в известных случаях. Даже самые слова — дыхание, дух, душа — происходят от одного корня».[99]

В «Бобке» очевидны «реминисценции» из собственных произведений Достоевского, особенно из «Униженных и оскорбленных», где князь Валковский, современный злодей и сладострастник, «литературный предшественник Клиневича, предвосхищает его „призыв“: „Но вот что я вам скажу! Если б только могло быть (чего, впрочем, *по человеческой натуре никогда быть не может),* если б могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтоб не побоялся изложить не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, — то ведь на свете поднялся бы *тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться.* Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские условия и приличия“ (III, 361–362; курсив наш. — *Ред.).*[100] Валковский «обнажается» перед автором-повествователем и «теоретически» обосновывает свое поведение: «Есть особое сладострастие в этом внезапном срыве маски, в этом цинизме, с которым человек вдруг высказывается перед другим в таком виде, что даже не удостаивает и постыдиться перед ним» (там же). Клиневич и его могильные соседи хорошо знают толк в такого рода «особом сладострастии». В подтверждение своих мыслей и убеждений князь рассказывает интимно-циничные историйки из своей личной жизни и неоднократно «цитирует» французских авторов (преимущественно), слегка «зашифровывая» источник цитаты: так, «анекдот» о сумасшедшем парижском чиновнике, пересказ известного эпизода «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо, — своего рода эмблема «заголения»,

повторенная Достоевским в «Подростке» и лежащая в «подкладке» «Записок из подполья» и «Бобка».[101]

Клиневич напоминает генералу Первоедову, что они на земле «у Волоконских встречались, куда вас, не знаю почему, тоже пускали». Если принять гипотезу Р. Г. Назирова, что историческим «прототипом» Валковского был фельдмаршал П. М. Волконский (1776–1852), любимец Николая I и фактор в любовных делах государя,[102] то «Волоконские» в «Бобке», очевидно, аналогичная реалия.

Надворный советник Лебезятников[103] в этом рассказе Достоевского имеет предшественника-однофамильца в «Преступлении и наказании». «Симметрические бородавки» героя-литератора — деталь из записных книжек к «Бесам», связанная там с внешностью Петра Верховенского (Нечаева) — легендарной (бородавка) и реальной (заурядной, лишенной «феноменальных» примет): «Так, например, выглядит Нечаев. Тут и какое лицо, и какое он на меня впечатление произвел, и говорили, будто бы он с бородавкой, — но никакой бородавки, а если, говорят, его просмотрел полицейский агент на границе, то немудрено — особенно если он так ловко умел костюмироваться: ничего не имел в себе особенного» (XI, 93).

При достаточном количестве злободневных полемических реалий в «Бобке» его герои не «личности», а типы.[104] Не составляет исключения и сам условный «автор» «Записок», выступивший под псевдонимом «одно лицо». Псевдоним возник под впечатлением знакомства Достоевского с полемикой между В. П. Бурениным («С.-Петербургские ведомости») и Н. К. Михайловским («Отечественные записки») и прямо относится к Буренину. Но это и обобщенный образ, тип петербургского фельетониста, литератора-неудачника. Создавая «литературную» биографию героя, Достоевский опирался на «физиологические» очерки И. И. Панаева, главным образом на «Литературную тлю» (1843) и «Петербургского фельетониста» (1841).[105]

Насыщенность рассказа памфлетно-полемическими выпадами уподобляет его публицистическим статьям, вошедшим в «Дневник писателя» 1873 г. В то же время «Бобок» — художественное произведение, смысл которого в целом не может быть «расшифрован» ни с помощью отсылок к злободневным, сиюминутным проблемам, ни с помощью указаний на факт развития идей и мотивов из более ранних произведений писателя. Закономерно сложилась традиция

интерпретации «Бобка» в широком, символическом плане (А. Белый, В. В. Вересаев, Л. П. Гроссман, К. О. Мочульский) Прослеживая традицию и развитие жанра мениппеи во Франции и Германии (Фенелон, Фонтенель, Буало, Вольтер, Дидро, Гете, Гофман), Бахтин мельком называет и русских писаталей XVIII в., сочинявших «разговоры в царстве мертвых», справедливо в то же время подчеркивая новаторский характер мениппеи Достоевского, ничего общего не имеющей со «стилизацией умершего жанра».[106]

В символическом и конкретном, идейно-смысловом, планах проблематику и поэтику «Бобка» предваряют стихотворение Пушкина «Когда за городом, задумчив, я брожу…» (1836) и «фантастический» рассказ В. Ф. Одоевского «Живой мертвец» (1844).

Наконец, наиболее близким по времени литературным предшественником «Бобка» явился другой фельетон уже названного выше Л. К. Панютина, посвященный ритуальным гуляньям на Смоленском кладбище.[107] Начинается он описанием традиционных хмельных оргий на могилах Фланер-фельетонист невольно наблюдает разные простонародные сцены и слышит разговоры пьяных, но «живых» людей. Затем, утомившись, он в самой непринужденной позе располагается отдохнуть·«…разлегся на солнечном припеке, с папиросою в зубах, мысленно попросив у покойников извинения за беспокойство». Но мысль эта была услышана одним покойником, охотно извинившим фельетониста «Голоса» и вступившим с ним в разговор. Необычный собеседник оказался дворцовым курьером·он когда-то пострадал при Бироне. Покойника интересует современная жизнь России, он характеризует своих соседей по могилам, произносит несколько сентенций «живым людям в назидание». Беседа фельетониста с мертвецом прерывается тривиальным образом, автора будит городовой. В «Бобке», по-видимому, отразился один мотив фельетона·мертвец у Панютина говорит каким-то непонятным образом, не так, как живые люди·«Языка я еще при жизни имел неприятность лишиться». В «Бобке» также говорится о необычайном звучании голосов покойников: «Слышу — звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; и при всем том внятные и очень близкие». Дается точное и дифференцированное социально-психологическое описание «голосов». Затем на вопрос Клиневича («Ведь мы умерли, а между тем говорим; как будто и движемся, а между тем и не говорим и не движемся?»)

отвечает Лебезятников, излагая «мистические» идеи философа Платона Николаевича о двух-трех месяцах жизни после «тамошней» смерти, во время которых жизнь продолжается «как бы по инерции», «остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании», а затем сознание и каким-то сверхъестественным образом продолжавшаяся речь оставляют человека, звучит бессмысленное слово «бобок», и, наконец, наступает окончательная смерть. «Голоса» и «слух» — особенные, «неземные»: мертвецы в «Бобке» «слышат вонь», «так сказать, нравственную», «будто бы души». Возможность «покаяния» («…это, так сказать, последнее милосердие») сохраняется для них. «Мистическое» толкование Платона Николаевича — своеобразный философский «комментарий» к поэтическому афоризму Ф. И. Тютчева: «Не плоть, а дух растлился в наши дни» («Наш век», 1851) и одновременно развитие гоголевской темы омертвения человеческой души. Мертвецы «Бобка» утратили душу еще в земной жизни, и «как бы по инерции» распаленное, извращенное сладострастие владеет их «сознанием» после «предварительной» смерти.

Достоевский, видимо, задумал цикл «кладбищенских» рассказов. Во всяком случае, «одно лицо» в послесловии к рассказу обещает: «Побываю в других разрядах, послушаю везде <…> А к тем непременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдотцы». Но широко задуманный замысел не был осуществлен Достоевским; впоследствии он вернется к жанру «фантастического» рассказа в 1877 г., написав «Сон смешного человека», однако этот последний рассказ в другом, утопическом роде.

Критика 1870-х годов прошла мимо рассказа «Бобок»: бессмысленный, патологический этюд — таково было господствующее мнение современников о «кладбищенском» рассказе редактора «Гражданина».[108] Новое отношение к «Бобку» сложилось в XX в., когда фантастический, гротескно-сатирический шедевр писателя оценен по достоинству.

VII
«Смятенный вид»

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 19

февр № 8. С. 224–226) с подписью: Ф. Достоевский.

В 1872 и в начале 1873 г. в русской периодике появилось большое число работ, посвященных истории, быту, догматике сект и толков старообрядчества, статистике раскола, случаям перехода из раскола в православие и из православия в раскол. «Вестник Европы» опубликовал исследование А. И. Розова «Странники, или бегуны в русском расколе» (1872 № 11, 12; 1873, № 1) и работу Д. И. Троицкого «Новейшая полемика раскола» (1873. № 5, 6). Ряд передовых статей о расколе поместил «Голос» (1872. 12, 13 окт. 23, 24 ноября. № 165, 166, 207, 208·). Проблематика старообрядчества широко освещалась на страницах духовной периодики. Статьи о расколе печатались в «Страннике» (1872. Т. 4, ч. 2), «Православном обозрении» (1872. № 1), «Московских епархиальных ведомостях» (1872. 6 июля, 3 сент., 29 окт. 19 ноября, 3 дек. № 29, 36, 44, 47, 49). Большое внимание уделялось расколу в провинциальных гражданских и духовных изданиях. Материал именно этих изданий ложился в основу соответствующих обозрений столичной периодики (и в частности, газеты-журнала «Гражданин»).

Есть свидетельства, что уже в 1840-х годах, будучи петрашевцем, Достоевский искал сближения заговорщиков с раскольниками.[109] Интерес писателя к расколу и раскольникам в период каторги нашел отражение в «Записках из Мертвого дома» (см.: наст. изд. Т. 3. С. 536). В 1862 г. в журнале братьев Достоевских «Время» (№ 11) была опубликована вторая часть известной работы А. П. Щапова «Земство и раскол». Тогда же в статье «Два лагеря теоретиков» Достоевский изложил свое понимание раскола как одного из крупнейших явлений в истории русской общественной жизни, родившегося из страстного стремления народа к «истине».

Темы раскола Достоевский касался в «Преступлении и наказании» (см.: наст. изд. Т. 5. С. 429–430; а также VII, С. 393–395).[110]

В не меньшей степени внимание писателя привлекало сектантство (см., например: IX, 515–517). Образование секты штундистов и повесть Н. С. Лескова «Запечатленный ангел» побудили Достоевского в данной статье, с одной стороны, рассмотреть движение в русском сектантстве 1870-х годов, свидетельствующее, по убеждению писателя, о жажде обновления в среде народа, внутреннем противостоянии его «всеобщему разложению» и потому оцениваемое им как «нечто

пророческое», с другой — поставить вопрос о недостаточно действенном отношении русского духовенства к своей миссии, с которой писатель связывал исторические судьбы России и Европы.

В подготовительных материалах к роману «Подросток» встречается запись (от 26 ноября 1874 г.): «Вот успевают же штундисты; кажется, чего бы противуположнее народному русскому духу? Закон потребности в живой силе, кажется, везде одинаков» (XVI, 233). «Живая сила» рассматривается здесь Достоевским как начало, способное противостоять царящему в обществе «беспорядку». Именно в этом смысле поднимается в статье «Смятенный вид» вопрос о личности священника как активного носителя православной идеи. То, что безразличие архиерея к «святотатственному» поступку приезжего чиновника не осуждается у Лескова, а переход раскольников в православие остается немотивированным, связано, по мнению Достоевского, с непониманием писателем сущности как православия, так и русского раскола.

Два месяца спустя после публикации комментируемой статьи Лесков поместил в «Русском мире» за подписями «Псаломщик» и «Свящ. П. Касторский» две заметки — «О певческой ливрее» и «Холостые понятия о женатом монахе» (1873. 4, 23 апр. № 87, 103), полемически направленные против статьи Достоевского «По поводу выставки» и рассказа М. А. Недолина «Дьячок», напечатанного в «Гражданине».[111] Развернутый ответ Лескову был дан Достоевским в статье «Ряженый» (см. С. 92–107)

VIII
Полписьма «одного лица»

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 5 марта. № 10. С. 285–289) с подписью: Ф Достоевский.

Многие реалии статьи «Полписьма „одного лица“» дают возможность установить ее адресата и указать материал, положенный в ее основу. Одним из источников замысла Достоевского послужили полемические выступления газеты «Голос» против первых статей «Дневника писателя» за 1873 г., в частности фельетон (без подписи)

«Литературные и общественные курьезы»,[112] другим — развернувшаяся в 1872 г. полемика между «С.-Петербургскими ведомостями» и «Отечественными записками», точнее, между В. П. Буренинym и Н. К. Михайловским. Объектом пародии явились тон и полемические приемы фельетонов Буренина, направленных против Михайловского и затрагивавших попутно Г. З. Елисеева, Н. А. Демерта, М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Три месяца спустя после публикации статьи «Полписьма „одного лица“», говоря о Михайловском в «Двух заметках редактора» как об одном из «самых искренних публицистов, какие только могут быть в Петербурге», Достоевский добавлял: «Не мое совсем дело, но я никак не понимаю вражды к нему почтенного г-на Z. из «С.-Петербургских ведомостей», столь упорной и безостановочной. Много раз и искренно сожалел о сем обстоятельстве. Уверен, что оба эти деятеля могли бы совершенно сойтись, если бы не так враждовали друг с другом» (С. 186).[113]

Полемика началась после данного Михайловским критического анализа либерального направления в русской общественно-литературной жизни. В работе Михайловского сопоставлялись программы русского и европейского либерализма и доказывалась невозможность в России, в данный исторический период, «цельности» и «ясности» либеральной программы. Касаясь ряда выступлений «С.-Петербургских ведомостей» («цвета и красы либерализма»), Михайловский отмечал «несвободу» отношения газеты к фактам жизни и литературы и заданность их трактовки, неопределенность ее направления и т. д. Основываясь же на фельетонах «г-на Z.» (т. е. Буренина), Михайловский писал о нелогичности и безнравственности полемических приемов «С.-Петербургских ведомостей».[114] Этому выступлению «Отечественных записок» (и двум последующим статьям Михайловского)[115] газета посвятила две передовые статьи[116] и восемь фельетонов Буренина,[117] которые и привлекли внимание Достоевского. Возможно, что сам эпистолярный жанр части статьи — «полписьма» — также связан с этой полемикой. Во всяком случае существенно в этом плане следующее замечание в одном из фельетонов Михайловского, адресованное Буренину: «Мне даже так понравилось беседовать с вами, что я думаю на будущее время *избрать для своих обозрений эпистолярную форму писем к вам*».[118]

Автор «полписьма» имеет два псевдонима. Первый из них — «одно лицо» — дан ему редактором («одно лицо» уже выступало как автор «Записок»: напомним, что «Бобок» имеет подзаголовок «Записки одного лица»), второй — *«Молчаливый наблюдатель»* — выбран самим автором «полписьма» Конкретный общественно-литературный фон, на котором развивалась полемика Буренина и Михайловского, позволяет объяснить происхождение обоих псевдонимов.

В кульминационный момент полемики состоялся судебный процесс над сотрудниками «С.-Петербургских ведомостей» и «Вестника Европы». Поводом для процесса явилась дуэль между Е. И. Утиным и А. Ф. Жоховым в мае 1872 г., в результате которой Жохов от тяжелого ранения скончался. Причиной дуэли послужили необоснованные слухи (источником их был Е. И. Утин) о неэтичном поведении Жохова в деле Гончарова, судившегося за распространение прокламаций. Процесс, к которому были привлечены М. М. Стасюлевич, А. Н. Пынин, А. С. Суворин, К. А. Скальковский, Е. К. Ватсон, Е. В. Роберти и другие, широко обсуждался в петербургской и московской периодической печати. Полностью материалы процесса были опубликованы в «С.-Петербургских ведомостях».[119] «Отечественные записки» посвятили ему обширную статью Н. А. Демерта под симптоматичным заглавием «Наша современная литература и общество».[120] Одним из привлеченных к следствию был секундант Утина — В. П. Буренин. В материалах процесса фигурировало письмо погибшего к брату. В нем А. Ф. Жохов писал: *«Одному лицу* Утин говорил, что знает компрометирующие меня факты (*оказалось, что это был Буренин*)».[121] Понятие «одно лицо», выделенное курсивом, употребляется вместо имени одного из членов «литературно-либерального» кружка в указанной статье Демерта.[122]

Процесс над сотрудниками «С.-Петербургских ведомостей» и «Вестника Европы» в статье Демерта рассматривался как «снимок нравов и состояния ума если не всего современного русского общества, то по крайней мере некоторой его части».[123] Главный объект иронии Демерта — характеристика «подсудимого» кружка, данная защитником В. Д. Спасовичем, отметившим, что в кружке все *«зорко наблюдают* за поступками друг друга <…> строго *следят* друг за другом, потому что от этой именно строгости зависит порядочность <…> кружка».[124] Это *«наблюдение»* членов кружка друг за другом с целью сохранения его

«внешней порядочности» рассматривается в статье Демерта как симптом внутреннего неблагополучия. Независимо от трактовки темы «наблюдения» Демертом сам факт обращения к ней Спасовича дает возможность предположить, что из переосмысления слов последнего у Достоевского родился пародийный псевдоним «Молчаливый наблюдатель». Определение же «молчаливый» в нем связано, возможно, с еще одним эпизодом полемики Буренина и Михайловского. В первом своем фельетоне Буренин писал: «Дело выяснения и объяснения „Отечественных записок“ началось таким образом. Я сказал два слова о *неприличном молчании почтенного органа* по вопросу о классическом и реальном образовании. Редакция „Отечественных записок“ не вынесла моего замечания и *кратко заявила, отчего она молчит.* В кратком заявлении редакция стремилась дать понять публике: *молчу-де* потому, что считаю всякие речи тщетными, а *молчание полезным* и даже в некотором роде многознаменательным. Но публика поняла совершенно ясно, что это вздор и что молчание в данном случае обусловливалось вовсе не многознаменательностью и полезностью его: редакции просто нечего было сказать… Новый *принцип полезности молчания* в печати прибавил еще один лавр в венке редакции».[125] В своем следующем выступлении Буренин назвал «Отечественные записки» «почтенным органом молчальников».[126]

Таким образом, не только адресат «полписьма», но и его автор — лицо собирательное. Важно отметить, что в созданной им антикритике Достоевский использует метод самодискредитации героя (Буренин, послуживший в ряде моментов источником образа «одного лица», выступает против Буренина).

Ощутимо также и авторское стремление дискредитировать героя. В редакторском предисловии к «полписьму» об «одном лице» говорится, что это «человек болезненный», «огорченный и ежедневно себя „огорчающий“» (С. 72). В восприятии им окружающей действительности, в его реакции на нее преобладают «ярость», «горечь», «яд», но есть и *«слеза умиления»:* «Девяносто процентов на яд и один процент на слезу умиления!». Комплекс ощущений, определяющий мировосприятие «одного лица», уже подвергался Достоевским идейно-художественному анализу: автор «полписьма» находится в несомненной генетической связи с антигероем «Записок из подполья» (ср.: наст. изд. Т. 4, С. 453, 462) По-видимому, не случайно

понятие «слеза умиления», столь важное в исповеди обличающего и обличаемого парадоксалиста,[127] делается в «полписьме» собственностью «одного лица», а в редакторском предисловии заключается в кавычки. В характеристику и антигероя «Записок», и «одного лица» вводятся понятия «прекрасного и высокого» (наст. изд. Т. 4. С. 455), оба героя наделяются жаждой «чего-то идеального» (С. 73). Следует напомнить, что в примечании к первой главе «Записок из подполья» Достоевский именует парадоксалиста одним из многих существующих «в нашем обществе» лиц, «представителем еще доживающего поколения», а его исповедь называет «записками» (наст. изд. Т. 4. С. 452).

По первоначальному плану редакторское предисловие к «полписьму» было пространнее: в нем излагалось содержание последнего из отвергнутых будто бы фельетонов «одного лица» — ответа его Михайловскому и Буренину — и характеризовалось отношение самого Достоевского к их статьям (см.: XXI, 304–310). Из окончательного текста вся эта тема писателем устраняется. Личный мотив — жалоба на некорректный характер полемических приемов — сохраняется лишь в первом абзаце текста «полписьма»: «Первая половина статьи — моя защита <…> Но, признаюсь, я удержал из первой половины письма лишь несколько слов в разъяснение свиньи» — (XXI, 299).

IX
По поводу выставки

Впервые напечатано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 26 марта. № 13. С. 423–426) с подписью: Ф. Достоевский.

Статья «По поводу выставки» посвящена открывшейся в Петербурге в марте 1873 г. художественной выставке произведений живописи и скульптуры, предназначенных для отправки в Вену на всемирную выставку. На выставке было представлено около ста произведений русских художников.[128] Выставка вызвала много печатных откликов.[129] Она совпала с тем периодом, когда в русской живописи достигло расцвета демократическое и реалистическое

направление, связанное с деятельностью Товарищества передвижных выставок (организация его относится к 1870 г., а в 1871 и 1872 гг. состоялись первые выставки передвижников, прошедшие с большим успехом). Тем не менее на выставке 1873 г. было немало произведений представителей академического искусства, имевшего своих сторонников среди публики и в прессе. Основное внимание посетителей и критиков привлекли три картины: «Бурлаки» И. Е. Репина, «Грешница» Г. И. Семирадского и «Шуты при дворе Анны Иоанновны» (или «Утро во дворце Анны Иоанновны») В. И. Якоби. Последней из-за ее обличительного характера остался недоволен двор, и она вскоре была снята с выставки. Картины же Репина и Семирадского долгое время продолжали оставаться в центре внимания, вызывая множество откликов и споров.

Критика разделилась на два лагеря: демократическая часть ее приветствовала картину Репина, а академическая критика знаменем своим сделала Семирадского.[130]

Для понимания позиции Достоевского существенно, что он ни словом не упомянул о картине Семирадского, отведя главное место в своей статье анализу «Бурлаков». Произведение Репина писатель воспринял как подлинное торжество правды в искусстве. Выраженные здесь любовь к народу и сочувствие угнетенному человеку представляются Достоевскому неотделимыми от высоких эстетических достоинств картины. Большинство живописных полотен, названных и положительно охарактеризованных в статье Достоевского, принадлежало художникам-передвижникам, относилось к демократическому направлению в искусстве.

Смысл статьи «По поводу выставки» не ограничивается защитой реалистического искусства, воссоздающего образы текущей жизни: «Ко времени ее написания в русской живописи твердо определилась победа „передвижнического“, реалистического направления. Поэтому задачи борьбы с официальным академическим искусством, которым была посвящена значительная часть обзора выставки 1860–1861 годов (имеется в виду статья Достоевского «Выставка в Академии художеств» — см.: XIX, 151.— *Ред.)*, отошли для Достоевского на второй план».[131]

Помимо оценок произведений русского искусства статья содержит ряд общих теоретических рассуждений: в ней отражены взгляды писателя на назначение искусства и роль художника в обществе. В этом

отношении «По поводу выставки» можно сопоставить со статьей «Г-н — бов и вопрос об искусстве» (1861), также посвященной в основном эстетическим проблемам и пронизанной явной и скрытой полемикой с Добролюбовым. Теперь, в 1870-х годах, Достоевский неоднократно спорит по общественным и художественным вопросам с Н. К. Михайловским, поместившим в «Отечественных записках» за 1873 г. свой обзор «Литературные и журнальные заметки», в котором он ставит вопрос о роли литературы и искусства в общественной жизни.

Михайловский, выступавший с требованием «честной и смелой литературы», писал: «Литература может в значительной степени сама убедить и общество, и правительство, что удовлетворение праздного любопытства не есть ее задача. Это очень нетрудно, ибо одна из существующих задач литературы состоит, напротив, в борьбе с праздным любопытством, куда бы оно ни было устремлено. Ученый, если он сообщает только сведения, хотя бы эти сведения ни на что не годились, художник, который дает только картинки, хотя бы эти картинки не имели никакого содержания, удовлетворяют праздному любопытству и не только не исполняют задач литературы, но подлежат ее каре, как подлежит ее каре всякий другой гаер и фокусник».[132] Далее, говоря о недавней эпохе 1860-х годов («начале нынешнего царствования»), «когда формулы праздного любопытства „наука для науки“, „искусство для искусства“ подверглись беспощадному бичеванию и были почти изгнаны дружными усилиями литературы», Михайловский отмечал, «что литература пользовалась тогда уважением, что к ее голосу прислушивались во всех концах России, что люди стремились сообразоваться с ее указаниями и в частной жизни и в общественной деятельности».[133] Утверждая, что тенденция не только не мешает художественности, а, напротив (если эта тенденция связана со служением общенародному делу, а не делу группы или кружка), помогает созданию подлинных произведений искусства, Михайловский в качестве примера тенденциозных, но в то же время и высокохудожественных произведений называет «Песню о рубашке» Т. Гуда и «Муму» Тургенева. Достоевский, вступая в полемику с Михайловским, иначе оценивает роль прямой тенденции, хотя и не отрицает ее значения: «Поверит ли один милый критик, которого я недавно читал, но которого называть теперь не хочу, — поверит ли он, что всякое художественное произведение без предвзятого направления,

исполненное единственно из художнической потребности, и даже на сюжет совсем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь „направительное“, — поверит ли этот критик, что такое произведение окажется гораздо полезнее для его же целей, чем, например, все песни о рубашке (не Гуда, а наших писателей), хотя бы с виду и походило на то, что называют „удовлетворением праздного любопытства“?»

В записной тетради 1872–1875 гг., среди записей, связанных с «Гражданином», есть и относящиеся, вероятно, к периоду работы над статьей «По поводу выставки». Особенно важна следующая запись: «Заняться формой <…> А между тем это гуманный глубок<ий> вопрос, так что не все эстетические вопросы суть вопросы праздного любопытства. В этом смысле какая великая вещь искусство?» (XXI, 255) обращаясь к статье Н. К. Михайловского, Достоевский утверждает, что вопрос формы, то, что Михайловский называет «удовлетворением праздного любопытства», на самом деле вопрос «глубокий» и «гуманный», а искусство «в этом смысле» «великая вещь». Другая запись того же времени поясняет высказанную Достоевским мысль: «Искусство дает формы выжитому чувству или пророчит, когда чувство еще не пережито, а только начинает загораться в народе» (Там же). Сходная идея еще раньше нашла отражение в суждениях о Шекспире в записной тетради 1870–1871 гг. (см.: XI, 237).

Достоевский как раз и спорит в данной статье с Михайловским о том, гарантирует ли правильно выбранное направление художественность, или наоборот — художественность, ее верное понимание, обусловливает также и верный выбор направления. Писатель убежден, что если перед нами действительное произведение искусства, а не подделка под него, то оно непременно отражает правду жизни, те «концы и начала», которые могут быть скрыты от обычного взора рядового наблюдателя.

Снова возвращаясь к этой мысли, Достоевский записал в начале 1876 г: «Талант и при направлении необходим <…> Мне ответят <…>: что станете вы делать с художественным произведением, в котором нет направления и верной мысли? На это я отвечу, что в истинно художественном произведении, хотя бы оно толковало о других мирах, не может не быть истинного направления и верной мысли» (XXIV, 145).

Фактически Достоевский в своих эстетических оценках произведений того или иного художника исходил из степени близости

взглядов этого художника своей собственной общественной позиции. Так, поэма Некрасова «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая» и «Княгиня М. Н. Волконская») подвергается Достоевским критике не только из-за чисто художественных расхождений с Некрасовым, но и из-за того, что отношение к женам декабристов, последовавшим за своими мужьями в Сибирь, у Достоевского было иным, чем у Некрасова. В статье «Старые люди», рассказывая о встрече в Тобольске с этими «великими страдалицами», Достоевский писал так: «Они бросили всё: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем неповинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли всё, что перенесли их осужденные мужья» (С. 14).

Достоевский осмыслял подвиг декабристок как подвиг христианского великодушного смирения и стойкости. Некрасов же акцентировал его революционное, гражданское начало.[134]

Разбирая произведения русской живописи, Достоевский прибегает также к скрытой полемике с обозревателем газеты «Голос» Л. К. Панютиным, писавшим под псевдонимом Нил Адмирари, которого не называет в своей статье и которому уделяет значительно меньше внимания, чем Михайловскому. В 65 № «Голоса» (4 марта 1873 г.) была напечатана большая статья Панютина «По поводу выставки в Академии художеств». Интересно, что оценки рассматриваемых Достоевским картин прямо противоположны оценкам обозревателя «Голоса» (картины Бронникова, Грузинского — см. ниже).[135]

Сочувственно оценивая произведения жанровой живописи и критически относясь к картинам историческим, Достоевский выступает как художник, «одержимый тоской по текущему» (см.: наст. изд. Т. 8. С. 692), ратующий в то же время за внесение в актуальные, злободневные темы высокого, одухотворяющего «идеала», так как «идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность» (С. 90.).

X
Ряженый

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 30

апр. № 18. С. 533–538) с подписью: Ф. Достоевский.

В статье «Смятенный вид» Достоевский выступил с упреками по адресу Н. С. Лескова, признав его рассказ «Запечатленный ангел» «в некоторых подробностях почти неправдоподобным» (см. выше, С. 68). Оскорбленный Лесков опубликовал в апреле 1873 г. в газете «Русский мир» под разными псевдонимами («Псаломщик» и «Свящ. П. Касторский») две заметки, общий смысл которых сводился к тому, что автор «Дневника писателя» недостаточно знаком с историко-церковными вопросами и бытом русского духовенства, чтобы судить о них со знанием дела. Ответом на обе эти «ругательные», по определению Достоевского, заметки и явилась данная статья «Дневника».

В полемике с Лесковым писатель сформулировал ряд пунктов своей творческой программы, принципиально важных, для понимания общего направления его работы над языком и стилем, отличного от направления литературно-художественных исканий Мельникова-Печерского, Лескова и других, близких к ним писателей-реалистов 1870-х годов, которые решали задачу воссоздания народности посредством обращения к художественному «этнографизму», посредством передачи пестрого и затейливого узора русской простонародной речи.

Сложность личных и творческих отношений Достоевского и Лескова сказывалась на протяжении всего их творческого пути. Впервые творчество Лескова привлекло внимание Достоевского в начале 1860-х годов. В «Эпохе» (1865. № 1) Лесков напечатал повесть «Леди Макбет Мценского уезда».[136] По свидетельству Лескова (в письме к Д. А. Линеву от 5 марта 1888 г.), повесть была сочувственно поддержана Достоевским.[137] Однако намерение Лескова печататься в «Эпохе» и впредь[138] не осуществилось в связи с запрещением журнала.

Резкость и пристрастность взаимооценок обоих писателей стала очевидной с конца 1860-х годов. К 1869 г. относится язвительное замечание Лескова о романе Достоевского «Идиот».[139] К этому же году — его обстоятельное суждение об этом романе,[140] свидетельствующее об оценке Лесковым творчества Достоевского с позиций преимущественно социально-бытового реализма. Полемичность восприятия писателями друг друга ощутима и в их

письмах начала 1870-х годов.[141] В 1873 г. Достоевский — как редактор «Гражданина» — возвращает Лескову рукопись «Очарованного странника», присланную для публикации по предложению В. П. Мещерского.[142] Годом позднее, во время работы над романом «Подросток» (и в период печатания романа Лескова «Захудалый род»), Достоевский пишет эпиграмму на Лескова (см.: XVII, 23, 452–453, а также ниже, С. 349).

После 1873 г. отношение Лескова к Достоевскому определялось во многом его восприятием Л. Н. Толстого как своей «святыни на земле».[143] Прочитав отзыв об «Анне Карениной» в «Дневнике писателя» за 1877 г., Лесков обратился к Достоевскому с письмом, содержавшим восторженную оценку его анализа романа Толстого.[144] Выход в свет книги К. Н. Леонтьева «Наши новые христиане Ф. М. Достоевский и граф Лев Толстой» (М., 1882) — уже после смерти автора «Братьев Карамазовых» — побуждает Лескова выступить в защиту Достоевского.[145] При этом, однако, ярко обнаруживается его пристрастность к оценке «богословского образования» Достоевского. «Пишущий эти строки, — замечает Лесков, — знал лично Ф. М. Достоевского и имел неоднократно поводы заключать, что этому даровитейшему человеку, страстно любившему касаться вопросов веры, в значительной степени недоставало начитанности в духовной литературе, с которою он начал свое знакомство в довольно поздние годы жизни и по кипучей страстности своих симпатий не находил в себе спокойствия для внимательного и беспристрастного ее изучения. Совсем иное в этом отношении представляет благочестиво настроенный и философски свободный ум графа Л. Н. Толстого, в произведениях которого — как напечатанных, так еще ярче в не напечатанных, а известных только в рукописях, — везде видна большая и основательная начитанность и глубокая вдумчивость».[146] К 1886 г. относится статья Лескова «О куфельном мужике и проч. Заметки по поводу некоторых отзывов о Л. Толстом»,[147] написанная в связи с появлением повести «Смерть Ивана Ильича». В этой статье Лесков говорит о Достоевском как о «родоначальнике» темы народа, взятой в аспекте духовного возрождения России, но вместе с тем стремится показать, что толстовское «знание и понимание» народа было значительно глубже, нежели «мистическое народничество» Достоевского.[148]

Субъективизм, свойственный восприятию Лесковым идейно-эстетической программы Достоевского, с особой выразительностью проявился в его полемических (псевдонимных) заметках 1873 г. Описание Достоевским сюжета картины В. Е. Маковского «Придворные псаломщики на клиросе» (см. выше, С. 86–87) и публикация в «Гражданине» рассказа М. А. Недолина «Дьячок» (1873. 16 апр. № 15–16) стали поводом для выступления Лескова против Достоевского. Упрекая писателя в незнании церковного быта и культуры духовной среды, Лесков одновременно оспорил некоторые эстетические принципы Достоевского.

Свою полемику с Лесковым Достоевский строит на противопоставлении «высшего реализма» (изображающего «неисследимые глубины духа и характера человеческого») и конкретно-бытового типизма, стремление которого к внешней «характерности» и «эссенциозности» препятствует психологической глубине изображения. Достоевский вскрывает стилевой разнобой в заметке мнимого священника Касторского, обусловленный совмещением в ней разных задач — дискредитировать Недолина и Достоевского и возвеличить Лескова. Умение показать эти стилистические противоречия позволило Достоевскому открыть под разными псевдонимами — «Псаломщика» и «Свящ. П. Касторского» — одного и того же автора, Н. С. Лескова.

Отголоском полемики с Лесковым 1873 г. можно считать ироническую заметку в записной тетради Достоевского 1880–1881 гг.: «Лесков — специалист и эксперт в православии» (XXVII, 46).

XI
Мечты и грезы

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 21 мая. № 21. С. 606–608) с подписью: Ф. Достоевский.

Замысел статьи относится к январю 1873 г. Черновой автограф, значительно отличающийся от окончательного текста, содержит реалии, извлеченные из публикации отчета о процессе С. Г. Нечаева.[149] В автографе зафиксирован также ряд фактов, подсказанных «Общей государственной росписью доходов и расходов на 1873 год»[150] и

последующим ее обсуждением в петербургской периодике. В нем присутствует мотив, вошедший затем в «Бобок» (сентенция об удивлении).

В становлении замысла статьи определенную роль сыграла шестая часть работы А. Н. Пыпина «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. Исторические очерки»,[151] где давался критический анализ теории славянофилов. Привлекли внимание Достоевского в этот период, по всей вероятности, и книга А. Стронина «Политика как наука» (СПб., 1872), в которой была предпринята попытка изучения экономических и политических систем «великих» держав и держав «средних» и «малых»,[152] а также суждения об этой книге В. Д. Спасовича и разбор последних Н. К. Михайловским, резко отрицательно отнесшимся к мысли Стронина о «всемирной завоевательной миссии» России.[153] Спасович, со своей стороны, определял стронинскую концепцию будущего России как «милые *грезы*» (курсив наш. — *Ред.*), которые «искренне жаль разрушать».[154] В связи с этим Н. К. Михайловский иронически замечал: «Почему путешествие к Атлантическому океану „с бубнами и литаврами“ есть милая *греза*, которую искренно жаль разрушить <…> недоумеваю».[155] Внимание «Гражданина» к работе Сгронина и полемике вокруг нее дает возможность предположить, что Достоевский, излагая собственные представления о будущем России, ввел понятие грезы (как и понятие мечты) в название статьи с полемической целью[156].

Вопрос об исторической миссии России рассматривается в окончательном тексте статьи «Мечты и грезы» в связи с «внутренними» задачами страны — задачами объединения интеллигенции («лучших людей») и теснейшего контакта ее с народом. Комментируемая статья, таким образом, является свидетельством определенных сдвигов в системе «почвенничества» Достоевского: если в 1860-х годах единственный источник обновления русской общественной жизни писатель видел в народе, то в начале 1870-х годов, в условиях краха старых устоев, в период «всеобщего разложения» (в том числе и в народе) он был вынужден признать роль интеллигенции.[157]

XII
По поводу новой драмы

Впервые напечатано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 18 июня № 25. С. 705–706) с подписью: Ф. Достоевский.

Как большинство других фельетонов «Дневника писателя» 1873 г. статья «По поводу новой драмы» писалась в последние дни перед сдачей номера. 14 июня 1873 г. Достоевский замечал о ней в письме к жене: «Теперь 9 часов вечера, а я еще и не начинал большую статью, которая завтра должна быть сдана».

Статья посвящена разбору драмы Д. Д. Кишенского «Пить до дна не видать добра», опубликованной в «Гражданине» (1873 4 июня. № 23. С. 663–669; 11 июня № 24. С. 683–687, 18 июня № 25 С. 707–716).

Дмитрий Дмитриевич Кишенский — драматург и публицист. Некоторые данные о Кишенском содержатся в сохранившихся письмах его к Достоевскому. Он был автором комедии из крестьянской жизни «Кормильцы Саврасушки», шедшей на сцене народного театра в Москве. Для этого же театра написана и драма «Пить до дна — не видать добра», которая получила премию на конкурсе, но была тем не менее запрещена цензурой к постановке на сцене. Об этом Кишенский рассказывает Достоевскому в письме от 23 июня 1873 г.[158] После сотрудничества в «Гражданине» Кишенский издавал «Журнал для всех» (1875, 1878) Как сообщает И. Л. Щеглов, по слухам, Кишенский спился и покончил жизнь самоубийством.[159]

Драма «Пить до дна — не видать добра» привлекла Достоевского как опыт народной драмы, посвященной проблеме пореформенной деревни, ее нравственному распаду, росту пьянства и разврата в народной жизни. Темы эти многократно поднимались на страницах «Гражданина» начиная с 1872 г. В 1873 г. в № 3 (от 15 января) опубликована статья «Общество для противодействия чрезмерному распространению пьянства», подписанная «Н»; в № 15–16 (от 16 апреля) в разделе «Областное обозрение» помещен ряд материалов из губернских газет о пьянстве в деревне; в № 20 (от 14 мая) — статья «Что может спасти Россию от повального пьянства?», подписанная «***», в № 34 (от 20 августа) — заметка-размышление «Утешительно или не утешительно? (По поводу изменений в питейном уставе)», принадлежащая, видимо, тому же автору; в № 24 (от 18 июня) — заметка Достоевского «Пожар в селе Измайлове» (см. выше, С. 166–169); в № 27 (от 2 июля) в разделе «Письма вольнодумца» — сообщено

о росте числа кабаков после отмены крепостного права.

Другая тема драмы — изображение разлагающейся крестьянской общины, обнаружение того, что крестьянская сходка, «мир», фактически не играет никакой роли в деревне, ибо в условиях имущественного расслоения и морального вырождения она потеряла нравственный авторитет и утратила реальную власть. В отличие от Герцена и народников 1870-х годов Достоевский не видел в крестьянской общине готовой экономической основы для трудового социалистического землеустройства. Он с болью писал о надвигающейся гибели старых устоев, но верил, подобно многим народникам, что экономические и социальные изменения в деревне не повлияют на целостность народного характера и на его способность к нравственному возрождению (ср. статью «Влас» С. 48–49). В статье «По поводу новой драмы» писатель сосредоточился на анализе темных сторон народной жизни. Изображением их его привлекла драма Кишенского.

Разбирая ее, Достоевский высказал ряд соображений также и по вопросам реализма, художественной типизации. Многое с этой точки зрения не принималось им в «Пить до дна — не видать добра». Отмечая недостатки главного положительного героя драмы — Ивана, Достоевский в духе своей эстетической программы замечает: «Нам кажется, что мало еще выставить верно все данные свойства лица; надо решительно осветить его собственным художническим взглядом» (С. 115). Разбирая пьесу Кишенского, Достоевский отмечает не раз проявившееся в ней нарушение такта и меры, которое сказалось и в натуралистическом языке, и в слишком поверхностном, наивном объяснении причин бедственного положения народа, и в апелляции к добродетельным и справедливым людям из «верхов». В конце драмы на сцене появляется хозяин фабрики, Савелий Кузьмич. Узнав, что сын его обесчестил Машу и разрушил ее и Иваново счастье, старик грозится отдать сына в солдаты и произносит такой монолог: «Ведь тебя, собаку, утопить в тех слезах, што через тебя прольются! ты над народом потешаться! честь девичью губить? да ты кто? Дед твой землю ведь пахал, а я-то в подпасках был! Через ково мы в люди-то попали? ведь их кровью да трудами!»[160]

Кишенский в письме к Достоевскому от 23 июня 1873 г. объяснял введение этого персонажа лишь уступкой цензуре: «Этим

добродетельным старцем я хотел закупить цензуру, выставив в нем доброго купца, не забывающегося перед народом, то есть такого купца, какого на свете нет <…> Вычеркнуть этого старца, которого не выношу я, как диссонанс, портящий всю пьесу, при первом печатании драмы я не имел права, потому что она получила награду с этим старцем».[161] Свое «объяснение» Кишенский просил поместить в «Гражданине», но Достоевский этого не сделал.

Отношения Достоевского с Кишенским имели продолжение. В № 34 (от 20 августа) «Гражданина» за 1873 г. был напечатан пролог к драме Кишенского «Падение». Но редакторская правка, которую произвел Достоевский, а также отказ его печатать другие произведения ретроградно мыслившего и отличавшегося крайним самомнением Кишенского привели к разрыву между ним и редактором «Гражданина» (см. письмо Достоевского Кишенскому от 5 сентября 1873 г. (XXIX, кн. 1. С. 300–302).

Статья «По поводу новой драмы» вызвала ряд критических откликов. 12 июля 1873 г. Кишенский сообщил Достоевскому: «За Ваш отзыв о „Пить до дна“ Вас и меня вместе обругал какой-то в „Голосе“ в № 170. Всего лучше, что фельетонная шавка не читала драмы, говорит: „действие на фабрике в Москве“ и пр. Потешные!»[162] Действительно, в указанном номере «Голоса» (от 24 июня 1873 г.) под рубрикой «Литературные и общественные курьезы» был без подписи напечатан фельетон «Новое отношение редактора к сотруднику», где разбиралась статья Достоевского о драме Кишенского. Постоянно полемизировавший с «Гражданином» «Голос» обвинял Достоевского в том, что он похвалил драму, им же напечатанную в своей газете. «Радуюсь той искренности, — писал фельетонист «Голоса» (им был, по-видимому, А. Г. Ковнер, см. о нем С. 311), — с какою г-н Достоевский расписывается на десяти страницах и расхваливает своего же сотрудника».

К статье «По поводу новой драмы» тот же фельетонист вернулся в очередном разделе «Литературные и общественные курьезы», опубликованном в № 185 «Голоса» от 6 июля 1873 г. Полемизируя с редактором «Гражданина» по поводу статей о женском вопросе, он вспомнил «Дневник писателя» и повторил прежние обвинения: «Такое прекраснодушие, как у г-на Достоевского, редко встречается у других смертных. Во всем-то он один прав, а вся остальная журналистика,

которая с замечательным единодушием сторонится от „Гражданина“, „сама не знает, чего желает“. Утверждает ли он, что присяжные слишком снисходительны, все должны ему верить, утверждает ли он, что каторга желательна самим преступникам, — все опять должны ему верить; уверяет ли он, что г-н Страхов стоит „в высотах и глубинах европейской мысли *и неизмеримо высоко* над современным состоянием нашей интеллигенции“, — все должны молча преклоняться перед г-ном Страховым; говорит ли он диктаторски, что серьезней комедии г-на Каменского (так! — *Ред.*), печатавшейся в „Гражданине“, „ничего, по крайней мере, не появилось в нашей литературе за последнее и, может быть, довольно длинное время“, — все опять должны ему верить на слово…».

9 июля 1873 г. «Гражданин» в разделе «Из текущей жизни» поместил ответ «Голосу» Редактору газеты А. А. Краевскому, который был не назван, напоминалось здесь его журналистское прошлое. Будучи редактором «Отечественных записок», он одновременно печатал и произведения «нынешнего редактора „Гражданина“ и восторженные рецензии Белинского об этих произведениях. Тогда никому не казалось это литературным курьезом».[163]

XIII
Маленькие картинки

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 16 июля. № 29. С. 806–809) с подписью: Ф. Достоевский.

О работе над данной статьей «Дневника писателя» Достоевский 10 июля 1873 г. писал жене: «Я сижу и просто в отчаянии. А между тем надо непременно писать статью» (см.: XXIX, кн. 1, 276). В следующем письме от 12 июля он продолжал: «Пишу обычную проклятую статью. Надо написать к завтраму утру, к 8 часам, 450 строк, а у меня написано всего 150» (см.: XXIX, кн. 1, 277–278). Таким образом, работа над статьей «Маленькие картинки» была закончена 15 июля, накануне ее выхода в свет.

В следующей статье «Дневника» — «Учителю» — автокомментарии к «Маленьким картинкам» — вскрывается их

полемическая связь с обозрением А. С. Суворина «Недельные очерки и картинки»,[164] представлявшим собой отклик на «Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности в России» (СПб., 1873).

В «Докладе» приводилось множество фактов, свидетельствовавших о нравственном разложении народа, и при этом ставилась под сомнение полезность проведения крестьянской реформы. Суворин, резко критиковавший доклад, замечал в своем обозрении: «…в показаниях некоторых лиц звучит довольно ясное желание показать, что при крепостном праве положение было лучше…». И тут же добавлял: «Неужели в самом деле нужно теперь кому-нибудь доказывать, что отмена крепостного права была великим благом?».[165] Сам Суворин во взгляде на народ был близок к западнической концепции А. Н. Пыпина (в его «Характеристиках литературных мнений…»), с которой Достоевский полемизировал в «Мечтах и грезах» (см. выше, С. 353–354).

Помимо обозрения Суворина, в становлении замысла статьи сыграли роль, по-видимому, и некоторые другие отклики на названный «Доклад», в частности полемика о нем между «Голосом» и «Русским миром».[166] Внимание Достоевского могла привлечь и статья Е. Л. Маркова «Всесословная вялость. Мысли по поводу русской всесословной вялости».[167] «Охранительная» позиция Маркова обнаруживалась в статье столь явно, что сторонник контрреформ «Русский мир» (1873. 23 мая. № 132) признал статью «своей». Марков писал·«Для меня нет никакого сомнения в том, что даже накануне смерти крепостного права народ вообще относился к нему без скептицизма и протеста <…> Он признавал право господ на большее и на лучшее, признавал их право безделия и власти…».[168]

Полемизируя и с консервативной, и с либеральной печатью, Достоевский выступает в период «всеобщего разложения» с защитой духовного потенциала русского народа. Рассматривая народ как главный источник общественного обновления, писатель связывает многочисленные факты «нравственного падения» в народной среде с последствиями двухсотлетнего его порабощения со времен Петра, приведшими, с точки зрения Достоевского, к полному разрыву между народом и дворянством.

«Маленькие картинки» — одно из многих произведений Достоевского, посвященных теме Петербурга. Тема эта в ее связи с исторической оценкой нового периода русской истории нашла в русской литературе разностороннее философско-историческое отражение уже в 1830-1840-х годах. Сложную эволюцию она претерпела в творчестве Достоевского.[169] Если в 1840-е годы изображение Петербурга было связано у писателя с глубокой верой в «современный момент и идею настоящего момента» (см.: XVIII, 26), то с начала 1860-х годов тема эта окрашивается у Достоевского в трагические тона («Униженные и оскорбленные» — 1861; «Записки из подполья» — 1864; «Преступление и наказание» — 1866). Размышления писателя о бесхарактерности архитектуры Петербурга, о смешении в нем архитектурных стилей, изложенные в комментируемой статье, прямо противоположны суждениям об архитектуре русской столицы в третьем фельетоне «Петербургской летописи» (см.: XVIII, 24–26).[170]

Близкая к фельетонному жанру,[171] комментируемая статья тем не менее отличается от фельетонов Достоевского 1840-х годов образом повествователя. Повествование в «Маленьких картинках» композиционно объединяется образом самого автора в отличие от «Петербугской летописи» с ее фланером-мечтателем. В этом плане структуру статьи предваряют «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (1861), где тема «мечтательства» включается в повествование как тема дорогих автору воспоминаний, столь важных для формирования его мировосприятия (см.: наст. изд. Т. 3. С. 560).

Совпадающее с заглавием данной статьи название «Маленькие картинки» имеют путевые заметки Достоевского 1874 г.

XIV
Учителю

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 6 авг. № 32. С. 877–879).

Поводом для написания статьи «Учителю» явилось появление в газете «Голос» (1873. 31 июля. № 210) цитируемого Достоевским фельетона «Московские заметки» (без подписи), автор которого счел

«мелочной» и «неэтичной» тему «картинки № 2», предназначенной якобы для «гостинодворцев». В своем ответе «Голосу» Достоевский доказывает важность проблематики статьи «Маленькие картинки».

XV
Нечто о вранье

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 27 авг. № 35. С. 955–958) с подписью: Ф. Достоевский.

Объединение интеллигенции («лучших людей»), сближение ее с народом Достоевский эпохи «Гражданина» считал важнейшими задачами исторического момента. В данной статье от общей их формулировки писатель переходит к более конкретным вопросам, в том числе — к вопросу о негативных психологических результатах послепетровского периода в истории русского дворянства, иначе говоря, о таких следствиях ложно понятых самоутверждения и самовыявления, как «слепое преклонение перед Западом», «самоотрицание», «неуважение к самим себе».

Социальная психология дворянства исследуется Достоевским в связи с проблемой «отцов и детей». Разработка указанных тем была продолжена в статье 1874 г. «Маленькие картинки» (см. выше) и в «Дневнике писателя» за 1876 г. (июль-август, гл. I, § 1, «Выезд за границу. Нечто о русских в вагонах»). Свою художественную реализацию эта проблематика нашла в романе «Подросток».

XVI
Одна из современных фальшей

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 10 дек. № 50. С. 1349–1353) с подписью: Ф.Достоевский.

Еще в 1872 г. Достоевский задумывал предисловие к отдельному изданию «Бесов» (см.: XI, 303), так и оставшееся ненаписанным. Позднее, став редактором «Гражданина», он хотел напечатать в нем

послесловие к этому роману — свой «Ответ критикам» (там же. С. 308). Заменой этих неосуществленных планов явилась глава «Одна из современных фальшей».

Непосредственным толчком, побудившим Достоевского осуществить свое давнее намерение, явился, по-видимому, арест участников кружка долгушинцев осенью 1873 г. Дело их, разбиравшееся одиннадцать месяцев, существенным образом повлияло на становление замысла романа «Подросток» (1875; см.: XVII, 277–278).

Проблема «молодого поколения» на протяжении всего 1873 г широко обсуждалась русской печатью. Способствовали этому процесс С. Г. Нечаева, состоявшийся в начале года в московском окружном суде,[172] публикация статей «раскаявшегося» участника студенческого движения 1860-х годов Е. К. Гижицкого,[173] ожесточенные споры вокруг романа «Бесы» (см.: XII, 267–272). В статье «Одна из современных фальшей» Достоевский вступает в диалог с различными направлениями русской общественно-литературной мысли: от консервативной («Русский мир», «Русский вестник») и либеральной («Вестник Европы») до революционно-демократической («Отечественные записки»).

Избрав в качестве объекта прямой полемики статью сотрудника «Русского мира», который доказывал, что русское общество духовно «здорово», едино и что революционные идеи могут привлекать в нем только отдельных «недоразвитков», Достоевский воспользовался полемикой с этой газетой, с одной стороны, для автокомментария к «Бесам», разъясняющего общественное значение романа, как его понимал автор, а с другой — для изложения своего взгляда на современное общественное движение и его исторические корни.

Напомнив читателям о том, что он бывший петрашевец, стоявший за свои убеждения на эшафоте, Достоевский в противовес «Русскому миру» подчеркнул, что освободительные идеи исторически закономерно привлекали к себе в России с 1840-х до 1870-х годов умы и сердца не худшей, а лучшей части молодежи. И более того. Достоевский признал, что при определенных условиях он сам, при всей чистоте социалистических убеждений своей молодости, от которых ни он, ни его товарищи не отказались после осуждения, мог сделаться нечаевцем. К оценке дела петрашевцев и уроков, вытекающих из него, Достоевский вернулся в запрещенной цензурой главе «Дневника писателя» за 1877 г.

«Старина о „Петрашевцах“».

В связи с книгой Р. А. Фадеева «Русское общество в настоящем и будущем (Чем нам быть?)» (СПб., 1874) в августе 1875 г. Достоевский заметил: «Ростислав Фадеев и Фурье. Нет, я за Фурье… Я даже отчасти потерпел за Фурье наказание… и давно отказался от Фурье, но я все-таки заступлюсь. Мне жалко, что генерал-мыслитель трактует бедного социалиста столь свысока. То есть все-то эти ученые и юноши, все-то эти веровавшие в Фурье, все такие дураки, что стоило бы им прийти только к Ростиславу Фадееву, чтоб тотчас поумнеть. Верно, тут что-нибудь другое, или Фурье и его последователи не до такой степени все сплошь дураки, или генерал-мыслитель уж слишком умен. Вероятнее, что первое». (XXI, 265). Основная мысль этой позднейшей записи созвучна идее данной статьи.

Взгляд Достоевского на молодое поколение начала 1870-х годов разошелся с мнением М.Е.Салтыкова-Щедрина, изложенным в первом очерке «Недоконченных бесед» («Между делом»).[174] «Молодое поколение» определяется здесь как носитель обновляющего начала, «двигательная сила» общества, в сферу деятельности которой входят вопросы, «составляющие содержание истории». С болью и горечью говоря об отсутствии настоящего молодого поколения в начале 1870-х годов, подлинной смены поколению революционеров-шестидесятников, скошенных реакцией 1862–1866 гг., Щедрин тем не менее подчеркивает необратимость поступательного характера освободительного движения, утверждает преемственность идей и поколений.

Вопрос о синтезе русской мысли — один из центральных в «Дневнике писателя» за 1873 г. — исследован в статье, заключающей «Дневник», с наибольшей полнотой.[175] Здесь затрагивается проблематика почти всех предыдущих статей, высвечиваются важнейшие сквозные темы, объединяющие замысел продолженного впоследствии периодического издания: историческое значение России, Восток и Запад, взаимоотношение личности и общества, народа и интеллигенции в настоящем и будущем строе человечества, социализм утопический (теоретический) и социализм политический (практический), социализм и атеизм, «среда», «отцы и дети», «старые люди», молодое поколение. Намечаются также многие существенные мотивы, реализованные позднее в художественном творчестве Достоевского («Подросток», «Братья Карамазовы»).

В течение 1873 г. Достоевский неоднократно вспоминал «поразившее» его суждение Михайловского о второй статье «Дневника писателя» за 1873 г. («Старые люди») и о романе «Бесы» в «Отечественных записках» (см. выше, С. 326). Касаясь этой темы в черновом автографе статьи «Полписьма „одного лица“», Достоевский писал: «Насчет же г-на Н. М. (Михайловского. — *Ред.*) в „Отечественных записках“, то ему отвечу единственно за не виданную еще мною в литературе пламенную и детскую (по чистоте) его искренность, с помощью которо<й> он изобрел „Народ“ и желает обновить весь русский мир новым и неслыханным мною доселе „консервативным социализмом“». И тут же добавлял, поясняя: «…если и буду когда-нибудь отвечать, то намерен ответить вовсе не прямо на тему, то есть не в защиту моего романа „Бесы“, а изложу лишь несколько мыслей о наших русских социалистических идеях и о том, как я это разумею» (XXI, 306). Этот замысел получил осуществление в данной статье в качестве одного из многих элементов ее идейного подтекста.[176]

Наши монастыри
(Журнал «Беседа» 1872 г.)

Впервые опубликовано к газете-журнале «Гражданин» (1873. 23 янв. № 4. С. 124–125) без подписи.

Заседание общества любителей духовного просвещения 28 марта

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. № 14 С. 433–434) с подписью: Ф.Д.

Авторство Достоевского, помимо подписи «Ф. Д.», подтверждается следующими данными: 1) включением статьи, как принадлежащей писателю, в библиографический указатель А. Г. Достоевской (см.: *Достоевская А. Г.* Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского. СПб., 1906. С. 43); 2) письмом Т. И.Филиппова к Достоевскому от 30 марта 1873 г. (см.: Литературное наследство. М., 1934. Т. 15. С. 150–151), в котором в тезисной форме изложено содержание предполагаемого отчета о заседании Общества 28 марта и которое несомненно послужило Достоевскому источником для написания статьи; 3) заметкой «От редакции» (Гражданин. 1873. 30 апр. № 18) — см. ниже.

Пожар в селе измайлове

Впервые опубликовано к газете-журнале «Гражданин» (1873. 11 июня № 24. С. 694–695) без подписи.

Стена на стену

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 11 июня. № 24. С. 695–696) без подписи.

Заглавие статьи было навеяно корреспонденцией, помещенной в № 145 «Русского мира» от 6 июня 1873 г. (раздел «Известия из разных мест»): «…из-под Москвы сообщают о нескольких случаях несчастной смерти <…> близ деревни Свистухи в Духов день была стенка, или кулачный бой, работающих на торфяном болоте, причем был убит один рабочий». Достоевский упоминает об этой корреспонденции в статье «Пожар в селе Измайлове» (см. выше).

История о. Нила

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 11 июня. № 24. С. 696–698) без подписи.

Две заметки редактора

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 2 июля. № 27. С. 762–764) с подписью: Ред.

Принадлежность статьи Достоевскому, устанавливаемая на основании ее заглавия, содержания и стиля, подтверждается тем, что в оглавлении «Гражданина» за 1873 г. она включена в состав «Дневника писателя», а затем перепечатана А. Г. Достоевской в собрании сочинений Достоевского.

Попрошайка

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1873. 24 сент. № 39. С. 1057–1058).

По стилистическим признакам рассказ был приписан Достоевскому В. В. Виноградовым.[177] Стилистические наблюдения Виноградова могут быть расширены. Очевидно присутствие в рассказе ряда ярко индивидуальных выражений, характерных для стиля Достоевского, например «на взаимной ноге», «сочините себе такое лицо», «я слишком видел», «вскочил точно даже в каком-то восторге». Ощутим стилистический почерк Достоевского и в других словосочетаниях — причем как в речи героя, так и в повествовании от автора.

Не менее типичны для Достоевского герой-рассказчик и психологическая ситуация произведения. С. должен быть отнесен к многочисленной в творчестве Достоевского, начиная с «Ползункова», когорте приживальщиков. Так именно героя, по его собственному признанию, и оценивал генерал NN: «Он очень знает теперь, что я вовсе не то что какой-нибудь приживальщик, или там какой-нибудь pique-assiette, как, кажется, полагал обо мне прежде, еще два года назад». С., следовательно, приживальщик хорошего «тона», очень заботящийся о том, чтобы его не считали нахлебником, и в то же время сознающий, что именно за такового его и принимают, особенно в первые годы знакомства, «в кругах несколько высших его собственного общественного положения», где он знаменит искусством «отлично выпрашивать» и заслужил репутацию хорошего партнера за карточным столиком.

«Прием», которым столь дорожит и гордится С., — психологический. Он рассчитан на эффект внезапности, неожиданности («вдруг») и основан на хорошем знании характера и привычек генерала и специфических светски-картежных отношениях с ним «попрошайки», знающего, что он для генерала человек нужный и что через два года станет даже необходимым ему. Разговор С. и генерала — своего рода игра, невинная и рискованная одновременно, частично напоминающая словесные истязания в «Селе Степанчикове и его обитателях», «Вечном муже». С. — «мастер» тянуть жилы, точно знающий, когда именно

нужно такого рода мучительную игру прекратить. И он гордится своим искусством, испытывая особенное «эстетическое» чувство: «…видно было, что он сам чувствует особое удовлетворение. Это было удовольствие как бы мастера своего дела, только что победившего большую трудность». А следовательно, этот «мастер своего дела» менее всего преследует прагматические, утилитарные цели и психологически близок к таким «артистам» и «поэтам», как Фома Опискин, экзекуторы «Мертвого дома», Лебедев (разумеется, формы «артистизма», «мастерства» у всех них самые разнообразные, но все они равно «артисты»).

Запись о выплате гонораров за № 39 «Гражданина» 1873 г. свидетельствует о принадлежности Достоевскому двух статей, за которые он получил 22 р. 33 коп.[178]

Г. Ф. Коган, комментируя запись Достоевского, предположила, что гонорар был выплачен ему за статью «Иностранные события».[179] Но «Иностранные события» — лишь одна статья. Объем ее — 120 строк (не считая 111 — неоплачиваемых — строк телеграмм). Достоевский должен был получить за нее, исходя из установленного размера гонорара по 7 копеек за строчку, всего 8 р. 40 к.[180] Из других же материалов № 38 «Гражданина» только рассказ «Попрошайка» может принадлежать Достоевскому. Объем рассказа — 196 строчек, за что ему положено по той же таксе 13 р. 72 коп. Кроме того, в номере есть редакционное примечание (3 строчки). Общий объем трех публикаций равен 319 строчкам, что и дает приведенную выше цифру 22 р. 33 коп.

Однако В. В. Виноградовым было высказано предположение, что в том же номере «Гражданина» Достоевскому принадлежит, кроме «Попрошайки», статья «Привычки (из современного обозрения)».[181] Но, как видно из гонорарной ведомости, автором статьи «Привычки…» был А. У. Порецкий, а не Достоевский.

Маленькие картинки
(В дороге)

Впервые опубликовано в сборнике «Складчина: Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии» (СПб., 1874. С. 454–478) с подписью: Ф. Достоевский.

В 1873 г. в связи с голодом в Самарском крае в кругу петербургских литераторов возникла идея издания сборника в пользу пострадавших от неурожая. Она встретила поддержку на собрании писателей, которое состоялось 15 декабря 1873 г. на квартире В. П. Гаевского, видного деятеля Литературного фонда. На втором организационном собрании (всего их было три) был избран редакционный комитет, которому поручили издание и редактирование сборника. В него вошли И. А. Гончаров, А. А. Краевский, Н. А. Некрасов, А. В. Никитенко, П. Е. Ефремов (секретарь), В. П. Мещерский (казначей).

В обязанности Гончарова как редактора входили чтение и отбор рукописей и переписка с авторами. Сохранившиеся письма его в Комитет по изданию сборника, содержащие подробные отзывы о присланных произведениях, свидетельствуют о большой работе, проделанной Гончаровым в качестве редактора, цензора и рецензента. [182] Заметную роль сыграл Гончаров и в творческой истории «Маленьких картинок» Достоевского.

Достоевскому также было предложено принять участие в сборнике. В письме от 11 января 1874 г. на имя А. А. Краевского, председателя Комитета по изданию «Складчины», Достоевский обещал доставить свою статью «не ранее 1-го февраля — срока, определенного в заседании Общества литераторов для крайнего доставления статей». Достоевский выполнил свое обещание, представив Гончарову в начале февраля 1874 г. первую половину очерка «Маленькие картинки». Дальнейшая история публикации очерка выясняется из писем Гончарова к Достоевскому 1874 г. (ответы на них Достоевского не сохранились), чрезвычайно существенных, как не раз отмечалось, для

характеристики эстетических позиций обоих писателей.

В письме Гончарова от 11 февраля 1874 г. содержится подробный отзыв о присланной Достоевским первой половине очерка. «Вы, конечно, без моей критики очень хорошо знаете, — пишет Гончаров, — как своеобразны, умны и верны характеристические заметки о наших путешественниках, служащие интродукцией к Вашим „Маленьким картинкам“. Они одни могли бы сами по себе составить капитальное приношение в „Складчину“».[183] Особенно понравился Гончарову «тонкий и меткий» образ «приживальщика больших домов». Далее, перейдя к «скучной обязанности цензора», Гончаров высказывает опасение по поводу образа «священника-ухаря», который, по словам писателя, «очерчен так резко и зло, что впадает как будто в шарж, кажется неправдоподобен».[184] В ответ на возражение Достоевского (в не дошедшем до нас письме к Гончарову), что «зарождается такой тип» священника, Гончаров отстаивает свое представление о типе и типическом: «…если зарождается, то еще это не тип. Вам лучше меня известно, что тип слагается из долгих и многих повторений или наслоений явлений и лиц — где подобия тех и других учащаются в течение времени и, наконец, устанавливаются, застывают и делаются знакомыми наблюдателю. Творчество (я разумею творчество объективного художника, как Вы, например) может явиться только тогда, по моему мнению, когда жизнь установится, с новою, нарождающеюся жизнию оно не ладит: для нее нужны другого рода таланты, например Щедрина. Вы священника изображали уже не sine ira,[185] здесь художник уступил место публицисту»[186] Гончаров предлагает Достоевскому самому решить, основательны ли высказанные им цензурные опасения и как печатать очерк — «с попом» или без него.[187]

В письме от 14 февраля 1874 г. Гончаров продолжил свой спор с Достоевским о типе и типическом. Не отрицая возможности реального существования священника, подобного изображенному Достоевским, Гончаров, однако, замечает: «…его могут принять за шарж потому единственно, что он один зараз носит на себе все рубцы, которые нахлестал нигилизм, с одной стороны (он и курит непомерно, и чертей призывает, и хвалит гражданский брак), он же — с другой стороны — и франт, весь в брелоках, цепочках, опрыскан духами и напоминает французского модного *аббата* бурбоновских времен».

На замечение Достоевского, что этот образ «не шарж и не выдумка, а снят <…> с действительности, как фотография», Гончаров возражает: «…в этом именно и заключается причина, что из него не вышло <…> типа».[188]

Еще до написания своего второго письма к Достоевскому Гончаров 13 февраля 1874 г. представил первую половину «Маленьких картинок» в Комитет по изданию сборника «Складчина» с следующей сопроводительной характеристикой: «Это ряд маленьких очерков, умных, оригинальных, талантливых. Тут только одна половина Автор другую половину обещает прислать через два или три дня, в субботу».[189] После получения несохранившегося ответа Достоевского на второе свое письмо Гончаров 18 февраля 1874 г. сдал в Комитет вторую половину «Маленьких картинок», но без отрывка о священнике-нигилисте, явившемся причиной спора между писателями (рукопись эта дошла до нас лишь в виде отрывка белового автографа).

Договоренность об изъятии эпизода о священнике-нигилисте была достигнута в процессе переписки, о чем свидетельствует цитированное выше письмо Гончарова к Достоевскому от 14 февраля 1874 г. «Я исполнил, как Вы указали, — пишет здесь Гончаров Достоевскому, — то есть отобрал листки с девятнадцатого по двадцать шестой, именно с той строчки, которая начинается: „Однажды в июле“ и до конца — и оставил их у себя, чтобы вручить Вам при свидании, в надежде получить от Вас вторую половину — и обе вместе, если можно, в понедельник доставить в Комитет».[190]

Обращение к наборной рукописи дает возможность установить место изъятого Гончаровым отрывка. Согласно первоначальной нумерации, сделанной Достоевским, первая половина очерка занимала листы 1-26 рукописи и завершалась наброском о священнике. После изъятия листов 19–26 пришлось вычеркнуть семь последних строк на листе 18: «Главное, не знаешь — расхаживали по вагонам». (XXI, 342). Под ними рукою Гончарова написано: «Будет продолжение». На первой странице второй половины очерка рукою Гончарова написано: «Продолжение».

Сохранившийся отрывок белового автографа. (XXI, 313–314) соответствует листам 23–24 наборной рукописи по нумерации Достоевского; поскольку весь изъятый Гончаровым текст занимал листы 19–26 рукописи, очевидно, что ее листы 19–22 до нас не дошли.

Сохранившийся отрывок дает лишь некоторое представление об утраченных страницах, в частности о вызвавшем похвалу Гончарова образе учителя; отношение учителя к священнику своеобразно: не разделяя возмущения рассказчика нигилистическими привычками и манерами священника, учитель признает за ним право курить «из протеста» (курение не принято в духовной среде), проповедовать гражданский брак («что касается до этого, он был совершенно прав, потому что говорил истину <…> и это даже его первая и святая обязанность в его положении»), но неодобрительно относится к тому, что тот «поминает черта» («…если не можешь без черта, зачем шел в священники?») (XXI, 314).

Два дошедших до нас письма Достоевского к Гончарову связаны с позднейшими этапами истории публикации «Маленьких картинок». В письме от 7 марта 1874 г. Достоевский просит Гончарова прислать ему корректуру очерка. Очевидно, именно с этой просьбой связана запись, сделанная Гончаровым на первой странице наборной рукописи «Маленьких картинок»: «Корректуру к Федору Мих<айловичу> Достоевскому следует посылать — на углу Лиговки и Гусева переулка, в дом № 8 Сливчанского, квартира № 17» В письме, относящемся к 20-м числам марта 1874 г., Достоевский откликнулся на газетное объявление о скором выходе в свет сборника, где в списке участников было пропущено его имя.

Отрывок корректуры начала «Маленьких картинок» с незначительной правкой Достоевского не имеет каких-либо существенных отклонений от текста.

Сборник «Складчина» вышел из печати в конце марта 1874 г. В нем приняли участие 48 писателей различных направлений, сгруппировавшихся вокруг сборника «как на нейтральной почве, чтобы соединить общие свои усилия в одном бескорыстном желании помочь нуждающимся» (Складчина. С. 1). В их числе были Тургенев, Салтыков-Щедрин, Островский, Потехин, Плещеев, Горбунов, Апухтин, А. К. Толстой, Некрасов, Вейнберг, Боборыкин и некоторые другие.

Сборник вызвал сочувственные отклики в периодической печати. Так, анонимный автор большого фельетона «Литература и жизнь» в газете «Голос» охарактеризовал выход его в свет как «крупное литературное событие».[191] В числе других произведений, напечатанных в сборнике, сочувственно упомянут и очерк

Достоевского. «Г-н Достоевский, — замечает автор, — дал „Маленькие картинки (в дороге)“, так сказать, интимную беседу талантливого автора с читателем о путешествиях по железной дороге и на пароходах, а также и о пассажирах. В этих беседах есть очень остроумные замечания и меткая наблюдательность».

Рецензент отметил, что «за малыми исключениями сборник составлен хорошо, и читатели найдут в нем разнообразное чтение. Вообще связь литературы с жизнью, обнаружившаяся „Складчиной“ и вызванная голодом в Самарской губернии, доказала, как мне кажется, осязательно, что наши литературные силы еще велики и состояние современной литературы *могло бы быть* блестящим».

Положительный отзыв о «Складчине» появился также в «С.-Петербургских ведомостях». По мнению автора анонимной статьи «Новые книги»,[192] издание сборника «наглядно свидетельствует о том, что при всей розни, существующей в среде различных деятелей различных литературных партий, между ними обнаруживается солидарность в одном пункте — в сочувствии нуждам народа». Особое внимание рецензент уделил «Маленьким картинкам»: «Очерк г-на Достоевского „Маленькие картинки“ может служить блистательным примером того, как крупный талант даже из самого избитого и обыкновенного сюжета способен сделать интересную и яркую вещь. В „Маленьких картинках“ автор набрасывает эскизы дорожных впечатлений, сцен, разговоров, изображает физиономии публики, встречающейся на железной дороге, на пароходе. Что, кажется, может быть старее и невиннее такого сюжета: он заезжан всеми фельетонистами чуть ли не всех стран, веков и народов. А между тем какой интересный очерк вышел у г-на Достоевского, какие характерные „картинки“ сумел он нарисовать, какие типические образы российских дорожных спутников набросал он, как рельефно и ярко, несколькими, по-видимому, небрежно нарисованными фигурами, несколькими небрежно брошенными штрихами выразил он специальную российскую фальшь и мелкоту субъектов так называемого „хорошего общества“, на которых наталкиваешься в дороге. Право, так вот и кажется, что именно с такими спутниками не раз случалось вам путешествовать, именно такого рода „картинки“ вы видели, какие изображены у г-на Достоевского». Процитировав подробно диалог генерала и «милорда», рецензент замечает: «Не правда ли, эта мастерская „картинка“

нарисована с истинно диккенсовским юмором и так и бьет в глаза своей живостью; кажется невольно, когда-то, где-то видел и этого „хозяина области“, и милорда, и человечка „со второй ступеньки“, когда-то слышал их беседу. И в таком роде яркими, типическими картинками полон весь очерк г-на Достоевского».

В газете «Русский мир» были опубликованы две большие статьи, посвященные «Складчине». По мнению критика, «успех „Складчины“ вполне заслужен ею помимо даже благотворительной цели, просто в качестве литературного издания <…> в „Складчине“ красуются имена г-д Тургенева, Гончарова, Майкова, г-жи Кохановской; уже одних этих имен совершенно достаточно, чтобы самым законным образом возбудить интерес публики».[193]

В первой статье критик характеризует поэтические произведения сборника, во второй — прозаические. Среди последних он выделяет очерк Гончарова «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» и «Живые мощи» Тургенева. Довольно суровую оценку получил очерк Достоевского: «„Маленькие картинки“ Достоевского вышли бы, быть может, недурны, если бы автор отнесся к ним проще. На беду г-н Достоевский почему-то счел нужным облить их какой-то желчною кислотою, которая производит тем более неприятное впечатление, что настоящего сарказма, здорового юмора в „картинках“ нет вовсе, а есть только судорожное раздражение, неизвестно во имя чего на себя напущенное. Это раздражение заставляет автора подчас говорить совершенные небылицы, например, уверять, что, где бы ни сошлись русские образованные люди, первая мысль у них является: а не вышло бы как-нибудь у них драки! <…> Мы этого совсем не знали, да и теперь остаемся при убеждении, что есть такие образованные люди, которым и на ум не приходит предположение о драке». «Иное дело, — язвительно добавляет критик, — если г-н Достоевский разумеет тех образованных русских людей, которыми он наполняет свои романы; те действительно на каждом шагу сыплют друг другу пощечины, говорят вместо „здравствуйте“ и „до свидания“ — „подлец“ и „мерзавец“, врываются в частные квартиры пьяными бандами, кусают губернаторов за уши, хватают в клубе друга друга за нос и т. под. Но ведь нельзя же свои фантазии переносить на все образованное русское общество и уверять печатно, что в России люди не собираются без мысли о драке».[194]

Иронически откликнулась на выход в свет «Складчины» газета

«Новости». «Новый критик» (псевдоним И. А. Кущевского) в статье «Новости русской литературы» язвительно заметил, что «никаких партий в „Складчине“ не сходилось, что желание помочь народу вовсе никого не примирило, как того многие ожидали». По мнению критика, участвующие в сборнике «литературные генералы и штаб-офицеры уделили лепту из своих произведений по пословице: на тебе, Боже, что нам негоже». Сочувственно отозвался критик только о рассказе Тургенева «Живые мощи» и о стихотворении Некрасова. «Маленькие картинки» лишь упомянуты в перечне произведений, вошедших в сборник.

Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга

Впервые опубликовано в газете-журнале «Гражданин» (1878. 10 окт. № 23–25. С. 495–496) с подписью: Друг Кузьмы Пруткова.

Настоящий фельетон — последний опыт Достоевского-пародиста.

Тексту фельетона предшествовало следующее редакционное предисловие, написанное В. Ф. Пуцыковичем: «Во время трехмесячного перерыва мы в свое время, в июле месяце, получили за подписью „Друга Кузьмы Пруткова“ нижеследующий фельетон, настоящий смысл которого, признаться, для нас не совсем ясен; притом же мы несколько не верим рассказанному событию, тем более что и пруда на Елагином острову, по отзыву знатоков, не оказывается. Во всяком случае, мы не совсем понимаем, что сей сон значит, но, однако, помещаем его. Ред.»

Объяснения и показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев

Ф. М. Достоевский познакомился с М. В. Буташевичем-Петрашевским, по собственному свидетельству, весной 1846 г., а собрания («пятницы») у Петрашевского начал посещать с марта-апреля следующего года. Ко времени их встречи Петрашевский, как видно из показаний Достоевского Следственной комиссии, уже был знаком с его другом — поэтом А. Н. Плещеевым. Вероятно, Петрашевский успел прочесть незадолго перед тем появившихся «Бедных людей» и «Двойника»: по словам Достоевского, встретив его вместе с Плещеевым случайно в кондитерской и узнав от Плещеева, кто его собеседник, Петрашевский сам сделал первый шаг к знакомству с Достоевским и сразу же задал ему вопрос: «Какая идея вашей будущей повести?..».

Из материалов допроса Петрашевского явствует, что он считал талант Достоевского «не из маленьких в нашей литературе»[195]. Это, вероятно, побудило Петрашевского пригласить его участвовать в своих собраниях. Считая, что большие таланты «есть собственность общественная, достояние народное», и рассматривая литературу как важное средство пропаганды, Петрашевский стремился привлечь на свои собрания литераторов и возлагал на них обязанность «поселять свои идеи в публике»[196].

Посетив впервые одну из «пятниц» Петрашевского весной 1847 г., «около поста», Достоевский до второй половины года бывал у него раз в три-четыре месяца. Более регулярно он стал посещать собрания Петрашевского, к участию в которых привлек своего старшего брата М. М. Достоевского, зимой 1848/1849 г. Утром 23 апреля 1849 г. Достоевский, как и другие посетители «пятниц» Петрашевского, был арестован. Восемь месяцев он провел под следствием в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Признанный «одним из важнейших» среди привлеченных по делу петрашевцев, виновным «в умысле на ниспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка», он был приговорен к расстрелу. По определению генерал-аудиториата смертный приговор петрашевцев был заменен ссылкой на каторжные работы на разные сроки. Достоевский по

решению царя был сослан на каторгу на 4 года с лишением дворянства и определением после каторги на военную службу рядовым. Об отмене смертного приговора осужденным, однако, было объявлено лишь после того, как 22 декабря 1849 г., стоя на Семеновском плацу в Петербурге, они прошли через мучительную психологическую пытку — выслушали чтение смертного приговора и команду о приведении первой их группы к расстрелу[197].

Достоевский придавал участию своему в кружках и на сходках петрашевцев исключительное значение. В «Дневнике писателя» за 1873 г., отвечая критикам «Бесов», он писал, вспоминая о себе и друзьях своей молодости: «Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма <…> Мы еще задолго до парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей». И он указывал тут же, что в *«правду…* грядущего „обновления мира“ и во всю *святость* будущего коммунистического общества» он был посвящен еще в 1846 г. Белинским, закономерным, логическим следствием чего и стало его участие в кружках петрашевцев (153–154).

Особо Достоевский подчеркивал, что вступление в ряды петрашевцев не было результатом личного влияния на него Петрашевского, как не было вообще мимолетным, случайным эпизодом его биографии. Оно было следствием воздействия на него «тогдашних новых идей», мощно захвативших «сердца и умы» его самого и его товарищей: «…зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации» (там же). Самое обозначение его и его друзей как «петрашевцев» (укоренившееся уже в это время в исторической литературе и публицистике), вызывало у писателя возражения, так как он считал, что термин этот искусственно сужает размах движения, которое было в понимании писателя более широким, чем это представлялось Следственной комиссии. Имена многих его представителей, не знавших Петрашевского лично, но разделявших убеждения осужденных, остались правительству неизвестными.[198]

О том, что воспоминание об участии в деле петрашевцев вызвало у Достоевского мысль о политическом заговоре, с особой очевидностью свидетельствуют строки, посвященные им в 1876 г. в «Дневнике писателя» М. М. Достоевскому. Говоря здесь о прикосновении своего

старшего брата к делу петрашевцев, Достоевский замечает: «В сорок девятом году он был арестован по делу Петрашевского и посажен в крепость, где и высидел два месяца. По прошествии двух месяцев их освободили несколько человек (довольно многих), как невинных и неприкосновенных

петрашевцев. М.; Л., 1937–1951. Т. 1–3; Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953; статьи В. В. Семевского (Голос минувшего. 1913. № 10, 11; 1915. № 1, 3, 5, 11, 12; 1916. № 24, 11, 12; РуС. записки. 1916. № 9-11); *Семевский В. И.* М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922; *Лейкина В. Р.* Петрашевцы. М., 1924; *Лейкина-Свирская В. Р.* Петрашевцы. Л., 1956; История русской литературы XIX века: Библиографический указатель / Под ред. К. Д. Муратовой. М.; Л., 1962. С. 37–40; Sliwowska W. Sprawa pietraszewcow. Warszawa. 1964; Первые русские социалисты. Л., 1984; *Егоров Б. Ф.* Петрашевцы. Л., 1988. к возникшему делу. И действительно: брат не участвовал ни в организованном тайном обществе у Петрашевского, ни у Дурова. Тем не менее он бывал на вечерах Петрашевского и пользовался из тайной, общей библиотеки, склад которой находился в доме Петрашевского, книгами. Он был тогда фурьеристом и со страстью изучал Фурье <…> То, что он был фурьеристом и пользовался библиотекой, — открылось, и, конечно, он мог ожидать если не Сибири, то отдаленной ссылки как подозрительный человек» (XXII, 134).

Из приведенных слов очевидно, что Достоевский проводил между собою и своим старшим братом, также арестованным по делу Петрашевского, но вскоре освобожденным из-под следствия (хотя и остававшимся, как мы теперь знаем, до конца жизни под полицейским надзором), разделительную черту: М. М. Достоевский бывал у Петрашевского и Дурова, но не участвовал, по словам брата, «в организованном тайном обществе». Себя же писатель, напротив, причислял к тем осужденным, которые участвовали в «тайном обществе» (или «заговоре»), если пользоваться его собственным определением.[199]

Совокупность приведенных не допускающих различных толкований свидетельств писателя заставляет ныне при анализе движения петрашевцев и изучении конкретных обстоятельств участия в нем Ф. М. Достоевского опираться не только на материалы следствия,

но корректировать их с помощью других дошедших до нас разнообразных источников — документально-исторических, мемуарных и автобиографических.

Важнейшее значение при этом приобретают письма А. Н. Майкова к П. А. Висковатову о Достоевском-петрашевце и его устный рассказ на ту же тему, записанный поэтом А. А. Голенищевым-Кутузовым.

Вот отрывок из письма Майкова к Висковатову 1885 г.: «Раз, кажется, в январе 1848 г., приходит ко мне Ф. М. Достоевский, остается ночевать — я жил один на своей квартире — моя кровать у стены, напротив диван, где постлано б<ыло> Дост<оевско>му. И вот он начинает мне говорить, что ему поручено сделать мне предложение: Петрашевский, мол, дурак, актер и болтун; у него не выйдет ничего путного, а что люди подельнее из его посетителей задумали дело, которое Петр<ашевско>му неизвестно, и его туда не примут, а именно: Спешнее, Пав<ел> Филиппов (эти умерли, так я их называю, другие, кажется, еще живы, потому об них все-таки умолчу, как молчал до сих пор целые 37 лет обо всем этом эпизоде) и еще пять или шесть, не помню, в том числе Достоевский. И они решили пригласить еще седьмого или восьмого, то есть меня. А решили они завести тайную типографию и печатать и т. д. <…> И помню я — Д<остоевск>ий, сидя как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела…».

Приведенное письмо дополняет устный рассказ А. Н. Майкова о Достоевском и петрашевцах в записи А. А. Голенищева-Кутузова:

«Лежу я утром в постели. Является жандармский офицер и штатский какой-то. Спрашивает: «Вы А. Н. Майков?» <…>

— Знакомы ли были с Достоевским (Фед<ором> Мих<айловичем>) и какие имели с ним сношения?

Вопрос был тяжел потому, что я решительно не знал, до какой степени он компрометирован, что он показал, а между тем с Достоевским был у меня одни очень важный разговор.

Приходит ко мне однажды вечером Достоевский на мою квартиру в дом Аничкова, — приходит в возбужденном состоянии и говорит, что имеет ко мне важное поручение <…>

— Надо для общего дела уметь себя сдерживать. Вот нас семь человек: Спешнее, Мордвинов, Момбелли, Павел Филиппов, Григорьев,

Владимир Милютин и я — мы осьмым выбрали вас; хотите ли вы вступить в общество?

— Но с какой целью?

— Конечно, с целью произвести переворот в России…»

— Свидетельства А. Н. Майкова (его старший брат, рано умерший критик Валериан Майков, был близко связан с Петрашевским и его кругом, а сам он привлекался по делу петрашевцев и хорошо знал многих участников последнего) впервые дали возможность расшифровать смысл замечания Достоевского о «заговоре», оставшемся в 1849 г. неизвестным правительству, и об участии в нем Достоевского. Следует особо подчеркнуть, что А. Н. Майков с молодых лет был близким другом Достоевского. Именно поэтому он раскрыл доверенную ему писателем тайну лишь после его смерти, да и то решился сообщить о ней частным лицам, не предназначая своих сообщений для печати.

Свидетельства Майкова подтверждают и разъясняют слова Достоевского о том, что петрашевцам в своих показаниях удалось скрыть от Следственной комиссии ряд обстоятельств дела, которые еще больше отяготили бы их вину. Только с учетом раскрытых Майковым обстоятельств могут быть верно оценены тогдашние настроения Достоевского, его место среди петрашевцев.

В общих чертах эволюция взглядов Достоевского в 1847–1849 гг., когда он посещал кружки петрашевцев, рисуется в следующем виде. Еще до знакомства с Петрашевским и посещения его собраний Достоевский, увлекавшийся с конца 1830-х годов романами Ж. Санд и внимательно следивший за новинками французской литературы и журналистики, познакомился с идеями французских утопических социалистов. Особое значение для приобщения Достоевского к идеям тех направлений европейской общественной мысли, которые идеологически подготовили революцию 1848 г. на Западе, сыграло сближение с Белинским, знакомство с Валерианой Майковым и участие в 1846 г. в кружке братьев Бекетовых, организовавших под влиянием идей тогдашних социалистов род своеобразной бытовой «ассоциации» (коммуны), в которой участвовал и Достоевский (коммуна эта распалась в начале 1847 г. в связи с отъездом Бекетовых в Казань).

Идейная атмосфера второй половины 1840-х годов, общение с Белинским, В. Н. Майковым, А. Н. и Н. Н. Бекетовыми, А. Н. Плещеевым, Д. В. Григоровичем, чтение французских газет и журналов,

Шиллера, Ж. Санд, Э. Сю, Бальзака, Гюго, Герцена, знакомство с идеями Сен-Симона, Фурье, Консидерана, Ламенне, Л. Блана, Д. Ф. Штрауса, М. Штирнера, Л. Фейербаха, вокруг имен которых в кругу знакомых писателя постоянно вспыхивали острые дискуссии (на которых он часто присутствовал), — все это подготовило Достоевского к участию в кружках петрашевцев.

Познакомившись с Петрашевским, Достоевский, как мы уже знаем, первые два года редко бывал на его собраниях. Это объясняется, однако, не отсутствием у него общих интересов с Петрашевским и его кругом или идейными расхождениями с ними, но другими причинами: несмотря на охлаждение с начала 1847 г. отношений с Белинским, вскоре после чего Достоевский посетил впервые «пятницу» Петрашевского, он продолжал бывать у Белинского и в 1847 г. Напряженная литературная работа, длительная поездка на лето к брату в Ревель в 1846 г. и жизнь на даче в Парголове в 1847–1848 гг., замкнутость Достоевского, болезненный для него конфликт с литераторами из круга Белинского (Тургеневым, Некрасовым), дружеское общение с А. Н. Плещеевым, Я. П. Бутковым, В. Н. и А. Н. Майковыми — причины, достаточные для объяснения редких посещений Достоевским в 1847 и первой половине 1848 г. «пятниц» Петрашевского.

Из показаний Достоевского видно, что он слышал у Петрашевского речь К. И. Тимковского, в которой последний призывал перестать бесплодно толковать «о превосходстве одной социальной системы перед другою», но действовать каждому «в своем кружке» для «торжества новых идей», пока реакция не задавила «социального движения». Писатель присутствовал также на одной из лекций И. Л. Ястржембского по политической экономии. Наряду со спорами по социальным вопросам он был в курсе происходивших у Петрашевского философских дискуссий о религии и атеизме. Выступал Достоевский на собраниях Петрашевского и сам — на близкие ему темы о цензуре, положении литературы и писателя в николаевской России и о соотношении в литературе общественного и художественного содержания. При обсуждении вопроса о том, какое из трех преобразований — освобождение крестьян, свобода печати и судебная реформа — является для России наиболее насущным, Достоевский, как и докладчик В. А. Головинский, высказался за первоочередность

уничтожения крепостного права, разойдясь с М. В. Петрашевским, отстаивавшим приоритет судебной реформы. Громадное впечатление на присутствующих произвело чтение Достоевским на «пятнице» Петрашевского 15 апреля 1849 г. антикрепостнического письма Белинского к Гоголю, — чтение, исполненное страстного пафоса и повторенное на собрании дуровского кружка. Одна из тем, на которые, как мы знаем, Достоевский говорил у Петрашевского, — «о личности и об эгоизме» — связана с основной философской проблематикой его творчества как 1840-х годов, так и позднейшего времени. Достоевский охарактеризовал в этом выступлении, по собственному признанию, вредные последствия эгоизма и ложной «амбиции» (ведущих к «размельчению личности») и противопоставил им свое понимание «настоящего человеческого достоинства».

Достоевский способствовал привлечению на собрания Петрашевского новых участников — В. А. Головинского и своего старшего брата М. М. Достоевского. Это свидетельствует о том, что антипатия к Петрашевскому, как и скептическое отношение писателя к «кружкам», выраженное в апреле 1847 г. в «Петербургской летописи», не помешали ему в 1847–1849 гг. продолжать посещение собраний петрашевцев, причем именно в конце этого периода, в последние месяцы перед арестом участников собраний, посещения эти становятся более регулярными, а участие в них Достоевского — более активным.

Этому можно дать лишь одно объяснение: под влиянием событий революции 1848 г. на Западе и усилившейся в связи с ними реакции в России Достоевский в конце 1848 — начале 1849 г. испытывает растущее острое недовольство русской самодержавно-крепостнической государственностью. И так как аналогичную эволюцию переживают одновременно многие другие участники собраний Петрашевского, их сближение и совместные усилия кладут начало общему новому периоду деятельности петрашевцев.

В конце 1848 г. группа петрашевцев организует кружок С. Ф. Дурова, куда вошел и Достоевский. Первый биограф Достоевского писал, что «в кружке Дурова были, по-видимому, самые пылкие люди, и эта пылкость доводила их до неосторожности, которую вовсе не одобрял Петрашевский».[200]

Из рассказа Миллера и воспоминаний Майкова не следует делать вывода, что кружок С. Ф. Дурова состоял из одних «пылких людей». Ни

сам Дуров, ни его друг А. И. Пальм, ни М. М. Достоевский, да и ряд других посетителей собраний Дурова не принадлежали к числу наиболее решительных петрашевцев и даже не знали о задуманном «деле» (а тем более не были его участниками). С другой стороны, Петрашевский, как явствует из слов Миллера, не одобрял «неосторожности» «самых пылких» из дуровцев не потому, что не сочувствовал их конечным целям, а потому, что в наличных условиях считал их действия «неосторожными» в точном смысле слова, т е. опасными с полицейской точки зрения, в условиях глубокой реакции 1848–1849 гг. и не соответствующими задачам момента, как он их понимал.

За короткое время кружок Дурова[201] пережил два этапа. На первом из них, по крайней мере внешне, на его собраниях преобладали музыкально-литературные темы и интересы. Но уже на одном из первых вечеров у Дурова Н. А. Момбелли выступил с призывом к тесному сплочению людей с «одинаковым настроением и образом мыслей».[202] Что кружок организовывался с самого начала с политическими целями, причем одним из инициаторов создания его был Достоевский, свидетельствует Спешнев, показавший на допросе, что «в ноябре или в конце октября 1848 г. <…> пришли к нему Плещеев и Достоевский и сказали, что имхотелось бы сходиться со своими знакомыми в другом месте, а не у Петрашевского», мотивируя это, между прочим, боязнью шпионов, что и положило начало собраниям кружка. Сам Спешнев, как свидетельствует найденный в его бумагах проект обязательной подписки для членов тайного «Русского общества», еще с 1845 г. носился с идеей вооруженного восстания, признавая необходимым создание для этой цели строго законспирированной революционной организации. Вскоре политические цели кружка вышли на поверхность. После чтения Достоевским письма Белинского к Гоголю П. Н. Филиппов предложил «заняться общими силами разрабатыванием статей в либеральном духе, относящихся до современного состояния России в юридическом и административном отношении…».[203] Тогда же Филиппов предложил завести для печатания антиправительственных статей домашнюю литографию. Это новое предложение повело к расколу кружка, так как М. М. Достоевский, А. Д. Щелков,Н. А. Кашевский и некоторые другие его члены, испуганные предложением Филиппова и не сочувствовавшие ему, выступили с резким протестом

против него. Но идейный раскол кружка и последовавшее в результате этого официальное прекращение собраний у Дурова с середины апреля 1849 г. не означали ликвидации возникшего в его недрах «заговора».Н. А. Момбелли, Н. А. Спешнее, Ф. Н. Львов — уже давно склонялись к созданию узкого тайного общества заговорщицкого типа, составленного из наиболее решительно настроенных петрашевцев, которые бы смело взяли на себя инициативу и сразу приступили к началу организованных практических действий. Такое именно «особое тайное общество» и возникло, как рассказывает Майков, в конце 1848 — начале 1849 г. под руководством Н. А. Спешнева.

Ставя своей конечной целью «произвести переворот в России» (т. е. выдвигая на первый план политическую задачу борьбы с самодержавием и, видимо, полагая, что решение более широкого комплекса вопросов о будущем социально-экономическом устройстве России, которые усиленно обсуждались в 1847–1848 гг. другими кружками петрашевцев, должно не столько предшествовать ей, сколько явиться ее результатом), участники спешневского заговора начали свою практическую деятельность с заведения типографского станка (так как первоначальный проект заведения литографии оказался дорогим и малоэффективным) «для печатания разных книг и даже журналов». Тем самым они пошли по пути, который еще в XVIII в. был предуказан Радищевым, и в какой-то мере предварили в своих планах идею создания вольной русской печати, осуществленную через несколько лет в Лондоне А. И. Герценом. Арест петрашевцев, за которыми к этому времени уже в течение нескольких месяцев велась слежка, в том числе членов спешневского кружка (хотя правительственному агенту Антонелли и не удалось проникнуть в их тайну), помешал претворению этого плана в жизнь.[204]

То, что мы узнаем о Достоевском-петрашевце из его показаний, из воспоминаний Майкова и Милюкова, дополняет рассказы некоторых других петрашевцев — И. М. Дебу, А. И. Пальма, П. П. Семенова-Тян-Шанского,[205] а также позднейшие припоминания самого писателя.

«По внешнему виду, как заметил один из знакомых Спешнева, — рассказывает Миллер, — истый тип заговорщика сказывался в Федоре Михайловиче: он был молчалив, любил говорить один на один, был скорее скрытен, чем откровенен <…> Но этот самый тихий и скромный человек, как мы <…> слыхали от И. М. Дебу, способен был доходить в

своих речах до самого потрясающего пафоса». Поэтому, по словам Дебу, «для пропаганды наиболее подходящей представлялась членам различных кружков страстная натура Достоевского, производившая на слушателей ошеломляющее действие». «Как теперь, — говорит он, — вижу я перед собою Федора Михайловича на одном из вечеров у Петрашевского, вижу и слышу его рассказывающим о том, как был прогнан сквозь строй фельдфебель Финляндского полка, отмстивший ротному командиру за варварское обращение с его товарищами,[206] или же о том, как поступают помещики со своими крепостными». «Не менее живо, — добавлял Дебу, — помню его, рассказывающего свою „Неточку Незванову“ гораздо полнее, чем была она напечатана; помню, с каким живым человеческим чувством относился он и тогда к тому общественному „проценту“, олицетворением которого у него явилась впоследствии Сонечка Мармеладова (не без влияния, конечно, учения Фурье)».[207]

В романе «Алексей Слободин» (1873), по свидетельству Миллера, Пальм воспроизвел в лице Слободина «некоторые черты молодой поры Ф. М. Достоевского. Тут во время одного из обычных споров в описываемом в романе кружке „одни грудью стояли за гласное судопроизводство; другие видели все спасение в свободе печатного слова; третьи провозглашали выборное начало и т. д. <…> Слободин тихо и медленно сказал: „Освобождение крестьян несомненно будет первым шагом к нашей великой будущности“. Эти слова, сказанные спокойным тоном давно уже воспринятого и отстоявшегося убеждения, сильно подействовали на разгоряченных спорщиков, примирили все мнения». В том же романе выставлен другой спор по поводу политического переворота во Франции, причем Слободин замечает: «Политические вопросы меня слишком мало занимают <…> Мне поистине все равно, кто у них будет — Луи-Филипп, или какой-нибудь Бурбон, или даже хоть и республика… Кому от этого будет легче? Народ выиграет несколько громких фраз, причтет несколько новых имен к своему мартирологу и пойдет на ту же самую работу, прибыльную только для одного буржуа, а стало быть, и жизнь ни на волос не будет лучше… я не верю в полезность игры в старые политические формы[208] <…> Слободин в романе г-на Пальма заводит сношения с раскольниками <…> Ф<едор> М<ихайлович>, действительно, думал о сближении с раскольниками». «…А. И. Пальму

помнится, что когда однажды спор сошел на вопрос: „Ну а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе как через восстание?“, то Достоевский своею обычною впечатлительностью воскликнул: „Так хотя бы через восстание!“».[209]

Важнейшее значение кружки петрашевцев имели для развития русского искусства, науки и литературы. Через них прошли, испытав в различные годы их идейное воздействие, наряду с Ф. М. Достоевским, критик В. Н.Майков, М. Е. Салтыков-Щедрин, поэты А. Н. Плещеев и С. Ф. Дуров, романист и драматург А. И. Пальм, автор «России и Европы» Н. Я. Данилевский. В среде петрашевцев бывали будущий географ П. П. Семенов-Тян-Шанский, юный А. Г. Рубинштейн, а одно из собраний кружка в 1849 г. посетил М. И. Глинка. Первый переводчик «Сущности христианства» Л. Фейербаха на русский язык петрашевец А. В. Ханыков, а позднее близкие к кругу Петрашевского И. И. Введенский и И. Д. Минаев (отец поэта-«искровца» Д. И. Минаева) были знакомы с юношей Чернышевским и способствовали формированию его убеждений.

Петрашевцы стремились установить связь с революционными кружками вне Петербурга (в Прибалтике и Сибири), искали поддержки среди различных разрядов населения, недовольных царской монархией (в том числе раскольников), среди крестьян и солдат. Часть из них, возглавляемая Спешневым, как мы уже знаем, хотела осуществить печатание в Петербурге нелегальной антиправительственной литературы. Но все эти попытки перейти к практической революционной работе в условиях России 1840-х годов натолкнулись на огромные, зачастую непреодолимые трудности. Трудности эти усугублялись тем, что, несмотря на критические прозрения, скрытые в учениях Фурье и других ранних социалистов, на идеи которых опирались петрашевцы (догадки и прозрения, по достоинству оцененные ими), учения эти имели утопический характер, оставались оторванными от реальной жизни и практических нужд крепостной России.

Тем не менее полиция Николая I и сам царь не были обмануты мирной внешностью кружков петрашевцев.

Внимание правительства к деятельности петрашевцев было привлечено распространенной М. В. Буташевичем-Петрашевским в феврале 1848 г. в Петербурге литографированной программой,

предназначенной для обсуждения в столичном дворянском собрании. Министр внутренних дел Л. А. Перовский, которому его подчиненный чиновник особых поручений И. П. Липранди доставил экземпляр проекта Петрашевского, снесся по этому поводу с шефом жандармов графом А. Ф. Орловым. Перовский и Орлов «равномерно усмотрели важность содержания» этого документа, «и оба они заметили, что это должно быть плодом тайного, обдуманного предначертания». По их «обоюдному согласию» сбор сведений о Петрашевском был поручен Липранди, как первому обратившему на него внимание, причем обязанность, возложенная на него, держалась в тайне от всемогущего III Отделения.

Весьма вероятно, что беспрецедентный факт изъятия столь ответственного дела из компетенции III Отделения и передачи его соперничающему ведомству — Министерству внутренних дел — был санкционирован Николаем I, которому Перовский первым донес о плане Петрашевского; император в то время был недоволен тайной полицией. Престиж III Отделения был ущемлен; информированный мемуарист писал, что граф Орлов «пообещал „согнуть в бараний рог“ всякого, кто посмеет раздуть дело, открытое Министерством внутренних дел (Перовским)…».[210] «Перовский, признававший отдельное существование III Отдел<ения> ненужным, старался доказать, что и общая полиция может предупредить всякие политические перевороты и знать о зародышах таких стремлений ранее III Отдел<ения>. В этом отношении образование кружка Петрашевского представило очень удобный случай…».[211]

Липранди взялся за розыск компрометирующих данных о Петрашевском и его кружке после 10 марта 1848 г. Задача его облегчалась тем, что, по воспоминаниям современников, «о пятницах Петрашевского знал весь город». Особые усилия прилагал Липранди к тому, чтобы ввести в круг Петрашевского своего агента П. Д. Антонелли, который ради этого бросил университет. Первое донесение Антонелли, адресованное Липранди, помечено 9 января 1849 г. Однако на собрания Петрашевского агент долгое время не допускался. Впервые он присутствовал у Петрашевского на очередной «пятнице» 11 марта 1849 г.; характерно, что он явился без приглашения. С этого времени Липранди получал систематическую, информацию о Петрашевском и его посетителях от Антонелли и двух других агентов — Н. Ф. Наумова и

В. М. Шапошникова, снявших в апреле 1849 г. помещение в доме Петрашевского под табачную лавку.

В донесении от I марта 1849 г. Антонелли впервые называет имя Ф. М. Достоевского: «Перед обедом сегодня в Hôtel de princes известное лицо[212] заходило к Достоевскому (сочинителю), и при моем вопросе — давно ли оно знакомо с ним, оно сказало, что знакомство уже давнишнее и что он очень дружен с обоими братьями». В следующем донесении сообщалось о посещении братьями Достоевскими «пятницы» Петрашевского и о споре между ними и хозяином о «манере писания». Вскоре Липранди узнает о некоем «обществе, составленном из литераторов, в котором главную роль разыгрывают братья Майковы и Достоевские». Наконец, 16 апреля 1849 г. агент донес о том, _что днем ранее, в собрании у Петрашевского, Достоевский[213] читал письмо Белинского Гоголю. Имя Ф. М. Достоевского фигурировало и в других донесениях Антонелли.[214]

Таким образом, к моменту ареста петрашевцев Липранди собрал сведения, в достаточной мере компрометировавшие Достоевского. О ходе розыска Липранди регулярно ставил в известность своего непосредственного начальника — Перовского.

Вечером 20 апреля 1849 г. Орлов пригласил к себе Липранди и в присутствии начальника штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельта объявил ему, что по воле императора Липранди должен был прекратить дальнейшее расследование и передать все материалы Дубельту. Последний был возмущен: важнейшее и прямо к нему относящееся дело скрывали от III Отделения и его шеф, и его старинный друг; о «негодовании» и «оскорбленном самолюбии» Дубельта сообщал Липранди в донесениях Перовскому.

21 апреля 1849 г. Орлов представил Николаю I свое резюме, списки петрашевцев, составленные на основании донесений Антонелли, и план их ареста, а через несколько часов доложил императору о готовности III Отделения к производству арестов. На этом документе Николай I наложил резолюцию: «Я все прочел; дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Приступить к арестованию, как ты полагаешь; точно лучше, ежели только не будет разгласки от такого большого числа лиц на то нужных». [215]

22 апреля 1849 г. Орлов подписал предписание об аресте

петрашевцев. Вечером того же дня состоялась последняя «пятница» у Петрашевского, на которой присутствовал Достоевский.

В пятом часу утра 23 апреля 1849 г. был произведен арест большинства петрашевцев, в том числе Ф. М. Достоевского (одновременно был арестован по ошибке его младший брат Андрей вместо старшего — М. М. Достоевского). Арест сопровождался обыском. Все арестованные, а равно отобранные у них бумаги и книги были доставлены в III Отделение.

Сразу же после ареста, еще в III Отделении, арестованные узнали о том, что доносчиком был Антонелли. «Беспечность» чиновников III Отделения, допустивших это, подтверждает неприязнь Дубельта и его жандармов к соперничающему ведомству и желание их свести на нет успехи Липранди. Утром Орлов донес царю, что «в III Отделение привезено 34 человека» и что «все совершенно с большой тишиной, без всякой огласки и с наивеличайшей аккуратностью». Около 11 часов вечера арестованные были отправлены в Петропавловскую крепость; Ф. М. Достоевский был помещен сначала в № 7, затем в № 9 Алексеевского равелина.[216]

23 апреля же Николай I назначил «Секретную следственную комиссию, высочайше учрежденную в Петербургской крепости над злоумышленниками» в составе: комендант Петропавловской крепости генерал-адъютант И. А. Набоков (председатель), член Государственного совета князь П. П. Гагарин, товарищ военного министра генерал-адъютант князь В. А. Долгоруков, начальник штаба Управления военно-учебных заведений Я. И. Ростовцев и Л. В. Дубельт. Военный министр А. И. Чернышев передал Комиссии директиву императора о немедленном и самом тщательном производстве следствия.

Комиссия начала свои заседания 26 апреля. В тот же день была учреждена вспомогательная «Особенная Комиссия для разбора всех бумаг арестованных лиц». В ее задачу входили «разбор громадного количества бумаг (и частью книг), взятых у арестованных лиц, и отобрание для препровождения в Следственную комиссию тех из оных, которые более или менее относились к рассматриваемому делу». Председательствовал в этой комиссии статс-секретарь по принятию прошений князь А. Ф. Голицын, членами ее состояли: чиновник особых поручений III Отделения, тайный советник А. А. Сагтынский, секретарь шефа жандармов, действительный статский советник А. К. Гедерштерн

и Липранди.

Постепенно из устных и письменных показаний перед Комиссией вырисовывались три основных напавления бесед у Петрашевского: «свобода книгопечатания, перемена судопроизводства и освобождение крестьян».[217]

8 июня 1849 г. Следственная комиссия произвела формальный допрос Ф. М. Достоевского. Ответами на общие вопросы о происхождении, вероисповедании и проч. открывается большая часть дела Достоевского, в которую входят его показания по конкретным обстоятельствам. Точно датировать каждое из них не представляется возможным. Известно лишь, что Ф. М. Достоевский вызывался в июне на допросы еще 11, 17 и 20 июня. О последнем допросе А. Г. Достоевская записала: «На 42<-м> заседании комиссии, 20 июня читалось письменное показание Ф. М. Достоевского, в котором он высказывался (подтверждая уже известные комиссии факты. — *Ред.),* что большая часть показаний обвиняемых относительно крайнего направления Петрашевского справедливы, что в собраниях у Петрашевского говорилось (Головинским) о необходимости бунта для освобождения крестьян, а на собраниях у Дурова обсуждался вопрос об устройстве тайной типографии, отвергнутый, однако, собранием. В общем, по мнению Ф. М. Достоевского, собрания у Петрашевского были скорее сборище приятелей, чем устроенное политическое общество».[218]

17 сентября Следственная комиссия рассмотрела составленную из настоящего дела записку и обвинительные статьи. Представлением военному министру этих материалов, а также списка из 28 лиц, обвиняемых по данному делу, и списка тех, на чье освобождение без судебного приговора испрашивалось высочайшее соизволение, — Следственная комиссия закончила свою работу.

Главный вывод Следственной комиссии заключался в том, что «все сии собрания, отличавшиеся вообще духом, противным правительству, и стремлением к изменению существующего порядка вещей, не обнаруживают, однако ж, ни единства действий, ни взаимного согласия, к разряду тайных организованных обществ они тоже не принадлежали, и чтоб имели какие-либо сношения внутри России, не доказывается никакими положительными данными».

Ознакомившись с материалом следствия, Николай I повелел

подвергнуть обвиняемых необычному суду: дело петрашевцев слушалось в смешанной Военно-судной комиссии, учрежденной 25 сентября 1849 г. Ее председателем был член Государственного совета генерал-адъютант граф В. А. Перовский (брат министра внутренних дел), членами состояли: генерал-адъютант А. Г. Строганов, член Государственного совета, генерал-адъютант Н. Н. Анненков 2-й, генерал-адъютант А. П. Толстой, сенаторы, тайные советники князь И. А. Лобанов-Ростовский, А. Р. Веймарн, Ф. А. Дурасов.

Военно-судная комиссия начала свою работу 30 сентября. Вскоре она поручила делопроизводителю составить краткие выписки о степени виновности каждого обвиняемого, так как следственное дело занимало более 9 тысяч листов, и прочитать их сплошь Комиссия не имела ни возможности, ни желания. С 18 октября Комиссия приступила к опросу подсудимых, чтобы заслушать их возможные оправдания. Каждый подсудимый оставил в Комиссии подписку о даче этих последних показаний.

Не производя дополнительного расследования, Военно-судная комиссия согласилась в своем заключении с мнением Следственной комиссии о том, что существование тайного общества не обнаружено. Комиссия приговорила 15 человек (в том числе Достоевского) к расстрелу. После этого 13 ноября дело поступило в генерал-аудиториат. 19 ноября 1849 г. заключением генерал-аудиториата всем обвиняемым смертная казнь была заменена различными сроками каторжных работ. Последние коррективы в приговор внес при его утверждении Николай I. В частности, предложенный генерал-аудиториатом восьмилетний срок каторги Достоевскому и Дурову он заменил четырехлетним с последующей военной службой рядовыми, что возвращало им обоим, по замечанию Достоевского, гражданские права, которые по закону навсегда терял всякий приговоренный в каторгу.[219] Как известно, окончательный приговор был объявлен петрашевцам 22 декабря 1849 г. на Семеновском плацу, когда первая тройка была уже выведена для расстрела.[220]

Как свидетельствует анализ показаний Достоевского, он держался во время следствия с большой осторожностью, руководствуясь каждый раз определенными, достаточно хорошо обдуманными тактическими соображениями.

В первом объяснении Комиссии Достоевский точно определил круг

вопросов, ответами на которые он решил ограничиться, умалчивая обо всех других, не известных Комиссии обстоятельствах. Это вопросы о самом Петрашевском, о характере его вечеров и о том, не имело ли его общество «скрытой», т. е. революционной цели.

Отвечая на эти вопросы, Достоевский — как отчетливо видно из его объяснений — всячески стремился подчеркнуть, что Петрашевский был отвлеченным теоретиком, «мечтателем»-фурьеристом. О кружке Дурова, пока не известном Комиссии, Достоевский не упомянул **ни** одним словом, а из имен лиц, близких к Петрашевскому, назвал лишь имена тех двух лиц — Толля и Ястржембского, — о которых его специально спрашивали в связи с возникшим подозрением об организованной пропаганде идей петрашевцев в учебных заведениях. При этом ничего конкретного о них Достоевский не сказал, сославшись на слабое знакомство с обоими, а вопрос о «распространении фурьеризма в юношестве» отвел ссылкой на свое незнание и на нежелание вдаваться в произвольные догадки.

В последующих своих ответах и показаниях Достоевский точно так же каждый раз стремился строго придерживаться ответов на задаваемые ему Комиссией вопросы. Показания Достоевского позволяют высоко оценить присутствие духа, проявленное им во время заключения в Петропавловской крепости, и его гражданское мужество.

Особенно примечательно то, что, проводя последовательно во время следствия линию защиты самого себя и своих товарищей от обвинения в посягательстве на устои самодержавного государства, отвергая версию о существовании у петрашевцев тайных революционных намерений, Достоевский не скрыл от членов Комиссии существа своих воззрений. Достоевский нарисовал перед своими обвинителями картину современной Европы, где «трещит и сокрушается вековой порядок вещей». Он признал историческую неизбежность революции 1848 г., как и возникновения на Западе социалистических учений, отметив в то же время утопический характер известных ему форм социализма 1840-х годов. Достоевский защищал необходимость изучения всяким мыслящим человеком — в том числе в России — вопросов социализма, который, по его словам, «есть та же политическая экономия, но в иной форме». «Эти книги писаны умно, горячо и нередко с неподдельной любовью к человечеству», — писал он в своих показаниях.

Особого внимания заслуживает вопрос о тех элементах мировоззрения Достоевского-петрашевца, которые подготовили в последующие годы его переход к «почвенничеству».

При сопоставлении с «Петербургской летописью» (1847), где Достоевский, полемизируя вслед за Белинским со славянофилами, защищал значение петровских преобразований и выражал свою горячую веру в будущее созданной Петром новой России, показания его на следствии позволяют говорить об изменившемся, более сложном отношении его к проблемам, находившимся в центре борьбы западников и славянофилов 1840-х годов. Достоевский характеризует в своих показаниях фурьеризм как продукт «западного положения вещей», противопоставляя Запад, где «разрешается <…> пролетарский вопрос», России, где «нет пролетариев». «И земля-то наша сложилась не по-западному», — замечает он. И в то же время в отличие от славянофилов Достоевский по-прежнему положительно отзывается о Петре I и именно на пример Петра ссылается в доказательство возможности для России, при условии верного понимания правительством нужд общества и народа и сочувственном отношении к ним, избежать «русского бунта». Все эти утверждения в известной мере подготовляют позднейшие идеи писателя периода «Времени» и «Эпохи».

По свидетельству А. П. Милюкова, Достоевский говорил уже в 1848–1849 гг., что «народ наш не пойдет по стопам европейских революционеров»: «Мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа; в общине, артели и круговой поруке давно уже существуют основы, более прочные и нормальные, чем в мечтаниях Сен-Симона и его школы».

«По словам И. М. Дебу, — записал первый биограф Достоевского О. Ф. Миллер, — и у „фурьеристов“ (имеется в виду кружок социалистов-теоретиков, созданный рядом участников «пятниц» Петрашевского. — *Ред.)* обращено было внимание на русскую общину, с которою познакомил их, как и многих у нас, Гакстгаузен». Достоевский не принадлежал к кружку «фурьеристов» (в который входили И. М. Дебу и Н. Я. Данилевский). Но он мог уже в 1840-х годах разделять отношение этого кружка к русской крестьянской общине.[221] Позднее, в пореформенных условиях, вера молодого Достоевского в

«общину, артель и круговую поруку», подготовившая «почвеннические» элементы его мировоззрения, вошла в него в трансформированном виде. Именно здесь, по-видимому, — источник частичных совпадений между теми местами показаний Достоевского на следствии, где говорится о своеобразии путей развития России по сравнению с Западом, и его высказываниями 1860-1870-х годов на ту же тему.

Другой момент в показаниях Достоевского, который несомненно генетически связан с его позднейшими высказываниями и может быть верно понят лишь при сопоставлении с ними, — это его эстетическая позиция конца 1840-х годов.

Близость тезиса молодого Достоевского: «автор должен <…> хлопотать о художественности, а идея придет сама собою, ибо она необходимое условие художественности» с позднейшими размышлениями на ту же тему в статье «Г-на — бов и вопрос об искусстве» показывает, что уже в 1849 г. Достоевский занимал в названном вопросе позицию, близкую к позднейшей его позиции в споре с Добролюбовым. Защищая мысль, что идея — «необходимое условие художественности», без которого нет и не может быть искусства (и в то же время отстаивая, как и в 1861 г., художественное значение трагедии и сатиры, право писателя рисовать не одни «доблести, добродетели», но и «порок», «мрачную сторону жизни»), молодой Достоевский полагал, что подлинный талант имеет право идти в выборе и художественной разработке жизненного материала своим путем, хотя бы путь этот не был вполне понятен критике, казался ей уклонением от должного «направления».

Как воспринял Достоевский осуждение по делу петрашевцев? Из воспоминаний писателя видно, что он не считал себя пострадавшим безвинно. «Мы, петрашевцы, — писал по тому же поводу Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 г., — стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. <…> Не годы ссылки, не страдания сломили наС. Напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга» (Дневник писателя. 1873. Гл. XVI, «Одна из современных фальшей»).

«Я был виновен, я сознаю это вполне, — писал Достоевский еще 24 марта 1856 г., Э. И. Тотлебену. — Я был уличен в намерении (но не

более) действовать против правительства <…> долгий опыт, тяжелый и мучительный, протрезвил меня и во многом переменил мои мысли. Но тогда я был слеп, *верил в теории и утопии…»* (XXVIII, кн. 1, 224; курсив наш. — *Ред.).* Здесь примечательна оговорка «во многом» (т. е. не во всем).

После возобновления в 1876 г. «Дневника писателя» Достоевский много раз пользуется случаем, чтобы напомнить о петрашевцах и о вдохновлявших их идеях утопического социализма 1840-х годов. В апреле 1876 г. он помещает в «Дневнике» биографические сведения о М. М. Достоевском и об его участии в деле петрашевцев, в июне того же года — некролог Ж. Санд, характеризующий место ее в истории европейских социалистических идей и их восприятие русской молодежью 1840-х годов. В январе 1877 г. цензура вычеркивает из «Дневника писателя» специальный раздел, в котором Достоевский защищает память петрашевцев, полемизируя с «Петербургской газетой», ссылавшейся на их пример в доказательство тезиса о постоянном во второй половине XIX в. «измельчании» типа русского революционера по сравнению с декабристами. «Общество декабристов состояло из людей, несравненно менее образованных, чем петрашевцы, — пишет в связи с этим Достоевский. — Между петрашевцами были, в большинстве, люди, вышедшие из самых высших учебных заведений — из университетов, из Александровского лицея, из Училища правоведения и из самых высших специальных заведений. Было много преподающих и специально занимающихся наукой <…> Повторяю, по отношению к образованию петрашевцы представляли тип высший перед декабристами» (Дневник писателя. 1877. Январь. Гл 1, § III; XXV, 25). В те же годы Достоевский диктует жене заметки о петрашевцах, причем официальной версии (преуменьшавшей, как подчеркивает писатель, исторический масштаб движения и его собственную роль) Достоевский стремится противопоставить иную их трактовку; Достоевский указывает на широкий размах антиправительственной оппозиции в конце 1840-х годов и подчеркивает революционный характер настроений и конечных идеалов участников спешневского «заговора», в котором, по его оценке, были предвосхищены, хотя и в зародыше, все почти основные черты последующих революционных кружков 1860-1870-х годов. Это свидетельствует, что Достоевский, несмотря на пережитую им

впоследствии духовную эволюцию, несмотря на критическое отношение к различным социалистическим течениям XIX в. в поздних произведениях, особенно в романе «Бесы» и «Дневнике писателя», не склонен был до последних дней жизни преуменьшать ни исторической роли петрашевцев, ни своих юношеских радикальных настроений.

---

notes

Примечания

1

русский дворянин и гражданин мира *(франц.).*

2

«Жизнь Иисуса» *(франц.*).

3

Клевещите, всегда что-нибудь да останется *(франц.)*.

в высших сферах *(франц.).*

5

«Еще минуточку, господин палач, еще минуточку!» *(франц.).*

в высших сферах *(франц.).*

7

дедушка *(франц.)*.

томление, тоска *(нем.)*.

9

Это несомненно преувеличено, но отчасти и верно. Тут намек собственно на то, что в первом *№* «Гражданина» я имел несчастие привести одну древнейшую индийскую басню о дуэли льва и свиньи, причем ловко отклонил даже самую возможность предположения, что слово «лев» не скромно отношу на свой счет. И что же? Действительно многие выказали чрезвычайную и поспешную мнительность. Даже было нечто вроде феномена в редакцию пришло письмо одного подписчика из одной далекой окраины России, подписчик дерзко и азартно укоряет редакцию за то, что под словом «свинья» она будто бы несомненно подразумевает своих подписчиков — предположение до того нелепое, что даже иные и петербургские фельетонисты не решились им воспользоваться в своих обвинениях… а это уже мера всему. *Ред.*

10

Редакция находит эту картину немного преувеличенною

11

после меня хоть потоп *(франц.)*.

деспотизм *(франц.).*

его следовало бы выдумать *(франц.)*.

во что бы то ни стало (буквально: да погибнет мир) *(лат.)*.

15

«в большей мере фельетонист, чем Жюль Жанен, в большей мере католик, чем папа» *(франц.).*

непременное условие (буквально: без чего нет) *(лат.).*

17

заметка *(франц.)*.

отмычек *(франц.)*.

19

Разум *(франц.)*.

20

всех без исключения *(лат.)*.

21

нахлебник *(франц.)*.

22

словцо Жюля Фавра *(франц.*).

23

«Вера, идите сюда» *(франц.)*.

нервическое подергивание *(франц.).*

25

все прочие *(итал.)*.

26

В этой реке особенно.

27

суд присяжных *(франц.)*.

28

«Слова верующего» *(франц.).*

29

Так в подлиннике.

30

Мещерский В. П. Мои воспоминания. СПб., 1898. Ч. 2. С. 158.

31

Гражданин. 1872. № 26. С. 288.

32

Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 420.

33

«Публицист-гражданин». Литературный сб. Пг., 1916. С. 7

34

Литературное наследство. Т. 86. С. 420.

35

РуС. вести. 1901, № 1. С. 130.

36

Мещерский В. П. Мои воспоминания. Ч. 2. С. 175, 176.

37

Материалы, относящиеся к деятельности Ф. М. Достоевского как редактора «Гражданина», хранятся в фонде Главного управления по делам печати ЦГИА (Ф. 776, оп. 5, № 95, ч. 1); опубликованы в1921 г. Ю. Г. Оксманом (Творчество Достоевского. 1821–1881 — 1921.Одесса, 1921, С. 63–82). Далее: Творчество Достоевского.

38

Творчество Достоевского. С. 67.

39

Творчество Достоевского. С. 68.

40

Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981. С. 252.

41

Там же. С. 245.

42

Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1990.Т. 2. С. 137–191, 251–274.

43

Толстовский музей. СПб., 1914. Т. 2. С. 27.

44

Рус. вести. 1901 № 1 С. 130.

45

Гражданин. 1873. 20 янв. № 5. С. 153–154.

46

Творчество Достоевского. С. 71.

47

Гражданин. 1873. 15 окт. № 42. С. 1112–1114.

48

Творчество Достоевского. С. 74.

49

Там же. С. 76.

50

Гражданин. 1874. 11 марта. № 10. С. 277-279.

51

Там же. С. 278.

52

Творчество Достоевского. С. 78–79.

53

Толстовский музей. Т. 2. С. 43.

54

Гражданин. 1874. № 16. С. 445.

55

Творчество Достоевского. С. 81.

56

Мещерский В. П. Мои воспоминания. Ч. 2. С. 170.

57

Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 265–266;ср. С. 286–307.

58

Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 259.

59

«Несчастный Достоевский совсем измучился», — писал 6 января 1874 г. (т. е. незадолго до ухода писателя из «Гражданина») Н. Н. Страхов Н. Я. Данилевскому (Литературное наследство. Т. 86. С. 436).

60

Туниманов В. А. Публицистика Достоевского. «Дневник писателя» // Достоевский — художник и мыслитель. М., 1972. С. 182–183.

61

Фридлендер Г. М. Новые материалы из рукописного наследия художника и публициста // Литературное наследство. М., 1971 Т. 83. С. 108–113.

62

См.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1975. Т. 12. С. 330. Далее ссылки на это издание даются в тексте: римская цифра — том, арабская — страница.

63

Отеч. зап. 1873. № 2. С. 327.

64

См.: *Ашевский С.* Белинский в оценке его современников. СПб.,1911. С. 197–198.

65

Соловьев Вс. Воспоминания о Ф. М. Достоевском // Ист. вести.1881. № 3. С. 607.

66

Ср. у Добролюбова, объяснявшего порочность среды не нравственными качествами каждого из ее представителей, а характером их социальных связей, т. е. общественно-политическим строем России того времени: «…одного заела среда, другого среда, третьего среда, да ведь из этих — одного, другого, третьего — среда-то и состоит: кто же или что же сделало ее такою заедающею? В чем главная-то причина, корень-то всего?» (*Добролюбов Н. А.* Собр. соч. М.; Л., 1963. Т. 6. С. 204). На этот вопрос подразумевался ответ революционного характера (см.: *Вялый Г.* Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962. С. 129–132).

67

Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 425.

68

Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. Киев, 1890. С. 392. (Указано М. С. Альтманом).

69

См.: *Андреев Н. П.* Легенда о двух великих грешниках // Изв. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена. 1928. Т. 1. С. 183–198.

70

Пиксанов Н. К. Достоевский и фольклор // Сов. этнография.1934. № 1–2. С. 152–165.

71

Подобный вариант основного мотива легенды обработан Н. А. Некрасовым в «Кому на Руси жить хорошо».

72

Замечено В. А. Тунимановым.

73

См.: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. М.,1982. Т. 9. С. 121–132 и 469–470.

74

См.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. М.; Л., 1963.С. 64–75 и 128–133; *Туниманов В.* Достоевский и Некрасов // Достоевский и его время. Л., 1971. С. 33–66; *Евнин Ф.* Достоевский и Некрасов // Рус. лит. 1971. № 3. С. 24–48; *Гин М.* Достоевский и Некрасов// Север. 1971. № 11. С. 103–123; № 12. С. 106–124.

75

Автором «Литературных и общественных курьезов» был А. Г. Ковнер (1842–1909), вступивший в 1877 г. в переписку с Достоевским. Его письмо от 26 января 1877 г. было использовано в мартовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. О Ковнере см.: *Гроссман Л. П.* Исповедь одного еврея. М., 1924, *Достоевский Ф. М.* Письма. М.; Л., 1936. Т. 3. С. 377–382, а также наст. изд. Т. 14.

76

Отеч. зап. 1873. № 2. Отд. II. С. 329

77

Там же. С. 338.

78

Там же. С. 338.

79

Гин М. Об отношении Некрасова с народничеством 70-х годов // Вопр. лит. 1960. № 9. С. 118.

80

Отеч. зап. 1881. № 2. Отд. II. С. 262

81

Там же. 1875. № 12. Отд. II. С. 290.

82

Там же. 1876. № 1. Отд. II. С. 151. Ср.: наст. изд. Т. 8. С. 773.

83

Успенский Г. И. Полн. собр. соч. М; Л., 1953. Т. 6. С. 440–441.

84

Отеч. зап. 1881. № 2. Отд. П. С. 262.

85

Там же. С. 263.

86

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М., 1937. Т. 3. С. 195.

87

Уже в начале 1870-х годов внимание Достоевского привлек один из псевдонимов писателя — «Боб», переделанный неутомимым преследователем Боборыкина В. П. Бурениным в «Пьера Бобо». В фельетоне Достоевского «Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова» (1878) фигурирует именно Пьер Бобо, «всплывший для оригинальности» (по фантастическому предположению зевак) в облике тритона

Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. М., 1970. Т. 9. С. 38–45.

89

Там же. С. 46.

90

Там же. С. 40.

91

Своеобразным прототипом Домбровича, видимо, послужил Д. В. Григорович, по определению Боборыкина, «откровенный рассказчик всяких интимностей о своих собратах…» (*Боборыкин П. Д.* Воспоминания. М., 1965. Т. 1. С. 196). Во всяком случае Григорович сообщил Боборыкину много сведений интимно-скандального характера о Дружинине, Боткине, Лонгинове, Некрасове, Тургеневе, использованных писателем в «Жертве вечерней» (см. там же. С. 196–197).

92

Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. Т. 9. С. 47.

93

Она ассоциируется прежде всего с фамилиями героев «Жертвы вечерней» (Домбрович, Балдевич). По свидетельству самого Боборыкина, в его романе «является некий Балдевич, очень смахивающий на М<арке>вича» (*Боборыкин П. Д.* Воспоминания. М., 1965. Т, 1. С. 204). Беллетрист «Русского вестника», внесший свой вклад в «антинигилистическую» литературу романом «Марина из Алого рога», Б. М. Маркевич (1822–1884), кстати, в журналистских и литературных кругах получил прозвище «Бобошка». Созвучна фамилия героя «Бобка» и фамилия литератора Кинаревича в «Литературной тле» И. И. Панаева (1843).

94

Боборыкин П. Д. Жертва вечерняя. СПб., 1872. С. 46–48.

95

Там же. С. 151.

96

Там же. С. 51.

97

Там же. С. 169.

98

Там же. С. 161–162.

99

Страхов Н. Мир как целое. Черты из науки о природе. СПб., 1872. С. 67.

100

В статье «Щекотливый вопрос» Н. Ф. Павлов в своем «монологе» развивает близкие мысли: «А формы приличия — это все, самое главное. Все мы ведь такая дрянь (я говорю про всех, то есть, пожалуй, хоть про все человечество), что, не будь этих спасительных форм, мы бы тотчас же передрались и перекусались» (XX, 43).

101

В более широком плане фантастический рассказ «Бобок» — современная русская параллель к характеристике позднеримской эпохи, данной Достоевским в статье «Ответ „Русскому вестнику“»: «Все уходит в тело, все бросается в телесный разврат и, чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными».

102

См.: *Назаров Р. Г.* О прототипах некоторых персонажей Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1974. Т. 1. С 205.

103

Фамилия значащая, смысловая, так же как и фамилия генерала — «Первоедов».

104

Точно так же далеко не все события в гротескно-каламбурном мире «Бобка» дублируют скандальную газетную хронику. Напротив, хищения, производство «фальшивых бумажек» и прочие жизненные подвиги мертвецов вряд ли восходят к определенным судебным процессам; это скорее заурядные преступления в духе времени.

105

Ср. особенно: *Панаев И. И.* Полн. собр. соч. СПб., 1888. Т. 2. С. 382–383.

106

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 184–189.

107

ГолоС. 1870. *2* авг. № 211.

108

Так, в «Журнальном обозрении» «Дела» о «Бобке» говорится следующее: «…г-н Достоевский повествует, как на кладбище он подслушал разговоры погребенных уже покойников, как эти разлагающиеся трупы сплетничают, изъясняются в любви и т. д. Положим, что все это фантастические рассказы, но самый уже выбор таких сюжетов производит на читателя болезненное впечатление и заставляет подозревать, что у автора что-то неладно в верхнем этаже» (1873. № 12. С. 102; см. также: Искра. 1873. 14 марта № 12— стихотворный фельетон Д. Д. Минаева «Кому на Руси жить хорошо»).

109

См.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 87.

110

О Достоевском и русском расколе см. также: *Достоевская А. Г.* Воспоминания. М., 1971. С. 207; *Гроссман Л. П.* Жизнь и труды Ф. М. Достоевского: Биография в датах и документах. М.; Л.,1935. С. 116.

111

См. об этом: *Виноградов В. В.* Достоевский и Лесков (70-е годы XIX века) // РуС. лит. 1961. № 1. С. 63–84; № 2. С. 65–97; *Пульхритудова Е. М.* Достоевский и Лесков (К истории творческих взаимоотношений) // Достоевский и русские писатели. Традиции. Новаторство. Мастерство. М., 1971. С. 87–138, а также: *Столярова И. В.* Неизвестное литературное обозрение Н. С. Лескова (Н. С. Лесков о Ф. М. Решетникове и Ф. М. Достоевском) // Учен. зап. Ленингр. гоС. ун-та. 1968. № 339. Вып. 72. С. 224–229.

112

См.: Голос. 1873. 18янв. № 18.

113

Ср. слова «одного лица», выражающие, очевидно, мнение самого Достоевского: «Смотри сам, как ты споришь с фельетонным врагом твоим, и пойми, до чего вы наконец доругались!…» (С. 76).

114

См.: Отеч. зап. 1872. № 5. Отд. II. С. 60–75.

115

Там же. 1872. № 6, 7.

116

См.: С.-Петербургские ведомости. 1872. 21 и 29 мая. № 138 и 144.

117

Там же. 1872. 24 июня, 29 июля, 2 и 30 сент. 28 окт. 25 ноября, 2 и 30 дек. № 170, 205, 240, 268, 296, 324, 331, 357.

118

Отеч. зап. 1872. № 7. Отд. II. С. 179. Курсив наш. — *Ред.*

119

См.: С.-Петербургские ведомости. 1872. 17–20 авг. № 224–227.

120

См.: Отеч. зап. 1872. № 9. Отд. П. С. 48–74.

121

С.-Петербургские ведомости. 1872. 19 авг. № 226. Курсив наш. — *Ред.*

122

См.: Отеч. зап. 1872. № 9. Отд. II. С. 55.

123

Там же. С. 52.

124

С.-Петербургские ведомости. 1872. 19 авг. № 226. Курсив наш. — *Ред.*

125

Там же. 1872. 27 мая. № 144. Курсив наш. — Ред.

126

Там же. 1872. 24 июня. № 170.

127

О герое-парадоксалисте «Записок из подполья» см. V, 376–377; *Скафтымов А. П.* «Записки из подполья» среди публицистики Достоевского // *Скафтымов А. П.* Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 88–133.

128

См.: Указатель русского отдела венской всемирной выставки 1873. СПб., 1873. С. 158–170.

129

См., например: *Нил Адмирари (Л. К. Панютин).* По поводу выставки в «Академии художеств» // ГолоС. 1873. 4 марта. № 63; Академическая выставка // Биржевые ведомости. 1873. 14 марта. № 67; 21 марта. № 74, подпись: *П-в; Стасов В. В.* Нынешнее искусство в Европе. Художественные заметки о всемирной выставке 1873 г. в Вене *//Стасов В. В.* Избр. произведения: В 3 т. М., 1952. Т. 1. С. 525–599 и др.; библиографию печатных материалов о выставке см. в кн.: Материалы к библиографии по истории Академии художеств. 1757–1957. Л., 1957.С. 184–185.

130

См. об этом: *Стасов В. В.* Избр. соч. Т. 1. С 700–701; *Репин И. Е., Крамской И. Н.* Переписка. М., 1949. С. 42, 54, 63; *Репин И. Е., Стасов В. В.* Переписка. М., 1948. Т. 1. С. 54.

131

Фридлендер Г. М. Эстетика Достоевского // Достоевский — художник и мыслитель: Сб. статей. М., 1972. С. 151.

132

Отеч. зап. 1873. № 1. Отд. II. С. 135.

133

Там же. С. 135–136.

134

Позднее, в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. (гл. II), посвященном смерти Некрасова, Достоевский, анализируя творчество Некрасова в целом, дал иную оценку поэме «Русские женщины», назвав ее вместе с «Рыцарем на час» и «Тишиною» «шедевром» Некрасова (см.: наст. изд. Т. 14).

135

Постоянное отрицательное отношение Достоевского к «Голосу» сказалось и тут.

136

На страницах журнала Достоевского она имела заглавие «Леди Макбет нашего уезда».

137

См.: Звезда. 1931. № 2. С 224–225.

138

См.: *Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 10. С. 253–254.

139

См.: *Лесков Н. С.* Русские общественные заметки // Биржевые ведомости. 1869. 14 дек. № 340.

140

См.: Вечерняя газ. 1869. 1 янв. № 1 (об авторстве Лескова см.: *Столярова И. В.* Неизвестное литературное обозрение Н. С. Лескова (Н. С. Лесков о Ф. М. Решетникове и Ф. М. Достоевском // Учен. зап. Ленинград. гоС. ун-та. 1968. № 339. Вып. 72. С. 224–229).

141

См.: Письмо Достоевского к А. Н. Майкову от 18 (30) января1871 г. (XXIX, kh. 1, 172), письмо Лескова к П. К. Щебальскому от 11 февраля 1871 г. (*Лесков Н. С.* Собр. соч. Т. 10. С. 293).

142

См.: Там же *С.* 357–358.

143

Фаресов А. И. Против течений. СПб., 1904. С. 114.

144

См.: *Лесков Н. С.* Собр. соч. Т. 10. С. 449.

145

Роль оппонента К. Н. Леонтьева предназначалась другу Лескова, историку русской церкви Ф. А. Терновскому. Но его статья, озаглавленная «Гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский под кривосудом», была существенно переработана и опубликована за подписью Н. С. Лескова ввиде двух статей — «Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи (Религия страха и религия любви)» и «Золотой век. Утопия общественного переустройства (Картины жизни по программе К. Леонтьева)» (Новости и биржевая газ. 1-е ежедневное изд. 1883. 1, 3 апр. 22, 29 июня. № 1,3, 80, 87).

146

Новости и биржевая газ. 1-е ежедневное изд. 1883. 1 апр. № 1.

147

Лесков Н. С. Собр. соч. Т. 11. С. 134–135.

148

Подробнее об истории творческих и личных взаимоотношений Достоевского и Лескова см.: *Лесков А. Н.* Жизнь Н. Лескова. М.,1954. С. 291–293; Виноградов В. В. 1) Достоевский и Лесков (70-е годы XIX века) // РуС. лит. 1961. № 1.С. 63–84. № 2. С. 65–97; 2) Проблемы авторства и теория стилей. М., 1961. С. 487–555; *Пульхритудова Е. М.* Достоевский и Лесков (К истории творческих взаимоотношений) // Достоевский и русские писатели. Традиции. Новаторство. Мастерство. М., 1971. С. 87–138; *Богаевская К. П.* Н. С. Лесков о Достоевском (1880-е годы) // Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 606–620. Ср. также: XII, 237.

149

См.: Правительственный вести. 1873. 2 янв. № 10; Гражданин.1873. 22 янв. № 4.

150

См.: Правительственный вести. 1873. 7 янв. № 6; С.-Петербургские ведомости. 1873. 8, 10 янв. № 8, 10,

151

См.: Вестн. Европы. 1872. № 11. С. 47–97; № 12. С. 618–678.

152

В многочисленных рецензиях на книгу отмечались важность ее проблематики, несостоятельность приемов анализа (для исследования явлений социальных Стронин использовал методы естественных наук и математики) и спорность выводов (см.: Отеч. зап. 1872. № 11. Отд. II. С. 146–175; День. 1872. № 12. С. 1–25; Неделя. 1873. 14 янв. № 2; С.-Петербургские ведомости. 1873. 3, 15 и 19 янв., 28 февр. и 9 мая. № 3, 4, 19, 58, 125). Первый отзыв на книгу Стронина в «Гражданине» был помещен 5 февраля (Гражданин. 1873. № 6), в том же номере, что и «Бобок»; второй — 9 июля (Гражданин. 1873. № 28), уже после публикации статьи «Мечты и грезы».

153

См.: Отеч. зап. 1872. № 11. Отд. II. С. 167–171; 1873. № 5. Отд. II. С. 61–63.

154

Вестн. Европы. 1873. № 4. С. 744.

155

Отеч. зап. 1873. № 5. Отд. II. С. 62. Курсив наш. — *Ред.*

156

Понятие мечты присутствует также в прямом обращении Михайловского к Достоевскому — в его рецензии на роман «Бесы» — приобосновании преобладающего значения социальных реформ по сравнению с реформами политическими: «...г-н Достоевский, вы сами citoyen,вы знаете, что свобода вещь хорошая, очень хорошая, что соблазнительно даже *мечтать* об ней. Соблазнительно желать ее во что бы то ни стало, для нее самой и для себя самого. Вы, значит, знаете, что гнать от себя эти *мечты*, воздерживаться от прямых и, следовательно, более или менее легких шагов к ней — есть некоторый подвиг искупительного страдания...» (Отеч. зап. 1873. № 2. Отд. II. С. 340. Курсив наш.— *Ред*.).

157

См. об этом: *Семенов Е. И.* Роман Достоевского «Подросток»: проблематика и жанр. Л., 1979. С. 87–90.

158

См.: *Архипова А. В.* Достоевский и Кишенский // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1976. Т. 2. С. 199–207.

159

Щеглов Ив. Жертва цензурной инквизиции (К истории народного театра) // Слово. 1907. № 254. См. также: Русские писатели 1800–1917 М., 1992. Т. 2. С. 547.

160

Гражданин. 1873. 18 июня. № 25. С. 716.

161

РО Российской Гос. б-ки. Ф. 93. П. 5. № 73.

162

РО Ин-та руС. лит-ры (Пушкинский Дом). Ф. 100. № 29741.

163

Гражданин 1873. № 28. С. 791.

164

С.-Петербургские ведомости. 1873. 15 июля. № 192.

165

Там же.

166

См.: РуС. мир. 1873. 23. мая. № 132; ГолоС. 1873. 25 мая. № 143.

167

Вестн. Европы. 1873. № 5. С. 312–340.

168

Там же. С. 314–315.

169

О теме Петербурга в русской литературе XIX в. и преломления ее в творчестве Достоевского см.: XVIII, 217. Ср.: *Анциферов Н. П. 1)* Душа Петербурга. Пб., 1922; 2) Петербург Достоевского. Пг., 1923; *Шкловский* В. За и против: Заметка о Достоевском. М., 1957; *Саруханян Е. А.* Достоевский в Петербурге. Л., 1972.

170

См. также: *Кийко Е. И.* Белинский и Достоевский о книге Кюстина «Россия в 1839» // Достоевский: Материалы и исследования. Л.,1974. Т. 4. С. 189–200.

171

О жанре фельетона у Достоевского см.: *Комарович В.* Л. Фельетоны Достоевского // Фельетоны сороковых годов. М.; Л., 1930. С. 90–101.

172

См.: Правительственный вести. 1873. 12 янв. № 10; Гражданин.1873. 22 янв. № 4.

173

См.: Московские ведомости. 1873. 16–18 янв. № 12–14.

174

Отеч. зап. 1873. № 11. Отд. II. С. 183–194.

175

О «лжи и фальши» — силах, «разъединяющих» русское общество, — Достоевский писал ранее, в статье «Два лагеря теоретиков»(1862).

176

О связи замысла статьи с указанными работами Н. К. Михайловского см. также: *Розенблюм Л. М.* Творческие дневники Достоевского // Литературное наследство, М., 1971. Т. 83. С. 62–63.

177

См.: «Попрошайка». Un récit inconnu de Dostoievsky // Rev. des études slaves. Paris, 1960. T. 37. P. 17–28.

178

См.: Литературное наследство. М., 1971. Т. 83. С. 303.

179

См.: Там же. С. 345.

180

Размер гонорара за «Иностранные события» был, как об этом свидетельствуют предыдущие записи, определен Достоевским после небольшого колебания. Первоначально он называет цифру в 5 копеек за строку. Но тут же следует пересчет: статья из этой серии в № 38 составляет 487 строчек, плюс три строчки редакционного примечания, и Достоевский указывает сумму 34 р. 30 коп.

181

См.: *Виноградов В. В.* Из анонимного фельетонного наследия Достоевского // Исследования по поэтике и стилистике. Л., 1972. С. 192–198.

182

Об истории издания сборника и о Гончарове как его редакторе см: *Суперанский М. Ф.* Материалы для биографии И. А. Гончарова // Огни. Пг., 1916. Кн. 1. С. 209–215; *Алексеев А. Д.* И.А.Гончаров — член редакционно-издательского комитета сборника «Складчина» // РуС. лит. 1971. № 3. С. 86–94.

183

Гончаров И. А. Собр. соч. М., 1955. Т. 8. С. 456.

184

Там же. С. 457.

185

без гнева (*лат.)*.

186

Гончаров И. А. Собр. соч. М., 1955. Т. 8 С. 456.

187

Там же. С. 457–458.

188

Там же. С. 459.

189

РуС. лит. 1971. № 3. С. 91.

190

Гончаров И. А. Собр. соч. Т. 8. С. 461.

191

Голос. 1874. 28 марта. № 87

192

С.-Петербургские ведомости. 1874. 3 апр. № 90.

193

Там же. 5 апр. № 90.

194

Рус. мир. 1874. 12 апр. № 97.

195

Дело петрашевцев. М.; Л., 1937. Т. 1. С. 148.

196

Там же. С. 148, 334.

197

Из литературы о петрашевцах см.: XVIII, 117–194; 306–365; Петрашевцы. М., 1907; Петрашевцы. М.; Л., 1926–1928. Т. 1–3; Дело

198

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 60. Ср.: *Милюков А. П.* И. И. Введенский // *Милюков А. П.* Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890. С. 62–81. О том, что лица, арестованные по делу Петрашевского, — лишь «случайно вырванная» часть членов тогдашних кружков, писал П. П. Семенов-ТянШанский, которому, однако, остались неизвестными революционные замыслы участников движения (см.: *Семенов-Тян-Шанский П. П.* Мемуары. Пг., 1917. Т. 1. Детство и юность (1827–1855). С. 194–215; ср.: Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 202–216; *Ковалевский П. М.* Стихи и воспоминания. СПб., 1912. С. 201.

199

О том, что Достоевский главное в деле петрашевцев квалифицировал как «политический заговор» пишет и его дочь, — очевидно, со слов А. Г. Достоевской и Миллера. См.: Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской… М.; Пг., 1922. С. 23.

200

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 85

201

Кроме названных лиц, на заседаниях кружка бывали: Спешнее, Плещеев, Момбелли, Львов, Григорьев, Филиппов, Головинский, а также М. М. Достоевский, Н. А. Кашевский, Е. И. и П. И. Ломанские, А. П. Милюков, Н. А. Мордвинов, А. Д. Щелков.

Петрашевцы. М.; Л., 1928. Т. 3.

203

Петрашевцы. М.; Л., 1928. Т. 3. С. 202.

204

В ходе следствия на определенном этапе Комиссии стал известен проект устройства типографии, но она не разобралась в нем и не придала ему значения. В качестве материалов, специально подготовленных для печатания в будущей типографии Спешнева — Мордвинова, мы можем рассматривать обращенную к солдатам «Солдатскую беседу» Н. П. Григорьева и предназначенные для пропаганды в народе «Десять заповедей» П. Н. Филиппова.

205

Последнему, как и многим другим, посещавшим только собрания у Петрашевского, споры в кружке Дурова и спешневский заговор остались неизвестными, а потому воспоминания его дают неполное представление о движении петрашевцев и о роли в нем Достоевского.

206

П. П. Семенов, видевший в Достоевском в отличие от Петрашевского не «революционера», а «человека чувства» и также слышавшийэтот рассказ, вспоминает: «…в минуты таких порывов Достоевский был способен выйти на площадь с красным знаменем, о чем, впрочем, почти никто из кружка Петрашевского и не помышлял».

207

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 90, 91, 95.

208

Из этого свидетельства Пальма не следует делать вывода, что молодой Достоевский, как многие социалисты 1840-х годов, был равнодушен к политике. «Я <…> между прочим, пострадал за свои слова о том, что Россия служит политике Меттерниха», — вспоминал он, рассказывая о деле петрашевцев. В словах этих отразились не столько «славянофильские задатки Достоевского», как ошибочно полагал Миллер, сколько устойчивое отрицательное отношение его к политическому режиму Николая I и к его внешней политике, разделявшееся и другими петрашевцами.

209

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 85; ср. там же. С. 87.

210

Ковалевский П. М. Стихи и воспоминания. СПб., 1912. С. 201.

211

Петрашевцы. М.; Л., 1926. Т. 1. С. 125.

212

Формула, принятая в донесениях Антонелли для обозначенияПетрашевского.

213

В донесениях агент часто ошибочно именовал Ф. М. Достоевского «Петром Михайловичем»; в данном случае Липранди собственноручно исправил имя «Петр» на «Федор».

214

См.: Дело петрашевцев. М.; Л., 1957. Т. 3. С. 411–414, 416, 433,437, 442,

215

Былое. 1906. № 2. С. 245.

216

См.: *Бельчиков Н. Ф.* Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971. С. 241–247; *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 109–110.

217

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 106–107.

218

Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского: Биография в датах и документах. М.; Л., 1935. С. 59.

219

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 115.

220

О «высочайшей конфирмации», инсценировке обряда смертной казни и высылке Достоевского см.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 117–123; Литературное наследство. М., 1935. Т. 22–24. С. 698–703; *Бельчиков Н. Ф* Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971 С. 177–182; см. также письмо Достоевского к брату М. М. Достоевскому из Петропавловской крепости от 22 декабря 1849 г. *с* описанием всего пережитого в этот день (XXVIII, кн. 1, 161–165).

221

О том, что Достоевский-петрашевец не только интересовался расколом, но уже в то время был близок «к крестьянам, их быту и всему нравственному облику русского народа», вспоминает в своих мемуарах и П. П Семенов-Тян-Шанский.

222

См.: Дело г-на Голубева против «С.-Петербургских ведомостей» // С.-Петербургские ведомости. 1874. 25–27 сент. № 264–266, а такжестатью Суворина «Орловская легенда (Г-н Голубев и К)» в его книге «Очерки и картинки: Собрание рассказов, фельетонов и заметок Незнакомца (А. Суворина)». СПб., 1875. Кн. 1. С. 120–135.

comments

Комментарии

1

Двадцатого декабря — и что я редактор «Гражданина». — См. вступительную статью, С. 277.

2

…читал статью «Московских ведомостей» о бракосочетании китайского императора — в двухстах томах церемоний. — Перепечатанная из «Daily News» корреспонденция «Бракосочетание китайского императора» была опубликована в «Московских ведомостях» от 13 декабря 1872 г. В ней рассказывалось о церемонии бракосочетания китайского императора Тун-чжи (1862–1875), происходившей 16 октября 1872 г. Пекинский корреспондент «Daily News» отмечал: «Всё, что он (китайский император. — *Ред.)* делает, и всё, что происходит вокруг него, строго определено в книге церемоний. Всякое событие его жизни, от рождения и до смерти, предусмотрено в этой книге, которая, как говорят, состоит из 200 томов» (Моск. ведомости. 1872. 13 дек. № 315. С. 3).

3

…пригласив меня в редакторы — получать удары по пятам бамбуковыми дощечками. — Высказанное здесь Достоевским в шутливой форме опасение о неизбежности столкновений с цензурой оправдалось (см. С. 279–280).

4

…я бы тотчас перестал печатать «Бисмарка»… — Речь идет о романе В. П. Мещерского «Один из наших Бисмарков», печатание которого началось в «Гражданине» в 1872 г. (№ 9-28) и продолжалось в 1873 г. (№ 1, 3, 7, 11, 17, 19, 20). Отмечая успех у части тогдашней публики беллетристических произведений В. П. Мещерского, Достоевский говорил, как вспоминает М. А. Александров: «Теперь он пока в моде <…> Продержится еще лет пять, шесть, а там и забудут его…» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 250).

5

…в «Московских ведомостях» передовые статьи — принадлежат известному перу. — Автором передовых статей в «Московских ведомостях» был, как правило, их редактор-издатель М. Н. Катков, с которым Достоевский вел постоянную полемику во «Времени» и «Эпохе».

6

В «Голосе» они пишутся… — В заметке «Юбилей А. А. Краевского и его газеты „Голос“» (Гражданин. 8 янв. № 2. С. 53) высмеивалась пространность передовых статей «Голоса», автором которых был назван Г. К. Градовский, редактировавший в 1872 г. «Гражданин».

7

«Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве»… — Иронический намек на слова Гоголя, который в «Выбранных местах из переписки с друзьями» писал: «Вы понадеялись, что я знаю Россию, как пять моих пальцев, а я в ней ровно не знаю ничего» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 8. С. 311).

8

…«Гражданину» еще долго придется говорить самому с собой… — Достоевский не ошибся: количество подписчиков «Гражданина» не превышало двух тысяч. Высказанное здесь опасение не раз обыгрывалось впоследствии в полемических статьях, направленных против «Гражданина». Так, в частности, Н. К. Михайловский писал о редакционной деятельности Достоевского в «Гражданине»: «…что сделает из „Гражданина“ г-н Достоевский и сделает ли что-нибудь? Теперь, кажется, можно уже ответить на этот вопроС. Г-н Достоевский из „Гражданина“ ничего не сделает, ничего или почти ничего. Правда, шутовской характер органа русских людей, стоящих вне всякой партии, постепенно ослабевает под влиянием, надо думать, нового редактора. Но бог весть, к добру ли это: шутовство именно и составляло до сих пор цвет „Гражданина“, и, лишаясь его, „Гражданин“ обесцвечивается» (Отеч. зап. 1873. № 2. С. 315).

9

…разговаривая с покойным Герценом — «С того берега». — А. И. Герцен умер в Париже 9 (21) января 1870 г. Здесь речь идет, очевидно, о свидании Достоевского с Герценом в июле 1862 г. в Лондоне. В письме к Н. П. Огареву от 5 (17) июля 1862 г. Герцен писал: «Вчера был Достоевский — он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ». Книга Герцена «С того берега» (1847–1850) хранилась в библиотеке Достоевского.

10

Об этой книге — Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье… — Речь идет о статье М. П. Погодина «А. И. Герцен», опубликованной в журнале «Заря» (1870. № 2. С. 75–95), в состав которой вошли и напечатанные ранее воспоминания Погодина о его встрече с Герценом в Монтре («Отрывок из дорожных записок 1865 года», впервые: «Русский». 1867. 10 апр. № 9-10). Погодин но называет здесь книгу «С того берега». О положительном отношении к ней Погодина Достоевский, вероятно, заключил из общей высокой оценки, которую тот дал произведениям Герцена, написанным после эмиграции из России в январе 1847 г.

11

Эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента — он вас во многих случаях ставит к стене. — Достоевский верно уловил здесь особенность замысла книги Герцена. В одной из глав «Былого и дум» Герцен писал, рассказывая о глубоком нравственном и идейном кризисе, который он переживал после французской революции 1848 г.: «Наскучив бесплодными спорами, я схватился за перо и сам в себе, с каким-то внутренним озлоблением, убивал прежние упованья и надежды <…> Моя логическая исповедь, история недуга, через который пробивалась оскорбленная мысль, осталась в ряде статей, составивших „С того берега“. Я в себе преследовал ими последние идолы, я иронией мстил им за боль и обман; я не над ближним издевался, а над самим собой» (*Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 10. С. 226, 233). О взаимной обусловленности художественной (диалогической) формы книги Герцена и ее содержания см.: *Гинзбург Л. Я.* «С того берега» Герцена (Проблематика и построение) // Изв. АН СССР. Отд. лит-ры и яз. 1962. Т. 21, вып. 2. С. 115.

12

…Белинский и усадил слушать свою статью — Зарезал! Зарезал! — Этот же эпизод Герцен рассказал в «Былом и думах» (ч. II, гл. XVI). «Разговор между господином А. и господином Б.» — статья Белинского «Русская литература в 1841 году», написанная «в форме <… > разговора между двумя лицами — А. и В.», была напечатана в «Отечественных записках» (1842. № 1). По первоначальному замыслу Достоевского, анекдот Герцена об указанной статье Белинского должен был рассказывать, предаваясь литературным воспоминаниям, «идеальный западник» в «Бесах».

13

…мое первое вступление на литературное поприще… — Знакомство Достоевского с Белинским состоялось около I июня 1845 г., вскоре после завершения романа «Бедные люди». Об этом периоде жизни Достоевский более подробно рассказал в январском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. (гл. 2, § 4). Факты личных и литературных взаимоотношений молодого Достоевского с критиком отразились также в «Униженных и оскорбленных» (см.: наст. изд. Т. 4. С. 26–27).

14

…gentilhomme russe et citoyen du monde — Выражение это у Достоевского впервые встречается в «Бесах». Так хотел подписать свою предсмертную записку Кириллов (см.: гл. 6. «Многотрудная ночь»).

Н. К. Михайловский в февральском номере «Отечественных записок» за 1873 г. в «Литературных и журнальных заметках» вступил в полемику с Достоевским по поводу исторической и общественной роли представителей образованного «русского барства», самым ярким типом которого был, с точки зрения автора «Старых людей», Герцен. Соглашаясь с Достоевским в том, что «барство извращает понятия о добре и зле», Михайловский замечал, однако, что процесс этот начался задолго до Петра I. В эпоху петровских преобразований «…произошло не забвение границ добра и зла, а их открытие» (Отеч. зап. 1873, № 2. С. 341). Исходя из анализа опубликованных уже разделов «Дневника писателя», Михайловский утверждал, что «правда» Достоевского, вопреки его желанию, не всегда тождественна с народной «правдой», ибо народное мировоззрение не отличается цельностью (см. там же. С. 338). Заявляя, что Достоевский обнаружил свою принадлежность к разряду «citoyens du monde», Михайловский спрашивал: «…что же делать citoyen'ам, людям, нюхнувшим правды „общечеловеческой“, в виду стихийности и разнородного состава правды народной?» С точки зрения Михайловского, citoyen'ы идут одним из двух возможных путей: «…или они выбирают из народной правды то, что соответствует их общечеловеческим идеалам, тщательно оберегают это подходящее и при помощи его стараются изгнать неподходящее; или же навязывают народу свои общечеловеческие идеалы и стараются не видеть происходящего» (там же). Достоевского Михайловский упрекал в том, что он избрал второй, пассивный путь: «Ему хорошо жить. Он знает, что, что бы с народом ни случилось, он в конце концов спасет себя и нас <…> Легко тоже жить с мыслью о том, что мой народ любит страдать <…> Однако, при всей легкости этих двух citoyen'ских мыслей, они имеют и некоторое неудобство: с ними легко жить, но трудно действовать. Каждый шаг citoyen'а, проникнутого этими мыслями, связан: с одной стороны, он знает, что народ и только народ скажет

последнее слово, значит, ему citoyen'y, и соваться нечего; с другой стороны, он знает, что он, чего доброго, может неосторожно лишить народ его святыни — страдания» (там же. С. 339).

15

…идеальный народ — чернь девяносто третьего года. — 1793 год — высший этап якобинской диктатуры. Опираясь на широкое движение народа и плебейских масс Парижа, якобинский Конвент произвел важнейшие социально-политические реформы, уничтожившие все феодальные права и привилегии. В кружке Белинского — Герцена начала 1840-х годов события Великой французской революции вызывали повышенный интереС. По инициативе Белинского И. И. Панаев по субботам в кругу друзей оглашал результаты своих изысканий из истории революционного движения во Франции (см.: *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1950. С. 242). В письме к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г. Белинский делился впечатлением от чтения «Истории французской революции» Тьера: «Новый мир открылся предо мною. Я всё думал, что понимаю революцию — вздор — только начинаю понимать. Лучшего люди ничего не сделают». Там же Белинский отмечал историческую необходимость актов якобинского Конвента, когда, по словам критика, «рубили на гильотине головы аристократам, попам и другим врагам бога, разума и человечности».

Из дневниковых записей Герцена начала 1840-х годов видно, что, с его точки зрения, события 1793 г. были подготовлены французскими просветителями конца XVIII в., якобинский Конвент же положил начало социалистическому движению XIX столетия. Человечество, утверждает Герцен, не забудет этот «первый шаг» (см.: *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 2. С. 206–207, 289). В то же время Герцен видел и глубокие противоречия якобинской диктатуры. В дневнике 1844 г. он писал: «…не всех актеров 93 года можно любить <…> Марат, Робеспьер и Фукье Тенвиль вместе. Понять, оправдать, отдать не токмо справедливость, но склониться пред грозными явлениями Конвента <…> долг. Более, в самих гнусностях их не должно терять признака величия (там же. С. 348).

В кругу Белинского был популярен хорошо известный и Достоевскому роман Ж. Санд «Спиридион» (1839), в финале которого изображены революционные солдаты 1793 г., разрушающие монастырь с пением «Марсельезы» (Sand G. Spiridion. Paris, 1839. P. 468). Его

конец, отредактированный П. Леру (см.: *Каренин В.* Жорж Санд, ее жизнь и произведения. Пг., 1916. Т. 2. С. 205–222), И. И. Панаев перевел на русский язык специально для Белинского (см.: *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1950. С. 248). Об отношении Достоевского к французской революции XVIII в. см.: наст. изд. Т. 4. С. 424–432. В библиотеке Достоевского были труды Ламартина и Тьера по истории революции.

16

Герцен должен был стать социалистом — от сердечной пустоты на родине. — Эта характеристика Герцена впоследствии вспоминалась Достоевскому при работе над образом Версилова в «Подростке».

17

Он отрекся от основ прежнего общества — хорошим отцом и мужем. — Социальные преобразования, по мнению Герцена, должны были затронуть формы брака и нравственности. Он писал: «Между свободным счастием человека и его осуществлением везде путы и препятствия прежнего религиозного воззрения. В будущую эпоху нет брака, жена освободится от рабства, да и что за слово жена? Женщина до того унижена, что, как животное, называется именем хозяина. Свободное отношение полов, публичное воспитание и организация собственности. Нравственность, совесть, а не полиция, общественное мнение определят подробности сношений» (*Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 2. С. 290). Однако Достоевский был неправ, утверждая, что Герцен «отрицал семейство». Герцен склонен был считать, что «совершенная преданность общим интересам» не может облегчить для всех «крест частной жизни». Вступая в полемику с Фурье, он писал: «Фурье не понял женщины, не понял любви — ему беспрестанно мерещились развратные браки, негодные женщины, скверные отцы и ложная наружность, которой всё это прикрыто лицемерной внешностью, и кто не согласится, что легальное, юридическое определение брака, родства, etc., сходное с католическим и феодальным воззрением, несостоятельно? Но внутреннее венчание любовью, истинные отношения мужчины к женщине, обоих к детям не улаживаются так легко словом „общественное воспитание“ <…> Отстранить мать от воспитания детей можно только тогда, когда она хочет этого <…> Силой отнять детей — варварство и противуречие с системой, дающей всякой страсти развитие» (там же. С. 346). См. о социалистических воззрениях Герцена в кн.: Идеи социализма в русской классической литературе. Л., 1969. С. 104–128.

18

Отрицал собственность — успел устроить дела свои… — Уже в ходе работы над «Бесами» Достоевский собирался в близких выражениях охарактеризовать «идеального западника» (см.: XII, 333). Об устройстве своих денежных дел за границей Герцен рассказал в «Былом и думах» (ч. V, гл. XXXIX).

19

Это был художник, мыслитель, блестящий писатель… — Достоевский считал, что преобладание таланта писателя-художника сказывалось во всех сферах деятельности Герцена. Об этом он писал Н. Н. Страхову 24 марта (5 апреля) 1870 г.: «…он был всегда и везде — *поэтпо преимуществу.* Поэт берет в нем верх везде и во всем, во· всей его деятельности. Агитатор-поэт, политический деятель — поэт, социалист — поэт, философ — в высшей степени поэт!».

20

…*издавал ли журнал с Прудоном*… — Герцен принимал участие в газете Прудона «La Voix du Peuple» («Голос народа»), которая выходила с 1 октября 1849 г. по 14 мая 1850 г. Историю знакомства и сотрудничества с Прудоном Герцен рассказал в «Былом и думах» (ч. V гл. XLI).

21

…выходил ли в Париже на баррикады — в своих записках… — Об этом Герцен рассказал в одной из «Западных арабесок» («В грозу»), включенных в пятую часть «Былого и дум».

22

…посылал ли в Россию — в одной из позднейших статей своих… — Достоевский имеет в виду воззвание издателей «Колокола» «Русским офицерам в Польше», относящееся к 1862 г. Окончательные поправки в него Герцен внес после того, как представители «слагающегося польского правительства» заверили русских, что в основание своих действий они кладут «признание (права) крестьян на землю, обработываемую ими, и полную самоправность всякого народа располагать своей судьбой» (*Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. 11. С. 369).

Издатели «Колокола» считали, что союз революционно настроенных офицеров с восставшей Польшей должен способствовать подъему русского освободительного движения. В обращении к офицерам говорилось: «Деятельный союз ваш с поляками не может ограничиться одним отторжением Польши от России; он должен стремиться к тому, чтоб это отторжение помогло в свою очередь нашему земскому переустройству <…> Земля крестьянам, самобытность областям — на этом основании, *и только на нем,* может утвердиться деятельный союз ваш с польскими братьями» (там же. М., 1959. Т. 16. С. 252–253). Польское восстание не повлекло за собой народного движения в России. В связи с этим Герцен высказал в статье «М. Бакунин и польское дело» (1865) мысль, что им было «что-то ошибочно сделано» (там же. Т. 11. С. 373) Статья эта впервые была опубликована в «Сборнике посмертных статей» А. И. Герцена, изданном в Женеве в 1870 г.

О своем выступлении в защиту Польши Герцен писал И. С. Тургеневу 29 марта (10 апреля) 1864 г.: «Мы спасли честь имени русского— и за это пострадали от рабского большинства»

23

…*не по отцу только.* — Отец А. И. Герцена — русский помещик, мать — немка Луиза Гааг; брак родителей не был оформлен.

24

Белинский — Отец его был, кажется, военным лекарем — Белинский родился 30 мая 1811 г. в семье лекаря 7-го гребного экипажа Балтийского флота Григория Никифоровича Белынского и его жены Марии Ивановны, урожденной Ивановой, дочери шкипера 9-го класса. Выйдя в отставку, отец будущего критика получил назначение на должность уездного врача в Пензенской губернии.

25

…повесть моя «Бедные люди» восхитила его… — Разбор «Бедных людей» содержится в статье Белинского о «Петербургском сборнике» (1846), где эта повесть была впервые напечатана (см.: *Белинский В. Г.* Поли собр соч. М, 1955. Т. 9. С. 549–563; *Кийко Е. И.* Белинский о «Бедных людях» Достоевского // Проблемы реализма русской литературы XlX века. М.; Л., 1961. С. 354–367).

26

…мы разошлись — от разнообразных причин… — Разногласия между Белинским и Достоевским затрагивали как нравственно-философские, так и эстетические проблемы. Белинский как атеист иронически относился к религиозности Достоевского, к его вере в бессмертие души. Глава «натуральной школы» не принял последних, написанных при его жизни произведений Достоевского («Господин Прохарчим», «Хозяйка»), усмотрев в них отступление от художественных принципов «Бедных людей». В объяснении по делу петрашевцев Достоевский писал в 1849 г.: «В литературном мире небезызвестно весьма многим о моей ссоре и окончательном разрыве с Белинским в последний год его жизни. Известна тоже и причина нашей размолвки: она произошла из-за идей о литературе и о направлении литературы» (см.: С. 225).

27

Интернационалка в одном из своих воззваний — общество атеистическое… — «Интернационалкой» в русской печати того времени называли Международное товарищество рабочих, I Интернационал, основанный в 1864 г. К. Марксом и Ф. Энгельсом. Достоевский ошибался: воззвание, о котором идет речь, исходило не от I Интернационала, но от созданного М. А. Бакуниным в 1869 г. «Альянса социалистической демократии». Маркс и Энгельс не раз разоблачали мелкобуржуазную анархическую сущность «Альянса», а в 1871 г. выступили с протестом против попытки приписать упомянутое Достоевским воззвание Генеральному совету I Интернационала. В протесте, напечатанном 13 июня н. ст. 1871 г. в газете «Times» говорилось: «Из всех документов, которые Жюль Фавр цитирует в качестве документов Интернационала, ни один не принадлежит Интернационалу. Так, например, он говорит: „Альянс объявляет себя атеистическим, как это заявляет Генеральный Совет, учрежденный в Лондоне в июле 1869 года“. Генеральный Совет никогда не выпускал такого документа. Напротив, он выпустил документ, объявляющий недействительным тот самый устав Альянса — L'Alliance de la Démocratie socialiste в Женеве, — который как раз Жюль Фавр и цитирует» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 17. С. 369–370). Когда Достоевский писал статью «Старые люди», Бакунин уже был исключен из Интернационала (в 1872 г.), а руководимый им «Альянс» распался. Об упомянутом воззвании «Альянса» Достоевский мог читать в цикле фельетонов Н. И. Щербаня, печатавшихся в 1871 г. в «Голосе». Щербань писал в одном из них: «В Женеве одна из секций общества («Internationale»), именуемая „Alliance“, провозгласила <…> атеизм: отмену всех вероисповеданий, замену религий — наукою, божественного правосудия — человеческим; уничтожение брака в смысле политического, религиозного, юридического и гражданского учреждения». (ГолоС. 1871. 2 июня. № 151).

28

…он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. — Атеизм Белинского органически обусловливался его философским материализмом, к которому он пришел в результате страстных поисков истины. В письме к В. П. Боткину 4 октября 1840 г. Белинский с горечью писал: «…Станк<евич> верил личному бессмертию, Штраус и Вердер верят. Но мне от этого не легче: всё так же хочется верить и всё так же не верится». Став революционным демократом в начале 1840-х годов, Белинский в своих статьях (и еще более откровенно в письмах к друзьям) декларировал протест «против всех субстанциальных начал, связывающих в качестве верования волю человека» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 12. С. 70). В отличие от социалистов-утопистов, веривших, что их мечты о свободном обществе могут быть осуществлены мирным путем, Белинский утверждал: «Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови» (там же. С. 71).

Мнение Достоевского, рассматривавшего мировоззрение Белинского как целостную философско-социальную систему взглядов, «самая суть» которых перекликалась с общими идеями революционного движения второй половины XIX в., было оспорено М. П. Погодиным в статье «К характеристике Белинского (Справка с объяснениями)» (Гражданин. 1873. 26 февр. № 9. С. 272–275). Полемизируя с А. Н. Пыпиным, автором публиковавшегося в «Отечественных записках» 1871–1872 гг. цикла исторических очерков «Характеристики литературных мнений. От двадцатых до пятидесятых годов», а через его голову — с Чернышевским, М. П. Погодин писал о Белинском: «… переменять свой образ мыслей так быстро <…> из пламенного христианина делаться отчаянным безбожником и пропагандистом — это ни с чем не сообразно <…> Белинский <…> принадлежит к ряду Дон-Кихотов, которым нельзя иногда не симпатизировать, но за которыми смешно следовать в их ежедневных экскурсиях и ежемесячных сальто-морталях» (Гражданин. 1873. 26 февр. № 9. С. 274). Печатая статью Погодина, Достоевский был озабочен тем, чтобы читатели не приписали эту статью редактору «Гражданина». 21 февраля 1873 г. он писал М. П.

Погодину: «Сейчас прочел о Белинском. Зачем же Вы не хотите подписаться под такою превосходною вещью полным именем? <…> Черкните ради бога *немедленно* три строки о позволении подписать: М. *Погодин.* (Клянусь Вам, подумают, что это я сам сочинил, чтоб подтвердить мои указания о Белинском. Здесь многие меня обвинили за эту статью)». Статья Погодина появилась за подписью: Старый читатель журналов М. Погодин.

29

…социализм не только не разрушает свободу личности — восстановляет ее в неслыханном величии.… — В письме к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г. Белинский писал: «…настанет время, когда никого не будут жечь, никому не будут рубить головы, когда преступник, как милости и спасения, будет молить себе казни, и не будет ему казни, но жизнь останется ему в казнь, как теперь смерть, когда не будет бессмысленных форм и обрядов, не будет договоров и условий на чувство <…> Женщина не будет рабою общества и мужчины <…> Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, будут люди…».

30

…Белинский не остановился — как остановился Ренан — идеал красоты человеческой… — Достоевский имеет в виду книгу французского историка и философа Э. Ренана (1823–1892) «Жизнь Иисуса» (1863). О знакомстве Достоевского с книгой Ренана и о ее роли в творческой истории «Идиота» (1868) см. наст. изд. Т. 6. С. 620; см. также: *Кийко Е. И.* Достоевский и Ренан // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 4. С. 106–122. В заключительной главе своей книги Ренан писал: «Из всех этих колонн, показывающих человеку, откуда он происходит и куда должен стремиться, Иисус — самая высокая <…> каковы бы ни были неожиданности, которые готовит нам будущее, Иисуса никто не превзойдет <…> во все времена все будут провозглашать, что среди сынов человеческих никогда не рождалось более великого, нежели Иисус» (см.: Renan E. Vie de Jésus. 8-me éd. Paris. 1863. P. 457–459).

Характеризуя Белинского, Достоевский допускает неточность: отвергая божественность Христа и считая его исторической личностью, Белинский в зальцбруннском письме к Гоголю подчеркнул, что Христос «…первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 10. С. 214). О суждениях Белинского о Христе говорится и в «Братьях Карамазовых» (ч. 4, кн. 10, гл. VI).

31

…присутствовал один из друзей Белинского — один молоденький, начинающий литератор — примкнул к социалистам и пошел за ними. — «Один из друзей» — очевидно, В. П. Боткин. Ближайший единомышленник Белинского, Герцен, жил в Москве. Когда же он, приехав в начале октября 1846 г. в Петербург, встретился с Достоевским, Белинский был в отъезде. С Василием Петровичем Боткиным (1811–1869), писателем, критиком, искусствоведом, Белинский познакомился в 1836 г, и с тех пор их связывали узы дружбы и общность интересов. Боткин внимательно следил за передовыми социально-философскими течениями Западной Европы, а в начале 1840-х годов стал поклонником Штрауса и Фейербаха. Приведенное Достоевским суждение, что Христос примкнул бы «к движению и стал во главе его», соответствует представлениям Боткина того времени. Однако Боткин и Белинский по-разному понимали задачи и цели «движения»; резкое различие их взглядов особенно обнаружилось в конце 1846 г., когда после трехлетнего пребывания за границей Боткин в ноябре вернулся в Россию. С сожалением отмечая непреодолимость идейных разногласий с Боткиным, Белинский как-то сказал, что тот «съездил в Европу <…> заразился европейским развратом, а великие европейские идеи пропустил мимо ушей» (Белинский в воспоминаниях современников. М., 1948. С. 95).

После смерти Белинского его идейные противники не раз выступали с утверждением, что взгляды критика формировались под воздействием его европейски образованных друзей, в том числе Боткина. Сам Боткин, однако, в письме к А. В. Дружинину, стороннику этой точки зрения, писал в 1857 г.: «Что же касается до моих отношений к Белинскому, то, право, трудно решить, по крайней близости этих отношений, на которую сторону было больше влияния <…> Выгода моя состояла только в том, что я знал по-немецки и смело мог справляться с источниками» (XXV лет. 1859–1884 г.: Сб. изд. комитетом Об-ва для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884. С. 499–500).

«Молоденький, начинающий литератор» — вероятнее всего, И. С. Тургенев, которому тогда было 28 лет. «Поэт, талант, аристократ,

красавец, богач, умен, образован, 25 лет» — так характеризовал Достоевский Тургенева в письме к брату М. М. Достоевскому 16 ноября 1845 г. В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенев рассказывает, что «особенно часто» бывал он у Белинского «перед январем1847 года». Предположение, что речь идет о И. А. Гончарове, начинавшем тогда же свою литературную карьеру и изредка навещавшем Белинского, менее правдоподобно: Гончарову в 1846 г. было 34 года, и он уже был известен в литературных кругах как автор готовящейся к печати «Обыкновенной истории» (1847).

В конце 1846 г. Достоевский поссорился с Некрасовым, но продолжал навещать Белинского. «Только с ним я сохранил прежние добрые отношения. Он человек благородный», — писал автор «Бедных людей» и «Двойника» М. М. Достоевскому 26 ноября 1846 г. Таким образом, описанная здесь встреча могла произойти в ноябре-декабре 1846 г., когда и Достоевский, и Боткин, и Тургенев регулярно посещали Белинского. Характеристики других членов петербургского кружка Белинского см. в кн.·. *Нечаева В. С.* В. Г. Белинский: Жизнь и творчество. 1842–1848 гг. М.; 1967. С. 102–137.

32

…всё французы: прежде всех Жорж Занд, теперь совершенно забытый Кабет, Пьер Леру и Прудон — Фурье уже далеко не так уважался. — Идеями социалистов-утопистов Белинский увлекался в 1842–1845 гг. В конце 1846 г. он со все нарастающей настойчивостью призывал «искать и вопросов и их решения» в русской жизни, «у себя, в себе, вокруг..» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 32. ср.: наст. изд. Т. 4. С. 393). Оставаясь верным социалистическому идеалу до конца своих дней, Белинский в отличие от Фурье и других утопистов видел путь к преобразованию действительности в познании законов ее развития.

Жорж Занд (Санд) — псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван (Dudevant, 1804–1876), проповедовавшей в своих романах идеи утопического социализма. О Ж. Санд и ее популярности в России 1840-х годов см.: «Дневник писателя за 1876 год» (июнь, гл. I).

Кабет — французский коммунист-утопист Этьен Кабе (1788–1856), автор книги «Путешествие в Икарию» (1840).

Пьер Леру (Leroux, 1797–1871) — французский философ и социалист-утопист, один из основателей христианского социализма; с 1841 г. издавал совместно с Ж. Санд журнал «Revue Indépendante», который регулярно получали в Петербурге. Отзывы Белинского о Леру, восторженные в 1842–1843 гг., стали весьма критическими в последние годы его жизни.

Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф (1809–1865) — французский мелкобуржуазный публицист и социолог, теоретик анархизма. В библиотеке Белинского сохранилось первое издание запрещенного в России трактата Прудона «Qu'est'ce que la propriété» («Что такое собственность?», 1840) (см.: Литературное наследство. М., 1948. Т. 55. С. 561). В «Письме из Парижа», напечатанном в «Современнике», идейным руководителем которого был Белинский, П. В. Анненков противопоставлял «фаланстерам» Консидерана, «сумасбродствам» Пьера Леру и «доктрине» Луи Блана новую экономическую теорию Прудона. По словам Анненкова, Прудон в своей книге «Systeme des contradictions économiques» («Система экономических противоречий»,

1846) убедительно доказал, что «единственная помощь для общества заключается не в благонамеренных *способах* исцеления, предлагаемых со стороны, а только в отыскании *закона,* по которому богатства развиваются правильно и сами собой» (Современник. 1847. № 1. Отд. IV. С. 35). Идеи Прудона в сочетании с критикой социально-утопических теорий Фурье, Леру, Кабе и других популяризировались и в статье «Мальтус и его противники» В. А. Милютина (1826–1855), экономиста и литератора, близкого к кругу петрашевцев, также напечатанной в «Современнике» (1847. № 8 и 9). При аресте по делу петрашевцев у Достоевского была обнаружена книга Прудона «La célébration du dimanche» («О праздновании воскресения», 1839).

33

Фейербах (Feurbach) Людвиг (1804–1872) — немецкий философ-материалист. Впервые об основных идеях Фейербаха Белинскому написал 22 марта 1842 г. В. П. Боткин (см.: *Белинский В. Г.* Письма. СПб., 1914. Т. 2. С. 416–422), с книгой Фейербаха «Das Wesen des Christentums» («Сущность христианства», 1841) критик познакомился в июне того же года. Как свидетельствует П. В. Анненков, некоторые главы этой книги специально были переведены для Белинского «одним из его приятелей». В отличие от других западников, также увлекавшихся книгой Фейербаха, Белинский (как и Герцен) связал «открытый ею переворот в области метафизических идей с политическим переворотом, который возвещали социалисты» (*Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1960. С. 274).

34

…научиться ни одному иностранному языку… — В действительности Белинский в университете изучал немецкий, французский и английский языки. В 1833–1834 гг. он напечатал ряд переводов с французского в «Телескопе» и «Молве», а в 1840-х годах читал французские журналы.

35

Штраус (Strauss) Давид Фридрих (1808–1874) — немецкий историк-богослов, философ, публицист, автор книги «Жизнь Иисуса» (т. 1–2, 1835–1836), пользовавшейся в России большой популярностью, несмотря на то что она была запрещена (см.: Каторга и ссылка. 1929. Кн. 6. С. 195). В указанном сочинении Штраус подверг критике христианские догматы, объявил евангелия мифами и отстаивал точку зрения на Христа как на историческую личность. Белинский познакомился с «Жизнью Иисуса» Штрауса, «человека великого и гениального» еще в конце 1830-х годов (см.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 11. С 484–485). Отзыв Достоевского о Штраусе, книгу которого он брал в библиотеке Петрашевского, см. С. 156, 157.

36

…Белинский — примкнул бы к славянофильству. — Такую мысль не раз высказывал Ап. Григорьев в статьях, напечатанных в журналах «Время» и «Эпоха», с особой категоричностью — в «Парадоксах органической критики» (Эпоха. 1864. № 5. С. 255–273; № 6. С. 264–277). Он писал: «Для меня лично <…> нет ни малейшего сомнения в том, что, проживи еще несколько лет великий критик, он всё бы это понял и всё бы это лучше всех нас выяснил <…> Увлечение Белинского (западничеством. — *Ред.*), нет сомнения, сменилось бы иным и столь же пламенным увлечением» (см.: *Григорьев Ап.* Соч. СПб., 1876. Т. 1. Критические статьи. С. 621, 628). О том же говорилось в редакционном объявлении об издания журнала «Время» на 1862 г.: «Если б Белинский прожил еще год, он бы сделался славянофилом...». В 1863 г. в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский склонен был считать Белинского «тайным славянофилом» (наст. изд. Т. 4. С. 393). Позднее в письме к А. Н. Майкову от 11 (23) декабря 1868 г. Достоевский заявил: «…никогда не поверю словам покойного Аполлона Григорьева, что Белинский кончил бы славянофильством». Однако в «Дневнике писателя» за 1876 г. (июнь, гл. 2, § 1, «Мой парадокс»), называя Белинского западником, «примкнувшим чуть не из первых русских прямо к европейским социалистам», Достоевский утверждал, что критик был в то же время «самым крайним бойцом» «за русскую правду, за русскую особь, за русское начало, именно за всё то, что он отрицал в России для Европы». Во вражде западников со славянофилами Достоевский видел в это время «великую ошибку с обеих сторон».

37

…примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой т-те Гёгг… — Достоевский повторяет фразу из письма к А. Н. Майкову от 11 (23) декабря 1868 г., встречающуюся и в подготовительных материалах к «Бесам».

38

…очень грустил — самый торопившийся человек в целой России. — Эта черта характера Белинского отмечена также в подготовительных материалах к «Бесам» и в записной тетради 1872–1873 гг. среди «Текучих фраз», датированных 23 декабря 1872 г.: «Белинск<ий>; он тосковал только. Зачем не сейчас, зачем не так скоро».

Достоевский несомненно знал стихотворение Некрасова «Памяти приятеля» (1853), посвященное Белинскому, где о нем сказано:

Наивная и страстная душа,
В ком помыслы прекрасные кипели,
Упорствуя, волнуясь и спеша,
Ты честно шел к одной высокой цели…

Строка «Упорствуя, волнуясь и спеша» приведена и в воспоминаниях о Белинском Тургенева, на которые Достоевский неоднократно ссылался в период работы над «Бесами». Отмечая, что Белинский хотел уже «сегодня» или «завтра» видеть результаты своей деятельности, Достоевский касался одного из основных пунктов своих расхождений с революционно-демократическим крылом русского освободительного движения. Так, еще в записной книжке 1860–1862 гг. он бросил упрек участникам «Современника»: «Куда вы торопитесь? (Чернышевск<ий>) Общество наше решительно ни к чему не готово. Вопросы стоят перед нами. Они созрели, они готовы, но общество наше отнюдь не готово! Оно разъединено».

39

…у Знаменской церкви. — Речь идет о церкви Знамения пресвятой богородицы, находившейся на Знаменской площади напротив Московского вокзала.

40

…Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся). — Николаевская (после 1923 г. — Октябрьская) железная дорога, связавшая Петербург с Москвой, была построена в 1843–1851 гг. Эпизод встречи Достоевского с Белинским рассказан в подготовительных материалах к «Бесам» с дополнительными подробностями (см.: XI, 73).

41

В последний год его жизни… — Белинский умер 26 мая (7 июня) 1848 г.

42

…в Тобольске — увидели этих великих страдалиц… — Встреча с женами декабристов была описана Достоевским в письме к М. М. Достоевскому от 22 февраля 1854 г.: «Хотелось бы мне очень подробно поговорить о нашем шестидневном пребывании в Тобольске и о впечатлении, которое оно на меня оставило <…> Ссыльные старого времени (то есть не они, а их жены) заботились об нас как о родне. Что за чудные души, испытанные двадцатипятилетним горем и самоотвержением. Мы видели их мельком, ибо нас держали строго. Но они присылали нам пищу, одежду, утешали и ободряли нас». Известны письма Достоевского к женам декабристов: Наталье Дмитриевне Фонвизиной (20-е числа февраля 1854 г.) и Прасковье Егоровне Анненковой (18 октября 1855 г.). Об участи жен декабристов Достоевскому напомнила и поэма Некрасова «Русские женщины», первая часть которой — «Княгиня Трубецкая» (Отеч. зап. 1872. № 4) — была уже ему известна (отзыв о поэме в целом см. С. 87). Эпизод встречи «декабристок» с «петрашевцами», и в том числе с Ф. М. Достоевским, рассказан в воспоминаниях М. Д. Францевой (см.: Ист. вест. 1888. № 6. С. 628–629).

43

…выучил читать одного каторжного… — О том, как Достоевский выучил читать дагестанского татарина Алея (Али) по русскому переводу Нового завета, рассказано в «Записках из Мертвого дома» (ч. 1, гл. 4: «Первые впечатления»).

44

…Да и самый суд-то присяжных — не в виде дара получили. — Участие присяжных в судебном процессе было введено в Англии Генрихом II (1133–1189). В России во время подготовки судебной реформы ее противники апеллировали к русской исторической традиции, не находя там опоры для введения суда присяжных. Впоследствии сторонник демократических принципов судопроизводства А. Ф. Кони, подчеркивая радикальный характер реформы суда, писал: «…не в истории русского права и не в старом суде пришлось составителям судебных уставов искать опоры для своей решимости ввести суд присяжных. Им пришлось обратиться к нравственным свойствам русского народа — опереться на веру в его способности и в духовные силы своей страны» (*Кони А. Ф.* Собр. соч. М., 1967. Т. 4. С. 213).

45

«Это отчасти славянофильский голос» — «Больно, дескать, очень приговорить человека». — Подобную точку зрения некоторые из славянофилов развивали еще в 1863 г., возражая против введения суда присяжных. Автор статьи в аксаковском «Дне» «По поводу будущего суда присяжных» утверждал, например: «Не отличая преступлений юридических от нравственных, или, точнее сказать, смотря на все преступления без исключения с точки зрения нравственной, русский человек считает себя в глубине души таким же виновником или даже еще больше, чем тот, кого приходится судить <…> При таких воззрениях, естественно, не поворачивается язык произнести слово осуждения, а тем менее положить наказание» (День. 1862. 17 ноября. № 46). Тогда же в журнале братьев Достоевских «Время» была напечатана статья «Наши будущие присяжные», автор которой, П. Н. Ткачев, отвечая сомневавшимся славянофилам, писал: «Русский человек слишком снисходителен к другим, говорят, склонен более прощать, чем осуждать, слишком совестлив, осмотрителен и даже нерешителен, когда дело доходит до окончательного приговора; тем лучше, тем лучше, пусть живая струя жизни, гуманности, человечности широким потоком вольется в сухой безжизненный формализм наших официальных судов!» (Время. 1863. № 4. С. 106–107).

46

К числу таких сокрытых в русском народе идей — Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны… — В «Записках из Мертвого дома» (1861) Достоевский подчеркивал социальный аспект этой народной идеи. Там противопоставлялись как несовместимые представления о преступлении народа и «начальства»: «Арестант, например, хоть и всегда наклонен чувствовать себя правым в преступлениях против начальства, так что и самый вопрос об этом для него немыслим, но всё-таки он практически сознавал, что начальство смотрит на его преступление совсем иным взглядом <…> Преступник знает притом и не сомневается, что он оправдан судом своей родной среды, своего же простонародья, которое никогда, он опять-таки знает это, его окончательно не осудит, а большею частию и совсем оправдает, лишь бы грех его был не против своих, против братьев, против своего же родного простонародья» (ч. 2, гл. 2. «Продолжение»).

На антагонизм между «народным сознанием права и писанным законом» обращал внимание и П. Н. Ткачев на страницах журнала «Время». Он писал, что «полнейшее отрицание выработавшихся в народном сознании понятий о праве должно было подорвать всякий кредит, всякое доверие к официальному суду, сделать его чем-то чуждым, ненавистным народу; народ стал соболезновать, симпатизировать осужденным; слово *преступник* он заменил словом *несчастный»* (Время. 1863. № 4. С. 108).

Достоевский в данном случае имел в виду новый суд, с участием присяжных, которые должны были, с его точки зрения, выносить приговор подсудимому, руководствуясь этой «народной правдой и верой» (С. 20). В «Записках из Мертвого дома», признавая, что «можно судить <…> с таких точек зрения, что чуть ли не придется оправдать самого преступника», Достоевский тем не менее со всей категоричностью утверждал: «…несмотря на всевозможные точки зрения, всякий согласится, что есть такие преступления, которые всегда и везде, по всевозможным законам, с начала мира считаются бесспорными преступлениями и будут считаться такими до тех пор, покамест человек останется человеком» (ч. 1, гл. 1. «Мертвый дом»). В

главе «Среда» Достоевский имел в виду в первую очередь именно такие «бесспорные преступления», о чем свидетельствуют приведенные им примеры.

47

Я был в каторге — не переставал считать себя преступником. — Достоевский был осужден к четырехлетним каторжным работам 22 декабря 1849 г.; срок его пребывания на каторге в Омской крепости истек 15 февраля 1854 г. Психологию преступников в «Записках из Мертвого дома» (1861) Достоевский оценивал иначе: «…в продолжение нескольких лет я не видал между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении <…> большая часть из них внутренне считает себя совершенно правыми» (ч. 1, гл. 1. «Мертвый дом»).

48

…строгим наказанием, острогом и каторгой — Самоочищение страданием легче… — Прежде в «Записках из Мертвого дома» Достоевский ставил под сомнение возможность раскаяния и исправления преступника, подвергшегося изоляции. Он писал: «Конечно, остроги и система насильных работ не исправляют преступника; они только его наказывают и обеспечивают общество от дальнейших покушений злодея на его спокойствие. В преступнике же острог и самая усиленная каторжная работа развивают только ненависть, жажду запрещенных наслаждений и страшное легкомыслие» (там же). В то же время в «Записках» говорилось и об очистительной функции терпения и страдания. Но тогда Достоевский считал, что такая идея может зародиться только в душах «отчаявшихся», «кого покинула последняя надежда» (см. там же. Ч. 2, гл. 7. «Претензия»).

49

Еще недавно я жил несколько лет сряду за границей — читал там всё, что касалось русских судов… — Преследуемый кредиторами, Достоевский уехал по настоянию жены за границу 15 апреля 1867 г. и вернулся в Петербург 8 июля 1871 г.

50

…с горечью смотрел на наших абсентеистов… — Абсентеизм (от *лат.* absentia — отсутствие) — термин, которым на Западе обозначалось уклонение избирателей от участия в выборах; здесь абсентеистами названы русские, живущие за границей. О них Достоевский уже писал в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) и «Игроке» (1866).

51

…там оправдали жену — не понимал я причин оправдания… — О своих сомнениях по поводу оправдательных приговоров присяжных Достоевский писал еще 18 февраля (1 марта) 1868 г. из-за границы А. Н. Майкову: «Об судах наших (по всему тому, что читал) вот какое составил понятие: нравственная сущность нашего судьи и, главное, нашего присяжного — выше европейской бесконечно. На преступление смотрят христиански <…> Но одна вещь как будто еще и не установилась. Мне кажется, в этой *гуманности* с преступником еще много книжного, либерального, несамостоятельного».

52

Мужик забивает жену — нашли достойным снисхождения. — Имеется в виду слушавшееся 30 сентября 1872 г. на сессии тамбовского окружного суда в Моршанске дело крестьянина села Вирятина Моршанского уезда Н. А. Саяпина. Сообщаемые далее Достоевским подробности об истязании Саяпиным своей жены Аграфены заимствованы из корреспонденции в «Московских ведомостях» от 30 октября 1872 г. Автор корреспонденции «Из Моршанска» — В. Александров — писал о вынесенном присяжными приговоре: «Если бы Саяпин был лишен по суду всех прав состояния и приговорен к ссылке в каторжную работу, то у него была бы отнята возможность наносить дальнейший вред своему семейству, теперь же малолетняя дочь его, дававшая против него показания на суде, не защищена от зверского обращения с нею отца. Кто может поручиться, что, вернувшись домой, по прошествии восьмимесячного заключения в смирительном доме, он не захочет отомстить ей за то, что она содействовала его осуждению?».

53

…Юлией или Беатриче из Шекспира… — *Юлия* — героиня трагедии «Ромео и Джульетта» (1595). *Беатриче* — героиня комедии «Много шума из ничего» (1598). В библиотеке Достоевского было «Полное собрание драматических произведений» В. Шекспира в переводе русских писателей (т. 1–4. Изд. Н. А. Некрасова и Н. В. Гербеля. СПб., 1866–1877).

54

…Гретхен из Фауста? — «Фауст» Гете имелся в библиотеке Достоевского в переводе М. Вронченко (СПб., 1844).

55

Знали ведь, что ожидает ребенка. — 5 февраля 1873 г. в «Гражданине» появилось сообщение, что выраженная здесь Достоевским тревога за судьбу ребенка побудила московских дам-благотворительниц во главе с М. Н. Ханыковой позаботиться о девочке: она была привезена в Москву и помещена в ремесленную школу (Гражданин. 1873. 5 февр. № 6. С. 167–168).

56

…поднесла ручку ребенка под самый кран… — Возможно, что источником рассказанного здесь эпизода были события, описанные А. И. Герценом в «Былом и думах» (ч. IV, гл. XXVII).

57

…высоту адвокатского звания — их должность каторжная… — Об адвокатах, «изворачивающихся», лгущих «против своей совести», «против всякой нравственности», Достоевский впоследствии писал в «Дневнике писателя» за 1876 г. (февраль, гл. 2, § 2–6); тип адвоката — «прелюбодея мысли» изображен также в «Братьях Карамазовых».

58

…я вообще не люблю вспоминать. — Эту свою мысль Достоевский в другом месте пояснял следующим образом: «Я сохраняю несколько фотографий людей, которых наиболее любил в жизни, — и что же? Я никогда не смотрю на эти изображения: для меня почему-то воспоминание равносильно страданию, и даже, чем счастливее воспоминаемое мгновение, тем более от него и мучения. В то же время, несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо…» (запись в альбом О. Козловой 31 января 1873 г.).

59

Егор Петрович Ковалевский (1811–1868) — писатель и государственный деятель, первый председатель Литературного фонда, секретарем которого Достоевский был избран в феврале 1863 г. Получив известие о смерти Е. П. Ковалевского, Достоевский писал А. Н. Майкову 26 октября (7 ноября) 1868 г.: «Мне жаль Ковалевского, — добрый и *полезнейший* был человек, — так полезен, что может быть только по смерти его это совершенно почувствуется».

60

…роман «Преступление и наказание», появившийся тогда в «Русском вестнике». — Печатание «Преступления и наказания» началось в январском и закончилось в декабрьском номере «Русского вестника» за 1866 г.

61

…два издателя двух журналов. — Один из них — Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826–1911) — историк, журналист и общественный деятель. Начиная с 1866 г. он издавал ежемесячный журнал либерально-буржуазного направления «Вестник Европы», в котором печатались многие крупнейшие ученые и писатели. Не сочувствуя общему направлению этого издания, Достоевский тем не менее признавал, что «Вестник Европы» «несомненно будет первым журналом». Успех его, по мнению Достоевского, обеспечивался не только тем, что М. М. Стасюлевич привлек к участию в «Вестнике Европы» «всё, что есть блестящего из имен (Тургенев, Гончаров, Костомаров)», но и полиграфическими достоинствами издания, а также точностью выхода в свет — «в первое число каждого месяца!» (см. письмо к А. Н. Майкову от 12 (24) февраля 1870 г.). В последнем номере «Вестника Европы» за 1870 г. приведен перечень подписчиков по городам и губерниям, общее количество которых достигло небывалой для тех времен цифры: 6997.

Другой издатель — Н. А. Некрасов, который с 1847 г. был (до 1862 г. совместно с И. И. Панаевым) редактором-издателем литературного и общественно-политического журнала «Современник», основанного в 1836 г. в Петербурге А. С. Пушкиным и закрытого правительством после покушения Д. В. Каракозова на Александра II 4 апреля 1866 г.

62

…первая встреча моя с ним… — Достоевский познакомился с Н. А. Некрасовым в мае 1845 г., когда тот в сопровождении Д. В. Григоровича пришел ранним утром к автору «Бедных людей», чтобы выразить свой восторг, вызванный чтением его романа.

63

Потом произошли многие недоразумения. — Энтузиазм, с которым встретили в кружке Белинского «Бедных людей», сменился охлаждением после появления «Хозяйки» и «Двойника». Об ироническом отношении к Достоевскому Некрасова можно судить по написанной им в 1846 г. совместно с Тургеневым эпиграмме «Послание Белинского к Достоевскому» («Рыцарь горестной фигуры»).

64

По возвращении моем из Сибири — лучшие, что он написал когда-либо. — Достоевский вернулся в Петербург после пребывания на каторге, ссылки в Сибирь и последующей жизни под секретным надзором полиции в Твери во второй половине декабря 1859 г. В I860-1862 гг. он встречался с Некрасовым на литературно-музыкальных вечерах, устраивавшихся Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Лучшим стихотворением Некрасова Достоевский считал «Власа» (1856), разбору которого посвящена следующая статья «Дневника писателя» за 1873 г.

65

…мы вас обругали — за «Преступление и наказание»). — В «Современнике» за 1866 г. (№ 2 и 3) был напечатан остро полемический разбор появившихся к тому времени первых глав «Преступления и наказания». Автор статьи, Г. З. Елисеев, упрекал Достоевского в нападках и клевете на передовую студенческую молодежь.

66

…сплетня о «Крокодиле»… — «Крокодил» — повесть Достоевского, напечатанная в «Эпохе» (1865. № 2. Отд. III. С. 1-40). «Сплетню», будто в «Крокодиле» высмеян Н. Г. Чернышевский, в 1865 г. «выпустила», как пишет ниже Достоевский, газета А. А. Краевского «Голос» (подробно об этом см.: наст. изд. Т. 4. С. 775).

67

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) — русский писатель, автор нравоописательных романов «Иван Выжигин» (1829) и «Петр Иванович Выжигин» (1831), журналист, издатель газеты «Северная пчела». Общественная позиция Булгарина, писавшего доносы на русских писателей в III Отделение, была охарактеризована Достоевским в статье «Опять „молодое перо“» (1863), где говорится о свойственном Булгарину «самоохранительном и виляющем до малодушия благоразумии», «то есть „пропадай другие, было б нам хорошо“». Отсутствие поэтического чутья у Булгарина Достоевский неоднократно высмеивал в статьях 1860-х годов.

68

С Николаем Гавриловичем Чернышевским — в пятьдесят девятом году… — Встреча с Чернышевским могла произойти не ранее 1860 г., так как Достоевский вернулся в Петербург только во второй половине декабря 1859 г. Чернышевский в воспоминаниях о Достоевском утверждал, что впервые увидел автора «Бедных людей», когда тот пришел к нему в 1862 г., и узнал его по портретам (см.: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. М., 1939. Т. 1. С. 777).

69

Герцен мне говорил — неприятное впечатление… — Герцен видел Чернышевского в июне 1859 г., когда последний приезжал в Лондон объясняться по поводу полемики, возникшей между «Колоколом» и «Современником». После встречи с Чернышевским Герцен написал статью «Лишние люди и желчевики» (1860). Характеристика «желчевиков» отражает, вероятно, впечатление Герцена от общения и споров с Чернышевским.

70

…одну из самых замечательных прокламаций — в самой смешной форме… — Названная здесь прокламация «К молодому поколению» появилась в сентябре 1861 г. в Петербурге. Авторами ее были соратники Чернышевского Н. В. Шелгунов и М. Л. Михайлов. Между тем Достоевский пишет, что он посетил Чернышевского весной, что подтверждается и воспоминаниями последнего. Кроме того, Достоевский сообщает, что он вскоре после визита к Чернышевскому на длительное время уехал из Петербурга. В 1861 г. Достоевский из Петербурга надолго не уезжал. За границу он отправился 7 июня 1862 г. Всё это заставляет предположить, что Достоевский ошибся и что он подразумевает другую прокламацию — «Молодая Россия» (автор П. Г. Заичневский), распространявшуюся в мае 1862 г. и содержавшую бланкистскую программу революционного переворота и социально-политические требования в духе идей утопического социализма.

О прокламации «Молодая Россия» и ее возможных авторах говорилось в статье «Пожары», предназначавшейся для июньской книжки журнала «Время» за 1862 г. Оценка прокламации автором статьи «Пожары», отмечавшим несостоятельность «трех золотушных школьников», которые «напечатали и разбросали глупейший листок, не справившись даже хорошо с иностранными книжками, откудова они всё выкрали и бездарно перековеркали» (Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 51), совпадает с мнением Ф. М. Достоевского, изложенным в комментируемом здесь месте статьи. Принадлежность статьи «Пожары» М. М. Достоевскому доказана в работе: *Сажин В. Н.* Об авторе запрещенной цензурой статьи «Пожары» («Время», 1862) // РуС. лит. 1974. № 2. С. 218.

71

Я застал Николая Гавриловича совсем одного — привел к себе в кабинет. — Н. Г. Чернышевский в автобиографическом отрывке «Мои свидания с Ф. М. Достоевским», написанном в 1888 г., рассказывает иначе: «Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф. М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня. Я тотчас вышел в зал <…> попросил его сесть на диван и сел подле…» (*Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. М., 1939. Т. 1. С. 777).

72

…вынул я прокламацию — заявить ваше порицание, и это дойдет до них. — Н. Г. Чернышевский в упомянутых выше воспоминаниях писал, что Достоевский, придя к нему, просил его остановить поджигателей и спасти Петербург: «Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими». Чернышевский, писавший свои воспоминания много лет спустя, в 1888 г., допустил в освещении этого эпизода неточность. Достоевский не мог обратиться к нему с просьбой остановить поджигателей, так как он не считал виновниками пожаров революционеров, распространявших листовки. Напротив, редакция журнала «Время» намеревалась выступить с публичной защитой молодежи, студентов и даже авторов «Молодой России» от необоснованных обвинений в поджогах. В статье М. М. Достоевского (см. выше), оба варианта которой были запрещены цензурой (см.: Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 586; *Нечаева В. С.* Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861–1863. М., 1972. С. 298–302), выражалось требование гласного суда над истинными преступниками, «уголовными преступниками против общества». Защищая «всю корпорацию студентов», автор статьи обвинял «хилых старцев в подагре и хирагре с старобабьим умом», которые, прочитав прокламацию «Молодая Россия», «почувствовали страшный, паралитический страх» и принялись «с кашлем и удушьем проповедовать гибель. Проповедь нашла сильную поддержку, и только при этой поддержке успели заразить общество подозрениями» (Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 48–51). Предназначавшаяся для журнала «Время» статья о пожарах привлекла внимание передовых студенческих кругов, где она стала известна в гранках (см.: *Коган Г. Ф.* Журнал «Время» и революционное студенчество 1860-х годов // Там же. С. 586).

73

…Николаю Гавриловичу — заехав ко мне сам. — Чернышевский приезжал к Достоевскому, чтобы получить его согласие на перепечатку отрывка из «Записок из Мертвого дома» в сборнике, инициатором которого был А. Д. Путята (1828–1899), член общества «Земля и воля». Это дешевое издание предназначалось для широких демократических слоев русского общества. Текст из «Записок из Мертвого дома» для публикации в сборнике был выбран Чернышевским (см.: *Лейкина-Свирская В.* Н. Г. Чернышевский и «Записки из Мертвого дома» // РуС. лит. 1962. № 1. С. 213–215).

74

Вскоре по некоторым моим обстоятельствам я переселился в Москву… — Достоевский ошибается, намекая на переезд в Москву в конце 1863 г., вызванный болезнью жены. В действительности после визита к Чернышевскому он, как отмечалось выше, 7 июня 1862 г. уехал впервые за границу и пробыл там до конца сентября того же года, после чего вернулся в Петербург.

75

…произошел арест Чернышевского и его ссылка. — Н. Г. Чернышевский был арестован 7 июля 1862 г. и заключен в Петропавловскую крепость, где пробыл около двух лет. 19 мая 1864 г. над Чернышевским на Мытнинской площади в Петербурге был совершен обряд «гражданской казни», после чего он был отправлен на каторгу в Сибирь. Только в 1883 г., уже после смерти Достоевского, Чернышевский получил разрешение переехать в Астрахань.

76

…вздумалось написать одну фантастическую сказку — повести Гоголя «Нос». — «Фантастическая сказка», т. е. «Крокодил», появилась через год после осуждения Чернышевского. Парадоксальный характер повествования в «Необыкновенном событии, или Пассаже в Пассаже» подчеркивался в «Предисловии редакции», которым открывалось печатание рассказа в «Эпохе». Там же проводилась параллель и с повестью Гоголя «Нос» (1836), в которой описывался «всем известный случай», «когда у некоего майора Ковалева однажды утром сбежал с лица его собственный нос и расхаживал потом в мундире и в шляпе с плюмажем в Таврическом саду и по Невскому» (см.: наст. изд. Т. 4. С. 773).

77

Когда-нибудь непременно докончу… — Достоевский не окончил «Крокодила», как собирался, хотя сюжетное завершение рассказа было намечено в черновых записях к нему.

78

…*«Голос» в фельетоне сделал странную заметку.* — Фельетонист газеты «Голос», обвиняя Достоевского в том, что его рассказ «Крокодил» — памфлет на осужденного Чернышевского, писал: «Совета нашего, конечно, г-н Ф. Достоевский не примет, но мы все-таки посоветовали бы ему остановиться на четвертой главе этого крайне бестактного рассказа, о котором ходят уже толки, весьма неблагоприятные для репутации журнала „Эпоха“ и для самого г-на Достоевского» (ГолоС. 1865 3 апр. № 93).

79

Calomniez — quelque chose. — Цитата из комедии Бомарше (1732–1799) «Севильский цирюльник» (1775). Эта фраза неоднократно встречается в записных тетрадях Достоевского 1875–1877 гг.

80

…не об Андрее Александровиче говорю. — Речь идет об А. А. Краевском — редакторе и издателе газеты «Голос», с которой Достоевский неоднократно полемизировал и которую, в частности, высмеял в «Крокодиле» (см.: наст. изд. Т. 4. С. 569).

81

, …*«Записки сумасшедшего», оду «Бог», «Юрия Милославского», стихи Фета…* — «Записки сумасшедшего» (1835) — повесть Н. В. Гоголя. Автор оды «Бог» (1784) — Г. Р. Державин. «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) — роман М. Н. Загоскина (1789–1852). Сборники стихов А. А. Фета (1820–1892) были изданы в 1856 и 1863 гг. Достоевский, вероятно, намеренно назвал здесь произведения авторов, принадлежащих к разным эпохам и притом резко отличающихся друг от друга художественными особенностями их творчества.

82

…аллегория о франко-прусской войне… — Достоевский упоминает здесь только что закончившуюся в то время войну 1870–1871 гг. между Францией, с одной стороны, и Пруссией, выступавшей совместно с остальными государствами Северо-Германского союза и Южной Германии, — с другой.

83

…на актера Горбунова… — Речь идет о выдающемся актере, рассказчике и писателе Иване Федоровиче Горбунове (1831–1895), близком знакомом и корреспонденте Достоевского в 1860-х и 1870-х годах.

84

…статья о «знаменитом» романе Чернышевского — принадлежит известному перу. — В «Эпохе» о романе Чернышевского «Что делать?» писал Н. И. Соловьев (1831–1874) в статье «Женщинам» (Эпоха. 1864. № 12. С. 21–34). Маловероятно, чтобы Достоевский имел его в виду, когда говорил, что статья «принадлежит известному перу». Скорее Достоевский подразумевал две статьи постоянного сотрудника журналов «Время» и «Эпоха», известного критика и публициста Н. Н. Страхова, одна из которых была напечатана в «Эпохе», а другая — в «Библиотеке для чтения». Первая статья— «О женском труде» (Эпоха. 1864. № 4. С. 376–383) — посвящена практическим задачам женских товариществ. Н. Н. Страхов предложил в ней проект устава «Петербургского общества женского труда», по своим руководящим принципам перекликающийся с некоторыми идеями романа Чернышевского. Во второй статье — «Счастливые люди» (Библиотека для чтения. 1865. № 7–8. С. 142–166) — Н. Н. Страхов, разбирая «Что делать?», отмечал, что роман написан с большой искренностью и вдохновением. В то же время он возражал автору романа, который, по мнению критика, с необыкновенной легкостью устранял с пути своих героев все действительные трудности, забывая о сложности и противоречивости человеческой натуры. Страхов писал, что в «Что делать?» проповедуется «простое, холодное, почти нечеловеческое отрицание страданий» (С 163). Не исключена возможность, что последняя статья предназначалась для «Эпохи», но в связи с закрытием этого журнала на втором номере за 1865 г. была помещена в «Библиотеке для чтения». Именно поэтому Достоевский, забыв подробности, и написал, что большая критическая статья о романе Чернышевского «Что делать?» была напечатана «в одном из самых последних №№ прекратившегося в то время журнала „Эпоха“ (чуть ли не в самом последнем)» (С. 35). Ср.: *Нечаева В. С.* Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864–1865. М., 1975. С. 209–212; см. также *Туниманов В. А.* Творчество Достоевского (1854–1862). Л., 1980. С. 275–278.

85

…поразила и вас, общечеловека и русского gentilhomme'a — Таким же образом в статье «Старые люди» охарактеризован Герцен — «продукт нашего барства, „gentilhomme russe et citoyen du monde “» (см. выше.).

86

Смуглолиц, высок и прям… — Эта строка из стихотворения «Влас» использована в «Подростке» для характеристики странника Макара Долгорукого (см.: наст. изд. Т. 8. С. 265).

87

…точно это не вы, а другой кто заместо вас кривлялся потом «на Волге», в великолепных тоже стихах, про бурлацкие песни. — Достоевский имеет в виду стихотворение Н. А. Некрасова «На Волге» (1860), впервые напечатанное в «Современнике» (1861. № 1). В четвертой части этого стихотворения описание впечатления от бурлацкой песни завершается словами горестного недоумения и упрека, обращенными к бурлаку:

В чертах усталого лица
Все та ж покорность без конца…
Чем хуже был бы твой удел,
Когда б ты менее терпел?

Михайловский писал, откликаясь на статью «Влас», что именно эти строки возмутили Достоевского: «В них выражается протест против страданий бурлака и, может быть, протест против отсутствия протеста с его стороны». Некрасов «только не поэтизирует страдания, покорности и терпения…», но «г-ну Достоевскому чудится уже здесь и презрение, и ненависть к русскому народу во имя общечеловеческих идеалов, презрение и ненависть к бурлаку во имя „общебурлака“» (Отеч. зап. 1873. № 2. Отд. II. С. 336–337).

В «Дневнике писателя» за 1877 г., в декабрьском выпуске, посвященном смерти Некрасова, Достоевский вновь вернулся к стихотворению «На Волге», дав ему более мягкую характеристику.

88

Когда пойдешь к причастию, причастье прими, но не проглоти. — В данном случае под причастием понимается освященный хлеб (просфора), который по церковному учению символизирует тело Христа.

89

Дюбарри кричала палачу: «Encore un moment, monsieur le bourreau, encore un moment!» — Слова эти упоминаются также в романе «Идиот» (см.: наст. изд. Т. 6. С. 199). Мари-Жанна Дюбарри (1743–1793) — фаворитка Людовика XV. См. о ней подробнее в комментарии к роману «Идиот» (наст. изд. Т. 6. С. 648).

90

Искуситель у г-на Островского в прекрасной комедии «Не так живи, как хочется» вышел даже очень плоховат. — Комедия А. Н. Островского «Не так живи как хочется» (Москвитянин. 1855. № 9), как и комедии «Бедность не порок» (1853) и «Не в свои сани не садись» (1853), относится к тем произведениям, где сказались славянофильские тенденции в творчестве раннего Островского. Холодно встреченные кругом «Современника» (см. отзыв об этих произведениях в статье Н. А. Добролюбова «Темное царство» — Современник. 1859. № 7, 9; в рецензии на «Бедность не порок» Н. Г. Чернышевского — Современник. 1854. № 5; в рецензии на «Не так живи, как хочется» Н. А. Некрасова — Современник. 1856. № 2), эти пьесы были восторженно приняты критиками из «молодой редакции» «Москвитянина» (А. А. Григорьевым, Т. И. Филипповым). Достоевский, положительно оценивший комедию «Не так живи, как хочется», не был, как видно из данного отзыва, удовлетворен трактовкой характера Еремки, носителя силы отрицания и ненависти, толкающего героя пьесы, Петра, на преступление. Образ Еремки получил яркое раскрытие в опере А. Н. Серова «Вражья сила» (1871), написанной на сюжет комедии Островского. По предположению А. А. Гозенпуда, развитие и переосмысление композитором образа Еремки произошло, возможно, «не без воздействия Достоевского», который в годы издания журналов «Время» и «Эпоха» общался с А. Н. Серовым (см.: *Гозенпуд А.* Достоевский и музыкально-театральное искусство. Л., 1981. С 145).

91

…наша несостоятельность как «птенцов гнезда Петрова» в настоящий момент несомненна. — «Птенцы гнезда Петрова» — слова из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828). Они не раз употреблялись Достоевским для обозначения образованного русского дворянства, появившегося в России в результате петровских преобразований.

92

Да ведь девятнадцатым февралем и закончился по-настоящему петровский период русской истории… — Мысль о том, что отмена крепостного права давала России возможность вернуться на самобытный, утраченный в результате петровских реформ путь развития, поскольку стена, разъединявшая народ и культурный слой, теперь разрушена, неоднократно повторялась Достоевским. Ср. в записной тетради 1876 г.: «С уничтожением крепостного права кончилась (не закончилась) реформа Петра и петербургский период» (XXIV. 76). Н. К. Михайловский, полемизируя с Достоевским по этому вопросу, отметил, что Россия как раз после отмены крепостного права вступает на общеевропейский, капиталистический путь развития и что новые, не увиденные Достоевским «бесы» «налетают как коршуны» «на народную правду» «и рвут ее с алчностью хищной птицы, но с аллюрами благодетелей человечества» (Отеч. зап. 1873. № 2 Отд. II. С. 342).

93

Какой же тебе соли — аттической? — Образное выражение, означающее утонченное остроумие; восходит к Марку Туллию Цицерону (106 — 43 г. до н. э.), высоко ценившему ораторское искусство в Греции (Аттике).

94

Бонмо (от *франц.* bon mots) — острые слова.

95

«При таком, дескать, самобытном таланте — надо было предвидеть…» — Имеются в виду рецензии и полемические отклики на роман «Бесы», особенно заметка «Журналистика и библиография», опубликованная в «Биржевых ведомостях» и подписанная «М.Н.», в которой содержание романа сравнивалось с галлюцинациями Поприщина. Здесь же вспоминается о начале литературной деятельности Достоевского, когда его первое произведение «приветствовал Белинский, полагавший, что его талант принадлежит к разряду тех, которые постигаются и познаются не вдруг. Много, в продолжение его поприща, говорил он, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы. Не знаем, действительно ли достиг его талант этого апогея, но по части изображения наших отечественных юношей он в самом деле превзошел по крайней мере тех из своих конкурентов, которые подвизаются на этом пути в «Русском вестнике» и в других журналах такого же характера и о которых мы уже забыли» (1872. 24 марта. № 83). Всем критикам романа Достоевский собирался отвечать специально и подробно: об этом свидетельствует набросок послесловия к «Бесам» (см.: XI, 308).

96

Припоминается мне испанская острота… — Реминисценция из «Персидских писем» Ш.-Л. Монтескье (Письмо LXXVIII): «Здесь есть дом, куда сажают сумасшедших. Можно бы предположить, что он самый большой в городе. Нет, лекарство слишком слабо в сравнении с болезнью. Несомненно, французы, пользующиеся очень дурной славой у соседей, для того запирают нескольких сумасшедших в особый дом, чтобы создать впечатление, будто те, кто находится вне этого дома, не сумасшедшие» (*Монтескье Ш.-Л.* Персидские письма. М., 1956. С. 195).

97

Коллежский советник — гражданский чин шестого класса.

98

…противоречит механике и здравому смыслу. — Полемическая реплика на статью В. П. Буренина «Очистительное значение каторги и нервически-выкликательные фельетоны г-на Ф. Достоевского («Гражданин». №№ 1, 2, 3)». Буренин так оценивал публицистику Достоевского: «Но когда г-н Достоевский пускается в область мышления теоретического, когда он желает быть публицистом, философом, моралистом — он тогда ужасен, нет, больше чем ужасен, — *он невменяем по отношению к здравому смыслу и логике*» (С.-Петерб. ведомости. 1873. 20 янв. № 20; курсив наш. — *Ред.).* «Одно лицо» несколько переиначивает слова (выделенные курсивом) Буренина, заменяя «логику» «механикой». По всей видимости, Достоевский делает это с дополнительной полемической целью, задевая статью Тургенева «По поводу „Отцов и детей“», которую он ранее пародировал в «Бесах». Тургенев заканчивает статью таким обращением к «людям практическим»: «…уважайте по крайней мере *законы механики,* извлекайте из каждой вещи всю возможную пользу! А то, право, пробегая иные вялые, смутные, бессильно-пространные разглагольствования в журналах, читатель невольно должен думать, что именно *рычаг-то* вы заменяете первобытными подпорками, что вы возвращаетесь к младенчеству самой механики…» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1968. Т. 14. С. 109; курсив наш. — *Ред.).*

99

На литию не поехал. — В православном церковном богослужении моление об умершем; чаще всего совершается при выносе тела из дома, также-на кладбище.

100

Начал с московской выставки… — Очевидно, имеется в виду политическая выставка в Москве (30 мая-30 августа 1872 г.), приуроченная к 200-летию со дня рождения Петра I. Выставка и юбилей — две преобладающие темы статей, обзоров, фельетонов, корреспонденции столичных и провинциальных газет во второй половине 1872 г. Большая обзорная статья «Политехническая выставка в Москве», подписанная инициалами Б. К. Н., была помещена в сборнике «Гражданина» за 1872 г., имевшемся в библиотеке Достоевского (Гражданин. 1872 г. СПб., 1872. Ч. 1, кн. 2. С. 194–285).

101

…ничему не удивляться гораздо красивее… — Достоевский имеет в виду популярное изречение Квинта Горация Флакка (68-8 до н. э.) «Nil admirari» («Ничему не удивляться» — *лат.)*. В «Бобке» эти крылатые слова, возможно, полемически задевают Л. К. Панютина, напоминая о его псевдониме.

102

…на землю хлеб крошить, кажется, не грешно; это на пол грешно. — М. М. Бахтин дает такое объяснение этому противопоставлению: «Сугубо натуралистическая и профанирующая деталь — недоеденный бутерброд на могиле — дает повод коснуться символики карнавального типа: крошить хлеб на землю можно — это посев, оплодотворение, на пол нельзя — это бесплодное лоно» (*Бахтин М.* Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 186–187).

103

…*в календаре Суворина.* — Речь идет о «Русском календаре на 1872 год» А. С. Суворина (СПб., 1872). Новый календарь значительно отличался от бытовавших ранее узко справочных изданий. В предисловии к календарю это обстоятельство подчеркивалось и разъяснялось: «При распространении в нашем обществе за последние десять лет интереса к общественным делам и к их обсуждению, мы поставили главною задачею „Русского календаря“ быть не только справочною книгою, но и вместе сборником сведений о России и данных для ознакомления с ее физическими, экономическими и нравственно-политическими средствами в наличном их состоянии, и притом сравнительно с такими же силами остальной Европы». В календаре было 42 раздела; «одно лицо», видимо, собирается «справиться» в четвертом разделе-«Календаре народных примет, обычаев и поверьев на Руси» (С. 48–55).

104

«Покойся, милый прах, до радостного утра!» — эпитафия Н. М. Карамзина (1792). По желанию М. М. и Ф. М. Достоевских она была высечена в 1837 г. на памятнике, установленном на могиле их матери. Эпитафия Карамзина уже к 1830-м годам получила широкое распространение. Ал. Шлехтер в рассказе «Жертва порока. Сцены из городской жизни» констатировал: «Люди частым повторением так износили, истерли эту прекрасную надпись, что она совершенно потеряла прекрасный смысл свой. Ее встретишь над прахом лихоимца, над могилою человека, по котором получили давно жданное наследство, над гробом врага, над телом ненавистного жене мужа» (Библиотека для чтения. 1834. № 5. С. 161). Эпитафия Карамзина ранее фигурировала (в бурлескном контексте) и в романе «Идиот».

105

Надворный советник — гражданский чин седьмого класса.

106

Крикса — плакса, рева, крикуша.

107

Сороковинки — Сороковины (или сорочины) — поминки (упокойная память, молитва) в сороковой день после кончины. У Достоевского в 1875 г. возник замысел «поэмы» о Христе «Сороковины», к которому он вновь вернется в 1877 г.

108

Кутья (кутия, коливо) — смесь вареного зерна с медом (или сахаром, черносливом, изюмом и т. д). Здесь зерно, по-видимому, — символ воскрешения, а мед (или другие сладкие ингредиенты) — символ сладостных благ будущей жизни. Кутья — традиционная символическая деталь похоронного обряда.

109

Действительный тайный советник — гражданский чин второго класса.

110

…*долину Иосафатову*. — Расположена в окрестностях Иерусалима (чаще всего ее отождествляют с Кедронской долиной), по библейскому преданию, названа так в честь иудейского царя Иосафата Иосафатова долина-библейский пророческий символ: это место, где будет происходить «страшный суд» при кончине мира (см.: Книга пророка Иоиля, гл. 4, ст. 12).

111

…к Эку или к Боткину? — Экк и Боткин — петербургские медицинские светила. О них так сообщал календарь Суворина в Рубрике «Петербургские врачи-специалисты»: «Боткин (внутренние болезни). У 5 Углов, д. Лапина. Прием на дому: понедельник, среда, пятница, с 7 чаС. вечера <…> Экк (внутренние болезни). У Чернышева моста, д. Театральной дирекции» (Русский календарь на 1872 год А. С. Суворина. С. 358). В. Е. Экк (1818–1875) — врач-терапевт, доктор медицины, действительный адъюнкт-профессор, преподавал в Медико-хирургической академии клиническую терапию. С. П. Боткин (1832–1889) — русский врач и ученый; с 1873 г. избран почетным лейб-медиком, упоминается («Б-н») в черновых записях к «Преступлению и наказанию» и в «Идиоте» (см.: VII, 393; VIII, 239).

112

Статский советник — Гражданский чин пятого класса.

113

Полисон (франц. polisson) — шалун, повеса.

114

…когда я еще был четырнадцатилетним пажом… — Воспитанником Петербургского пажеского корпуса. Возможно, сниженная аллюзия на стихотворение Пушкина «Паж, или Пятнадцатый год» (1830).

115

…*на святой*… — на пасхальной неделе.

116

Всего я прочел: «Запечатленного ангела» г-на Лескова… — Повесть была опубликована в «Русском вестнике» (1873. № 1. С. 229–292).

117

…поэму Некрасова и статью г-на Щедрина — Имеются в виду вторая часть поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщины» — «Княгиня М. Н. Волконская» (Отеч. зап. 1873. № 1. Отд. I. С. 213–252) и второй очерк из цикла «Благонамеренные речи» М. Е. Салтыкова-Щедрина (там же. С. 1–32). К поэме Некрасова Достоевский возвратился в статье «По поводу выставки» (см. выше, С. 87). Запись, сделанную писателем по прочтении очерка Щедрина, см. в записной тетради 1872–1875 гг. (XXI, 225).

118

Прочел я тоже статьи г-д Скабичевского и Н. М. в «Отечественных записках» — поговорить о них — Речь идет о первой статье из цикла А. М. Скабичевского «Драма в Европе и у нас» (Отеч. зап. 1873. № 1. Отд. II. С. 1–39) и об обозрении Н. М. (Н. К. Михайловского) «Литературные и журнальные заметки» (там же. С. 133–161). Одна из главных проблем для Скабичевского — сопоставление личности русской и европейской. Специально к статье Скабичевского Достоевский впоследствии не возвращался. Его концепция русского национального характера в 1870-х годах нашла выражение в романах «Подросток», «Братья Карамазовы» и в речи о Пушкине. Вопросы, поставленные Михайловским, затронувшим в своих заметках «Бесов» и статью «Старые люди», оставались в сфере внимания Достоевского в течение всего 1873 г. (см. статьи «Полписьма „одного лица“» и «Две заметки редактора»). Подробный ответ критику дается в статье «Одна из современных фальшей», заключающей «Дневник писателя» за 1873 г.

119

Известно, что сочинение это — и что очень многие его прочли. — Полемика Достоевского с Лесковым в статье «Ряженый» (см. выше), затронувшая и газету «Русский мир», дает основание предположить, что писатель мог здесь иметь в виду следующее сообщение «Русского мира», сделанное еще до публикации «Запечатленного ангела»: «В настоящее время для художественной литературы как будто снова возникает благоприятная пора. Началом этого движения мы обязаны роману даровитого писателя Н. С. Лескова „Соборяне“. Такое же внимание, как нам известно, перешло на новое произведение того же автора, на небольшой рождественский рассказ „Запечатленный ангел“. Рассказ этот должен появиться в январской книжке „Русского вестника“, но еще до появления его в печати он читается уже по рукописи с живым и непривычным для нашего времени сочувствием» (Рус. мир. 1873. 10 янв. № 8).

120

…освященных еще до времени патриарха Никона. — Другими словами, до раскола в русской православной церкви.

121

Ахиерей — общее обозначение высших церковных титулов епископа, архиепископа, митрополита.

122

«Это тебе должно быть внушительно — и тебя сюда привел» — Цитата из повести «Запечатленный ангел» (гл. 15).

123

·*...вспомним только конец диакона Ахиллы в его «Соборянах».)* — С этим критическим замечанием о «Соборянах» В. В. Виноградов связывает возражение Лескова в статье «Холостые понятия о женатом монахе» (Рус. мир. 1873. 23 апр. № 103), по поводу мало «вероподобной развязки» рассказа М. А. Недолина «Дьячок», опубликованного в «Гражданине» (1873. 16 апр. № 15–16), отмечая также совпадение эстетической оценки «конца диакона Ахиллы» в данной статье с рассуждением на эту тему в приписываемой Достоевскому рецензии на «Соборян» (Гражданин. 1873. 22 янв. № 4., ср. Рус. лит. 1961 № 1. С 63 84) См. также статью «Ряженый» и комментарий к «Запечатленному ангелу» (*Лесков Н. С.* Собр. соч. В 11 т. М., 1957 Т 4. С. 544–545)

124

…рассказ, говорят, основан на действительном факте. — Возвращаясь к «Запечатленному ангелу» и его фактической основе в заключительной главе «Печерских антиков» (1883), Лесков писал: *«Такого происшествия,* какое передано в рассказе, *в Киеве никогда не происходило,* то есть никакой иконы старовер не крал и по цепям через Днепр не переносил <…> Отважный переход по цепям действительно послужил мне *темою* для изображения отчаянной русской удали, но цель действия и вообще вся история „Запечатленного ангела“, конечно, иная, и она мною просто вымышлена» (*Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 11 т. М., 1957. Т. 7. С. 219)

125

«Один из деревенских священников Орловской губернии — духовенство проводит суеверие» — Письмо опубликовано в «Голосе» (1873. 5 февр. № 36).

126

…*остзейскому пастору?* — Прибалтийскому.

127

Очень странное явление — новая секта штундистов. — Возникновение этой секты в конце 1860-х годов на юге России связывалось с влиянием немецких колонистов (см.: XXI, 506).

128

«Гражданин» о ней сообщал своевременно. — См. в разделе «Областное обозрение» (Гражданин. 1872. 4 дек. № 31 С. 460; 1873. 29 янв. № 5. С. 129). После публикации статьи «Смятенный вид» в газете-журнале вновь отмечалось: «О штундистах уже заходила речь в „Гражданине“, но, как оказывается, эта песенка еще далеко не спета Чудное явление на Руси — этот штундизм!» (Гражданин. 1873. 30 июля. № 31. С. 845).

129

…*«жалок и беден, и слеп, и нищ, и наг»*. — Неточная цитата из Библии (Откровение Иоанна Богослова, гл. 3, ст. 17). В Библии: «несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг».

130

Воздержание от вина — величие России как великой державы, которое так дорого стоит… — Достоевский полемизирует с «С.-Петербургскими ведомостями», связывавшими источник средств всеобщего народного обучения с «питейными» доходами (С.-Петербургские ведомости 1872. 12 сент. № 250). Ср. статью «Мечты и грезы» и примечания к ней (С. 350).

131

…который уже отличился раз в «Гражданине» насчет «могилок». — Имеется в виду «Бобок» (Гражданин. 1873. 5. февр. № 6).

132

…это «лицо» решительно выступает моим защитником против литературных «врагов» моих. — Черновой автограф главы (см.: XXI, 304–311) свидетельствует, что эти «враги» — Н. К. Михайловский, выступивший с анализом статьи «Старые люди» «Дневника писателя» за 1873 г. (Отеч. зап 1873. № 1. Отд. II. С. 158–171), и В. П. Буренин, напечатавший рецензию на роман «Бесы» (С.-Петербургские ведомости. 1873. 6 и 13 янв. № 6 и 13).

133

…три «антикритики», две «заметки», три «случайные заметки», одно «по поводу» и, наконец «наставление как вести себя». — Перечень выступлений «одного лица», как и определение их жанра, сделаны, по-видимому, не без ориентации на самопризнания Буренина. Полемизируя с Михайловским, Буренин писал: «…я сделал две-три краткие заметки о том, что он не философ, а скучный болтун» (С.-Петербургские ведомости. 1872. 29. июля. № 205), а также давал разъяснения, касающиеся «общепринятых форм вежливости» (там же. 24 июня. № 170). Обращаясь к Буренину в связи с последним обстоятельством, Михайловский замечал: «…вы снисходительно даете мне уроки относительно условных форм вежливости» (Отеч. зап. 1872. № 7. Отд. II. С. 182).

134

…весь этот гам журналистов, раздавшийся с появления первого № «Гражданина» сего 1873 года — неизвестно почему прекратился, точно так же как неизвестно почему и начался. — Приход Достоевского на пост редактора журнала «Гражданин» привлек внимание едва ли не всей тогдашней периодической печати. Первые статьи «Дневника писателя» стали предметом оживленного обсуждения как в демократической, так и в либеральной и консервативной прессе. Анализу статьи «Старые люди» был посвящен раздел «Литературных и журнальных заметок» Н. К. Михайловского (Отеч. зап. 1873. № 1. Отд. II. С. 158–161). В. П. Буренин в «С.-Петербургских ведомостях» (1873. 20 янв. № 20) противопоставил Достоевского-романиста, которого он считал бесспорно талантливым писателем, Достоевскому-публицисту, представлявшемуся ему совершенно несостоятельным: «Г-н Достоевский, как известно, романист, и как романист, как художник, он имеет значение крупное <…> Не когда г-н Достоевский пускается в область мышления теоретического, когда он желает быть публицистом, философом, моралистом— он тогда ужасен, нет, больше чем ужасен-он невменяем по отношению к здравому смыслу и логике… Г-н Достоевский <…> проводит свою философию, свою мораль отнюдь не через процесс мышления, а через процесс, если так можно выразиться, нервического выкликания». Внимание Буренина было преимущественно сосредоточено на статье «Среда» (см. выше, С. 14–27). Эта же статья послужила поводом для критического выступления А. С. Суворина в «Недельных очерках и картинках» (С.-Петербургские ведомости. 1873. 25 февр. № 55) и для резких нападок на Достоевского газеты «Голос». Ее обозреватель Нил Адмирари (псевдоним Л. К. Панютина), иронически называя писателя «бывшим либералом», «робким» последователем Скарятина и Мещерского, ставит под сомнение антикрепостнические убеждения Достоевского (см.: Голос. 1873. 14 янв. № 14). Нападки на «Гражданина» в целом и на каждую из публиковавшихся статей «Дневника писателя» продолжались в «Голосе» на протяжении всего января (см.; например: там же. 1873. 18, 21, 25 янв. № 18, 21, 25). См. также: XXI, 399, 402, 414.

135

…меня пугает эта непомерная сила «гражданской энергии» сего сотрудника. — В черновом автографе вместо слов «гражданская энергия» употреблено выражение «гражданская скорбь». Понятие «гражданская скорбь» было широко распространенным в 1860-х годах. Н. Ф. Щербина, использовавший его в «Эпитафии И. И. Панаеву» (1862). в 1868 г. замечал: «N3. Болезнь под названием „гражданская скорбь“ была в это время в моде в Петербурге, так что даже смерть некоторых гимназистов и кадетов была приписываема этой болезни» (см.: *Щербина Н. Ф.* Избранные произведения. Л., 197 °С. 290, 574). 27 января в «С.-Петербургских ведомостях» (№ 27) был напечатан фельетон Буренина, в котором мотив «гражданской скорби» — основной мотив творчества Некрасова — расценивался как анахронизм. Варьирование в черновых автографах понятий «гражданская скорбь» и «гражданская энергия» дает возможность полагать, что утвердившееся в окончательном тексте выражение «гражданская энергия» возникло по ассоциации с устойчивым словосочетанием «гражданская скорбь».

136

Всего более удивляет меня — чего, собственно, так добивается? — Полемика между двумя петербургскими изданиями началась именно с вопроса о неопределенности «направления». Характеризуя либеральную программу «С.-Петербургских ведомостей», Н. К. Михайловский писал: «…отсутствие какой бы то ни было цельной теоретической подкладки заставляет ее (газету — *Ред.)* качаться из стороны в сторону и мешает ей свободно относиться к явлениям русской и европейской жизни. Она оказывается сборным пунктом всех эмансипированных от ясно сознанных принципов, что и подтверждается примерами» (Отеч. зап. 1872. № 6. Отд. II. С. 316). Этот тезис присутствовал уже в первом выступлении критика (Отеч. зап. 1872. № 5), на которое «С.-Петербургские ведомости» откликнулись утверждением: «У нас возможны только два направления, и то в самых общих чертах: так называемое консервативное с значительной примесью ретроградства и обскурантизма и просветительское, либеральное <…> И кому, спрашивается, известно направление „Отечественных записок“? По какому вопросу высказались они настолько определенно, чтоб можно было назвать их цвет?» (С.-Петербургские ведомости. 1872. 21 мая. № 138). См. также: *Галаган Г. Я.* «Одно лицо» и его «полписьма» // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1977. Т. 3. С. 162–163.

137

…мелькает какая-то скрытая жажда нежности, чего-то идеального, вера в красоту, Sehnsucht по чему-то утраченному… — «Sehnsucht» («Желание», 1801) — название стихотворения Ф. Шиллера. О мотиве «прекрасного и высокого» см.: наст. изд. Т. 4. С. 455, 768.

138

…и неужели в слове «свинья» — в своих апологах. — Ибо чем иначе могу объяснить твою мнительность? — Данная часть «Полписьма», как и примечание к нему Достоевского, представляют собой ответ на один из еженедельных фельетонов «Литературные и общественные курьезы», опубликованный в «Голосе» (1873. 18 янв № 18). Здесь говорится: «Г-н Достоевский, заразившись атмосферой „Гражданина“, поспешил прежде всего погладить самого себя по голове; затем он обругал не только своих будущих противников, но и антагонистов своего собрата по редакции князя Мещерского. В первом же нумере „Гражданина“ за нынышний год новый редактор называет свой роман <…> „Бесы“ „капитальным произведением“ в русской литературе, своего собрата по „гражданину“, князя Мещерского, иронически обзывает „львом“, а всех других наших публицистов, издевающихся над „львом“, просто „свиньями“…». Изложив содержание приводимой Достоевским во вступлении к «Дневнику писателя» индийской басни, автор фельетона продолжал: «Смысл этой басни, кажется, ясен для каждого. Гордый лев — это не кто иной, как князь Мещерский, а свинья — вся русская литература, вызвавшая доблестного князя на дуэль. Вот что значит меценатство! Едва только князь Мещерский успел выхлопотать для г-на Достоевского редакторство, как г-н Достоевский поспешил отблагодарить патрона публично, величая его львом, а его противников свиньями… К несчастью для князя Мещерского, сам „признательный“ редактор не слишком высокого мнения о „Гражданине“ и его влиянии на публику. „Я сильно подозреваю, — говорит г-н Достоевский, — что „Гражданину“ еще долго придется говорить самому с собою…». Басню г-на Достоевского мы можем легко объяснить басней дедушки Крылова „Лисица и виноград“. Еще бы всей русской публике и всем литераторам не быть „свиньями“, когда они слышать не хотят пустозвонных проповедей князя Мещерского и вряд ли будут читать бред г-на Достоевского! А уж о вызове на литературную дуэль князя Мещерского никто и не подумает. Не стоит-де он этого!» *Аполог* — краткий аллегорический рассказ из жизни животных, басня.

139

…*министерство Виктории*… — Виктория (1819–1901) — королева Англии с 1837 по 1901 г.

140

…в дружбе с половыми у Палкина… — Константин Палкин — владелец трактира в Петербурге, на углу Невского и Литейного проспектов.

141

…ты не более, как нанятой борзописец у антрепренера-издателя; ты нанят и обязан его защищать. — Редактором-издателем газеты «Голос», о фельетоне которой идет речь в начале «Полписьма» (см. комментарий к С. 72), с 1863 по 1884 г. был А. А. Краевский (1810–1889).

142

Я боюсь, среди сражений — Прелесть неги и стыда — Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Из Гафиза» («Не пленяйся бранной славой…», 1829). У Пушкина:

Но боюсь: среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда!

143

…бранишься всеми словами разом — предаешь их благодетельной гласности. — Попытка доказать несостоятельность литературно-публицистических выступлений критика сопровождалась в одном из фельетонов Буренина изложением краткой биографии Михайловского (С.-Петербургские ведомости. 1872. 29 июля. № 205).

144

Обругав соперника — колотите в стену кулаком от бессильного бешенства… — В указанном выше фельетоне (С.-Петербургские ведомости. 1872. 29 июля. № 205) Буренин писал: «Я отсюда вижу, как г-н Михайловский, то краснея, то бледнея, с замирающим от страха и тоски сердцем, пробежал сейчас изложенное вступление моего фельетона. Он в отчаянии хватает себя за волосы, и в его голове пробегает ужасная для него мысль: „Боже мой, этот Z хочет сделать меня сумасшедшим перед публикою“… Успокойтесь, взволнованный г-н Михайловский, успокойтесь!… я пошутил…».

145

…в театре Берга… — В театре Берга, находившемся в доме № 18 по Екатерингофскому проспекту Коломенской части (ныне ул. Н. А. Римского-Корсакова), показывались главным образом французские интермедии, балетные сцены и небольшие русские пьесы развлекательного характера (см.: *Михневич Вл.* Петербург весь на ладони. СПб., 1874. С. 61).

146

…будешь показывать себя нагишом — и со всеми подробностями перед публику? — Почти через все фельетоны Буренина проходит мотив «разоблачения», «обнажения» «Отечественных записок» перед публикой (см.; например: С.-Петербургские ведомости. 1872. 27 мая и 24 июня. № 144, 170 и др.).

147

Помнишь ли ты Антропку в Тургеневе? Сия вещь любимого писателя публики поистине гениальная. — Имеется в виду рассказ И. С. Тургенева «Певцы» (1850) и его концовка (ср.: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: в 28 т. Соч. М.; Л., 1964. Т. 4. С. 244).

148

Ты скрежещешь зубами… — В одном из фельетонов Михайловского отмечалось: «„С.-Петербургские ведомости“ принадлежат к числу ванек-встанек: что бы вы с ними ни делали, они непременно встанут на ноги и со скрежетом зубов будут утверждать, что они заливаются „гомерическим хохотом“ над своими противниками» (Отеч. зап. 1872. № 6. Отд. II. С. 314).

149

…запил с ним мир у Дюссота бутылкой шампанского. — «Дюссо» — ресторан в Петербурге на Б. Морской.

150

Читая фельетоны твои — какую-то бесконечную, пьяную, бестолковую масленицу — И все это такое бесконечное число раз — как всё это, наконец, надоело. — В первом выступлении Михайловского против «С.-Петербургских ведомостей», самой «видной» либеральной газеты, имя Буренина не называлось (Отеч. зап. 1872. № 5. Отд. II. С. 60–75). Две ответные передовые статьи «С.-Петербургских ведомостей» были направлены как против «Отечественных записок» в целом, так и против Михайловского лично (С.-Петербургские ведомости. 1872. 21, 23 мая. № 138, 140). В «Литературных и журнальных заметках», последовавших за этими статьями «С.-Петербургских ведомостей», не касаясь личности Буренина (и ни разу не называя его имени), Михайловский вновь изложил свою аргументацию по поводу несостоятельности либерализма (Отеч. зап. 1872. № 6. Отд. II. С. 314–320). В следующем номере «Отечественных записок» Михайловский вскрыл беспринципность Буренина в полемике его с Щедриным, Елисеевым и другими сотрудниками «Отечественных записок», показал, что Буренин «об *одной и той же статье одного и того же автора*, *рассматривая ее с одной и той же стороны*, с одинаковою развязностью» выражает «два диаметрально-противоположные мнения» (Там же. 1872. № 7. Отд. II. С. 181). Этим выступлением Михайловский закончил полемику с Буреиным (в № 10 и 11 «Отечественных записок» имя Буренина упоминалось лишь вскользь), хотя Буренин посвятил журналу Некрасова, и Михайловскому в частности, еще шесть своих фельетонов 1872 г. (С.-Петербургские ведомости. 1872. 2 и 30 сент., 28 окт., 25 ноября, 2 и 30 дек. № 240, 268, 296, 324, 331 и 357).

151

Это уже не в первый раз, и русских современных художников начинают знать в Европе. — Произведения русских художников выставлялись на всемирной выставке в Лондоне в 1862 г., затем в Париже в 1867 г., в небольшом количестве — в Мюнхене в 1869 г. Впервые большого успеха и международного признания русское искусство добилось на лондонской выставке 1872 г.

152

…переведите комедию г-на Островского — ну, «Свои люди сочтемся», или даже любую — и я, право, не знаю, что выйдет. — «Свои люди сочтемся» (первоначально «Банкрот») — ранняя комедия А. Н. Островского, принесшая ему известность. Впервые напечатанная в «Москвитянине» (1850. № 6), комедия была запрещена цензурой и вновь появилась в печати, в иной уже редакции, в 1859 г. в первом томе «Сочинений» Островского. Впервые поставлена на сцене Александрийского театра в Петербурге 16 января 1861 г. и 31 января 1861 г. на сцене Малого театра в Москве. Одна из самых резких, критических пьес Островского, комедия вызвала ряд восторженных отзывов современников. А. Ф. Писемский писал Островскому в 1850 г.: «Ваш „Банкрут“ — купеческое „Горе от ума“, или, точнее сказать: купеческие „Мертвые души“» (Неизданные письма к А. Н. Островскому. М.; Л., 1932. С. 336). Достоевский, видимо, разделял высокую оценку комедии Островского, считая ее глубоко национальным произведением.

153

…в моей молодости — г-н Виардо (муж знаменитой певицы — переводит нашего Гоголя под руководством г-на Тургенева. — Перевод повестей Гоголя на французский язык вышел в Париже в 1845 г. под названием «Nouvelles russes. Traduction française par Louis Viardot». В книгу вошли: «Тарас Бульба», «Записки сумасшедшего», «Коляска», «Старосветские помещики» и «Вий». В предисловии Л. Виардо говорит об участии в переводе И. С. Тургенева и С. А. Гедеонова (1815–1878), которые продиктовали Виардо, не знавшему русского языка, повести Гоголя по-французски; он же лишь обработал слог. Свидетельство об успехе этого перевода во Франции содержится в двух заметках Белинского (см.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 9. С. 369, 421).

154

…доказал превосходным своим переводом «Дон-Кихота» на французский язык. — Перевод «Дон-Кихота», сделанный Луи Виардо, крупным переводчиком и исследователем испанской литературы, впервые вышел на французском языке в 1836 г. (второе издание — в 1864 г.).

155

Он написал только несколько стихов, забыл каких, и, сверх того, повесть «Три портрета» — произведение уже значительное). — Из ранних произведений Тургенева Достоевскому, по-видимому, запомнились те, которые были напечатаны одновременно с «Бедными людьми» в «Петербургском сборнике» 1846 г. Это поэма «Помещик», несколько стихотворений и повесть «Три портрета». Ранее были опубликованы поэмы Тургенева «Параша» (1843) и «Разговор» (1845), драматические произведения и рассказ «Андрей Колосов» (Отеч. зап. 1844. № 11).

156

«Пиковая дама», «Капитанская дочка», которые тоже были переведены тогда по-французски… — Повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама» впервые вышла во французском переводе П. де Жюльвекура в 1843 г. (в кн.: *Julvecourt Paul de.* Le Jatagan. Paris, 1843). В 1849 г. появился перевод П. Мериме, опубликованный в журнале «Revue de deux mondes» (1849. 15 juill. P. 185–206). В 1852 г. вышла новая редакция перевода Мериме, которая переиздавалась много раз. Перевод на, французский язык «Капитанской дочки» был сделан И. С. Тургеневым с участием Л. Виардо и впервые опубликован в 1853 г. (La fille du capitaine. Traduction de Louis Viardot. Paris, 1853). В этом переводе «Капитанская дочка» переиздавалась неоднократно.

157

…мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане… — Творчество Ч. Диккенса (1812–1870) было известно в России с 30-х годов XIX в. Особенно возросла его популярность в 1840-х годах, когда он оказал заметное влияние на молодого Достоевского и ряд писателей «натуральной школы». «Имя Диккенса более или менее известно у нас всякому образованному человеку», — писала в 1844 г. «Литературная газета». Но в понимании Диккенса не было единодушия. Писатели круга некрасовских «Отечественных записок» и «Современника» видели в нем острого социального писателя и благодаря этому замечательного художника; литераторы либерального (Дружинин) и славянофильского толка — прежде всего мягкого юмориста и все примиряющего гуманиста. Для Достоевского Диккенс всегда оставался одним из самых близких художников. Ср. комментарий, к С. 89.

158

Даже нарочно изучавшие нас европейцы — не понимая иных фактов… — Вероятно, Достоевский прежде всего имеет в виду сочинения маркиза Адольфа де Кюстина (1790–1857) («La Russia en 1839». Paris, 1840; 4-e, доп, изд. — 1843) и барона Августа фон Гакстгаузена (1792–1866) «Studien über die inneren Zustande, das Volksleben und insbesondere die landlichen Einrichtungen Russlands», Bd l-3. Berlin, 1847–1852, русский перевод первого тома «Исследование внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России» (1857). Книгу Кюстина Достоевский оценивал иронически (см.: «Петербургская летопись» (1847), «Ряд статей о русской литературе. Введение» (1861)). О его отношении к этому сочинению см. также: *Кийко Е. И.* Белинский и Достоевский о книге Кюстина «Россия в 1839» // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1974. Т. 1. С. 189–200.

159

«Эта скудная природа»… — строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья…» (1855), любимого Достоевским и часто им цитировавшегося (см., например: IX, 306). Стихотворение Тютчева созвучно одной из ведущих мыслей статьи Достоевского:

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,

Что сквозит и тайно светит
В красоте твоей смиренной.

(*Тютчев Ф. И.* Полн. Собр. стихотворений. Л., 1957. С. 201).

160

…эти две березки в пейзаже г-на Куинджи («Вид на Валааме») … — Картина А. И. Куинджи (1842–1910) «На острове Валааме» (1873) была первым произведением художника, привлекшим к нему всеобщее внимание. И. Е. Репин писал о ней П. М. Третьякову 17 января 1873 г.: «Картина представляет суровую северную природу. Замечательна она еще удивительным серебряным тоном. <…> Гранитная плоскость освещена лучом холодного солнца; даль картины — лес над небольшой рекой и водоросли тонут во мраке под густыми тучами; на первом плане, на пригорке, стоят два, общипанные ветром, дерева — сосна и береза. Очень впечатлительная вещь, всем она ужасно нравится, и еще не дальше как сегодня заходил ко мне Крамской — он от нее в восторге» (*Репин И. Е.* Переписка с Третьяковым. М.; Л., 1946. С. 18).

161

…даже переселение черкесов — слишком сильного впечатления. — Вероятно, Достоевский имеет в виду картину И. Н. Грузинского (1837–1892) «Оставление горцами аулов при приближении русских войск» (1872), написанную для выставки в Париже и вновь экспонировавшуюся в 1873 г. За эту картину живописец получил звание академика. Обозреватель «Голоса» Нил Адмирари в своей статье «По поводу выставки в Академии художеств» дал высокую оценку картине Грузинского, которую он назвал «прекрасной». Рассуждения по поводу нее см.: ГолоС. 1873. 4 марта. № 63.

162

…небольшая картинка (Маковского) «Любители соловьиного пения», кажется; не знаю, как она названа. — «Любители соловьиного пения», или «Любители соловьев» (1872–1873) — картина В. Е. Маковского (1846–1920), получившего за нее звание академика (ныне находится в Третьяковской галерее). В № 8 «Гражданина» за 1873 г., в корреспонденции «Московские заметки», сообщалось о крупнейших событиях русской культурной жизни и в том числе о новой картине Маковского. Излагая ее содержание, автор корреспонденции замечает, что, глядя на картину, «вы забываете всю бедность <…> обстановки», что изображенные на ней люди, принадлежащие к различным социальным группам, показаны как «истинные художники — любители соловьев». «Автор картины сумел выразить *общечеловеческое* и могучее художественное самозабвение; в которое впали выставленные им лица, и сумел очаровать вас» (Гражданин. 1873. 19 февр. № 8. С. 224). Называя Маковского «истинно русским художником», автор «Московских заметок» трактует картину в славянофильском духе. Анализ картины Маковского, данный Достоевским, во многом близок анализу автора «Московских заметок», однако выводы Достоевского сложнее и глубже. Он видит в картине «любовь к человечеству, не только к русскому в особенности, но даже и вообще» (С. 85).

163

…(как-то уже это принято, что всё это «темное царство» — в домашнем быту)… — «Темное царство» — выражение Н. А. Добролюбова (из статьи того же названия 1859 г., посвященной драмам А. Н. Островского). В упоминавшемся разборе картины Маковского в «Гражданине» (см. предыдущие примеч.) один из купцов, изображенных на картине, назван «членом из пресловутого „темного царства“», но это пренебрежительное отношение к формуле Добролюбова Достоевским не разделяется. Напротив, он сочувственно относился к основной идее добролюбовской статьи. В письме Н. Н. Страхову от 6 (18) апреля 1869 г. он заметил: «Может быть, Островскому и <…> не приходило в ум всей идеи насчет темного царства, но Добролюбов подсказал хорошо и попал на хорошую почву» (XXIX, кн. 1, 36).

164

…в эстонской или лифляндской каюте игра в карты, — это, конечно, понятно — в карты все играют и гадают, так что и «Десятка пик» (так названа одна картина) будет совершенно понятна… — Имеются в виду картины финского художника Янсена «Трефовый туз в аландской каюте» и польского художника Шульца «Девятка пик», изображающая сцену гадания. О картине Шульца подробно и сочувственно рассказал Нил Адмирари в статье «По поводу выставки в Академии художеств» (ГолоС. 1873. 4 марта № 63). Полотно Янсена было положительно оценено в венской газете «Presse» от 3 августа 1873 г. См. также: *Стасов В. В.* Немецкие критики о русском художестве на венской выставке // *Стасов В. В.* Избр. соч.: В 3 т. М., 1952. Т. 1. С. 244.

165

…не думаю, чтобы поняли, например, Перова «Охотников». — Известная картина В. Г. Перова (1832–1882) «Охотники на привале» (1871) находится сейчас в Третьяковской галерее. Восторженный отзыв об этой картине, как и о других полотнах русских «передвижников», содержится в отчете Н. К. Михайловского «На Венской всемирной выставке» (Отеч. зап. 1873. № 7. Отд. II. С. 130). Достоевский всегда ценил Перова как национального художника Ср., например, отзыв о нем в статье 1861 г. «Выставка в Академии художеств» (см.: XIX, 166–167). В 1872 г. Перов по заказу П. М. Третьякова создал известный портрет Достоевского.

166

…как отнесутся в Вене к «Псаломщикам» Маковского. — Речь идет о картине В. Е. Маковского «Придворные псаломщики на клиросе» (1870). В настоящее время она находится в Севастопольской областной картинной галерее.

167

…окажется гораздо полезнее для его же целей, чем, например, все песни о рубашке (не Гуда, а наших писателей)… — В статье «Литературные и журнальные заметки» (январь 1873 г.) Н. К. Михайловский писал: «Читали ли они (критики, ратующие за преимущественное развитие литературной техники. — *Ред.*) лирическое стихотворение, более высокохудожественное, чем „Песня о рубашке“ Томаса Гуда? И знают ли они вместе с тем лирическое стихотворение более тенденциозное?» (Отеч. зап. 1873. № 1. Отд. II. С. 158) «Песня о рубашке» (1843) — стихотворение английского поэта Т. Гуда (Hood, 1793–1845), изображающее тяжелое положение женщины-швеи и направленное против эксплуатации женского труда. На русский язык оно переведено М. Л. Михайловым (Современник. 1860. № 9. С. 63–66). В 1861 г. в «Современнике» была опубликована статья М. Л. Михайлова «Юмор и поэзия в Англии. Томас Гуд», в которой сказано, что Гуд поэт, в чьих произведениях «нашли свой голос бедствия бедных классов» (Современник. 1861. № 8. С. 377).

168

Я читал две последние поэмы Некрасова — решительно этот почтенный поэт наш ходит теперь в мундире. — Речь идет о поэмах Н. А. Некрасова «Княгиня Трубецкая» (Отеч. зап. 1872. № 4) и «Княгиня М. Н. Волконская» (Отеч. зап. 1873. № 1), напечатанных под общим заглавием «Русские женщины» и вошедших затем в книгу «Стихотворения Н. Некрасова» (СПб., 1873). Об отношении Достоевского к этим поэмам см. выше, С. 337.

169

…проехавшая шесть тысяч верст в телеге и «узнавшая прелесть телеги», слетевшая, как вы сами уверяете, «с высокой вершины Алтая»… — См. в поэме «Княгиня М. Н. Волконская» (гл. V):

А ночью ямщик не сдержал лошадей,
Гора была страшно крутая,
И я полетела с кибиткой моей
С высокой вершины Алтая!

""

И далее там же:

Дорога без снегу в телеге! Сперва
Телега меня занимала,
Но вскоре потом, ни жива, ни мертва,
Я прелесть телеги узнала.

(*Некрасов Н. А.* Полн. Собр. Соч. и писем. В 15 т. Л., 1982. Т. 4. С. 176).

170

…Эта женщина ни за что не поцелует сначала цепей любимого человека — и так сделает всякая женщина решительно. — В гл. VI поэмы «Княгиня М. Н. Волконская» героиня так вспоминает о встрече с мужем в Нерчинске:

Я только теперь, в руднике роковом,
Услышав ужасные звуки,
Увидев оковы на муже моем,
Вполне поняла его муки,
И силу его… и готовность страдать!
Невольно пред ним я склонила
Колени, — и прежде чем мужа обнять,
Оковы к губам приложила!…

(*Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 4. С. 184).

Эпизод этот не был выдуман Некрасовым, а создан на основании «Записок» М. Н. Волконской, известных поэту в рукописи. Волконская рассказывала: «Сергей бросился ко мне; бряцание его цепей поразило меня: я не знала, что он был в кандалах. Суровость этого заключения дала мне понятие о степени его страданий. Вид его кандалов так воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом — его самого» (Записки княгини М. Н. Волконской. Чита. 1956. С. 66).

171

Чуть только я прочел в газетах о бурлаках г-на Репина… — Картина И. Е. Репина (1844–1930) «Бурлаки на Волге» (находится в настоящее время в Санкт-Петербурге в Русском музее) была первым произведением, принесшим художнику не только всероссийскую, но и международную известность. На выставке в Вене произведение это воспринималось как наиболее значительное из всей русской экспозиции и вызвало много откликов (см., например: *Н. М.* На венской всемирной выставке // Отеч. зап. 1873. № 7. Отд. II. С. 131–132; *Стасов В. В.* Немецкие критики о русском художестве на венской выставке. С. 242–250). В разборе Достоевским «Бурлаков» заметно воздействие на него статьи В. В. Стасова «Картина Репина „Бурлаки на Волге“» (С.-Петербургские ведомости. 1873. 18 марта. № 76), которую Достоевский мог прочитать непосредственно перед тем, как приступить к статье «По поводу выставки».

172

А не были бы они так натуральны, невинны и просты — Просто скажу: фигуры гоголевские. — Ср. отзыв В. В. Стасова о «Бурлаках» в «С.-Петербургских ведомостях»: «Но не для того, чтобы разжалобить и вырвать гражданские вздохи, писал свою картину г-н Репин: его поразили виденные типы и характеры, в нем жива была потребность нарисовать далекую, безвестную русскую жизнь, и он сделал из своей картины такую сцену, для которой ровню сыщешь разве только в глубочайших созданиях Гоголя» (*Стасов В. В.* Избр. соч. Т. 1. С. 240).

173

Примеры бывали, что с первых дней так и умрет у каши бурлак — находили одну только кашу до самого горла. — Сведения эти, возможно, почерпнуты Достоевским из романа Н. С. Лескова «Соборяне», впервые напечатанного в 1872 г. в «Русском вестнике» (№ 4–7). В главе тринадцатой пятой части «Соборян» рассказывается о нескольких случаях смерти от переедания долго перед тем голодавших людей. Когда лекарь вскрыл трупы умерших за едой двух братьев-бурлаков, он, «ища в желудке отравы, нашел одну кашу, кашей набит растянутый донельзя желудок, кашей набит был пищевод, и во рту и в гортани везде лежала все та же самая съеденная братьями каша» (*Лесков Н. С.* Собр. соч.·. В 11 т. М., 1957, Т. 4. С. 305).

174

Ведь и Диккенс — жанр, не более; но Диккенс создал «Пиквика», «Оливера Твиста» и «Дедушку и внучку» в романе «Лавка древностей»… — Достоевский называет здесь ранние романы Диккенса, получившие широкую известность в России уже в 1840-х годах: «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836–1837; первый русский перевод в 1838 г. в «Сыне отечества»); «Приключения Оливера Твиста» (1839, первый русский перевод в 1841 г. в «Отечественных записках»); «Лавка древностей» (1841; первый русский перевод в 1843 г. в «Библиотеке для чтения», вышел затем в 1853 г. отдельным изданием под названием «Дедушка и внучка» и в 1861 г. в обработке для детей под тем же названием был напечатан в «Подснежнике», № 1–4). В этих произведениях сильнее, чем в поздних, более социальных романах, сказались романтические мотивы творчества Диккенса, в них ощутимее то, что Достоевский именует «идеальностью», призывая русских художников «не бояться „идеальности“, но <…> смело доверять ей» (см.: *Фридлендер Г. М.* Эстетика Достоевского // Достоевский — художник и мыслитель. М., 1972. С. 155). Названные Достоевским романы Диккенса нашли отражение в его собственном творчестве. О Пиквике как одном из литературных предшественников князя Мышкина см. IX, 239, 40l. Об использовании в сюжете повести «Село Степанчиково и его обитатели» эпизода из «Записок Пиквикского клуба» см.: наст. изд. Т. 3. С. 514. Воздействие «Лавки древностей» особенно ощутимо в «Униженных и оскорбленных» (см.: III, 526); своеобразную интерпретацию этого романа Достоевский дает в «Подростке» устами Тришатова (см.: наст. изд. Т. 8. С. 566 и 805).

175

.. «Гимн пифагорейцев» Бронникова — так же необходимы искусству и человеку, как и текущая действительность. — Картина профессора исторической живописи Ф. А. Бронникова (1827–1902) «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» (1869) была написана в академической манере, на характерный для этого художника возвышенный античный сюжет (в настоящее время находится в Третьяковской галерее). «Гимн пифагорейцев» принес художнику большой успех. Тем не менее Нил Адмирари писал в «Голосе» в связи с отбором картин для выставки в Вене: «Как на пример вопиющей ошибки в выборе укажем на то, что такая картина, как смехотворный „Гимн пифагорейцев“ псевдоклассика г-на Бронникова, будет красоваться в Вене, тогда как прелестная картина г-на Прянишникова „Гостинный двор в Москве“ забракована, если верить слухам, из патриотизма…» (ГолоС. 1873. 4 марта. № 63).

176

…эта пагубная ошибка замечается в некоторых картинах г-на Ге. — На выставке 1873 г. экспонировалась картина Н. Н. Ге (1831–1894) «Петр I и царевич Алексей» (1871), находящаяся сейчас в Третьяковской галерее (авторское повторение — в русском музее в Санкт-Петербурге). Критика упрекала Ге в бытовизме и в снижении характеров обоих героев-противников. Обозреватель венской выставки в журнале «Дело» Е. Григо писал, например: «Картина Ге „Царь Петр“ производит странное впечатление <…> На стуле сидит сильный мужчина, Петр, с покрасневшим от гнева лицом, холодом веет от всей его фигуры. Перед ним стоит бледный, худой, длинный, с меланхолическим выражением в лице юноша <…> это царевич Алексей, сын Петра <…> Симпатии зрителя обращены к сыну, но, говорят, художник рассчитывал, что они будут обращены на отца, одного из величайших умов своего времени» (Дело. 1873. № 9. С. 133 3-ей паг.).

177

Из своей «Тайной вечери», например, наделавшей когда-то столько шуму, он сделал совершенный жанр. — Картина Н. Н. Ге «Тайная вечеря» (1863) была впервые выставлена в Академии художеств в 1863 г. и сразу же возбудила всеобщее внимание, вызвав оживленную полемику. В настоящее время находится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Демократическая критика восторженно встретила появление этой картины. М. Е. Салтыков-Щедрин писал в 1863 г. в обозрении «Наша общественная жизнь»: «Картина Ге представляет у нас явление совершенно новое именно по совершенному отсутствию всяких рутинных приемов и приторно-казенных эффектов и по совершенно ясному отношению художника к изображаемому им событию. И такова сила художественной правды, что это отсутствие эффектов не только не умаляет значения самого события, но, напротив того, усугубляет его и представляет событие во всей его торжественной поучительности, во всей поразительной красоте» (Современник. 1863. № 11. Ср.: *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1968. Т. 6. С. 153). Подробный разбор картины с глубоко сочувственным отзывом о ней содержится в статье А. Сомова в № 213 «Петербургских ведомостей» за 1863 г. Известен восторженный отзыв И. Е. Репина о «Тайной вечере» Ге в его письме к В. В. Стасову от 26 октября 1876 г. (*Репин И. Е., Стасов В. В.* Переписка. М.; Л., 1948. Т. 1. С. 140). Напротив, ряд критиков увидел в картине бытовое решение высокой «вечной» темы, ее снижение и упрощение. Так, в «Современной летописи» говорилось: «Ге — первый из живописцев *намеренно* отнял у величайшего из мировых событий его божественность. Этим он поколебал основание своего сюжета, отчего картина его не верна художественной истине…» (Современная летопись. 1863. № 38). Сходным образом, но более спокойно высказался В. В. Стасов в статье «Академическая выставка 1863 года» (Библиотека для чтения. 1864. № 2). Он отметил высокие живописные достоинства картины Ге, однако трактовка сюжета вызвала его возражения: «Так представлять Христа — значит вовсе не понимать ни его характера, ни его значения, и если художник ничего другого не в состоянии был создать своею фантазией,

кроме представления учителя, проводника новой жизни и истины существом, не умеющим показать нравственной громадной силы своей, — то лучше было бы сюжета тайной вечери не брать вовсе» (*Стасов В. В.* Избр. соч. Т. 1. С. 119). Мнение Достоевского о «Тайной вечере» близко этому отзыву Стасова. Ср. также ироническое упомининие Ге в «Записках из подполья» (см.: наст. изд. Т. 4. С. 465 и 769) и сопоставление имен Ге и Репина в подготовительных материалах к «Бесам» (XI, 192; XII, 354).

178

Тициан — изобразил его в известной картине своей «Кесарево кесареви»… — Картина Тициана (1477–1576) «Кесарев динарий» (или «Христос с монетой», 1506?) написана на евангельский сюжет, согласно которому Иисус, когда спросили его, «позволительно ли давать подать кесарю или нет», велел принести монету и, указав на изображение кесаря на динарии, сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Евангелие от Матфея, гл. 22, ст. 15–21). Она находится в Дрезденской галерее, и Достоевский хорошо ее знал. По свидетельству А. Г. Достоевской, «Христос с монетой» — одно из любимейших живописных произведений писателя (см.: *Достоевская А. Г.* Воспоминания. М, 1971. С. 150). 20 апреля 1867 г. А. Г. Достоевская записала в своем дневнике о картине Тициана: «Эта великолепная картина, по выражению Феди, может стоять наравне с Мадонною Рафаэля. Лицо Христа выражает удивительную кротость, величие, страдание» (*Достоевская А. Г.* Дневник. 1867. М., 1923. С. 19).

179

В «Русском мире» (№ 103) появилась на меня ругательная заметка. — Тем более, что и речь о церковном предмете. — В № 103 «Русского мира» (1873. 23 апр.) за подписью «Свящ. П. Касторский» была помещена полемическая заметка «Холостые понятия о женатом монахе».

180

Недавний успех «Записок причетника» в «Отечественных записках» и потом еще больший успех «Соборян» в «Русскомвестнике»… — Имеется в виду повесть Марко Вовчка (М. А. Маркович) «Записки причетника» (Отеч. зап. 1869. № 9-11; 1870. № 10–11) и роман Н. С. Лескова «Соборяне» (Рус. вестн. 1872. № 4–7).

181

…*Клир* (от *греч. klhρος* — жребий, надел) — общее наименование служителей культа православной церкви; церковный причт.

182

Что значит «вслед за псаломщиком — действительно есть обличение, подписано «Псаломщик». — Заметка «О певческой ливрее. (Письмо в редакцию)» за подписью «Псаломщик» была опубликована в «Русском мире» (1873. 4 апр. № 87).

183

Посмотрим, что такое — и это всякий поймет, кто прочтет статью мою. — В заметке «О певческой ливрее» неточно цитировались те отрывки из девятой статьи «Дневника писателя» за 1873 г. «По поводу выставки», где дано описание картины В. Е. Маковского «Придворные псаломщики на клиросе» (см. выше, С. 86–87, отрывок «По-моему, это уже не жанр — что тут что-то вовсе другое»).

Псаломщики, или клировые люди, изображены на картине в темных сутанах и пелеринах: такая одежда во время богослужения соответствовала обряду, утвердившемуся при Петре I под иноземным (польским) влиянием.

184

Контуш (или кунтуш) — одежда поляков, заимствованная ими в средние века от крымских татар (имела вид длинного кафтана с разрезными рукавами, которые забрасывались за плечи); с конца XVI в. контуш являлся обыденной одеждой; с 1776 по 1780 г. был военным мундиром, с конца XVIII в. стал выходить из употребления.

185

Азям (или озям) — длинный крестьянский кафтан, сермяжный или из толстого сукна.

186

Лестовки (листовки) — кожаные четки.

187

Патриаршие времена — период в истории русской церкви с XV в. до церковной реформы Петра I, который в 1720 г. уничтожил патриаршество и подчинил церковь и духовенство общей системе государственной власти. При этом на высшие места в учрежденный для управления церковью Синод были назначены украинские ученые церковные деятели, получившие образование в польских духовных заведениях (об этом см.: *Чистович И. А.* Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868. С. 70–105). О польском влиянии на русские церковные обряды и практику в конце XVII — начале XVIII в. см.: там же. С. 34–36; а также: *Моисеева Г. Н.* Литературно-общественные и научные связи России и Польши конца XVII — середины XVIII в. // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. VII Международный съезд славистов. М., 1973. С. 438–451.

188

Не про Дмитрия Донского время я говорил и не про Ярославово. — Дмитрий Донской (1350–1389) — великий князь московский. Ярослав Мудрый (978-1054) — великий князь киевский.

189

И свят, о боже, твой избранник! — Он исполина сокрушит. — Цитата из стихотворения Н. М. Языкова «Кому, о господи! доступны твои сионски высоты?» (1830), представляющего собой подражание псалму 14.

190

Кто этот г-н Недолин, мы не знаем… — См. об этом ниже.

191

Крайне бедная и неискусно скомпонованная фабула рассказа «Дьячок» — если бы ей была дана вероподобная развязка… — Это замечание вызвано критикой Достоевским «конца диакона Ахиллы» в «Соборянах» самого Лескова (см. С. 65).

192

…злополучный дьячок мог бы, например, бежать на Афон — во многом самостоятельнее, чем в России. — См. об этом ниже.

193

Почтенному автору ее г-ну Недолину (не псевдоним).… — М. А. Недолин — автор ряда повестей и рассказов, публиковавшихся в 1872–1877 гг. в журналах «Нива», «Семейные вечера», «Кругозор»; его роман «Не в ту силу» помещен в первом томе его Собрания сочинений (Киев, 1879).

194

…происшествие это истинное. — почти всегда носят на себе характер фантастический, почти невероятный? — О «фантастическом» характере реальной действительности Достоевский писал многократно, в частности в статье «Нечто о вранье».

195

Недавно, то есть несколько месяцев тому назад — да еще при свидетелях. — См. примечания к заметке «Наши монастыри».

196

Помилуйте, можно написать пером слово «дьячок» совсем без намерения отбивать что-нибудь у г-на Лескова. — Л. П. Гроссман указал на связь этого высказывания Достоевского с двумя первыми стихами его эпиграммы 1874 г.:

Описывать всё сплошь одних попов,
По-моему, и скучно, и не в моде;
Теперь ты пишешь в захудалом роде;
Не провались, Л<еск>ов.

(См.: *Гроссман Л. П.* Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. М.; Л., 1935. С. 347).

197

Главное дело вот в чем: кто вам сказал, что наш дьячок поступил в монахи? — В монахи могли поступать люди, не состоящие в браке и давшие обет безбрачия.

198

…в теснейшей дружбе с епархиальным начальником… — Епархия (от греч. ἐπλρχίλ) — название единицы гражданско-административного подразделения в греко-римской империи, в России в XIX в. так назывались районы, где церковная власть принадлежала одному архиерею; они совпадали с губерниями и областями (за исключением Прибалтийского края, Северо-западного края, Привисленского края и Финляндии).

199

Ну что толку, что автор тянет вас в продолжение тридцати листов — ни разу более не возвращается к ним в остальном рассказе… — Имеется в виду роман Н. С. Лескова «На ножах» (1870–1871). Действие главы 36 пятой части романа («Где Лара?») происходит «неподалеку от Ясс, в Молдавии», в молдо-валахском замке, где один из героев романа — Горданов — настигает сбежавшую от него Лару.

200

Афон — полуостров в Греции; один из центров восточного православного мира. Хождение на Афон и пребывание там русских началось с XI в. Особой известностью пользовались афонские монастыри Св. Пантелеймона, Иверский, русский скит Св. Илии (см.: *Муравьев А. Н.* Описание монастырей и скитов на св. горе Афонской. СПб., 1850; Палестина и Афон. Письма святогорца Серафима. Вятка, 1872; *Константинов Н. (К. Леонтьев).* Панславизм на Афоне // РуС. вести. 1873. № 4).

201

Вспомните, батюшка, у Гоголя в «Женитьбе» — так уж тут мое почтение… — Достоевский неточно цитирует заключительные строки комедии Н. В. Гоголя «Женитьба» (1842). У Гоголя:

«*Кочкарев.* Это вздор, это не так. Я побегу к нему, я возвращу его! (*Уходит.*)

Фекла. Да, поди ты, вороти! Дела-то сватского не знаешь, что ли? Еще если бы в дверь выбежал — ино дело, а уж коли жених да шмыгну в окно — уж тут, просто мое почтение!» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. М., 1949. Т. 5. С. 61).

202

Картину раз высматривал сапожник. — «Суди, дружок, не свыше сапога!» — Цитата из эпиграммы А. С. Пушкина «Сапожник. Притча» (1829). В современных изданиях предпоследняя строка печатается по тексту «Современника»: «Тут Апеллес прервал нетерпеливо…» (см.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 17 т. М., 1948. Т. 3. С. 174, 750).

203

…с каким совсем несвойственным вашему сану неприличием говорите о чудесах. — Всё это вы выдумали, и я вас вызываю указать: где вы это нашли? — Лесков в своей заметке намекает на один из главных мотивов статьи «Смятенный вид» (искажая его при этом) — изложение Достоевским своего понимания значения христианства и православия и его рассуждение в связи с этим о действенной роли «чуда» и восприятии его раскольниками (см. выше, С. 64–72).

204

Простонародье, например, в повестях Пушкина — чем у писателя Григоровича, всю жизнь описывавшего мужиков. — Ценя Д. В. Григоровича как автора рассказов о народе (см. об этом ниже), Достоевский тем не менее противопоставляет его подход к народу как художника-«типиста», характерный для писателей «натуральной школы, иному способу художественного изображения народа в творчестве Пушкина. Достоевский писал об этом и в «Дневнике писателя» за 1880 г. (см.: XXVI, 130; см. также: *Бем А. Л.* Гоголь и Пушкин в творчестве Достоевского // Slavia, 1929. Ч. 1. С. 82–100; *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. М.; Л., 1963. С. 187–192).

205

Это — это, так сказать, дарвинизм, борьба за существование. — Ирония Достоевского вызвана его критическим отношением к попыткам применить теорию Дарвина непосредственно к общественной жизни, что было характерно для эпохи позитивизма вообще и для некоторых из тогдашних народнических теоретиков в частности (подробнее см. об этом в статье «Одна из современных фальшей» и комментарий к ней.

206

А причем же тут сам «Русский мир»? — Бог знает с чего вскачут люди. — Достоевский иронизирует над пристрастным отношением к Лескову газеты «Русский мир», регулярно печатавшей в начале 1870-х годов его произведения и похвальные отзывы о его творчестве (см.: *Столярова И. В.* Н. С. Лесков в «Русском мире» (1871–1875) // Учен. зап. Омск. пед. ин-та. 1962. Вып. 17. С. 97–122). «Голос» А. А. Краевского, враждебно относившийся к Достоевскому и «Гражданину», также иронически высказывался в 1873 г. по адресу Лескова и «Русского мира»: «И дался же этот г-н Лесков-Стебницкий своему патрону „Русскому миру“! Газетка доходит до того, что ставит своего протеже наряду с Жуковским, Пушкиным, Гоголем <…> Уж не сам ли г-н Лесков-Стебницкий, сотрудник „Русского мира“, строчит все эти панегирики „даровитому романисту“? Быть не может!» (Голос. 1873. 18 янв. № 18).

207

Мы в прошлом № «Гражданина» — о нашей вере в ближайшее лучшее будущее. — В 1873 г. вопрос об усилении пьянства в русской пореформенной деревне обсуждался всей периодической печатью. В «Вестнике Европы» (1873. № 1 С. 382–406) была опубликована статья Н. Тизенгаузена «Повальное пьянство и меры против него». В «Отечественных записках» (1873. № 8. Отд. II. С. 289) на эту тему писал Н. А. Демерт. Как один из серьезнейших симптомов разложения народа рассматривал пьянство «Гражданин». В связи с публикацией в «Правительственном вестнике» (1873 8 мая. № 108) сообщения о мерах против пьянства в Пензенской губернии, предпринятых самим народом, «Гражданин» (1873. 14 мая. № 20) поместил статью «Что может спасти Россию от повального пьянства?». В ней отмечалось. «…для успеха этого знаменательного начала, кажется нам, необходимо, чтобы такое начинание в отдельной местности Пензенской губернии не оставалось одиноким <…> Но в день, когда губернатор соединится с земством, земство с помещиками и духовенством, духовенство с мировыми посредниками, и все сообща приступят к делу борьбы с пьянством и введению обязательного народного обучения, и все эти начинания поддержит печать и вся русская интеллигенция горячим сочувствием к делу, тогда благословен будет этот день, ибо им начнется спасение России» (С. 580–581) 20 мая А. С. Суворин в «С.-Петербургских ведомостях» (№ 137), приведя заключительную часть указанной цитаты, замечал: «Это очень почтенные, но и достаточно наивные строки, ибо такая „уния“ мыслима только в пламенных мечтах юноши». О мерах против пьянства в разных губерниях России «Гражданин» неоднократно сообщал и впоследствии (см., например: Гражданин. 1873. 16 июля, 20 и 27 авг. № 29, 34 и 35).

208

…aprés moi le déluge — Точнее: *Aprés nous le déluge»*. Эта фраза приписывается французскому королю Людовику XV. Некоторые мемуаристы считают, что она принадлежит его фаворитке маркизе Помпадур (см.: *Desmaze Ch.* Le Reliquaire de M. Q. de la Tour. Paris, 1874. P. 62). Достоевский использует это выражение в ряде произведений (см., например: наст. изд. Т. 4. С. 423 («Зимние заметки о летних впечатлениях»); XVI, 8–9 («Подросток», подготовительные материалы)).

209

…простительно помечтать — Мечтал же Поприщин — «…все эти события меня так убили и потрясли, что я…» — Достоевский неточно цитирует повесть Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1834; у Гоголя: «Эти происшествия так меня убили и потрясли, что я…»). Мечты Поприщина, вообразившего себя в конце концов королем Испании, были связаны с освещением русской печатью 1830-х годов борьбы, развернувшейся вокруг испанской короны после смерти Фердинанда VII и вступления на престол его трехлетней дочери Изабеллы II. Сопоставление собственных размышлений с «мечтами» Поприщина связано, по-видимому, с выступлением Л. К. Панютина, сравнившего «Дневник писателя» с «Записками сумасшедшего» (Голос, 1873. 14 янв. № 14). Несогласие с рецензентом «Голоса» подчеркивается и названием статьи Достоевского, утверждающим право автора на мечту.

210

…о положении России как великой европейской державы… — В связи с публикацией «Общей государственной росписи доходов и расходов на 1873 год» (Правительственный вести. 1873. 7 янв. № 6) «С.-Петербургские ведомости» посвятили ряд передовых статей сравнительному анализу экономического и финансового состояния, военному бюджету «первостепенных» и «второстепенных» держав (см.: С.-Петербургские ведомости. 1873 11, 13, 14, 18, 23, 25, 28 и 30 янв. № 11, 13, 14, 18, 23, 25, 28, 30). Относя Россию к числу держав «первостепенных», газета отмечала, однако, несовершенство государственного аппарата России в сравнении с Германией, Англией, Соединенными Штатами Америки.

211

Но с чтением статей г-на Пыпина я отрезвился. — А потому невольно остается и мне обойтись без этих утешающих душу начал. — Александр Николаевич Пыпин (1833–1904) — историк литературы, долголетний сотрудник «Современника» и «Отечественных записок», автор ряда работ по древней и новой русской литературе, истории общественной мысли, энтографии, фольклору. Речь идет о шестой части («Славянофильство») его труда «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. Исторические очерки» (Вестн. Европы. 1872. № 11. С. 47–97; № 12. С. 618–678). В центре этой части работы Пыпина, построенной на полемике с И. В. и В. П. Киреевскими, А. С. Хомяковым, Ю. Ф. Самариным, И. С. и К. С. Аксаковыми, — теологические построения славянофилов, защита и возвеличение ими православия, а также их историческая теория, согласно которой русский народ сохранил истинно христианские начала общества и государства, а мир западный их извратил. Развивая западническую точку зрения, Пыпин писал: «Русская древность представляется Аксакову в самом радужном цвете <…> В своем народно-патриотическом увлечении он уже рисует русский быт старого времени как осуществление нравственного идеала, как истинное христианское государство <…> Аксаков безусловно восхищается единством быта, которое находит в древней Руси, но факты показывают ясно, что старый русский быт мог сохранить свое единство только потому, что это был слишком непосредственный и патриархальный быт, так сказать нетронутый никакой рефлексией <…> Славянофилам казалось, что стоит нашему обществу, „пишущим и непишущим литераторам“, принять излагаемые ими народные начала, и все будет приобретено: и самостоятельная мысль, и роль в человечестве, и уважение иностранцев, и т. д. Скоро сказка сказывается, но умственная самостоятельность достигается не так легко: чтобы стать независимо от западной цивилизации и выше ее, чтобы „подчинить западное просвещение нашим началам“, как требовал Киреевский, нужно сначала приобресть необходимую силу, воспринять и переработать содержание западного просвещения» (Вестн. Европы.

1872. № 12. С. 631, 638, 664). В работе Пыпина затрагивались и воззрения «младших» славянофилов, идеологов «почвенничества» 1860-х годов: «Новый период <…> мало увеличил литературные силы первоначальной школы и мало подвинул доказательство ее основных положений, зато слабые стороны этого учения обнаружились теперь ярче, чем когда-нибудь. К славянофильству примкнули новые школы, которые также заговорили о „народных началах“, „почве“ и т. п. и, не имея ни таланта, ни горячего убеждения первых начинателей учения, распространяли только пустые фразы на тему народности и более или менее явный обскурантизм» (там же. С. 678) С критической оценкой этой части работы Пыпина в «Гражданине» выступил М. П. Погодин (см.: Гражданин. 1873. 12 марта. № 11. С. 347 352; 26 марта № 13. С. 415–420)

212

В этом нам чрезвычайно может помочь всеобщее европейское невежество — теперь, увы, кажется, и они начинают нас понимать лучше прежнего; а это очень опасно. О незнании и непонимании Европою России Достоевский писал еще в конце 1860 г. во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе». В начале 1870-х годов внимание писателя могла привлечь книга Ю. Экгардта «Современная Россия» (*Eckhard Julius* Modern Russia. London, 1870), состоявшая из четырех очерков: «Россия в царствование Александра II», «Русский коммунизм», «Православная русская церковь и ее секты», «Русские балтийские провинции». Рецензия на нее была помещена в «Заре» (1871. № 1. Отд. 2) В рецензии отмечалось, что в книге Экгардта есть «и знание относительно России, и невежество, и (кажущееся, по крайней мере) хладнокровие, и самое рьяное и нескрываемое пристрастие» (С. 49). Анализу книги в «Заре» было предпослано следующее вступление: «В последние годы в Западной Европе все более и более развивается любопытство насчет России, все шире и глубже распространяется желание познакомиться со страною и с народом, о которых до сих пор существовали, а частию и теперь существуют только смутные понятия…» (С. 48) Достоевский мог быть знаком и с публикацией в «Вестнике Европы» отрывка из статьи вице-президента Института морских архитекторов в Лондоне Е. Д. Рида «Русский императорский флот» («The imperial Russian Navy» Naval Science. 1872. July), в которой улучшение положения в русском флоте объяснялось предоставлением свободы действий «обладающим самобытным и обширным умом и в высшей степени знающим свою специальность морским офицерам» (Вестн. Европы. 1872. № 9. С. 418).

213

Возьмите наше пространство и наши границы — а отчасти и иноземных соседских элементов)… Эта мысль Достоевского, возможно, полемически соотносится с рассуждениями А. Стронина в «Политике как науке» о скрещивании национальностей как важнейшем источнике обновления России и оценкой энтографической пестроты окраин русского государства как «великого блага» Положения Стронина разделялись и В. Д. Спасовичем, писавшим в разборе «Политики как науки»: «…только близорукие централисты сетуют на эту пестроту окраин» (Вестн. Европы. 1873. № 4. С. 730) Е. А. Белов так отвечал Спасовичу в рецензии «Туман в истории и политике», опубликованной в «Гражданине»: «…близорукие централисты хотят, чтобы те небольшие частички местного населения на окраинах, которые именуют себя чуть не „солью земли“, по крайней мере клочков оной, которые надменно именуют себя интеллигенциями того или другого края России, чтобы те небольшие частички не давили, пользуясь своим привилегированным положением, интересов масс, солидарных с интересами русского государства» (Гражданин. 1873. 9 июля. № 28. С. 786) К проблематике «окраин» Достоевский вернулся в 1875–1876 гг. при чтении книги Ю. Ф. Самарина «Окраины России» (Прага, 1868. Вып. 1–3; Берлин, 1871).

214

Теперь почти в каждые десять лет изменяется оружие — У нас такой науки еще не имеется; да и покупной даже нет. — Это рассуждение Достоевского также полемически соотносится со следующей мыслью А. Стронина в его «Политике как науке»: «Входя в область эстетики военной, мы, во-первых, можем усвоить, как по большей части уже и усвоили, значительную долю формального искусства новой войны с его скорострельным оружием, с его телеграфными и железнодорожными парками; с его митральезами, с его аэростатами, с его системою мобилизации, дислокации, пополнения интервалов и т. д. А во-вторых, нет ничего невозможного пополнить это чужое искусство и каким-либо собственным оригинальным изобретением в уровень с нашей наличной цивилизацией, как это и случилось уже в изобретении навесной прицельной стрельбы по движущимся предметам и в усовершенствовании скорострельных артиллерийских орудий. Но таких изобретений, хотя бы то и очень дробных, возможно не одно и не два, и состояние цивилизации нашей не отрицает уже этих скромных самостоятельных шагов» (С. 487–488).

215

Возьмите опять наши железные дороги — сколько в степени усилия нации. — Сравнительный обзор статистических данных по железнодорожному строительству в России и Европе с подробным анализом экономической, политической и географической специфики России был напечатан в «Отечественных записках» (1873. № 4. Отд. II. С. 261–270). Эта же тема поднималась в статье «Изнанка нашего железнодорожного дела», опубликованной в «Неделе» (1873. 13 мая. № 19). Вопросу о соотношении железнодорожной сети России с ее стратегическими интересами как «великой» державы была посвящена статья А. Еракова «Исследование о полной сети железнодорожных сообщений в России» (Отеч. зап. 1873. № 5. Отд. II. С. 5–68). Затрагивалась эта проблема и в ряде обзоров «С.-Петербургских ведомостей» (1873. 13, 19, 21, 24, 28 апр. № 100, 106, 108, 111, 115).

216

Возьмите, наконец, просвещение — если хотим догнать хоть какую-нибудь из великих держав… — В «Общей государственной росписи доходов и расходов на 1873 год» сообщалось, что объем расходов по военному ведомству планировался в 165646007 рублей, а по ведомству просвещения — в 12302615 рублей (Правительственный вестн. 1873. 7 янв. № 6; С.-Петербургские ведомости. 1873. 23 янв. № 23).

217

Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете — а сам все-таки педагогом не сделается. — Вопрос о народном образовании ставился в русской печати в непосредственную (и основную) зависимость от количества средств, отпускаемых на него государством; источники средств связывались с «питейными» доходами, а в качестве действенной меры предлагалось «увеличить акциз с потребляемого вина на одну копейку повсеместно» (см., например: С.-Петербургские ведомости. 1872. 12 сент. № 250). «Гражданин» (1872. 18 сент. № 30. С. 65) откликнулся на эту корреспонденцию статьей В. П. Мещерского «Водка просвещает Россию», осуждавшей указанный источник средств на народное просвещение, и «Письмом» за подписью «Друг народной школы», опровергавшим аргументацию Мещерского (Гражданин. 1872. № 22. 2 окт. С. 130). Постановка этой проблемы в «Гражданине» 1873 г. кардинально меняется: из сферы «материальной» она переводится в сферу «нравственную», «духовную». В этом плане рассматривается личность учителя в октябрьских статьях, в которых развиваются мысли о «мертвой» и «живой» школе, о «даре» и «призвании» наставника народной школы (см., например: Гражданин.1873. 15 окт. № 42. С. 1121; 22 окт. № 43. С. 1148). Освещение этой проблемы «Гражданином» в 1873 г. во многом объективно совпадало синтерпретацией ее «Отечественными записками»; о необходимости педагогического «дара» и «таланта» неоднократно писали Н. Демерт, Д. Панглос и др. (см.: Отеч. зап. 1873. № 1. Отд. II. С. 104–130; № 7 С. 133 143; № 8. С. 239 263). Позиция «Вестника Европы» была иной. Н. Корф, например, в статье «Теория Дарвина и вопросы педагогики» отстаивал приоритет «общего развития учителя» над педагогическим талантом (Вести Европы. 1873. *№* 5 С. 275–311). См. также черновой автограф статьи «Влас» (XXI, 297–298)

218

Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка… — Бюджет на 1873 г. равнялся 517 миллионам рублей (см.: Правительственный вестн. 1873. 7 янв. № 6) «Питейный» доход 1872 г. составлял 166,5 миллиона рублей (см.: Неделя. 1873. 14 янв. № 2).

219

«Гражданин» уже сообщал раз, в особой статье, подробный бюджет теперешнего нашего кабака… — Подробная статистика «кабака» была приведена в статье «Общество для противодействия чрезмерному распространению пьянства» (Гражданин. 1873. 15 янв. № 3. С. 67)

220

…бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли, а в кабак приняли! 15 января 1873 г. в «Гражданине» (№ 3. С 69) было опубликовано следующее сообщение: «В Костроме на днях (июля 1872) от памятника Сусанину отломили бронзовую руку, которую нашли в кабаке».

221

...мы уже упоминали об обществах трезвости. — В статье «Что может спасти Россию от повального пьянства?» (Гражданин. 1873. 14 мая. № 20) отмечалось: «…сравнительно с недавним прошлым мы сделали шаг вперед к лучшему. Не так давно было то время, когда общество трезвости преследуемы были наравне с незаконными и вредными для государства обществами; теперь общество трезвости может создаться и существовать если не в виде правильно организованной ассоциации, то все же в виде отдельных, местных договоров по обществам» (С. 580–581)

222

...все изнемогающие ежемесячно и печатно под тяжестию своего долга народу. — Ср. с одним из центральных тезисов статьи Михайловского о «Бесах»: «…„логическим ли течением идей“ <…> или непосредственным чувством, долгим ли размышлением или внезапным просиянием, исходя из высших общечеловеческих идеалов или из прямого наблюдения, мы пришли к мысли, что мы должники народа <…> Мы можем спорить о размерах долга, о способах его погашения, но долг лежит на нашей совести и мы его отдать желаем <…> Наш долг народу неисчислим <…> Если б вы знали, г-н Достоевский, как мучит иногда совесть бедных citoyen'ов, признающих свой долг, особенно ввиду того, что кредитор и не сознает себя кредитором…» (Отеч. зап. 1873. № 2. Отд. Il С. 339, 340, 342, 343)

223

Я знаю, что я человек непрактический (теперь, после известной недавней речи г-на Спасовича, в этом даже лестно признаться). — Владимир Данилович Спасович (1829–1906) — известный русский адвокат и писатель, автор работ по международному и уголовному праву, истории русской и зарубежной литератур. Ироническая реплика Достоевского по адресу Спасовича связана с нередким мотивом его оправдательных речей. Ближайшей ко времени написания комментируемой статьи была речь Спасовича в защиту бывшего петрашевца А. И. Пальма, обвиненного в растрате денег, отданных на хранение в Полтавский банк, где он служил управляющим отделения. Защита была построена на противопоставлении людей различных типов «душевной организации» («практичных» и «непрактичных»). Опираясь на рассуждения Спасовича, Пальм в заключительной речи произнес: «Я бы хотел вам многое сказать <…> но мой защитник рассказал это так хорошо, что я не в состоянии ничего более к этому прибавить. Скажу только, что вся жизнь моя полна промахов, ошибок, несчастий, потому что я человек вовсе *непрактичный.* Вам известно, что я в самом начале жизни испортил свою карьеру, так что исправить ее не мог, и боевая жизнь в Силистрии и Севастополе не возвратила мне всего того, что я потерял. Я старался добиться чего-нибудь и получил большую милость — забвение моих грехов. В молодости, г-да присяжные заседатели, *кто из нас практичен? Мне кажется даже, что практичность в молодости — это дурное, отталкивающее явление*» (С.-Петербургские ведомости. 1873. 30 апр. № 117; курсив наш. — *Ред.*). То же противопоставление присутствовало и в более ранней речи Спасовича — в ходе процесса над сотрудниками «С.-Петербургских ведомостей» и «Вестника Европы» (см. об этом выше, С. 329–330. См. также: *Бурсов Б.* Личность Достоевского. Л., 1979. *С.* 433–551).

224

…бежит куда угодно, даже даром бежит, даже в Америку — Но оставим его в Америке… — Тема «бегства» в Америку затрагивается Достоевским уже в черновиках к «Преступлению и наказанию» и «Бесов» (см.: VII, 396–397; XII, 293). В 1873 г. в «Гражданине» была опубликована рецензия на книги М. Бутина (Письма из Америки. СПб., 1872), Э. Циммермана (Соединенные Штаты Северной Америки. Из путешествий 1857–1858 и 1869–1870 годов. М., 1873. Ч. 1–2), Н. Славинского (Письма об Америке и русских переселенцах. СПб., 1873) В рецензии, посвященной работе Э. Циммермана, указывалось: «Факт значительного возрастания числа наших выходцев в Новом Свете может навести мыслящих людей на многие соображения… Почему именно такое движение из нашего отечества увеличивается в то самое (реформенное) время, когда и на Руси стало жить легче и представилась большая возможность заниматься чем хочешь? К какому именно „состоянию“ принадлежат наши эмигранты, — отцы ли это, недовольные уничтожением крепостничества; или же дети, ищущие простора для деятельности?» (Гражданин. 1873. 8 янв. № 2. С. 55–56). Рецензию В. Ф. Пуцыковича на работы Бутина и Славинского см. № 32 «Гражданина» от 6 августа. К теме «бегства в Америку» Достоевский возвращается и в романе «Подросток» (см.: XVI, 27; XVII, 400).

225

Моя мысль — напомню ее — в том, что даже самый мелкий сельский школьный учитель — может быть, я рискну сообщить его читателю раньше повести… — С замыслом этой повести могут быть соотнесены записи о «школьном учителе» и связанная с ними сюжетная линия в первоначальных набросках к роману «Подросток» (см.: XVII, 266–270).

226

…единственного сына вдовы — отдают в солдаты вместо одного из богатой семьи тройников… — По рекрутскому уставу 1862 г. порядок сдачи крестьян в рекруты был основан на учете рабочей силы семейств. Все семьи разделялись на три разряда: многорабочие, т. е. имевшие не менее четырех работников, «тройниковые», т. е. имевшие трех работников, и «двойниковые». В рекруты привлекались прежде всего семьи первого разряда, затем второго и так далее. Единственные работники в семье должны были вовсе освобождаться от военной службы. Таким образом, сдача в рекруты Вани была явным нарушением устава.

227

, …*этот своего рода последний могикан…* — Выражение вошло в русский язык после появления романа Ф. Купера (1789–1851) «Последний из могикан» (1826, руС. пер. — 1833), повествующего о борьбе североамериканских индейцев с европейскими колонизаторами и о гибели родового уклада в результате наступления капиталистической цивилизации. «Последний из могикан» упоминается Достоевским и в «Братьях Карамазовых» (Эпилог Глава II), и в подготовительных материалах к «Подростку» (XVI, 425).

228

Тут нет классических фраз, красивого языка, белого покрывала, черных горящих глаз Рашели… — французская трагическая актриса Элиза Рашель (1821–1858) гастролировала в России в 1850-х годах (см. о ней в комментарии к «Бесам»: наст. изд. Т. 7. С. 809).

229

Сцена кончается — бегством за правдой к «посредственнику» — К мировому посреднику — лицу, назначенному для урегулирования отношений между помещиками и бывшими крепостными в период проведения крестьянской реформы. Об институте мировых посредников, а также о мировых посредниках первого и второго призыва см. подробнее в комментарии к «Подростку» (наст. изд. Т. 8. С. 786). В драме Кишенского речь может идти о мировом после́днике второго призыва, и потому изображение его как крестьянского заступника (в действии V драмы выясняется, что посредник обещал помочь Ивану) противоречит исторической правдею

230

Лето, каникулы — Все разъехались. — Ср. в письме Достоевского к А. Г. Достоевской от 19 августа 1873 г.: «В Петербурге жарко, пыльно» (XXIX, кн. 1, 292). Картиной летнего города открываются также повесть «Белые ночи», роман «Преступление и наказание» и третий фельетон «Петербургской летописи» (см.: наст. изд. Т. 2. С. 5–6, 152–153; Т. 5. С. 5–6).

231

…в сторону Полицейского моста, — Мост через реку Мойку на Невском проспекте (ныне Народный мост).

232

…отысканный будто бы архитектором Тоном… Константин Андреевич Тон (1794–1881) — русский архитектор. В его постройках 1830-1850-х годов широко применялись стилизованные формы византийского и древнерусского зодчества.

233

…стиль времени Наполеона Первого — вместе с пчелами на наполеоновской порфире — неслыханной династии, претендовавшей на бесконечность. — В период империи Наполеона I (1769–1821) во Франции господствовал в архитектуре и изобразительном искусстве стиль ампир (*франц.* empire — империя). В этот период заимствуются из художественного наследства императорского Рима мотивы силы и воинской мощи, в частности монументальные формы массивных портиков, триумфальных арок, мемориальных колонн, военная эмблематика в архитектурных деталях и орнаменте.

Порфира, или мантия, — составная часть торжественного императорского (царского) наряда, верхняя одежда из бархата или атласа с отделкой из горностая или соболя. Порфиру Наполеона I покрывали пчелы, изображение которых в период наполеоновской империи было широко распространенным элементом военной и государственной эмблематики.

234

…не совсем чистый французский стиль дореволюционной эпохи. — В годы, предшествовавшие французской революции 1789–1793 гг., господствующим направлением в архитектуре (как и в художественной культуре в целом) была смесь классицизма и рококо.

235

Растрелли — Франческо-Бартоломео Растрелли (1700–1771) — русский архитектор, итальянец по происхождению, крупнейший представитель архитектуры русского барокко.

236

Рококо (франц. roccaille — похожий на раковину) — художественный стиль, сложившийся в середине XVIII в. во Франции и получивший распространение в Германии, Австрии и других европейских странах.

237

…*дожевские балконы*… — По образцу балконов Дворца дожей в Венеции.

238

Оль-де-бёф (от *франц.* oeil de boeuf — буквально: бычий глаз) — круглое (или овальное) окно.

239

Впрочем, я не петербургский фельетонист… — В фельетоне «Московские заметки», опубликованном в «Голосе» (1873. 31 июля. № 210), это заявление Достоевского было истолковано как «отречение» писателя от звания «фельетониста». Ответ Достоевского, сопоставившего понятия «фельетонист» и «петербургский фельетонист», см. в статье «Учителю»; см. также комментарий к ней.

240

Они ходят по праздникам пьяные — и партия прошла, уже не беспокоясь более обо мне — Именно на этот эпизод «Маленьких картинок» откликнулась насмешливой заметкой газета «Голос», которой писатель ответил в статье «Учителю».

241

…il faudrait l'inventer. — Неполная цитация изречения Вольтера: «Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer» («Если бы бога не было, его надо было бы выдумать») из стихотворного послания «К автору „Книги о трех обманщиках“» («A l'auteur du livre des trois imposteurs». 1769).

242

…с Выборгской на Литейную. — Выборгская сторона (или часть) — район Петербурга на правом берегу Невы, считавшийся в XIX в. отдаленной окраиной. Литейная — улица, давшая название прилегающему району (Литейная часть), расположенному на левом берегу Невы.

243

Я сказал, что и у меня такая же девочка… — Любовь Федоровна Достоевская, родившаяся в 1869 г.

244

За прошлые мои три маленькие картинки («Гражданин» № 29) московский фельетонист обругал меня в нашем петербургском «Голосе»… — Имеется в виду названный выше фельетон «Голоса».

245

…я в картинке № 2 — упомянул, уж конечно не называя прямо, об одном неприличном предмете… — В «картинке № 2» Достоевский пишет об «одном нелексиконном существительном» — единственном слове, которым обменивались шестеро пьяных мастеровых и с помощью которого оказалось возможным выразить «все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения» (см. выше, С. 128).

246

«Мне и в голову не могло прийти — нет под рукой подходящего матерьяла»… — Цитата из указанного фельетона «Голоса».

247

Кайенский перец — сорт жгучего красного стручкового перца, произрастающего в Южной Америке. Название получил от города Кайенны (Гвиана).

248

Я как раз прочел перед тем в одном фельетоне — несмотря на постановку вопроса… — Имеется в виду фельетон Незнакомца (А. С. Суворина) «Недельные очерки и картинки» (С.-Петербургские ведомости. 1873. 15 июля. № 192), написанный в связи с «Докладом высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности в России» (СПб., 1873; см. выше, С. 361).

249

…что касается собственно до народа, до мужиков — с такою откровенностию и уже без малейшей прежней церемонии. — Имеется в виду следующее рассуждение Суворина: «В самом деле, не примеров же добродетели искать нам в крестьянском сословии, хотя они и там бывают; не поклоняться же нам зипуну, как это делали когда-то славянофилы, хотя в иных случаях предпочтительнее преклоняться — если уж на то есть охота — зипуну, чем золотому тельцу. На все свое время. Когда-то г-н Григорович писал сантиментальные повести из крестьянского быта, изображая нам примеры высоких добродетелей крестьян и крестьянок. Это было прекрасно, потому что идеализация угнетенных — вещь совершенно законная и необходимая <…> Надо было показывать народ лучшим, чем он был на самом деле, для того чтоб возбудить к нему большее и всеобщее сочувствие; надо было тем или другим способом, так сказать, пробить кору предрассудков. Если б вместе с г-ном Григоровичем явился не такой художник, как г-н Тургенев, ближе и глубже взглянувший на народ, но все-таки идеализировавший его, а такие реалисты, как г-н Успенский, то это было бы вовсе не кстати. Для них пришло другое время и прошло, ибо их значительно убили судебные допросы и сцены у мировых судей, где народ явился еще реальнее, чем у реалистов. Тут являются такие неподкрашенные перлы, до которых далеко гг. Успенским, при всем их таланте: оттого они и замолкли со своими рассказами…» (С.-Петербургские ведомости. 1873. 15 июля. № 192)

Марко Вовчок — псевдоним Марии Александровны Маркович (1834–1907), украинской писательницы (см. о ней: XVIII, 82–93, 276–279)

Дмитрий Васильевич *Григорович* (1822–1899) — писатель, друг молодости Достоевского, автор повестей «Деревня» (1846) и «Антон-Горемыка» (1847).

250

..московский фельетонист — что я стыжусь названия фельетониста… — Автор «Московских заметок» писал: «Хотя г-н Достоевский, ведущий этот „дневник“, с весьма похвальным постоянством уверяет, что он отнюдь не фельетонист, а что-то особенное, но с ним едва ли можно согласиться, и точно так, как я считал его прежде очень талантливым беллетристом, так теперь считаю его порядочным фельетонистом и никак не могу понять, отчего он так настойчиво отрекается от этого звания. Дело не в словах, а в действиях; а действия, которые усваивают совершающему их название фельетониста, он совершает с той минуты, когда первые листки его „дневника“ заменили собою фельетонные статьи князя Мещерского» (ГолоС. 1873. 31 июля. № 210)

251

…*«plus feuilletoniste que Jules Janin, plus catholique gué le pape»*. — Цитата из фельетона «Московские заметки», представляющая собой перефразировку французского выражения «Plus royaliste que le roi, plus catholique que le pape» («Более монархист, чем монарх, более католик, чем папа»). Жюль Габриель *Жанен* (1804–1874) — французский писатель-романтик, фельетонист и критик, в течение 42 лет (с 1830 г.) еженедельно публиковавший театральные фельетоны в газете «Journal des débats».

252

…я лишь выразился, что я не «петербургский» фельетонист — не об одной собственно петербургской жизни пишу и намерен писать… — В главе «Маленькие картинки» («картинка № 1») описание архитектуры Петербурга послепетровского периода и изображение ряда бытовых сцен на Невском проспекте Достоевский заключает словами: «Впрочем, я не петербургский фельетонист и не об том совсем заговорил. Начал об редакционных рукописях, а свел на чужое дело» (см. выше, С. 127).

253

Андрею Александровичу ничего не стоит обвинить меня в чем угодно — (Обвинял же меня в крепостничестве). — О А. А. Краевском, редакторе-издателе газеты «Голос», см. выше, С. 333. Автор фельетона «Литературные и общественные курьезы» в «Голосе» по поводу статьи «Влас» из «Дневника писателя» за 1873 г. замечал: «Где факты, чтоб народ имел „потребность“, чтоб народ требовал страдания? Неужели народ желал татарского ига? <…> Неужели он не хотел расставаться с крепостным правом и его атрибутами?» (Голос. 1873. 25 янв № 25).

254

…лимбургский сыр… — Сорт очень острого, с сильным запахом сыра, название получил от провинции Лимбург (Бельгия), по месту своего изготовления.

255

«…всё же мы доросли — помимо намерений автора…» — Цитата из фельетона «Голоса» (1873. 31 июля. № 210).

256

Ну так чем же пахнет? — Автор «Московских заметок» в очередном фельетоне отвечал: «Пахнет неприличием» (см.: Голос. 1873. 14 авг. № 223).

257

Я убежден что тотчас же остановят меня — Бестемностью меня уже попрекали… — Имеется в виду выступление газеты «Голос» против статьи из «Дневника писателя» «Маленькие картинки» (см. выше, С. 364). Автор фельетона «Московские заметки» писал: «Когда я начал читать „Дневник писателя“, помещенный в № 29-м „Гражданина“, мне и в голову не могло прийти, до чего может дописаться фельетонист, когда у него нет под рукой подходящего матерьяла <…> Я воспользуюсь примером почтенного коллеги, когда мне случится писать фельетон, а матерьяла никакого не будет, и постараюсь тогда заняться тоже „картинками“…» (Голос. 1873. 31 июля. № 210).

258

…в нашем русском мире (я не про газету говорю). — «Русский мир» — газета консервативного направления, издававшаяся в Петербурге в 1871–1880 гг. под редакцией В. В. Комарова, П. А. Висковатова, М. Г. Черняева, Ф. Н. Берга, Д. Стахеева и др. В «Дневнике писателя» за 1873 г. Достоевский неоднократно полемизировал с нею (см., например, статьи «Ряженый», «Учителю», «Одна из современных фальшей» и комментарии к ним).

259

В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. — В публицистике и письмах Достоевского 1860-1870-х годов часто встречаются высказывания о «фантастическом» характере русской жизни пореформенного периода. Такое понимание действительности обусловило и определение Достоевским своего реализма как «фантастического» (см., например, письма к А. Н. Майкову от 11 (23) декабря 1868 г., Н. Н. Страхову от 26 февраля 1869 г., «Дневник писателя» за 1876 г. (март, гл. II, § 1, «Дон Карлос и сэр Уаткин. Опять признаки „начала конца“»); см. также: *Соркина Д. Л.* «Фантастический реализм» Достоевского // Проблемы идейности и мастерства художественной литературы. Томск, 1969. С. 112–124).

260

Еще Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике — когда надобно говорить. — В «Былом и думах» Герцен писал: «Узнавать русских все еще так же легко, как и прежде <…> Русские говорят громко там, где другие говорят тихо, и совсем не говорят там, где другие говорят громко. Они смеются вслух и рассказывают шепотом смешные вещи, они скоро знакомятся с гарсонами и туго — с соседями; они едят с ножа, военные похожи на немцев, но отличаются от них особенно дерзким затылком, с оригинальной щетинкой, дамы поражают костюмом на железных дорогах и пароходах так, как англичанки за table d'hôte'ом и пр.» (*Герцен А. И.* Собр. соч. В 30 т. М., 1957 Т. 11. С. 441).

261

…*ну Либих, ну Бисмарк* — Юстус Либих (1803–1873) — известный немецкий химик. Отто Эдуард Леопольд Бисмарк (1815–1898) — государственный и политический деятель Пруссии и Германии.

262

Мне самому случилось выслушать недавно, сидя в вагоне, целый трактат о классических языках — «так как все латинские сочинения переведены, то и не надо латинского языка», и проч. и проч. — в этом роде. — Вокруг реформы среднего образования, заменившей в 1871 г. «реальное» образование «классическим», развернулась оживленная полемика, широко освещавшаяся и на страницах «Гражданина» (см.: Гражданин. 1872. 2 окт. № 22; 1873. 8 янв, 16 апр., 9 июля, 27 авг. № 2 15–16, 28, 35). Об отношении Достоевского к «классическому» образованию см. также ниже, С. 376. С резкой критикой «классического» образования выступил «Вестник Европы» (см.: *Я. Я.* Новая регламентация гимназий; *Д. Е.* Цветы на псевдоклассической почве // Вести. Европы. 1873. № 5. С. 377–381. 451–463).

263

В монастырском вопросе он не знал самого первого слова — забывая, что монахи совершенно свободная ассоциация лиц… — Монастыри (от греч. movoc. — один, одинокий) — основная форма организации христианского (католического и православного) и буддийского монашества, свободное общество лиц, удалившихся от всех мирских благ и забот, подчиняющихся монастырскому уставу и имеющих целью служение духовным идеалам, достижимым лишь путем самоотречения. В России возникновение монастырей как самостоятельных экономических и административно свободных ассоциаций относится к X–XI вв. — времени распространения христианства.

264

Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером — на именинах у одного видного чиновника. — Пирогова из повести «Невский проспект» (1835) Достоевский еще в 1861 г. в «Ряде статей о русской литературе» называл величайшим созданием Гоголя. Как одна из модификаций гоголевского героя характеризуется в «Идиоте» Ганя Иволгин.

265

В нашей женщине все более и более замечается искренность — Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи? — Развивая эту же мысль в «Дневнике писателя» за 1876 г. (май, гл. II, § 3, «Несомненный демократизм Женщины»), Достоевский писал: «Возрождение русской женщины в последние двадцать лет оказалось несомненным. Подъем в запросах ее был высокий, откровенный и безбоязненный <…> Она твердо объявила свое желание участвовать в общем деле и приступила к нему не только бескорыстно, но и самоотверженно» (XXIII, 28) К этой теме Достоевский возвращается также в июньском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (гл. II, § 5, «Опять о женщинах»).

266

Некоторые из наших критиков заметили — не в виде лишь описания московского частного случая — Нечаевское дело — убийство слушателя Петровской земледельческой академии И. И. Иванова, совершенное 21 ноября 1869 г. организатором тайного общества «Народная расправа» С. Г. Нечаевым (1847–1882) при участии П. Г. Успенского, А. К. Кузнецова, И. Г. Прыжова и Н. Н. Николаева. О характере отражения нечаевского дела в «Бесах» см.: XII, 192–218. Говоря о «некоторых из наших критиков», Достоевский имеет в виду В. Г. Авсеенко, который в рецензии на роман «Бесы» отмечал: «Фабула романа „Бесы“ отчасти как будто заимствована из пресловутого нечаевского дела. Оговоримся, что для цели, предположенной нами в настоящей статье, это обстоятельство не имеет никакого значения. Автор воспользовался своим материалом совершенно художественно, взяв из него то, что подходило к его литературной задаче, и обработал эти крупные детали сообразно идее и плану своего произведения. Выбор фабулы был, конечно, подсказан ему тою очевидностью, с какой нечаевское дело представлялось самым характерным делом нашего подполья, наиболее отразившим на себе роковые искажения мысли и человеческой натуры и все симптомы нравственного недуга, которым поражен этот темный мир. Нечаевцы, без сомнения, целиком шли из подполья нашей интеллигенции и могут быть признаны самыми яркими его представителями, по крайней мере в тот период его существования, в каком оно было застигнуто судебным процессом» (Русский вестн. 1873. № 8. С. 803).

267

Все это, скажу от себя, совершенно справедливо. — Этим утверждением Достоевский высказывает свое несогласие с мнением Н. К. Михайловского, отмечавшего в рецензии на роман «Бесы», что нечаевское дело «могло бы доставить материал для романа уголовного, узкого и мелкого, могло бы, пожалуй, занять место и в картине современной жизни, но не иначе как в качестве третьестепенного эпизода» (Отеч. зап. 1873. № 2. Отд. II. С. 323). Упрекая Достоевского в «скрупулезном» описании и «поэтическом» обобщении черт «неважных», «случайных», Михайловский писал: «В „Бесах“ рассказывается история, по внешнему ходу событий и обстановке поразительно сходная с так называемым нечаевским делом <…> В некоторых отношениях романист точно задался мыслию не отступать от сведений, добытых следствием и судом по нечаевскому делу <…> Естественное дело, что если важная часть фабулы романа взята из современной и наделавшей шуму истории, то мы вправе ожидать от автора картины современных нравов весьма точной <…> Если бы г-н Достоевский принял в соображение громадную массу русских молодых людей, стремящихся в адвокаты, мировые судьи, проводители усовершенствованных путей сообщения и проч., и проч., и проч.; если б он прибавил сюда массу молодых людей, настроенных и серьезно и трезво, наконец, если бы он остановил подольше свое внимание на массе молодежи верхоглядов, — то он, без сомнения, убедился бы, что теории, подобные шатовским, кирилловским, ставрогинским, могут занимать здесь только микроскопически ничтожное место» (Отеч. зап. 1873 № 2. Отд. II. С. 321–323)

268

«*…нам кажется, что нечаевское дело — среди праздной, недоразвитой и вовсе не учащейся молодежи*». — Цитата из «обзора событий» «Русского мира» (1873. 13 ноября. № 301).

269

…*«в последние годы молодежь — основательнее работает»*. — 21 октября 1873 г. в Киеве на обеде в зале Дворянского собрания министр народного просвещения Д. А.Толстой (1823–1889) произнес речь, в которой заявил, что он «осмотрел 7 учебных округов: объехал почти всю Россию, за исключением северных губерний; видел массу учебных заведений» и пришел к выводу, «что в последние годы молодежь несравненно серьезнее относится к делу науки, несравненно более и основательнее работает, что, без сомнения, могут подтвердить все присутствующие здесь педагоги и профессора университета» (Рус. мир. 1873. 1 ноября. № 289).

270

Замечу в скобках — в Петербурге, Москве и в Харькове. — Упомянутые Достоевским строки из «обзора событий» «Русского мира» (1873. 13 ноября. № 301) предварялись следующим сообщением: «Вот уже несколько времени, как ходят более или менее достоверные слухи об обнаружении какой-то новой кучки нечаевцев и о произведенных по этому случаю арестах. Газета „Гражданин“ по этому случаю обвиняет не каких-нибудь отдельных недоразвитков, а учащуюся молодежь в Петербурге, Москве и в Харькове, среди которой будто бы были распространены какие-то нелепые прокламации известного Бакунина и К°». Поводом для этих сообщений послужили аресты участников кружка Долгушина, произошедшие под Москвой, в Москве и других городах России. Большинство членов кружка Долгушина принадлежало к «учащейся молодежи» (подробнее см. об этом в комментарии к роману «Подросток» — наст. изд. Т. 8. С. 740–746).

271

Где, в какой Европе — как у нас в наше время!.. — Мысль об отсутствии «руководящей идеи», «руководящей нити поведения» в период разложения, захватившего «все слои и все возрасты», оформится вскоре как центральная идея романа «Подросток» уже в начальный период работы над замыслом (см. об этом: XVII, 259–265).

272

…чтоб уметь играть на ней как на музыкальном инструменте. — Сравнение, восходящее к словам Гамлета в одноименной трагедии Шекспира (акт III, сц. 2).

273

…я сам старый «нечаевец», я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни… — В записной тетради за 1872–1875 гг. упоминание о петрашевцах появляется вскоре после знакомства Достоевского с рецензиями Михайловского на первые главы «Дневника писателя» и роман «Бесы» (Отеч. зап. 1873. № 1, 2): «Мы стояли на эшафоте с верою <…> уезжали с надеждою» (XXI, 256). Определенное значение для оформления замысла комментируемой статьи имела также заключительная часть работы А. Н. Пыпина «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов» (Вестн. Европы. 1873. № 7. С. 226–263), оказавшаяся в сфере пристального внимания Достоевского (см. выше, С. 353–354). Говоря о «теоретическом» социализме 1840-х годов, Пыпин противопоставляет идеологическую позицию Достоевского — редактора «Гражданина» и Достоевского-петрашевца: «„Московские ведомости“ и „Русский вестник“ издаются людьми сороковых годов, и это заставляло некоторых думать, что в идеях сороковых годов была известная неустойчивость, неясность, неполнота, которые и сделали возможным превращение их прежнего либерализма в нечто не только консервативное, но как будто просто обскурантное. Можно, пожалуй, прибавить, что и нынешний „Гражданин“ издается также самым настоящим, по-видимому, человеком сороковых годов, и приискать другие примеры подобных превращений <…> Словом, эти и подобные примеры, где превращение слишком определялось личными свойствами, еще не говорят против силы, искренности и исторической важности идей сороковых годов, как они понимались лучшими людьми того времени» (Вест. Европы. 1873. № 7 С. 241–243, 259–260).

274

…и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных. — заявили себя замечательными специальными знаниями, сочинениями. — Эту мысль Достоевский развил в «Дневнике писателя» за 1877 г. (янв., гл. II, § 3, «Старина о „Петрашевцах“»). Значительное число петрашевцев было правоведами — выпускниками Александровского лицея, Училища правоведения, юридического факультета С.-Петербургского университета (см.: XVIII, 334) Ряд петрашевцев (Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. П. Баласогло, А. И. Пальм, Д. Д. Ахшарумов, Ф. Ф. Дуров, А. Н. Плещеев и др.) уже в 1840-х годах были известны своими литературными трудами. Во второй половине 1850-х годов, еще находясь в ссылке в Оренбургской губернии, вновь стал печатать свои стихи и рассказы (преимущественно в «Русском вестнике») А. Н. Плещеев. В 1860-х годах он выступил как автор ряда повестей, большого количества поэтических произведений, публицистических статей. В эти же годы продолжил свою литературную деятельность А. И. Пальм, опубликовавший в 1860-х-начале 1870-х годов ряд комедий (в «Современнике» и «Отечественных записках») и автобиографический роман «Алексей Слободин» (Вестн. Европы. 1872. № 10–12; 1873. № 2–3; отд. изд. — СПб., 1873). Ф. Г. Толль по возвращении из ссылки в Петербург (1859) напечатал ряд беллетристических очерков в «Отечественных записках» и «Русском слове», часть из которых в 1861 г. была издана отдельной книгой («Два года в К-ском заводе. Сибирские очерки») В это же время вышло отдельное издание его романа «Труд и капитал» С 1863 по 1866 г. под редакцией Толля печатался трехтомный «Настольный словарь для справок по всем отраслям знания (справочный энциклопедический лексикон)». Со статьями научного характера неоднократно выступал Ф. Н. Львов, служивший с 1870 г. секретарем Русского технического общества и редактировавший «Записки императорского технического общества» В «Современнике» (1861 № 9; 1862. № 2) им был напечатан также очерк «Выдержки из воспоминаний ссыльнокаторжного». Д. Д. Ахшарумов, закончив в 1862 г. Медико-хирургическую академию, выступил с рядом научных работ по медицине. М. М. Достоевский,

привлекавшийся по делу петрашевцев, в 1861–1865 гг. издавал (вместе с Ф. М. Достоевским) журналы «Время» и «Эпоха». См. также: *Лейкина В. Р.* Петрашевцы. М., 1924. С. 112–129.

275

Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. — О значении французского утопического социализма, трудов его основоположников — Сен-Симона и Фурье — и их последователей для развития русского общественно-литературного сознания 1840-х годов и становления «теоретического» социализма в России см. в работах: *Усакина Т. И.* О социальных и литературно-теоретических взглядах петрашевцев // *Усакина Т. И.* История, философия, литература (середина XIX века). Саратов, 1968. С. 74–109; *Купреянова Е. Н.* Идеи социализма в русской литературе 30-40-х годов // Идеи социализма в русской классической литературе. Л., 1969. С. 92–150

276

Политического социализма тогда еще не существовало в Европе, и европейские коноводы социализма даже отвергали его. — В «Объяснении» по делу петрашевцев Достоевский писал: «Фурьеризм — система мирная; она очаровывает душу своею изящностью, обольщает сердце тою любовию к человечеству, которая воодушевляла Фурье, когда он создавал свою систему, и удивляет ум своею стройностию. Привлекает к себе она не желчными нападками, а воодушевляя любовью к человечеству. В системе этой нет ненавистей. Реформы политической фурьеризм не полагает; его реформа экономическая» (см. ниже). О «теоретическом» и «политическом» социализме в понимании Достоевского см. в работе: *Пруцков Н. И.* Социально-этическая утопия Достоевского // Идеи социализма в русской классической литературе. С. 334–373.

277

Луи Блана напрасно били по щекам — лекции его в этом смысле были ужасно неполитичны, и, конечно, смешны. — Жан Жозеф Луи Блан (Blanc, 1811–1882) — французский политический деятель, публицист и историк, автор сочинений «Organisation du travail» («Организация труда», 1839–1840), «Histoire de la Révolution française» («История французской революции, 1847–1862). 24 февраля 1848 г. после отречения Луи Филиппа был введен в состав Временного правительства Франции, вынужденного 25 февраля принять декрет «о праве на работу». В тексте декрета, составленном Луи Бланом на основе его собственной доктрины, в частности, говорилось: «Правительство Французской республики обязуется гарантировать рабочему его существование трудом. Оно обязуется обеспечить работу для всех граждан. Оно признает за рабочими право объединяться в союзы для пользования законными плодами своего труда…» (История XIX века / Под ред. Лависса и Рамбо. Пер. с франц. 2-е изд. М., 1938. Т. 5. С. 16–17). 25 февраля манифестация рабочих потребовала организации Министерства прогресса. Временное правительство дало согласие лишь на учреждение «Правительственной комиссии для рабочих», председателем которой был назначен Луи Блан. Заседания этой комиссии проходили в Люксембургском дворце, куда Луи Блан приглашал представителей различных ремесленных цехов, чтобы получить сведения об их нуждах и «подготовить разрешение вопросов труда». В конце апреля 1848 г. Луи Блан был избран в Национальное собрание, но в Исполнительную комиссию введен не был. 15 мая 1848 г. к зданию заседаний Национального собрания подошла огромная манифестация рабочих. Пытаясь предотвратить вторжение народа в зал заседаний, члены собрания настояли на том, чтобы Луи Блан (которого манифестанты требовали) выступил с речью. По окончании второго выступления Луи Блана народ поднял его на руки и ворвался в зал заседаний, требуя учреждения Министерства труда, роспуска Национального собрания и создания нового правительства, в которое должен был быть включен Луи Блан. Оставивший на короткое время зал заседаний, Луи Блан вернулся туда, когда манифестанты были

разогнаны национальной гвардией. Вспоминая о событиях, относящихся к заключительной части заседания 15 мая 1848 г., он писал: «Узнав дома, что Национальное собрание снова открыло свое заседание, я поспешил туда, чтобы вернуться на свое место. Достигнув преддверия дворца, я был узнан несколькими национальными гвардейцами. Они бросились на меня в невероятном припадке бешенства. „Под суд его, под суд!“ — кричали одни. „Нужно его убить! Так будет проще!“ — кричали другие. К счастью, другие национальные гвардейцы, — с удовольствием констатирую это здесь, — стали меня защищать с таким же пылом, с каким другие напали на меня <…> Впоследствии мне рассказали, что, верный традициям нашей долголетней дружбы, г-н Франсуа Араго поспешно выбежал из палаты, чтобы прийти ко мне на помощь…» (*Блан Луи.* История революции 1848 года / Пер. С. Ч<убинского>. С критическим очерком Е. Колбасина. СПб., 1907. С. 444–445; см. также: *Верморелль А.* Деятели сорок восьмого года и их роль в событиях как 1848, так и последующих лет. СПб., 1870. С. 178–181). Доминик Франсуа *Араго* (Arago) (1786–1853) — французский ученый и политический деятель, директор Французской обсерватории. 24 февраля 1848 г. был введен в состав Временного правительства, затем — Национального собрания и Исполнительного комитета (см.: *Стерн Д.* История революции 1848 года. СПб., 1906. Т. 1. С. 324–334).

278

Журнал же Консидерана… — Виктор Консидеран (Considérant) (1808–1893) — французский социалист-утопист, ученик Фурье, редактор журналов «Le Phalanstère» («Фаланстер») в 1832–1834 гг. и «La Phalange» («Фаланга») в 1836–1849 гг. С 1843 по 1851 г. издавал газету «Le Démocratie pacifique» («Мирная демократия»).

279

…статьи и брошюры Прудона… — Пьер Жозеф Прудон (Proudhon) (1809–1865) — французский социалист, теоретик анархизма, автор работ «Что такое собственность?» (1840), «Система экономических противоречий, или Философия нищеты» (1846) и др. (см выше, С. 296). На дополнительных выборах, состоявшихся в начале июня 1848 г., был избран в Национальное собрание Франции. В 1848 г. вышли следующие книги и брошюры Прудона: «Le droit au travail et le droit de propriété» («Право на труд и право собственности»), «Organisation du crédit et de la circulation» («Организация кредита и денежного обращения») и др.

280

…зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего… — См. об этом в комментарии к «Иностранным событиям» (XXI, 494).

281

Я уже в 46 году — еще Белинским. — См. выше, С. 10–14.

282

…потрясающих тогдашних европейских событий, за которыми мы, совершенно забыв отечество, следили с лихорадочным напряжением? — Имеются в виду буржуазно-демократические революции во Франции (1848), Германии (1848), Италии (1848), Австрии (1848–1849).

283

Чудовищное и отвратительное московское убийство Иванова — как дело политическое и полезное для будущего «общего и великого дела». — Во время процесса «нечаевцев», состоявшегося в Петербурге в 1871 г., подсудимый П. Г. Успенский, один из участников убийства, доказывал «теоретическую» необходимость смерти И. И. Иванова ради «достижения общего блага», ради «общего дела» (см.: Правительственный вестн. 1871. 10 июля. № 163).

284

…все эти Милли, Дарвины и Штраусы преудивительно смотрят иногда на нравственные обязанности современного человека — мы же, как известно, обязаны подражать Европе. — Джон Стюарт Милль (Mill) (1806–1873) — английский философ-позитивист, логик и экономист. Чарльз Роберт Дарвин (Darwin) (1809–1882) — основоположник научной теории развития органического мира. Давид Фридрих Штраус (Strauss) (1808–1874) — немецкий философ-гегельянец, историк, теолог и публицист (см. выше, С. 296–297). Критический анализ отдельных сторон нравственной проблематики их работ был дан в «Гражданине» Н. Н. Страховым и К. П. Победоносцевым, подписавшимися «***» (1873. 16 июля. № 29. С. 809–812). Учение Милля о «свободе, равенстве и братстве» было подвергнуто в «Гражданине» критике в рецензии К. П. Победоносцева на работу Дж. Стифена «Liberty, eguality, fraternity» (London, 1873), направленную против положений Милля (Гражданин. 1873. 27 авг., 3 и 10 сент. № 35–37). Резко полемичной по отношению к теории Дарвина была статья Н. Н. Страхова в «Заре» (1872. № I. С. 1–18) «Переворот в науке. „Происхождение человека и подбор по отношению к полу“ Ч. Дарвина (СПб., 1871)». В № 39–41 «Гражданина» (от 24 сентября — 8 октября) была помещена рецензия Страхова на труд Штрауса «Der alte und der neue Glaube» («Старая и новая вера», 1872).

285

Нет, нечто другое изменило взгляд наш — понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнен и даже приравнен к самой низшей ступени его. — Об изменении его взглядов, которое произошло на каторге, Достоевский писал позднее в февральском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. («Мужик Марей»). Эта же тема присутствует в работах петрашевцев — Ф. Н. Львова «Выдержки из воспоминаний ссыльнокаторжного» (Современник. 1861. № 9; 1862. № 2) и Ф. Г. Толля «Труд и капитал» (СПб., 1861). В предисловии к последней книге, останавливаясь на идеях утопического социализма, приверженцем которых он был в юности, Толль писал: «…удовлетворяться такими фантазиями могут только очень молодые энтузиасты, сильные одною любовью к добру, чуждые личного жизненного опыта и плодов разносторонней науки <…> позже встреча и близкое знакомство с людьми, в которых изучение первобытного человека, со всеми хорошими и слабыми сторонами его, не затруднялось условными чертами, налагаемыми на естественный тип цивилизациею и историческим бытом, дало мне возможность повторить на других личностях мои опыты самоповерки <…> я вывел заключение, что едва ли новые формы общественного быта могут не только возникнуть, но и упрочиться за человечеством иначе, как органически из недр и на основании тех форм, до которых доныне достигло оно через длинный ряд веков» (С. X–XI).

286

«Камско-Волжская газета» сообщает — я вижу в ней и ее оправдание! — Сообщение было помещено в «Обзоре событий» газеты «С.-Петербургские ведомости» (1873. 13 ноября. № 313). О внимании Достоевского к проблеме эмиграции русских в Америку см. выше, С. 357. См. также примечания к роману «Бесы» (наст. изд. Т. 7. С. 815–816) и «Дневнику писателя» за 1876 г. (март, гл. 1, § 3, раздел «Обособление»).

287

Помните вы рассказ у Кельсиева — определил его в свою типографию наборщиком? — О Василии Ивановиче Кельсиеве (1835–1872) см.: XXI, С. 511. О выпускнике Константиновского военного училища (Петербург) драгунском офицере Буровине, бежавшем в 1861 г. пешком без денег и документов через Финляндию и Швецию в Лондон, Кельсиев рассказывает в очерке «Из рассказов об эмигрантах» (Заря. 1869. № 3. С. 76–99). Прослужив за границей некоторое время наборщиком в типографии Герцена, Буровин решил вернуться в Россию, поселиться среди раскольников и «просветить их от Писания насчет всякого рода политических истин вообще, а социалистических — в особенности» (там же. С 89). О его судьбе после отъезда из Англии сведений не сохранилось.

288

Помните рассказ самого Герцена о том кадете — оставил ему 20 000 франков на будущих эмигрантов? — Имеется в виду рассказ Герцена в «Былом и думах» (Ч. 7, гл. 3) о саратовском помещике Павле Александровиче Бахметеве, уехавшем в 1857 г. в Новую Зеландию (или на Маркизские острова) с тридцатью тысячами франков с целью основания там колонии на социалистических началах и пропавшем без вести. Перед отъездом П. А. Бахметев — «молодой человек с видом кадета» — отдал Герцену «на пропаганду» двадцать тысяч франков (см.: *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 11. С. 344–349). Об этом эпизоде из «Былого и дум» Достоевский вспоминает также в романе «Бесы» (см.: наст. изд. Т. 7. С. 326; XII, 178). См. также: XXII, 150.

289

Абсентизм — см. выше, С. 302.

290

В учебной реформе нынешнего царствования — чуть не вся наша будущность… — Основная задача образовательной реформы 1871 г., подготовленной реакционным министром народного просвещения Д. А. Толстым, состояла в замене реального образования классическим, с преимущественным вниманием к древним языкам. В записной тетради 1872–1875 гг. Достоевский писал: «Все реформы нынешнего царствования суть прямая противуположность (по существу) реформам Петра Великого и упразднение их во всех пунктах <…> Классическое образование, наконец, есть прямая противуположность взглядам Петра на образование, никогда не возносившимся дальше техники и насущной полезности, требовавшему мичманов, литейщиков, кузнецов, слесарей и проч. и даже не ставившему никогда и вопроса о том, что такое человек образованный. Нынешнее царствование решительно можно считать началом конца петербургского периода (столь длинного) русской истории <…> (До классической реформы.) В университетах наших преподавалось бог знает что, всего понемногу и без системы, какие-то обрывки наук…» (XXI, 268–269). Полемика, развернувшаяся вокруг реформы, широко освещалась на страницах «Гражданина» (см. об этом выше, в примечаниях к статье «Нечто о вранье». С. 366).

291

Но сам же министр просвещения — еще долго ждать окончательных результатов реформы. — В речи Д. А. Толстого от 21 октября 1873 г. (Русский мир. 1873. 1 ноября. № 289) отмеченного Достоевским высказывания не обнаружено.

292

Это ряд статей в журнале «Беседа» о богатствах наших монастырей. — Рецензия Достоевского явилась откликом на серию статей «Наши монастыри, их богатства и получаемые ими пособия», опубликованных в петербургском либерально-словянофильском журнале «Беседа» за 1872 г. (№ 3–8, 10–11). Анонимный автор этих статей приводит подробные статистические данные о доходах русских монастырей, о земельной собственности, которой они владеют, о получаемых ими пособиях. Основная мысль его — большое богатство монастырей находится в коренном противоречии с идеалами и обетами монашества. Автор высказывает пожелание, чтобы монастыри пожертвовали часть своих доходов на народное образование и благотворительные учреждения для народа.

Вопросу о современном состоянии монастырей были посвящены также появившиеся в 1872–1873 гг. статьи «Нравственное значение монастырей» М. Беллюстина (Беседа. 1872. № 9. С. 220–255) и «К вопросу о монастырях» (Гражданин. 1873. 30 июля. № 31, С. 857–861) за подписью «Из монастырских». Автор последней статьи освещает «несоответствие внутреннего устройства и быта наших монастырей с вековечною идеею монашества» (Гражданин. 1873. 30 июля. № 31 С. 857) и предлагает меры к их переустройству.

293

Мы сами питаем омерзение к монаху-плотоугоднику — убивающему жестокими побоями десятилетнего мальчика за шалость в школе. — В газете «Современные известия» от 21 ноября 1872 г. была опубликована корреспонденция «Из Сергиевского посада. 18 ноября» Автор ее сообщал: «Прошедшего октября месяца <…> в училище было высечено до восьми человек, да так, что один избит до бесчувствия <… > Мне вот что сказали: отец Гавриил, заведующий училищем, в это утро, взойдя в классную залу, нашел мальчиков шумевшими. Он крикнул «цыц!» Мальчики имели неосторожность засмеяться, и это его так взбесило, что он собственноручно начал бить своих питомцев. Поколотил семерых; дошел до восьмого. Над этим восьмым он более других издевался за то, что во время битья <тот> как-то ухитрился ударить о. Гавриила ногой по голове. Остервенение о. педагога дошло до того, что даже бесчувственного бил. Мальчики, видя это, испугались и закричали; тогда о. Гавриил закончил свое доблестное поприще. Мальчику этому было восемь лет; он весь опух от побоев и жаловался на боль живота <…> мальчик этот умер 13-го числа, ровно через месяц. Итак, в стенах, где должен преобладать дух человеколюбия, смирения и терпения, — увечат человечество» (Современные изв. 1872. 21 ноября. № 321; перепеч.: С.-Петербургские ведомости. 1872. 23 ноября. № 322). Об этом же факте Достоевский упоминает в «Дневнике писателя» за 1873 г., в статье «Ряженый».

294

Юстиция, народное образование — в такую же сумму, как и монахи… — По этому вопросу в «Беседе» приведены следующие сравнительные цифровые данные: «Впрочем, не касаясь доходов архиерейских, займемся только осьмью миллионами, выпадающими на долю монастырей. И так как сведения о числе монашествующих лиц в нашей статье касались 1867 г., то мы и монастырские доходы станем оценивать по некоторым данным того же года. Но, читая государственную роспись доходов и расходов на 1867 год, мы находим, что в этот год назначалось: 1) на все министерство народного просвещения 7 255 814 р., 2) на все министерство юстиции 8 315 684 р., — там на 755 тысяч менее, а здесь на 315 тысяч более, нежели сколько получают в настоящее время монастыри» (Беседа. 1872. № 10. С. 68).

295

Лучше бы продать это благовонное миро и раздать бедным, не так ли? — вспомните эту евангелическую историю. — Достоевский имеет в виду евангельское предание о женщине из Вифании, которая незадолго до празднования пасхи возлила на голову Иисуса драгоценное благовонное миро. «Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив миро сие на тело мое, она приготовила меня к погребению», (см.: Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 8-13).

296

Мы знаем, что еще при святом Феодосии, при самом основании Киево-Печерской Лавры… — Речь идет о Феодосии Печерском (ум. 1074), основателе и игумене Киево-Печерского монастыря. Имя Феодосия неоднократно упоминается в черновых материалах к «Бесам» и «Подростку».

297

Мы сообщили в свое время — общества любителей духовного просвещения.. — В 1872 г. в Петербурге был открыт Отдел Общества любителей духовного просвещения с правом свободного обсуждения на своих заседаниях различных церковных вопросов. Достоевский не раз посещал эти заседания. В начале 1873 г. состоялись три заседания, посвященные вопросу «о нуждах единоверия» (последнее — 28 марта 1873 г.). Отчеты о диспуте были опубликованы в «Гражданине» (см.: Гражданин. 1873. 22 янв. № 4. С. 92; 29 янв. № 5. С. 154–155; 5 марта. № 10. С. 284; 2 апр. № 14. С. 433–434).

298

…г-н Филиппов читал свое рассуждение — г-н Нильский предложил свои возражения… — Тертий Иванович Филиппов (1825–1899) — консервативно-славянофильский публицист, член кружка В. П. Мещерского и редакции «Гражданина», выступавший на страницах газеты-журнала со статьями, посвященными церковным вопросам; охарактеризован в «Гражданине» как «почтенный сотрудник, который занимается вопросами о единоверии и вообще старообрядстве от дней своей юности <…> был, пока жил в Москве, постоянным участником в прениях с раскольниками, происходивших в ту пору около Кремлевских соборов» (Гражданин. 1873. 5 марта. № 10. С. 284). Оппонент Филиппова — Иван Федорович Нильский (1831–1894) — профессор Петербургской духовной академии, специалист по истории русского раскола, автор труда «Семейная жизнь в русском расколе» (СПб., 1869).

299

…соборным определением 13 мая 1667 г. — препятствий. — Патриарх Никон (1605–1681) провел в 1653–1656 гг. при поддержке царя Алексея Михайловича ряд церковных реформ (исправление богослужебных книг и церковного обряда). Соборное определение 13 мая 1667 г. подтвердило законность сделанных Никоном исправлений церковных книг и чинов и запретило употребление дониконовского обряда, что явилось причиной раскола в православной церкви (см.: *Макарий I)* Патриарх Никон в деле исправления церковных книг и обрядов. М., 1881; 2) История русского раскола, известного под именем старообрядства. СПб., 1855). Изложение соборного определения 13 мая 1667 г. дано Т. И. Филипповым в его «Чтении» 26 февраля 1874 г. (Гражданин. 1874. 11 марта. № 10. С. 294–296). В царствование Екатерины II и Павла I по просьбе старообрядцев им было разрешено употребление дониконовского обряда, однако соборное определение 1667 г. не было пересмотрено. Т. И. Филиппов высказывал мысль о необходимости созыва нового собора, который снял бы «клятвы» и запреты с употребления дониконовского обряда. Единоверцы, «нуждам» которых был посвящен диспут, — старообрядцы, желавшие соединиться с православной церковью при условии сохранения дониконовского обряда. Диспут «О единоверии», начатый в Обществе любителей духовного просвещения в 1873 г., завершился только в 1874 г. Итоги диспута изложены в редакционной статье «Гражданина» «Разъяснение некоторых сторон вопроса о нуждах единоверия» (Гражданин. 1874. 17 июня. № 24. С. 642–645).

300

…в собственных статьях г-на Нильского, напечатанных в «Христианском, чтении» за 1870 г… — Речь идет о статьях Нильского, озаглавленных «О единоверии (по поводу современных толков литературы)» (Христианское чтение. 1870. № 1, 2, 5).

301

.даже г-н Чельцов, возражавший г-ну Филиппову… — Иван Васильевич Чельцов — профессор церковной истории Петербургской духовной академии, в 1871–1874 гг. — редактор журнала «Христианское чтение».

302

…*«как будто тяжкий совершал он долг»*. — Достоевский перефразирует здесь слова Сальери из трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» (сцена II); ср.: «Как будто тяжкий совершил я долг…».

303

…особенно характерно выдается известие в № 134 «Московских ведомостей» о пожаре в селе Измайлове… — Корреспонденция «Пожар в селе Измайлове» была опубликована в «Московских ведомостях» от 1 июня 1873 г. (№ 134) Первая краткая информация об этом пожаре появилась еще раньше — в № 132 «Московских ведомостей».

304

Мы как-то недавно рисовали фантастическую картину — «сном титулярного советника Поприщина». — Достоевский говорит о статье «Мечты и грезы» из «Дневника писателя» за 1873 г., где им нарисована мрачная картина будущего деревенской России, к которому она может прийти в результате роста кабаков и усилении пьянства среди населения Поприщин — герой повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1835).

305

Недавно мы читали о самоубийстве одного мужичка. — повесился. — Имеется в виду корреспонденция из г. Кологрива Костромской губернии, опубликованная в «С.-Петербургских ведомостях» от 3 июня 1873 г.: «Верстах в двадцати от здешнего города 17-мая повесился в своем сарае, в деревне, крестьянин (отец семейства и главный его работник) <…> Еще в половине зимы у крестьянина-самоубийцы не стало сена и соломы для корма скота, с того же времени вышел весь запас хлеба для семьи. Мужичок, видя беду неминуемую, закабалился, по условию, на все предстоящее лето в работники, но еще до наступления работ забрал вперед, в виде задатка, все те деньги, которые следовало ему получить по окончании лета за свой труд; полученные деньги, однако ж, оказались так незначительны, что семья израсходовала их на собственное содержание прежде, чем глава семейства, согласно условию, успел отправиться на работу <…> Между тем наступало время отправляться в работу, а так как плата за предстоящий труд была уже израсходована, то ему предстояло трудиться <…> не принимая пищи» (С.-Петербургские ведомости. 1873. 3 июня. № 150). Об этом факте упоминается позднее в отделе «Из текущей жизни» «Гражданина» (Гражданин. 1873. 9 июля. № 28. С. 791–792).

306

Нам случилось тоже недавно прочесть — на переселение. — Об этом происшествии сообщалось, в частности, в корреспонденции «Из Щигровского уезда», опубликованной в газете «Русский мир» (1873. 5 июня. № 144).

307

Между тем из Пензенской губернии все пмшут, что там числа мирских приговоров о прекращении пьянства все более и более увеличивается. — Подобные приговоры, запрещающие пьянство, перепечатывались многими газетами, приветствовавшими народную инициативу по борьбе с пьянством в различных волостях Пензенской губернии (см., например: Рус. мир. 1873. 13 мая. № 122; 31 мая. № 139 и др.). «Гражданин», уделявший борьбе с пьянством в народной среде большое внимание как актуальной общественной проблеме, также неоднократно перепечатывал на своих страницах приговоры о прекращении пьянства (см., например: Гражданин. 1873. 7 мая. № 19. С. 578; 14 мая. № 20. С. 581).

308

Единственная попытка (увенчавшаяся успехом) — колонистом-пастором, основавшим «штундистов». — См. статью «Смятенный вид» из «Дневника писателя» за 1873 г. и комментарий к ней. Ср. также рассказ о штундистах в «Областном обозрении» «Гражданина» от 30 июля 1873 г. (№ 31. С. 845–846).

309

— 172. *Недавно произошел в Екатеринославле — Чем кончится это пререкание — неизвестно…* — Достоевский цитирует корреспонденцию «Биржевых ведомостей» (1873. 5 июня. № 147), перепечатанную в № 145 газеты «Русский мир» от 6 июня 1873 г.

310

…древнейший русский князь обвиняется в покраже у какого-то немца портмоне… — Имеется в виду дело князя Сергея Александровича Трубецкого (1852–1882), сына генерального консула в Марселе. В газете «Судебный вестник» от 17 мая 1873 г. сообщалось: «15-го мая в 2-м отделении петербургского окружного суда рассматривалось дело о князе Сергее Трубецком, обвинявшемся в краже. 17-го декабря прошлого года в С. — Петербурге в гостинице Клея в номере у португальского подданного Опенгейма похищен бумажник с 19 руб. и абонементный билет на кресло Большого театра. Подозрение заявлено на князя Трубецкого <…> Подсудимый признал себя виновным и объяснил свой поступок безвыходным положением, в котором он находился в то время»» (Судебный вестн. 1873. 17 мая. № 104; перепеч.: Рус. ведомости 1873. 25 мая. № 110; Моск. вед. 1873. 26 мая. № 129). В газете «Голос», в очередном воскресном фельетоне «Листок», Нил Адмирари (Л. К. Панютин), отмечая, что дело Сергея Трубецкого «произвело особенно сильное впечатление» на публику, писал: «…потомок одной из древнейших русских фамилий чувствовал себя в русской столице почти иностранцем, так как провел большую часть жизни за границей. Это один из плодов так называемого „абсентизма“, все более и более начинающего входить в нравы людей известного круга <…> Особенно часто это случается с так называемою нашею аристократией, образ жизни которой даже на родине ничего общего не имеет с жизнью народа» (Голос 1873. 20 мая. № 138)

311

..застает Данилу Меньшикова на дружеской пирушке, во всей форме и при шпаге, танцующим трепака. — чтобы и прочим к примеру было. — Это факт Достоевский, скорее всего, заимствовал из «Истории» С. М. Соловьева: «…заставши однажды Меншикова, пляшущего в шпаге, он (Петр I, — *Ред.*) так ударил его, что у того полилась кровь из ноздрей…» (*Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. М., 1864. Т. 14. С 290).

312

В прошлом году мы отпраздновали двухсотлетие преобразователя… — Речь идет о широко отмечавшемся двухсотлетии со дня рождения Петра I (30 мая 1672 г.) (см. многочисленные сообщения в майских газетах 1872 г.)

313

Тот же корреспондент особенно рекомендует в этом же смысле Верхнеднепровский уезд. — содержится более 20 человек… — Достоевский неточно цитирует здесь упомянутую выше хронику «Русского мира» (1873. 6 июня. № 145).

314

Вот, например, маленькая корреспонденция — И. Синельников… — Достоевский приводит корреспонденцию, опубликованную в газете «Современность» (1873. 3 июня. № 44).

315

…*«как солнце в малой капле вод»*… — Цитата из оды Г. Р. Державина «Бог» (1774). Приводится также в «Братьях Карамазовых».

316

…в «Волжских разбойниках», атаман кричит — Чево изволите, суда-а-арь!» — Речь идет, очевидно, о народной драме «Лодка», широко распространенной в XIX в. в многочисленных вариациях («Шлюпка», «Шайка разбойников», «Атаманша» и др.). Атаман, есаул и разбойники основные действующие лица этой драмы, характерным элементом которой является шутливая перекличка между атаманом и есаулом.

317

Оно было передано первоначально в «Русских ведомостях» — под именем полковницы Чертковой. — «Дело о девице Анне Васильевой Огурцовой, обвинявшейся в краже», впервые было опубликовано в газете «Русские ведомости» от 30 июня 1873 г. (№ 117, отд. «Судебная хроника»). Достоевский узнал о нем из информации «Русского мира», перепечатавшего, подобно ряду других газет, эту скандальную хронику.

318

…мог бы даже доставить ему некоторого рода «соблазнительную честь»… — Скрытая цитата из «Евгения Онегина» Пушкина. Ср.: «Не потому ль, что мой позор / Теперь бы всеми был замечен/ И мог бы в обществе принесть / Вам соблазнительную честь?» (Гл. 8. Стр. XLIV).

319

Мы только что прочли в газетах, как один доктор открыл нового рода «сутяжное помешательство»… — В газете «Московские ведомости» от 6 июня 1873 г. была опубликована заметка под заглавием «Известия из медицинского мира» (за подписью: N), где сообщалось: «В одном из последних очередных заседаний Общества русских врачей в Москве (состоявшемся 18 мая 1873 г. — *Ред.)* <…> С. И. Штейнберг, главный врач Преображенской больницы, демонстрировал трех больных, страдающих *„сутяжным помешательством“*, т. е. таким видом психического расстройства, которое проявляется в кляузничестве, ябедничестве и крючкотворстве и создается, по-видимому, соприкосновением со средою разного рода подьячих и ходатаев» (Моск. ведомости. 1873. 6 июня. № 139; перепеч.: С.-Петербургские ведомости. 1873. 8 июня. № 155).

320

…ибо прежде было еще и другое дело… — «Другое дело» «девицы Огурцовой», как это явствует из той же хроники «Русских ведомостей», — обвинение в краже, предъявленное Огурцовой еще до истории с о. Нилом некоей Н. А. фон Берхгольц из Ярославля (Огурцова служила у нее в экономках).

321

В начале первой французской революции — в предшествовавшие столетия. — Приведенный рассказ Достоевский мог заимствовать из сочинений по истории Великой французской революции А. Ламартина и А. Тьера, хранившихся в его личной библиотеке.

322

…и, как теперешний Санта-Круц в Испании, отличались неутолимою жестокостию в междоусобной войне… — Мануэль Санта-Крус (Santa Kruz, 1842–1926) — испанский священник. В 1870 г. участвовал в карлистском заговоре и был вынужден бежать во Францию. Возвратился в Испанию в 1872 г., воевал на стороне карлистов, был ранен, взят в плен и вновь бежал во Францию. В декабре 1873 г. вернулся в Испанию, сформировал вооруженный отряд и начал осуществлять один за другим карательные рейды по провинции Гипускоа, жестоко расправляясь со всеми, кто был им заподозрен во враждебном отношении к карлистам. В июле 1873 г. маркиз Вальде-Эспина, стоявший во главе штаба Дон Карлоса, принудил Санта-Круса, компрометировавшего карлистов своими бесчинствами, выехать за пределы Испании. Однако в декабре 1873 г. Санта-Крус вновь прибыл в Испанию и попытался отомстить за свое изгнание. Отряд его был разбит; заочно приговоренный к смерти, Санта-Крус бежал во Францию, а затем в Южную Америку. В русских газетах 1873 г. содержится ряд сообщений о его деятельности.

323

Мы с величайшим удовольствием помещаем в «Гражданине» это письмо слушательницы московских курсов. — Имеется в виду «Заметка о Высших женских курсах в Москве. Письмо к редактору» неизвестной слушательницы этих курсов, подписанная криптонимом «Л» и опубликованная в № 27 «Гражданина» за 1873 г. от 2 июля (С. 761–762). Первая из «Заметок редактора» является ответом на это «письмо».

324

Не будем очень противоречить некоторым особым убеждениям автора, например о «здоровом воздухе» Москвы. — Неизвестная корреспондентка противопоставляет прекрасную постановку дела высшего женского образования в Москве положению в Петербурге, который «заражен ложью», «отрешен от здравых, коренных начал русской жизни» и стремится следовать «за всякой мыслью, названной либеральною, извращая и портя ее при приведении в исполнение» (там же. С. 761).

325

Несмотря, однако, на сочувствие — радуемся успешному началу дела. — Речь идет об отклике корреспондентки на редакционную статью «Наши студентки», которая предваряла публикацию в № 22 «Гражданина» за 1873 г. от 28 мая (С. 627–629) перепечатанного из «Правительственного вестника» оповещения, запрещавшего русским студенткам посещать высшие учебные заведения Цюриха. В письме слушательницы Высших женских курсов, в частности, говорится: «Я была поражена высказанным в ней (редакционной заметке «Гражданина». — *Ред.*) осуждением всех начинаний в деле высшего женского образования и скорбью, что это образование у нас с трудом пойдет или пойдет, что еще хуже, по ложному пути и приведет к прямо противоположным результатам. Откровенно, не боясь утратить популярности, вы высказали свои мысли о столь важном вопросе, и я, отрываясь от семейного, домашнего, главного, — что бы там ни говорили о назначении женщины, — хочу вам возразить и подтвердить примером, что высшее образование женщины может идти надлежащим образом, как видно из опыта, бывшего в Москве» (там же. С. 761).

326

…решились сметь Свое суждение иметь. — Намек на слова Молчалина в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. III, явл. 3):

> В мои лета не должно сметь
> Свое суждение иметь.

327

Кстати, теперь ровно полугодие нашему изданию за нынешний год. — Достоевский стал официальным редактором «Гражданина» с 1 января 1873 г

328

…почему мы так мало или совсем даже не отвечаем на критики — и — зачем отвечать. — Ср. со статьей «Полписьма „одного лица“» из «Дневника писателя» за 1873 г.

329

…я не мог забыть г-на Н. М. из «Отечественных записок» и о «долгах» моих ему. — Речь идет о Н. К. Михайловском, писавшем о Достоевском в статьях «Литературные и журнальные заметки» (Отеч. зап. 1873. № 1–2).

330

…но я никак не понимаю вражды к нему почтенного г-на «Z» из «С.-Петербургских ведомостей»… — Криптонимом «Z» подписывался публицист В. П. Буренин.

331

Г-н Н. М. в первый раз поразил мое внимание своим отзывом о моих отзывах о Белинском, социализме и атеизме, а потом о моем романе «Бесы». — Речь идет о статьях Михайловского «Литературные и журнальные заметки» В первой из них Михайловский касается вопроса об отношении Достоевского к социализму. «С нового года, — пишет критик, — редактором „Гражданина“ состоит наш известный и талантливый беллетрист г-н Достоевский. Что он сделает из „Гражданина“, неизвестно. Поживем, увидим. А пока в „Дневнике писателя“ г-на Достоевского (в № 1) обратили на себя наше внимание следующие слова: „Я застал Белинского страстным социалистом…“» (Отеч. зап. 1873. № 1. С. 159). Михайловский имел в виду рассказ Достоевского в статье «Старые люди» из «Дневника писателя» за 1873 г. о его знакомстве с Белинским и об увлечении последнего идеями утопического социализма и атеизма. В связи с этим Михайловский, полемизируя с Достоевским по вопросу об отношении социалистов к экономическим и религиозным проблемам, пишет, в частности: «Между тем совершенно неосновательные показания и рассуждения вроде тех, какие делает г-н Достоевский, пугают общество и извращают истину. Это ведет к множеству печальных результатов, из которых мы отметим хотя бы один — нечаевское дело. Если бы социалистические учения у нас не инсинуировались без толку и русское общество, в особенности русская молодежь, имела возможность понимать и здраво обсуждать их, то Нечаев, как представитель Международного общества рабочих, собрал бы очень небольшую жатву» (Отеч. зап. 1873. № 1. С. 160–161). Что же касается поразившего Достоевского отзыва Михайловского о романе «Бесы», то он имеет в виду, вероятно, следующее высказывание критика в «Литературных и журнальных заметках»: «Если бы вы не играли словом „Бог“ и ближе познакомились с позоримым вами социализмом, вы убедились бы, что он совпадает с некоторыми по крайней мере элементами народной русской правды» (Отеч. зап. 1873. № 2. С. 342).

332

Отвечать ему по поводу моего романа я немного упустил время, хотя и хотел было… — Замысел ответить Н. К. Михайловскому на его отзыв о романе «Бесы» возник у Достоевского, по-видимому, сразу же после опубликования статьи критика, но полностью так и не был реализован. Сохранившийся черновик «Послесловия» к «Бесам» «О том, кто здоров и кто сумасшедший. Ответ критикам» (см.; XII, 308) — одно из звеньев этого замысла. Именно Михайловский писал, что любимые герои Достоевского «держатся на границе ума и безумия, нормального и ненормального состояния воли…» (Отеч. зап. 1873. № 2. С. 317). К разряду «больных» и даже сумасшедших относили героев Достоевского также П. Н. Ткачев и В. П. Буренин. Достоевский намеревался ответить критикам романа «Бесы» и в статье «Полписьма „одного лица“» (Дневник писателя за 1873 г.).

333

Главное, никак не могу понять — что социализм в России был бы непременно консервативен? — Достоевский имеет в виду следующие слова Н. К. Михайловского: «Экономическое зерно социализма не представляет у нас, в России, учения революционного, так как большинство нашего народа владеет продуктами своего труда и достигает это при помощи ассоциации — поземельной общины» (Отеч. зап. 1873. № 1. С. 160). Касаясь вопроса о возможном влиянии Нечаева как представителя «Международного общества рабочих» на русскую молодежь, Михайловский замечал: «Русская молодежь могла бы ответить на все его искушения: я могу сочувствовать и не сочувствовать Международному обществу в Европе, но в России ему делать нечего. Революционный в Европе, социализм в России консервативен» (там же. С. 161).

334

…*«лик мира сего» мне самому даже очень не нравится.* — Ср. выражение «проходит образ мира сего» в Первом послании Апостола Павла коринфянам (гл. 7, ст. 31).

335

Но писать и доказывать, что социализм не атеистичен — а атеизм вовсе не главная, не основная сущность его — так много занимается этими темами. — Касаясь вопроса об отношении социализма к религии, Михайловский писал: «Богословскими вопросами социализм никогда не занимался. В этом отмщении между социалистами существуют самые различные мнения <…> можно бы было привести тысячи цитат из Фурье, Сен-Симона, Луи-Блана и проч., в которых на бытии Божием настаивается в самых определенных и подчас пламенных выражениях. Что касается, в частности, христианства, то почти все социалисты признавали его учением высоконравственным <…> Итак, если мы говорим о социализме вообще, то не имеем ни малейшего права навязывать ему какое бы то ни было богословское или даже какое бы то ни было нравственно-политическое учение. Мы можем говорить об нем только как об экономическом учении» (Отеч. зап. 1873. № 1. С. 160).

336

Девочка воткнула булавку в голову другого ребенка — она протестовала против деспотизма. — Имеется в виду сообщение о деле Франциски Цих в фельетоне «Провинциальное обозрение», опубликованном за подписью «Доктор П.» в газете «Новое время» от 4 января 1873 г. Тринадцатилетняя девочка, служившая нянькой в семье чиновника Шпитца и ухаживавшая за трехмесячным ребенком, была недовольна работой и дважды убегала от своих хозяев, но мать снова возвращала ее на прежнее место. Тогда девочка из мести иглою проткнула в нескольких местах головку ребенка, отчего тот умер. Франциска Цих была приговорена к пожизненной ссылке в Сибирь на поселение. Рассказав об этом трагическом событии, фельетонист замечал: «…недоумеваем, кто здесь более виновен: подсудимая ли, совершившая убийство, или те лица, которые, против воли, довели ее до этого преступления, или, наконец, само то общество, в котором безнаказанно совершаются такие безобразия? <…> Семейная жизнь Шпитцов и, вероятно, тираническое обращение их с подсудимой остались неприкосновенными… А жаль!» (Новое время 1873. 4 янв № 4) Об этом замечании «Доктора П.» анонимный автор заметки «Сентиментальная фальшь в области уголовного суда», напечатанной в № 2 «Гражданина» за 1873 г., писал «Вот факт Для всякого человека такая девочка является существом, носящим в себе зачатки беспредельной в бесчеловечности преступницы <…> Но что же? — фельетонист газеты „Новое время“ совсем другое находит. Вообразите себе, он находит, что девочка почти ни в чем не повинна и заслуживает полного снисхождения, а виновато то семейство, которое держало девочку будто бы *насильно* у себя в услужении и доверило ей свое лучшее, дражайшее благо — ребенка! <…> Вот логика и мораль господ фельетонистов» (Гражданин. 1873. № 2. С. 52–53).

337

Взяли Хиву, и он тотчас же теряется — Вамбери похвалил — все-таки как будто либеральнее. — Столица Хивинского ханства Хива была взята 29 мая 1873 г. Хивинский поход широко освещался в русской печати, в том числе в «Гражданине». Достоевский, вероятно, имеет в виду фельетон «Литературные и общественные курьезы», опубликованный за подписью «-ръ» в № 170 «Голоса» от 21 июня 1873 г. В этом же фельетоне содержались выпады против Достоевского в связи с публикацией статьи «По поводу новой драмы» из «Дневника писателя» за 1873 г.

Герман (Арминий) Вамбери (1832–1913) — венгерский ученый и писатель, совершивший в 1863 г., под видом паломника-мусульманина, путешествие из Ирана в Среднюю Азию. В июне 1873 г. русские газеты опубликовали его отзыв о хивинском походе, напечатанный в «Times» Вамбери, отстаивавший в своих статьях интересы Великобритании и видевший в продвижении русских войск в глубь Средней Азии угрозу Британской колониальной империи, писал: «Известно, что я не особенно долюбливаю русских, но все-таки не могу не сказать, что из всех европейских народов они одни достигли Хивы с того пункта, от которого никто еще не отправлялся» (Гражданин. 1873. 26 июня. № 26. С. 744; ср.: ГолоС. 1873. 18 июня. № 167).

338

Недавно в нашей газете — упоминалось о некоторых секретных похождениях его. — Речь идет о статье Достоевского «История о. Нила», опубликованной в № 24 «Гражданина» от 11 июня 1873 г (см. выше).

339

..фельетонист не понял ни типа, ни иронии нашего изложения. — и тотчас же разругал: либеральная тема! — Речь идет о фельетоне «Кое о чем!», опубликованном в «Биржевых ведомостях» от 24 июня 1873 г. за подписью: ЭкС. Автором его был Александр Павлович Чебышев-Дмитриев (1835–1877), усиленно высмеивавший в своих фельетонах «Гражданин» и его редактора Достоевского (см., например: Биржевые ведомости. 1873. 14 янв. № 11, 4 марта. № 57; 29 апреля. № 111) О статье «История о. Нила» Чебышев-Дмитриев писал: «…„Гражданин“ так звероподобно смотрит на девиц, состоящих в гражданском браке с мирянами из нигилистов, и в то же время с такою елейною снисходительностью смотрит на дам, вроде девицы Огурцовой, у которых „пламень набожности принимает в высшей степени неестественную потребность усластить, заласкать, залюбить, лично и даже по-земному, служителя Божия“ <…> „Гражданин“ старается покрыть весь этот скандал маслом умиротворения и доказывает, что если о. Нил и попался впросак, то это послужит только к нравственному его совершенствованию <…> Стало быть, вместо того чтобы свистать о. Нилу, гораздо полезнее устроить многие обители <…> все эти обители населить отцами Нилами, а около обителей, чтобы у них были под рукою все удобства для возрождения, водворить искушающих девиц…» (Биржевые ведомости. 1873. 24 июня. № 166).

340

Шар «Жюль Фавр» — одно надуванье и непременно лопнет… — 3 мая 1873 г. в газете «Голос» сообщалось: «1-го мая состоялось наконец столько раз откладываемое поднятие воздушного шара капитана Бюнеля „Жюль Фавр“. Поднятие шара <…> происходило со двора Павловского училища в 5 часу пополудни <…> Путешественников <…> было четыре: сам воздухоплаватель, капитан Бюнель, лейтенант Рыкачев, кирасир корнет Бессонов и г-н Милош, любитель, уже двенадцатый раз подымающийся на шаре <…> шар „Жюль Фавр“, поднявшись на значительную высоту, спустился в 8 часов вечера в 28-ми верстах от Петербурга…» (ГолоС. 1873. 3 мая. № 121). В «Голосе» от 6 мая 1873 г. был опубликован очерк участника полета, мужа племянницы Достоевского, директора Главной физической обсерватории М. А. Рыкачева «Поднятие на воздушном шаре 1-го мая 1873 г.». В конце очерка упоминается о том, как на отдыхе после приземления Бюнель рассказывал, что «про него кто-то распустил слух, что он вовсе не аэронавт, а приехал в Петербург, чтобы устроить ресторан, а поднимается на шаре для того, чтоб составить себе рекламу…» (Голос. 1873. 6 мая. № 124). Повторный полет на шаре «Жюль Фавр» состоялся 20 мая (Голос. 1873. 23 мая. № 141).

341

…в *франко-прусскую войну летал совсем другой…*. — Во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. аэростаты служили средством связи между осажденным немцами Парижем и остальной Францией. Так, направленный с чрезвычайными полномочиями в Тур министр внутренних дел правительства Национальной обороны Гамбетта 7 октября 1870 г. вылетел из осажденного Парижа на воздушном шаре. Как сообщалось в «С.-Петербургских ведомостях», первый полет на шаре «Жюль Фавр» был осуществлен 16 октября 1870 г. из Парижа в Шиме (Бельгия) (см.: С.-Петербургские ведомости. 1873. 27 апр. № 114).

342

…проект новых акцизных законов… — Акциз — косвенный налог на предметы внутреннего производства, выделяемые и продаваемые частными лицами. В России акцизному обложению подлежали свекло-сахарное производство, крепкие напитки, табак, осветительные нефтяные масла, спички, соль. Существующие акцизные законы подвергались критике, неоднократно высказывались пожелания об их пересмотре. В начале 1870-х годов были введены некоторые законодательные изменения, касающиеся частной соляной промышленности и торговли.

343

С Г-вым он ездил в вагонах тысячу раз — и Незнакомцу ровно ничего не будет — Примирят, разумеется. — Речь идет о нашумевшем в 1873 г. столкновении между фельетонистом «С.-Петербургских ведомостей» А. С. Сувориным (писавшим под псевдонимом «Незнакомец») и управляющим Орловско-Витебской железной дорогой В. Ф. Голубевым. В очередном фельетоне «Недельные очерки и картинки» (С.-Петербургские ведомости. 1873. 22 июля. № 199) Незнакомец сообщил «достоверный факт» о том, как Голубев приказал освободить для себя лично целое купе первого класса. Недовольные пассажиры вынуждены были покинуть купе, и только один из них наотрез отказался сделать это и потребовал жалобную книгу. Оказалось, что этот пассажир — министр. Далее в фельетоне следовала резко отрицательная характеристика Голубева как чиновника-самодура, увольняющего по собственным прихотям служащих. Голубев выступил в печати с опровержением изложенных Незнакомцем фактов. В последующем фельетоне «Недельные очерки и картинки» (С.-Петербургские ведомости. 1873. 5 авг. № 213) Суворин разъяснил, что сведения о происшествии с Голубевым были получены им от орловского корреспондента «С. — Петербургских ведомостей». Здесь Суворин уже не настаивал на том, что скандальная история на железной дороге произошла именно с Голубевым, но подчеркивал ее типичность; по его словам, это «совершенно правдоподобное происшествие», так как «на железных дорогах действительно существуют вопиющие беспорядки <…> на них нарушаются бесцеремонно не только права пассажиров, но и самые простые, самые обыденные приличия». «Г-н Голубев, — продолжает Суворов, — к сожалению, не сознает, что он сделался жертвой не моей доверчивости к корреспонденту, который, по всей вероятности, принял весьма распространенный слух за истину, а жертвою того порядка вещей, который существует на железных дорогах». Голубев, обвинивший Суворина в клевете, возбудил в сентябре 1873 г. против него и редактора «С.-Петербургских ведомостей» Э. К. Ватсона судебное дело, рассмотрение которого неоднократно откладывалось и состоялось лишь в сентябре 1874 г.[222]

На полемику в печати между Сувориным и Голубевым «Гражданин» откликнулся небольшой заметкой в отделе «Из текущей жизни» (Гражданин. 1873. 20 авг. № 34. С. 935) Скандальное происшествие, описанное Сувориным и облетевшее газеты, получило широкий резонанс в обществе. Достоевский вернулся к нему в «Дневнике писателя» за 1876 г. (Январь. Гл. III. § 1).

344

Коломянка — прочная льняная ткань.

345

Я уже написал однажды и напечатал — как можно более этому вранью верить… — Достоевский неточно цитирует статью «Нечто о вранье» из «Дневника писателя» за 1873 г.

346

…*совершенно не стриженных*… — «Стриженными» консервативная печать 1860-1870-х годов называла девушек-нигилисток.

347

…даже читают Тацита в переводе. — Вероятно, Достоевский имел в виду следующее издание: Сочинения К. Тацита, все, какие сохранились. Ч. 1–2. С латинского перевел и издал с предисловием и историческим приложением А. Клеванов М., 1870.

348

Колеретка (франц. collerette) — воротничок.

349

…и он «в Аркадии рожден» — Перефразированная строка из стихотворения Ф. Шиллера «Отречение» («Resignation», 1784): «И я в Аркадии рожден…» («Auch ich war in Arkadien geboren…»). Аркадия — одна из областей Греции, название которой позднее стало обозначать сказочную страну, где люди живут беззаботно и счастливо.

350

…беседовал с Миллем и способствовал низвержению Тьера… — Джордж Стюарт Милль (Mill, 1806–1873) — английский философ-позитивист, логик и экономист; Адольф Тьер (Thiers, 1797–1877) — французский историк, политический и государственный деятель.

351

…*на Елагином острове*… — Елагин — один из островов в северо-западной части Невской дельты, омывается Большой и Средней Невкой при впадении их в Финский залив; с середины XIX в. — одно из любимых мест прогулок петербургских жителей.

352

Тритон — морской демон, согласно греческой мифологии — сын Посейдона и Амфитриты.

353

…*Пьер Бобо*… — Подразумевается писатель П. Д. Боборыкин.

354

…*в фоколях*… — Правильно: фокаль (от *лат.* focale) — шейный платок-галстук.

355

…с восточным вопросом, только лишь разрешившимся в данную минуту на Берлинском конгрессе. — Заседания созванного по инициативе Австро-Венгрии и Англии Берлинского конгресса, начавшиеся 13 июня 1878 г., закончились 13 июля 1878 г. подписанием трактата, который пересматривал в ущерб России условия Сан-Стефанского мирного договора, завершившего русско-турецкую войну 1877–1878 гг.

356

…великий жид для британских интересов хитрою целью — от воинственного задора. — Подразумевается Бенджамен Дизраэли (1804–1881), с 1876 г. — лорд Биконсфильд, английский политический деятель, сторонник партии тори, аристократов-землевладельцев, романист, потомок испанских евреев, бежавших в Англию от инквизиции. В 1868, 1874–1880 гг. — премьер-министр Великобритании. В 1878 г. представлял Англию при подписании Берлинского трактата между Россией и Турцией. О деятельности Биконсфильда, направленной против интересов России и балканских народов, в 1878 г. много писалось в русских газета «и журналах разных направлений.

357

…господину Полетике, издателю «Биржевых ведомостей», жаждущему мира… — Василий Аполлонович Полетика (ок. 1825–1888) — либеральный журналист, горный инженер и промышленник, сотрудник «С.-Петербургских ведомостей» и «Северной пчелы», издатель «Биржевых ведомостей» (1876–1879), с февраля 1879 г. переименованных в «Молву» (1879–1881). Достоевский, по-видимому, намекает на следующее недавнее высказывание его газеты: «Россия хочет освобождения христианского Востока от мусульманской власти и в то же время хочет сделаться лучшим союзником Турции. Общая цель войны заключалась исключительно в том, чтобы положить конец прискорбному порядку вещей, благодаря коему Восток оставался постоянно угрозою для всеобщего мира» (Биржевые ведомости. 1878. 28 июля. № 206).

358

…тезис о яблоке натуральном и яблоке нарисованном. — В 1864 г. в майском номере журнала «Эпоха» в отрывке из романа «Щедродаров» на С. 280–281 Достоевский в тех же словах пародийно охарактеризовал теорию Чернышевского.

359

…в следующий же номер «Отечественных записок» в отдел «Умеренности и аккуратности» — раздетый донага, квартальный… — Сатирический цикл М. Е. Салтыкова-Щедрина «В среде умеренности и аккуратности» печатался в журнале «Отечественные записки» в 1874, 1876, 1877 и 1880 гг. Образ квартального фигурирует во многих произведениях Щедрина: «История одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Современная идиллия» и др.

360

…после весенних наших петербургских волнений… — Возможно, что Достоевский намекает на общественные волнения, связанные с выстрелом В. И. Засулич 24 января 1878 г. в петербургского градоначальника генерал-майора Ф. Ф. Трепова и ее оправданием 31 марта 1878 г. судом присяжных. Достоевский присутствовал на суде и был свидетелем демонстрации публики, приветствовавшей оправдательный приговор. Газета «Гражданин», редактором которой в это время былВ. Ф. Пуцыкович, много писала о деле Засулич — см.: 1878. 9 апр. № 14. С. 266–267; 15 апр. № 15. С. 290–291; 28 мая. № 20–21. С. 410–411 и др.

361

…во времена Анны Монс, единственно чтоб понравиться которой Петр, как известно г-ну Мордовцеву, совершил свою великую реформу. — Достоевский иронизирует над словами писателя-историка Д. Л. Мордовцева (1830–1905) в его историческом романе «Идеалисты и реалисты»: «Анна Монс — иноземка, дочь виноторговца — девушка, из любви к которой Петр особенно усердно поворачивал старую Русь лицом к Западу и поворачивал так круто, что Россия доселе остается немножко кривошейкою» (*Мордовцев Д. Л.* Идеалисты и реалисты: Исторический роман. СПб., 1878. С. 129.

362

…вместе с двумя карликами — и шутом Балакиревым… — Мода на карликов во времена Анны Иоанновны получила отражение в хорошо известном Достоевскому с детства романе И. И. Лажечникова «Ледяной дом» (М., 1835). Иван Александрович Балакирев (род. 1699) — доверенный слуга Петра I и Екатерины I. Играл влиятельную роль при Анне Иоанновне, будучи ее официальным шутом.

363

…русские естественные ученые — г-да Сеченов, Менделеев, Бекетов, Бутлеров и tutti quanti. — И. М. Сеченов (1829–1907) — основоположник русской физиологической школы; Д. И. Менделеев (1834–1907) — великий русский химик; А. Н. Бекетов (1825–1902) — ректор Петербургского университета, ботаник-морфолог и ботаник-географ, друг молодости Достоевского; А. М. Бутлеров (1828–1886) — химик и общественный деятель.

364

Всех более заслужил симпатии один очень ученый профессор зоологии — что зоология и свет потеряли такую тему! — Имеется в виду издатель журнала «Свет» Н. П. Вагнер (1829–1907), зоолог, профессор Казанского и Петербургского университетов, президент общества экспериментальной психологии, а также писатель-беллетрист, известный под псевдонимом «Кот Мурлыка». В 1870-х годах ревностно занимался исследованием спиритических явлений, сотрудничал в «Ребусе» — органе русских спиритов. Познакомился с Достоевским в июле 1875 г. в Старой Руссе. Писатель иронически обыгрывает в фельетоне слово «свет», намекая на название и направление вагнеровского журнала, посвященного пропаганде спиритизма. В наборной рукописи словам «зоология и свет» соответствовал вариант «зоология, свет и „Свет“», причем к слову «Свет» было сделано подстрочное примечание: «Журнал, издаваемый профессором».